

ШОЛОМ-  
АЛЕИХЕМ  
3





**ШОЛОМ-**  
**АЛЕИХЕМ**  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ШЕСТИ ТОМАХ

МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
1989

**ШОЛОМ-**  
**АЛЕИХЕМ**  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ТРЕТИЙ

РОМАН  
ПОВЕСТЬ

ПЕРЕВОД  
С ЕВРЕЙСКОГО  
М.Беленького

МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
1989

**ББК 84Е**  
**Ш78**

**Редакционная коллегия:**

**Г. БАКЛАНОВ**  
**М. БЕЛВНЬКИЙ**  
**В. ЛАКШИН**  
**И. РАБИН**

**Составление, примечания**  
**М. БЕЛВНЬКОГО**

**Оформление художника**  
**Е. НИКИТИНА**

**Ш**  $\frac{4702210201-173}{028(01)-89}$  подписное

**ISBN 5-280-00799-4 (Т. 3)**  
**ISBN 5-280-00212-7**

© Состав, примечания, перевод романа, оформление. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

# БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

---

РОМАН



Этой книгой приношу благодарность всем, кто принял участие в праздновании моего 25-летнего литературного юбилея.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Актеры

### ГЛАВА ПЕРВАЯ Птичка улетела

В воскресенье на заре — это было в конце лета — раньше всех в доме проснулась канторша Лея. Взглянув в окно, она поняла, что утро уже давно наступило. «Ой, горе мне!» — подумала она. Быстро оделась, слегка пополоснув руки и наспех прочитав утреннюю молитву, схватила кошелку и стремительно понеслась на рынок, будто упущено ею бог весть сколько важного.

Утро было в разгаре. Голонешти утопало в золотых лучах жаркого солнца.

Здесь, на рынке, Лея чувствовала себя как рыба в воде. А какой выдался базар! На славу! Чего тут только не было. Молдаване навезли сюда в изобилии — молочных продуктов, плодов своих садов и бахчей, лука, чеснока и всякой всячины.

Лея купила много зелени, наполнив кошелку до краев. А рыбу ей бог послал, можно сказать, просто даром. Она и не думала покупать, но рыба оказалась такой дешевой, что Лея не могла удержаться. Думаете, рыба? Одно только название: маленькая, костлявая плотва, жуй да плюй, — но зато куплена за бесценок, что стыдно и сказать, не поверят. Да, повезло сегодня канторше Лее. От единственного рубля даже мелочишка осталась. А раз так, то надо мужу Исроелу купить в подарок десяток свежих яиц. Он будет этому рад, ведь из них она сможет приготовить ему гоголь-моголь. Да еще сколько! Приближаются праздники — Новый год и Судный день... Какое везение! А доченьке Рейзл надо принести конфеты. Она любит сладости. На мою бы голову все напасти, предназначенные ей! Боже, какое это дитя! Помогите нам купить ей новые туфельки, старые совсем развалились, никуда не годятся...

Этими мыслями была занята голова канторши. Лея слонялась вдоль рядов лавок до тех пор, пока между пальцами не растаял, как снег, весь рубль. Тогда она успокоилась и отправилась домой.

Еще на улице она услышала рулады кантора: «Кто в огне, а кто в воде...» \* Знакомый, милый голос. Она слышит его много лет и не перестает им наслаждаться. Кантор Исроел загодя ренетировал подобранный им новый мотив к молитвам Рош-хашана \*.

Исроел не из великих канторов, которые славятся на весь мир, но в местечке Голонешти пользуется огромным успехом. Будьте уверены, обитатели местечка не променяют его на канторов, которые в сопровождении хоров распевают молитвы, не уступят его даже за миллион. Но одно другого не касается. Не давал бы Исроел уроки, пришлось бы, как говорят в народе, зубы класть на полку. Счастье, что кантор тонкий знаток Библии и древнееврейского языка. К тому же бог одарил его каллиграфическим почерком. Он имеет десяток учеников — детей самых богатых Голонешти (сын богача Бени Рафаловича — один из его учеников). Две профессии — это не шутка. Однако случается и так, что деньги от двух заработков не дают ему достойно справиться субботу. Правда, семья его с голоду не умирает, но мучается...

Вся взмокшая, канторша с полной кошелкой вернулась с рынка и вошла в дом. Она не могла понять, почему не видит дочку и не слышит ее голоса. Лея привыкла, что по возвращении с базара ее встречала уже умытая и одетая дочь, прыгала, переворачивала, обыскивала корзинку и все спрашивала: «Мама, что ты мне принесла?»

— Не торопись, река не горит, раньше всего надо отцу подать чашку цикория, видано ли такое!

Для канторши все это было привычным делом, а теперь в доме тихо, Рейзл не слышно и не видно, хотя дверь распахнута. Вероятно, еще спит... А кантор все надывается на высокой октаве: «Кто в огне, а кто в воде!..»

Еле слышно, на цыпочках Лея вошла в комнату, поставила в угол корзинку и, чтобы не помешать кантору, стала около печки и про себя зашептала:

— Горе мне! Неужели она еще спит? Что девушка себе позволяет? Вот-вот придут ученики, и она голой будет вертеться у них перед глазами. Рейзл все еще думает, будто она маленькая... Исролик, Исролик!.. Нет, не слышит. Ну и расшелся он сегодня, боже милосердный!

Кто-то может подумать, что кантор лопатой деньги гребет, а ведь Рейзл в рваных туфлях ходит. На мою бы голову все напасти, предназначенные ей! До которого часа она будет спать? Гром меня порази! Дитя надо разбудить, скажите на милость!

Лея быстро подошла к ширме, разделяющей комнату на две части, прислушалась, осторожно раздвинула ширму, посмотрела на кровать, бросила взгляд на открытое окно и на секунду потеряла дар речи, почувствовала острую боль в груди, точно кто-то бросил в нее камень. Лея вскричала:

— Исроел!..

Это произнесено было так громко, что Исроел прервал свое пение и повернул голову к жене:

— Что случилось, Лея?

— Где Рейзл?

— Что значит «где», разве она не спит?

---

Через полчаса все обыватели местечка узнали о несчастье, постигшем кантора. Народ повалил к его дому. Один входит, другой выходит.

— Что слышать? Ее таки не стало... Как это могло случиться?..

Все утро местечко бурлило, словно котел на огне: «Слыхали», «пропала дочь кантора», «как в воду канула»...

А кантор? Не плачет, не говорит, стоит потрясенный посреди комнаты как истукан, заглядывая во все в глаза. Вероятно, лишился ума и речи. Только канторша носится, точно рехнувшаяся, по всему городку, ломает руки, бьет себя по голове, криком кричит: «Доченька, дитя родное, радость моя, зеница ока моего...» Следом за ней бегают мужчины и женщины, помогая ей отыскать Рейзл. Где они только не были: за мостом, на кладбище, в садах и около реки. Нет ее!

Еле живую канторшу приволокли под руки домой. Комната была полна народу. Все говорили о случившемся несчастье. И кто-то отодвинул ширму, посмотрел на кровать, на раскрытое окно и спросил:

— Отсюда, что ли, птичка улетела?..

В Голонешти на чужое горе поговорка найдется.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### В обмороке

Как бы ни было бедно еврейское местечко, оно имеет своего Ротшильда.

Ротшильд местечка Голонешти — это Бенья Рафалович. Повествовать о его величии и богатстве нет надобности. Думается, что можно ограничиться только описанием его стола. К его столу ежедневно садятся не менее двадцати двух персон: сыновья, дочери, зятья, снохи — все красивые, здоровые, упитанные, полнотелые. И старая мать, которая непрерывно мотает головой «нет-нет», и кормилица, белая, как сдобная булка, с красными щечками, и кассир, свой человек в доме. Зовут его Симхе, а прозвище его «Сосн-весимхе» \*. И не потому, что он парень веселого нрава, напротив, именно потому, что он рохля, мрачный, скучный и сонливый человек. Симхе черноволос, пучеглаз, с лоснящимся лицом, нос у него всегда заложен, и потому он с трудом произносит «эн» и «эм». Верхняя толстая губа его густо покрыта волосами.

С остальными персонажами этой семьи нам еще предстоит познакомиться. Следует отметить, что в этом доме живут богатые, веселые люди, большие любители поесть. Когда наступает время еды, здесь поднимается такой гам, такой звон посуды, ножей, вилок и ложек, — оглохнуть можно. Возглавляет стол, точно царь, сам хозяин — бессарабский еврей, бородатый и с брюшком. Борода разрослась у него вширь и покрыла почти все матово лоснящееся лицо. Расчесана она надвое, но какая-то не такая, как у всех людей, беспокойная, — не покорная, чеши не греши!

Бенья из тех людей, которые, когда едят, никакими другими делами не занимаются. Знать он не хочет, что происходит вне стола. Говорит он мало, но любит, когда другие болтают. Когда же за столом подымается уж слишком нестерпимый шум, Бенья приказывает:

— Тихо, байстрюки! Лучше загляните в молитвенник и поймите его суть.

На языке Бени сие означает: смотрите в тарелки и знайте, что вы едите. Такая у него манера: говорить индифферентно. Лошадь, к примеру, у него «парень», деньги — «черепки», жена — «несчастье», сын — «наследник», дочь — «нарыв», хлеб — «нитки», дом — «чердак», комната — «дыра» и т. п. Из слов Бени Рафаловича можно составить целый лексикон.

За дальним концом стола сидела его жена Бейлка. Маленькая, слабенькая и тихонькая женщина. Ее не видно и не слышно. Посмотришь на нее, не поверишь, что вот эта произвела на свет такую ораву... Все же не огорчайтесь. На плечах этой крохотной женщины вся огромная семья. Бейлка везде и всюду. За всех у нее болит душа. Ей самой ничего не нужно. Вся ее жизнь в детях. Свое почетное место за столом уступила она старушке матери, которая мотает головой «нет-нет». Эта старушка, видимо, для того и существует, чтобы напоминать человеку о конце его дней. Утратив чувства, она сохранила острый глаз. Все в доме раньше всех видит она. И никто, кроме нее, не заметил, что в ораве сидящих за столом не хватает младшего сына — Лейбла.

Внимательно оглядев всех и мотнув головой, она спросила:

— А где Лейбл?

Как ни чудовищно велико семейство Бени, но случая не было, чтобы какой-нибудь ребенок не явился к столу. Отец сердито распорядился:

— Немедленно доставить из «стада» «подсвинка».

На языке Бени это означало: пусть из хедера приведут самого младшего сына. К кантору Исроелу послали человека, дабы он привел Лейбла к ужину.

Ужин шел к концу, уже доедали последнее блюдо. Меж тем явился человек и сообщил, что Лейбла сегодня в хедере Исроела не было, а у кантора и канторши стряслась беда: их единственная дочь бесследно пропала.

Словно бомба взорвалась, и все Рафаловичи застыли на своих стульях, переглядываясь друг с другом. О чем они в эту минуту думали, трудно сказать. Каждый думал молча. Только старуха, привыкшая высказывать вслух то, о чем она думает, мотая головой, произнесла:

— Посмотрите в ящик письменного стола. Могу поклясться, что слышала, как кто-то поздно ночью шарил там руками, а кассир так храпел, что можно было мертвого разбудить...

У стариков бывают странные причуды. Как так Симхе храпел? Муха пролетит — он услышит, — такой легкий сон у него! Все же сонливому кассиру пришлось подняться с места. Он не спеша вытер верхнюю толстую, густо поросшую волосом губу и черные жирные руки, вытащил, прошу извинить, из заднего брючного кармана связку ключей, медленно, не торопясь открыл средний ящик дубового письменного стола и застыл как истукан. Его сонные

выпученные глаза остекленели, и он никак не мог сказать и полслова. И тогда хозяин пришел ему на помощь:

— Байстрюк, открой рот! — Бенья заорал так, что кассир встrepенулcя и выговорил себе под нос:

— Вот здесь у меня находились ключи всю ночь. Вы слышите, вот здесь в заднем брючном кармане они лежали, сна не было ни в одном глазу, а сейчас, а сейчас ящик пустой, хоть возьми и плюнь в него, вся наличность, вы слышите, ни одной копейки!..

После этих слов кто-то за столом тихо вскрикнул, пошатнулся и упал в обморок.

Это была маленькая, слабенькая, тихонькая Бейлка.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Голонешти ходуном ходит

Бурлит Голонешти. Кипит Голонешти. Творится что-то невероятное. Голонешти ходуном ходит.

— Слышанное ли дело! В один день столько новостей. Одновременно два скандала! Да каких! И странно совпавшие: дочь бедного кантора и сын богача исчезли. Что между ними общего?

И обыватели Голонешти взялись за дело. Лавочники закрыли лавки, меламеды прервали занятия с учениками в хедере, ремесленники прекратили работу, женщины затушили печи — словом, народ толпами повалил на улицы, заполонив их, точно в день субботний. И пошли разговоры, вспоминали разные истории и происшествия, изложить их на бумаге невозможно, ибо каждая кем-нибудь рассказанная история вызывала следующую. Третий рассказчик вмешивался в повествование первых двух, окрестив их ослами, ничего не понимающими тупицами. Тогда встревал четвертый и утверждал, что предыдущие ровным счетом ничего не понимают. Погодите, говорил он, я вам раскрою секрет.

И начиналась длинная история, даже очень красивая, но построенная на пустых догадках и собственных вымыслах. Толпа была явно недовольна выкрутасами и домыслами «чистой логики». Меж тем рыжий с бесцветными глазами человек вырвался из толпы и, всех перебивая, задал такой вопрос:

— Скажите, милые люди, почему два существа исчезли одновременно в прошлую ночь, то есть в ночь, когда еврейский театр покинул Голонешти?

— Ну и что с того?

— Полагаю, что это неспроста.

— Попал пальцем в небо!

Толпа так захохотала, что рыжий обиделся.

— Можете лопнуть от гоготания, однако если вы все такие мудрецы, то скажите, для какой цели актерщишки посетили дом Исроела? Не верите, спросите кантора.

— Ну, еще что, так и пойдем раны солью посыпать.

— Не говорите глупости и послушайте, что я вам скажу, зачем актерщишки приходили к Исроелу. Они, видите ли, пронюхали, что дочь кантора красивая девушка и хорошо поет. А кантор — бедняк из бедняков, так актерщишки предложили ему: дай нам твою дочь в театр, а мы из нее сделаем такую актрису... Ну, как, логично?

— Логично-то оно логично. Но при чем тут сынок Бени Рафаловича?

— Это таки плохо. Голова трещит, никак в толк не возьму, какое имеет отношение сынок Рафаловича, который обучается в хедере Исроела, к дочери кантора? Разве щенок способен на такие дела? Сказать, что девушка с ведома отца и матери соблазнила его... Но мы же все хорошо знаем кантора Исроела, он не из таких... Неужели канторша?.. Женщина на все способна...

— Тихо, дети, губернатор едет! — крикнул какой-то шут, указав пальцем на приедава, который на новой бричке, запряженной парой белых коней с множеством бубенцов, промчался мимо толпы. Народ узнал лошадей Бени Рафаловича, увидел рядом с приставом в бричке насмерть перепуганного музыканта Ехиела, игравшего на скрипке в еврейском театре.

Бричка, лошади Рафаловича, скрипач Ехиел подняли акции рыжего еврея с бесцветными глазами. Толпа сомкнулась вокруг него и внимательно прислушивалась к его словам, ибо они «логичны» и имеют серьезный смысл.

Направ на правильный путь и найдя в еврейском театре первый ключик к этому странному событию, оставим голоноштинских евреев с их историями (пусть изошряются в догадках) и возвратимся на короткое время к тому дню, когда впервые с тех пор, как Голонешти стал городом, а Бессарабия — губернией, сюда прибыл еврейский театр.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кикимора

За три недели до приезда театра в Голонешти никто не предполагал, что он вызовет какой-либо интерес. Подумаешь, говорили, театр, тоже мне дело, актерщики, комедианты — кому они нужны.

Нельзя сказать, что евреи Голонешти избалованы спектаклями и другими разными театральными представлениями. По правде говоря, они в глаза никогда не видели и не знали с «чем его едят». Но с другой стороны, где это написано, что все надо видеть собственными глазами? А зачем бог дал людям воображение? Еврей, слава богу, и более тонкие вещи понимает...

Однажды в погожее утро в Голонешти появился странный тип, одет он был в рыжее, чуть красноватое и даже сине-голубое пальто. На голове у него поношенный котелок, а в руках потрепанный чемодан. Сказал, что приехал сюда, чтобы снять помещение для театра. Сбежались посмотреть на эту диковину, и не потому, что субъект вызывал недоумение (это само собой), а потому, что любопытствовали, где он найдет нужное помещение.

Странный тип — человек маленького роста, с гладко выбритым лицом — лукавыми глазами оглядел Голонешти и чудовищно скрипучим голосом сказал:

— Евреи, как я вижу, Адам никогда не справлял у вас праздник субботы.

Кажется, что особенного! Человек произнес несколько еврейских слов. Но надо было видеть, какое впечатление они произвели. Все схватились за животы, надрываясь от смеха. Поначалу он испугался. Помолчал, посмотрел на них как на умалишенных, дал им вдоволь посмеяться, а затем обратился к ним вполне серьезно, потому что еще в дороге его донимал голод:

— Скажите, мои дорогие евреи, не знаете ли вы, где здесь можно подкрепиться?

Кажется, опять обыденные слова, но, когда он их выговорил, поднялся такой хохот... Люди за бока держались. Это обидело нашего героя, и он серьезнее прежнего произнес:

— Я в самом деле проголодался, хочу что-нибудь забросить в пасть.

Хохот усилился. Через полчаса жители Голонешти повторяли: «что-нибудь забросить в пасть, ха-ха-ха». «Кикиморой» прозвала его толпа, вытирая слезы, набе-

гавшие на глаза, уморой в странном пальто, в странном котелке и с такой речью, что умереть можно со смеху.

А Кикимора долго искал пристанище и наконец нашел гостиницу, правда не бог весть какую, но зато по карману.

Отведав керченской селедки и запив ее стаканом бессарабского вина, наш герой закурил папироску и стал расспрашивать хозяйку, черноволосую Неху, имеет ли она мужа, или она вдова, или брошенная, или просто так. Неха, давясь смехом, отвернулась от недотепы, а он взял тросточку, низко надвинул потрепанный котелок на глаза, засунул руки в карманы и пошел гулять по городку и заодно высматривать приличное помещение для театра.

Шагал он не один. Его сопровождала ватага босых сорванцов, страстно влюбленных в еврейский театр. Они ходили следом за ним, пока не добрались до какого-то двора. Здесь Кикимора увидел длинный и просторный сарай с железной крышей.

«Этот сарай сам бог создал в первые дни творения для еврейского театра», — про себя подумал Кикимора и вошел во двор.

Это был двор Бени Рафаловича, и сарай тоже принадлежал Бене Рафаловичу.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Письма

Недолго пришлось Голонешти ждать приезда еврейского театра. Как только Кикимора договорился с Беней Рафаловичем о цене за сарай, он тут же отправил письмо, текст которого мы приводим слово в слово, с точным сохранением орфографии и пунктуации оригинала, то есть так, как начертала его рука:

«Дорогой друг Альберт пишу вам письмо и сообщаю вам что я нахожусь в Голонешти в бессарабском городке величиной в зевок люди здесь звери едят мамалыгу и хлещут вино как воду но «Мойше» \* побежит в театр черт его побери снял я помещение оно могло быть в Лондоне и сцену по которой можно проехать санями с железной крышей холера может сюда проникнуть но не дождь хозяина театра зовут Бенеи Рафалович толстосум и все же свинья захотел получить задаток так я ему ответил что он должен подождать так как в ближайшие дни поступит мне хвороба по почте а гостиницу я достал совсем не

плохую прелесть ешь пей сколько влезет и все в кредит стало быть не будь идиотом и не откладывая в долгий ящик немедленно вышли декорации с афишами и заложи все что ты имеешь и приезжай со всем хедером \* умоляю не откладывая в долгий ящик ибо скоро наступят постные дни и будешь пухнуть с голоду а разрешение здесь получить можно так легко как у Гоцмаха кисло-сладкое жаркое натошак привет передай ему от моего имени и будь он проклят во веки веков и зайди любимчик мой ко мне в квартиру я там забыл под кроватью тапочки и пару пьес разрешенных цензурой и умоляю поскорее вышли афиши и не будь сумасшедшим не даю депеши потому что у меня ни гроша за душой если не считать двадцать копеек с дырочкой от меня твоего друга который шлет приветы тебе и каждому в отдельности.

*Шолем-Мейер Муравчик».*

Через несколько дней Муравчик получил ответное письмо:

«Многоуважаемый друг Шолем-Мейер сломал бы ты себе шею зачем тебе надо было у Брайнделе Козак взять пятнадцать рублей в заем и за мой счет какие такие счета я имею с Брайнделе Козак вся труппа ее любит как зубную боль все ее бояться ибо она трясется над копеечкой и за ее сплетни а то что ты пишешь о декорациях так я не понимаю ты действительно осел или прикидываешься ты же знаешь что декорации давно заложены а где мне взять деньги чтобы их выкупить и разрешения здесь не дают даже за миллион а то немного золота и брильянтов что я имею я не собираюсь тратить на чужие кишки разве только они подпишут контракт что не будут больше вспоминать о марках \* и о долях на тебе компаньоны Гоцмах тоже мне компаньон не доживет этого Гоцмах чтобы я с ним делился хотя он грозитя составить отдельную компанию провалился бы он в преисподню плевал я на них и высылаю тебе афиши и принимаю меры для получения разрешения на восемь спектаклей с бенефисом а то мошенник ты этакий что ты имеешь двадцать копеек с дырочкой то ты не хвор заложить часы как и я каждый хотел бы разжиться за мой счет и хочет получить первые роли а когда надо никого нет дома сейчас провожу последние репетиции посчастливится мне в Бессарабии, то хорошо а если нет то бейте головами об стенку а я уеду в Румынию и там я оставлю новый хедер да такой

что бог и люди будут радоваться и за одно я освобожусь от холеры которая ко мне прицепилась а ты тем временем приготовь все только не делай больших расходов береги карман мы с божьей помощью приедем в канун субботы в субботу репетируем а в воскресенье играем а твои тапочки с пьесами разрешенными цензурой давно выброшены на свалку с уважением и доброжелательством твой друг директор

*Альберт Щупак».*

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### Голонештинская публика

Пьяницы, давно не имевшие ни капли «горького» во рту, голодные, у которых давно не было и маковой росинки во рту, не набросились бы с такой жадностью на вино и хлеб, с какой голонештинцы накинулись на еврейский театр.

На первом спектакле не только двор Рафаловича, но и все окрестные улицы были запружены народом, яблоку, как говорят, негде было упасть. Всем хотелось хотя бы снаружи взглянуть на театр. По многим причинам охотников войти внутрь было гораздо меньше: во-первых, это стоило денег, а деньги в Голонешти — редкие гости; во-вторых, не все могли себе разрешить посетить театр. Это пристало молодухам, юношам и девушкам, но не солидным людям, евреям с бородами, у которых, вероятно, дочери на выданье. Однако дьявол-искуситель, пропади он пропадом, нашептывал прямо в уши: «Ну, что с тобой, еврей, случится, если ты хотя бы через щель посмотришь, как играет театр?..»

Таких охотников увидеть театр в щелку уже в первый вечер оказалось слишком много, и администрация вынуждена была прибегнуть к «брызгалке», то есть к машине, которая обдаёт публику холодной водой. «Брызгалка» действует наилучшим образом, в тысячу раз лучше, чем полиция. Хорошая машина и дешево обходится.

Придумал ее наш знакомый Шолем-Мейер Муравчик.

О роли Шолем-Мейера Муравчика в театре я уже кое-что сообщил, он никто и он все: бухгалтер, кассир, контролер, билетер, иногда суфлер, а когда недостает актера, Шолем-Мейер и его заменит. Нельзя сказать о нем, что он большой артист. Это было бы неправдой. Зато

Шолем-Мейер Муравчик — честный слуга, предан директору и верно, как собака, служит ему. Директор Альберт Щупак, с которым мы вскоре познакомимся, хорошо знает Муравчика: он им затыкает все дыры. Везде и всюду Шолем-Мейер Муравчик. Даже для бесплатного входа в театр по контрамарке тоже нужен Шолем-Мейер... А контрамарочников в Голонешти, не сглазить бы, целая прорва.

Перво-наперво — семья Бени Рафаловича, состоящая из двадцати двух человек. Беня — толстосум и мог бы купить билеты, но, право же, зачем же он станет покупать входные билеты в собственный сарай?

В первый же вечер все Рафаловичи дружной толпой пришли в сарай, а с ними родственник-кассир, кормилица, служанки, и заняли самые почетные места — первые два ряда. Шолем-Мейер Муравчик подошел к ним и хотел поговорить о билетах. Беня не стал с ним объясняться, но Шолем-Мейер обратил его внимание на то, что его люди заняли самые дорогие места. Лишь тогда Беня поднял на него свой взор и на своем наречии произнес: Недомерок, убери отсюда свои ходули, не то смажу по твоему циферблату или прикажу — по шеям тебе надают, костей не соберешь.

После таких слов Шолем-Мейер Муравчик понял: зря трудился, денег не получить, а время не стоит на месте. Театр открыт, а народ валом валит. Больше всего с контрамарками. Музыкант Ехиел имел много контрамарок. Муравчику и на ум не пришло, что у скрипача такая огромная семья. Ну, а прочие музыканты? И парикмахер, и столяр, и кузнец, портной и сапожник — все они работают в театре, и, слава богу, жены есть, дети, и всем — контрамарки. А хозяйке гостиницы, которую Муравчик прозвал «поцелуйчиком», обязательно полагалась контрамарка. Но она не одинока. Виновата ли она, что у нее две младшие сестренки и старуха мать — глухая как тетерев. Мало того, что она их кормит, так давай им деньги на билеты в театр? Где же совесть? Или, к примеру, возница Шимен-Довид и носильщик Хаим-Бер, которые помогли разгрузить декорации, — выходит, бессовестные они?

Директор Альберт Щупак может бесноваться, сходить с ума, скрежетать зубами, Муравчика это не трогает. Кто должен войти в театр бесплатно, тот и войдет. Ничего не поделаешь.

С публикой ссориться нельзя.

Читатель не должен думать, будто вся голонештинская публика — одна сплошная контрамарка. Среди обывателей Голонешти были и такие, которые отдали последний, трудом заработанный рубль, заложили кое-что или взяли займы рубль-другой на несколько дней у приятелей, чтобы купить билеты для детей.

Еврейский театр! Как можно ребенка не послать в театр? Разве голонештинские дети имеют другие удовольствия? Это так, но что поделаешь, если ни гроша за душой и одолжить не у кого, а дитя прямо-таки помирает, так хочется ему посмотреть театр.

Возьмем, к примеру, дочь кантора Исроела, Рейзл, чем она хуже других девушек? Надо иметь каменное сердце, чтобы отказать Рейзл в возможности посетить театр, тем более что она единственная дочь у родителей, которые готовы пешком покрыть десятки верст, зная, что где-то там они сумеют получить то, в чем нуждается Рейзл. Должно же так случиться, прямо-таки по наущению сатаны, что в день открытия театра у кантора Исроела не было ни одной копейки, и одолжить было не у кого. Канторша Лея бросалась во все стороны, но впустую. Нет, и все тут, хоть ложись и помирай. Пусть злые языки говорят, будто канторша балует свою дочку, покупая ей конфеты, господские тувфельки...

— Ну, да, имели бы одну-единственную, да еще такую удачную дочь, как Рейзл, тогда бы они перестали чесать языки о тувфлях и конфетах, видано ли такое!

Так сама с собою рассуждала Лея и нашла выход (что мать не придумает для своего ребенка): раз у ее мужа учится сынок богача Рафаловича Лейбл и раз все происходит во дворе Бени Рафаловича, то почему бы не попросить Исроела, чтобы Исроел попросил Лейбла, чтобы Лейбл попросил маму, чтобы мама попросила отца, чтобы отец распорядился о бесплатном входе Рейзл в театр.

Однако разработанный план не удался. Хоть кантор Исроел и бедняк, но горд. Ему не пристало быть попрошайкой. Тогда Лея, несколько не смущаясь, зазвала Лейбла в уголок и сказала ему:

— Лейбл, у меня к тебе просьба.

— Просьба? — Лейбл смутился. К нему просьба? Выслушав Лею, Лейбл покраснел и обещал поговорить с мамой, чтобы она поговорила с отцом, чтобы отец пого-

ворил с мамой, чтобы мама поговорила с отцом...—Тьфу! — Лейбл запутался, но обещал все наладить.

Во время разговора Лея с Лейблом его добрые, большие, красивые теплые глаза встретились с черными цыганскими глазами Рейзл. Ее взгляд выражал благодарность и светился радостью. Лейблу показалось, что глаза говорят ему: «Ты славный парень, если ты, именно ты, захочешь, то я буду в театре».

Лейбл опустил глаза.

В этот же день после обеда Лейбл принес добрую весть: он уже говорил с мамой, мама уже говорила с отцом и он распорядился: пусть Рейзл сегодня вечером придет к ним домой, и они вместе пойдут в театр.

Услыхав такие слова, Рейзл густо покраснела. Глаза ее загорелись. Она обняла маму, поцеловала ее, затем, запев, принялась кружиться, танцевать, пытаясь заставить танцевать и мать, но Лея вырвалась и, смеясь, сказала:

— Ты с ума сошла, чтоб моим врагам рехнуться, ты бы лучше причесалась и приделалась. Я тебе помогу косы заплести. Ты ведь среди людей будешь, видано ли такое!

Вечером Лея привела Рейзл в дом Рафаловича. Попросила Бейлку присмотреть за Рейзл.

— Хочу вам напомнить, что она у меня единственная.

Бейлка внимательно оглядела дочку кантора. Очевидно, Рейзл ей понравилась.

— Не беспокойтесь,— сказала Бейлка,— она у нас будет как родное дитя.

Канторша вернулась домой.

В доме богача, в этой ораве Рейзл почувствовала себя стесненно, потому что все глядели на нее в упор. Дом сам по себе ей понравился, и люди были здесь неплохие, но смущали их вопросы: как ее зовут? Сколько ей лет? Умеет ли она молиться, читать и писать?

Рейзл и представления не имела, что существуют такие большие и красивые дома, такое огромное количество комнат, кроватей, больших и малых столов, диванов, зеркал, игрушек, стаканов, рюмок, тарелок, ложек и ложечек и такое количество фруктов и разных сортов варенья. А гам и шум за столом, смех, крик, веселье — вот это и есть дом богача!

Рейзл знала, что Лейбл, который учится в хедере ее отца, сын богача, что родители Лейбла самые богатые люди в Голонешти. Но что такое богач, Рейзл не знала и не понимала. Богачом быть — это хорошо, бедняком быть — это плохо. Такие слова она много-много раз слы-

шала у себя дома. И такие поговорки: «Весь нищенский скарб продать и богачом стать», «счастье у богача», «даже на том свете богачу хорошо». Эти поговорки Рейзл знала с детства, мать их повторяла ежедневно по многу раз. Однако, что такое богач, Рейзл поняла впервые лишь сегодня, сидя за большим, веселым, обильным столом. И ей никогда так не хотелось быть богатой, как в эти минуты. Чувство зависти вкралось в ее душу. Ее горящие, черные — цыганские глаза встретились со знакомыми ей большими, красивыми и добрыми глазами, которые стыдливо, но тепло и дружески смотрели на Рейзл. Рейзл показалось, что эти глаза говорят ей: «Тебе нравится у нас? Я рад, что тебе нравится, меня радует, если тебе весело». Сердце ее вдруг затрепетало, лицо запылало, ей стало жарко. И теперь уже она опустила глаза.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### Занавес подымается

Голонештинская публика загодя пришла на премьеру и заполонила театр. Каждый беспокоился, вдруг что-нибудь, не приведи господь, случится и он опоздает. Всякое бывает. Стояли прижавшись друг к другу, не повернуться, а те, кто сидел, в свою очередь держали кого-либо на коленях. Счастливицами оказались только раньше всех пришедшие: они захватили лучшие места, первые ряды. Разумеется, это преимущество зрителей из первых рядов возмутило запоздавших, заплатили наличными, а мест нет. Поднялся такой крик, чуть театр не разнесли. Счастье, Шолем-Мейер Муравчик догадался кивнуть музыканту Ехиелу. Это означало: давай «Фрейлехс». Услыхав музыку, публика подумала, что спектакль начинается. Уселись кое-как, и шум улегся.

Однако вскоре поняли, что ошиблись. Музыка прекратилась, но занавес был все еще плотно закрыт. По ту сторону занавеса стучали молотки и топоры, орали, бранились, ругались. Что-то там творилось, но что именно, никто не знал. Публика сидела как на иголках. А молодежь совсем рехнулась,— казалось, не дождетя до той минуты, когда занавес наконец откроется.

Среди молодых зрителей, жадно впившихся в занавес, находилась на редкость красивая молодая пара: тринадцатилетний подросток с красивыми нежными глазами и черненькая девушка лет четырнадцати — пятнадцати с черными цыганскими глазами и ямочками на щеках. Они

сидели вплотную прижавшись друг к другу, хотя они были разные по своему происхождению: он — сын богача Рафаловича, она — дочь бедного кантора.

Кто посадил эту пару рядом? Может, они сами так уселись?.. Впрочем, в такой суматохе кто о них думает. Кого они сейчас интересуют, когда взгляды всех направлены на занавес! Счастливая парочка, Лейбл и Рейзл сидят так близко впервые. Можно сказать, что впервые в жизни они по-настоящему видят друг друга. Собственно говоря, видят они друг друга ежедневно, в хедере кантора Исроела, отца Рейзл. Но как? Приходя в хедер, Лейбл тотчас берется за чтение или письмо. Нет ни времени, ни места, чтобы поговорить с девушкой, тем более с дочкой учителя, у которой, слава богу, есть мать. А мать смотрит в оба. Она стережет каждый шаг дочери, строго запрещает ей общаться с мальчиками из хедера, даже смотреть в их сторону.

— Девушке нечего делать среди мальчиков, ибо девушка — это девушка, а мальчики — это мальчики. Видано ли такое?

Так говорит канторша Лея, а слова Леи нерушимый закон. Даже повысить голос, спеть песенку Лея ей не разрешает, пока мальчики не покинут хедер. И как назло у Рейзл приятный голос, и она любит петь. Иногда все же Рейзл невзначай запекает, тогда старшекласники слушают с замиранием сердца. Дома, лежа в постели, вспоминают ее пение, вздыхают, тихо засыпают и во сне видят дочь учителя.

Если старшекласникам Рейзл снилась иногда, то Лейблу она часто являлась во сне. Не раз образ ее отвлекал Лейбла от занятий: перед ним Талмуд раскрыт, а он видит Рейзл...

А теперь она рядом с ним. И он ее не только видит, но и слышит, чувствует ее, чувствует... Он слышит биение ее сердца: тик-так! Он не знает, чье сердце стучит — его, ее или оба. Скорее всего оба одновременно. Стоит им взглянуть друг на друга, их взгляды встречаются и они тотчас опускают глаза. Захочется что-то сказать, не находят слов...

Лейбл вспоминает, сколько раз он искал повода, чтобы постоять около нее, услышать ее голос, сказать хотя бы пару слов. Но в такие минуты всегда появлялась мать, тоже случайно, — и Рейзл тут же исчезала.

Рейзл тоже вспоминает, сколько раз она искала среди учеников отца сына богача, не потому, что он сын богача,

а потому, что лучший ученик. Отец утверждает — а кантор Исроел разбирается в людях — из Лейбла выйдет толк.

Похвалы кантора Лея толкует по-своему:

— Конечно, богачам во всем счастье, даже в детях, подумать только!

Сидя рядом с Рейзл, Лейбл досадует, что именно сейчас он не в состоянии что-либо сказать ей. И Рейзл не знает, надо ли ей заговорить с ним. И о, чем? Каждый думает друг о друге, и оба молчат...

Вдруг начали гаснуть лампы, в театре воцарился мрак — стало быть, вот-вот начнется... Из публики раздались возгласы:

— О, о, о!

— Тьма египетская! \*

— Ай, ай... нога!

— Так вам и надо! Если человек имеет лишнюю ногу, то оставляет ее дома.

— Тихо, черт вас побери!

В зале веселое оживление. Лейбл сам не знает, как оказалась мягкая, гладкая, теплая ручка Рейзл в его руке. Он недолго держит ее руку, он только пожал ее, как бы спрашивая: «довольна?»

Она отвечает ему тем же, что должно означать: «очень!»

Спектакль начинается.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### В раю

Если евреям Голонешти еврейско-немецкий театр \* доставлял огромное удовольствие, которое прямо-таки с неба свалилось, то для нашей юной парочки, для сына богача и дочери кантора, театр был раем, божественным раем, куда не всем суждено попасть. Лейблу и Рейзл повезло больше, чем кому бы то ни было. Все вечера они проводили в театре, занимали лучшие места, видели и слышали такое, что даже во сне им никогда не снилось.

Целый мир увидели они, мир, где люди переодеваются, преображаются, произносят необычные слова, то на идиш, то по-немецки, поют и пляшут, вытворяют черт-те что — со смеху лопнешь или слезами обольешься.

И все это делают люди? Обыкновенные люди?

Нет, не совсем обыкновенные люди, как, скажем, мы и вы. А насмешники, шуты гороховые, ангелы небесные и

черти земные. Их манера говорить, стоять, ходить, любое их движение полны обаяния, волшебства, Лейбл и Рейзл очарованы с первой же минуты, как занавес раскрывается, околдованные, они переносятся в другой мир, в мир шутов, чертей, бесов и ангелов... Закрывается занавес — волшебный мир исчезает, нет больше шутов, чертей, ангелов. Снова люди, снова прежний мир, а они чувствуют себя, будто только что были на седьмом небе и внезапно их вернули на землю. Им очень обидно, что их так быстро вернули с неба на землю. Но они уповают на то, что занавес опять откроется и они снова будут на небе, в раю. Так будет завтра, послезавтра, все дни.

Счастливые дети!

Сколько мальчиков в Голонешти завидуют Лейблу, ведь во дворе его отца происходит это веселье! Сколько голонештинских девушек завидуют Рейзл, которая благодаря своей матери оказалась «в высоком» доме, в доме Рафаловичей. А что стоит таким богачам взять с собой в театр еще одного человека?

— Мое дитя, не сглазить бы, очень понравилось богачам...

Так хвастается канторша перед соседками, а чтобы не подумали, помилуй бог, будто она выхлопотала этот дар для дочери, Лея спешит дипломатически добавить:

— Каким образом моя Рейзл очутилась среди богачей? Послушайте историю. Хожу я просто так себе по базару, встречает меня Бейлка, жена Рафаловича, и запросто говорит: «Доброе утро», — я в ответ: «Добрый год, что у вас слышать?» — «Не спрашивайте, шум, гам, кутерьма во дворе. Театр. Грандиозное событие, праздник для моих сорванцов. Для них театр — нечто необыкновенное. Да, а как ваша поживает?» — «Спасибо, не жалуется». — «Говорят, очень хорошая. Почему бы вам не прислать ее ко мне?» — «Спасибо, а что она у вас будет делать?» — «Она познакомится с моими дочками, будет ходить вместе с ними в театр, чем плохо?» — «Спасибо, если она сама захочет, обязательно пошлю».

Так умело канторша Лея плела явную ложь, чтобы защитить дочку от злословья. Чего только не придумает мать ради своего дитяти?

Не потому что мы хотим канторшу взять под защиту — жажда истины вынуждает нас добавить: какая бы это ни была надуманная история, но с кем попало она не послала бы свою дочку в театр. С Рафаловичами — пожалуйста. Почему же нет? С превеликим удовольствием.

Напротив, пусть весь мир знает, с кем общается ее дочь...

А на следующий день после представления канторша Лея при посторонних неоднократно расспрашивала дочку: — Чем же тебя вчера угощали Рафаловичи?

Или:

— Рейзл, когда ты сегодня должна быть у этих богачей?

Или:

— Если тебя, доченька, богачи еще раз пригласят к ужину, то не откажись. Зачем смущаться, скажите на милость!

Глупости! Дочка и не думала отказываться. Чем чаще Рейзл посещала этот дом, тем свободнее она себя в нем чувствовала. Она всегда отправлялась туда в веселом настроении, с теплом в сердце, как идут на праздник к самым близким друзьям.

И нет ничего удивительного в том, что Рейзл там встречали как желанную гостью. В большом, светлом, богатом доме Рафаловичей всегда принимали дочь кантора дружелюбно, радостно, весело, шумно и восторженно. И каждый раз вся ватага отправлялась в театр, занимала первые ряды, и всегда случалось так, что Рейзл сидела рядом с Лейблом. И всегда, когда открывался занавес, когда в зале становилось темно, ее рука оказывалась в его руке, и всегда они покидали землю, чувствуя за спиной крылья, несущие их ввысь, на седьмое небо, в рай.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### Домой

Дочь кантора возвращается домой из театра взволнованная, с пылающим лицом, с переполненным радостью сердцем и особым блеском в глазах. И ей кажется, что она слышит голоса ангелоподобных людей, игру музыкантов и громкий смех Рафаловичей... Она вспоминает слова, которые Лейбл тихо, почти на ухо сказал ей, сжимая одновременно ее руку.

— Завтра придешь?

— Что за вопрос?

Так она ему отвечает не словами, а, как обычно, пожатием руки.

Это было при выходе из театра. Давка была страшная. Лейбла и Рейзл так сжали, что им почудилось, будто они один человек.

Стояла звездная ночь, чудная, теплая летняя бессарабская ночь, когда не хочется идти домой, не хочется спать. И в самом деле, грешно спать в такую ночь. Глаза смотрят ввысь, на луну, на звезды. Душа рвется неизвестно куда. Сердце ноет — и неведомо почему. Чувствуешь странную тоску — и неизвестно по ком... В Голонешти тишина и покой. После захода бессарабского солнца остыла земля, пыль, которая столбом стояла весь день, осела. Можно подышать чистым воздухом. Подул откуда-то легкий ветерок и принес приветы бессарабских полей и садов, запахи хлеба, кукурузы, яблонь и груш. Доносятся звуки свирели пастуха, который где-то гонит стадо. Сви-рель слабеет, чуть слышна, затем совсем замирает.

А жители Голонешти возвращаются домой из театра, шумно пересказывая друг другу содержание спектакля. И каждому кажется, что он видел то, чего никто не видел, и слышал то, чего другой не слышал. Распевают песенки, услышанные в театре, распевают громко, особенно молодежь. Все просыпаются, тишина прекрасной, теплой, светлой летней ночи нарушена. Но ненадолго. Евреи приходят домой, читают положенную на ночь молитву, тушат лампы и ложатся спать. Спокойной ночи!

В маленьком домике на Божьей улице \*, где живет кантор Исроел, еще горит свет. Кантор и канторша готовятся ко сну, но они ждут прихода дочери из театра. Скорее бы ей вернуться и лечь спать...

Кантор Исроел, еще довольно молодой красивый человек с черными шелковистыми волосами, сидит полураздетый в талескотене и в ермолке, которой он обмахивает лицо, и читает перед сном молитву. Канторша Лея тоже полураздета. Тень от ее белого повойника, который очень идет к ее матовому строгому лицу и черным сердитым глазам, колышется на бело-желтой стене. Дождавшись возвращения Рейзл из театра, Лея не отступает от нее ни на шаг, расспрашивает, какую «комедию» сегодня играли, кто из знакомых был в театре, что подавали к обеду у богачей... И еще какие-то вопросы задает канторша и заканчивает словами:

— Разве я не понимаю, что можно, а чего нельзя? что иногда должно быть так, а иногда этак, скажите на милость!

Но Рейзл ее не понимает. До нее только долетает голос матери и слова молитвы отца... Какая разница! Здесь и там... Буйное веселье и откровенное дружелюбие царит там. А здесь тесно, темно, тоскливо, скучно после вечера,

который она сегодня провела у Рафаловичей; сначала в этом прекрасном доме, потом в театре, в раю, затем на улице, возвращаясь домой этой прекрасной, теплой, светлой ночью!

А Лея все бубнит и бубнит. Вдруг спохватилась, слишком долго разговаривает, а ведь поздно, и она обрывает себя:

— Гром меня порази. Пора спать, а я морочу ей голову, скажите на милость! Потуши, доченька, лампу. Доброй ночи, спи спокойно!

— Спокойной ночи, — отвечает ей Рейзл. Закутавшись в одеяло, свертывается калачиком и закрывает глаза. Однако мечты не дают ей уснуть и переносят с Божьей улицы снова туда, в рай.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### Важные гости

Первой из рая изгнали Рейзл. Вот как это случилось.

Однажды в погожее утро, когда кантор был еще в синагоге, а канторша на рынке и никто из учеников еще не пришел в хедер, полунагая, непричесанная Рейзл сидела у открытого окна с иглой в руках и зашивала разодравшуюся по шву кофточку, повторяя дивный мотив из «Суламифи» \*, услышанный ею в театре:

Козочка отправилась торговать —  
Радовать изюмом и миндалем,  
А тебе, мой маленький, надо спать,  
Чтоб смеяться весело ясным днем<sup>1</sup>.

— Bravo, кошечка, bravo! — раздался сиплый голос за открытым окном, где стояла Рейзл.

То был не кто иной, как наш старый знакомый Шолем-Мейер Муравчик, кикимора из еврейско-немецкого театра.

Шолем-Мейер Муравчик, как мы знаем, имел множество обязанностей в театре, к тому же он заботился о хозяйственных делах труппы. Рано утром, когда все еще спали, Шолем-Мейер брал кошелку и отправлялся на базар, чтобы закупить провизию для «детей» (так он называл актеров). Шагая по Божьей улице, он и услышал од-

<sup>1</sup> Здесь и далее стихи в переводе В. Элькина.

нажды, как чей-то голос распевает знакомую песенку, поет вдохновенно, сладко. Шолем-Мейер остановился, словно прирос к месту. Ему захотелось узнать, кто это так поет. Подошел к открытому окну и увидел черноволосую девушку, увлеченную шитьем, очень молоденькую, почти дитя, кровь с молоком. Шолем-Мейер был так захвачен пением девушки, что не выдержал, стал аплодировать и вскрикнул: «Браво! Браво!»

Молодая певица не на шутку испугалась. Маленький красный полушалок, прикрывавший ее красивые детские плечики, сполз и на секунду обнажил их, скорее девичьи, чем детские, и это усилило желание Шолем-Мейера подольше постоять у окна и повести разговор в своей манере:

— Пташечка, чего ты так испугалась? Голос у тебя, должен я тебе доложить, слаще сахара. Трем примадонам сгинуть бы вместо тебя, дай мне, боже, счастья и удачи, а циферблатик у тебя — мне бы столько радостей. Постой! Если я еще не совсем с ума спятил, то ты мне знакома. Могу поклясться, я видел тебя в театре рядом с пузырем Бени Рафаловича на одной скамейке, лопни мои глаза! Ага, зарделась, стала краснее полушалка. Смеешься! Смейся, смейся, девушка, когда смеешься, ты еще краше. Ямочки на щеках становятся глубже, а белые зубки так идут к твоим черным волосам и черным цыганским глазам, дай мне господь столько счастья и удачи!

Не столь фальшиво-слащавая речь и вычурные, незнакомые ей слова напугали Рейзл (она их не понимала), сколь то, что она полунагая, а под ее окном чужой мужчина. «Что скажет мама, если она вдруг нагрянет?..» И Рейзл быстро захлопнула окно.

Вечером, когда Рейзл пришла к Рафаловичам в театр, Шолем-Мейер Муравчик молча, одним хитрым взглядом приветствовал ее. Рейзл покраснела, как бессарабский солнечный закат...

Во время первого антракта, когда музыкант Ехиел показал, на что он способен, и сыграл какую-то еврейскую мелодию, а публика галдела, щелкала орехи, жевала груши, смеялась, повторяя запомнившиеся слова, прозвучавшие на сцене, Рейзл заметила, как тот самый тип указал издали на нее пальцем директору театра, солидному мужчине в высоком цилиндре, с крупными бриллиантами почти на всех пальцах. Директор стал разглядывать ее своими маленькими красными глазами. Рейзл покраснела еще сильнее.

На следующий день, едва кантор Исроел отпустил своих учеников на обед и сам сел с Леей и Рейзл за обеденный стол, распахнулась дверь и в дом вошли два человека: «кикимора» Шолем-Мейер и директор еврейского театра; оба свежесбритые, благоухающие душистым мылом и одеколоном «Вер-а-Виолетт». На директоре был яркий галетук с бриллиантовой булавкой. Пальцы унизаны бриллиантами, на большой золотой цепочке от часов — тяжелый медальон, искусно украшенный бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами, сплетенными в две буквы — «А», «Ш», что означает начальные буквы достопочтенного имени «Альберта Шупака».

Эти дорогие камни, и золотые кольца, и массивный медальон, висевшие на шее директора, могли бы о многом рассказать...

Однако события развиваются быстро, потому на станем задерживаться. Надеюсь, что мы еще не раз на страницах нашего романа вернемся к директору. Все же вкратце необходимо уже сейчас кое-что о нем сказать, при условии, что разговор останется между нами. Зря директор выставил напоказ свои драгоценности, пытаясь убедить всех, будто это подарки от публики, «актерские трофеи». Нет. Они им были куплены за свои деньги, заработанные «честно», трудами нескольких десятков бедных, постоянно голодных, но вечно веселых созданий.

Альберт Шупак считает, что доверять никому нельзя, даже собственной жене. Вот потому он все ценности держит при себе — и надежнее, и людям есть на что посмотреть.

Увидев таких почетных гостей, кантор Исроел немедленно встал и пошел им навстречу. А канторша Лея подала два стула и просида сесть. А Рейзл? Лучше оставим ее в покое, еще одна минута — и она вся сгорит!..

— Благословенны, милостивые... Так это у них произносят, черт их батьку знает... — сказав директор Альберт Шупак и осекся, не зная что сказать. Счастье, что рядом Шолем-Мейер, он всегда выручит из беды. И Шолем-Мейер затараторил:

— Благословенны сидящие. И мы к столу, ешьте на здоровье, жуйте, глотайте, не стесняйтесь. Мы простые евреи, такие же, как вы. А это мой принципал, директор здешнего еврейского театра! Театр у них превыше всего, а я у них, как говорят, затычка в любой бочке. Их зовут Альберт Шупак, а меня Шолем-Мейер Муравчик. А раз мы уже знакомы, то можем и рюмочку пропустить, если

она водится у вас дома, если нет, пошлите, пусть принесут; закусим мы тем же, чем вы. Вижу, уплетаете бурачки со сливами... Такого блюда я в глаза не видел, не соврать бы, лет сто. Дай мне бог столько удачи и счастья.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кантор Исроел соловьем заливается

Пока Шолем-Мейер нес ахиною, а кантор с женой и дочкой внимательно его слушали, директор еврейско-немецкого театра сидел за столом, с поджатыми губами, играл своим медальоном, сверкающим бриллиантами и алмазами и не спускал с Рейзл маленьких, красных, безбровых глаз.

После обеда, когда Шолем-Мейер досыта наговорился, канторша убрала со стола, а кантор произнес молитву, директор Альберт Шупак решил, что пора и ему высказаться, приступить к делу, ради которого они сюда пришли. Прежде всего он приподнял цилиндр, обнажив большую лысину, по бокам которой жирно блестели напояженные волосы, вытер пот со лба и дал волю своему языку.

По характеру директор человек молчаливый, но если начнет говорить, то остановить его невозможно. Язык во рту заплетается, черт знает куда уводит, чаще говорит то, чего не хочет. Его правая рука — флигель-адъютант Шолем-Мейер Муравчик — знает его слабость, потому обрывает его с самого начала и договаривает сам то, что директор хотел сказать.

— Понимаете ли, мой дорогой кантор, — начал Шупак, — вот такая история, слушайте же. Когда-то я сам был певчим у кантора, стало быть, выносил помойное ведро. То есть не то хотел я сказать. Слышали бы вы мой голос. У меня, понимаете ли, сопрано, настоящее сопрано, и пощечины я получал... то есть, виноват, помогал кантору у амвона... пока не стал сам себе хозяином, не стал на свадьбах петь, на обрядах обрезания. Вот послушайте мое собственное сочинение «Кол-мекадеш» \*. Видели бы напечатанную книгу исключительно с моими песнями, спереди с моим портретом, там же напечатано мое «Кол-мекадеш». Послушайте. Начинаю я так (запел дребезжащим голосом):

«Кто освящает?» — Жена моя. Ципкеле.

«День субботы». — Так будь же ты проклята.

«Как я назвал его?» — Этой же ночью.

Альберт Щупак очевидно вошел в роль. Он намеревался спеть «Кол-мекадеш» еще на один лад... но Шолем-Мейер подал ему знак под столом. Пение надо прекратить, это будет выгоднее для директора. И Шолем-Мейер на своем тарабарском языке начал объяснять кантору, зачем собственно они пришли сюда.

Еще задолго до приезда в Бессарабию они были наслышаны о том, что кантор Исроел обладает прекрасным голосом, и так как пение — это их заработок, то есть их заработок — театр, но театр и музыка вроде брата с сестрой, или мужа с женой, то, может, есть смысл, чтобы кантор что-нибудь спел... Нечто такое, понимаете, нечто такое, еврейское, острое с перцем. Отвратительно улыбаясь, он еще больше сморщил и без того сморщенное лицо.

Кантор Исроел сразу понял, чего они хотят. Он сначала даже поломался, позволил себя упрашивать: «Не знаю! Вовсе не так обстоит дело! Люди любят преувеличивать!» А сам стал уже настраиваться. Где вы видели, чтобы кантор или артист отказывался выступать, если его очень просят? Кантор встал из-за стола, вытер губы, откашлялся, попробовал «свой инструмент» и спросил для важности:

— Так что же мне вам, например, сказать?..

Не ожидая ответа, он приступил к новогодней молитве, добирался до верхов и опускался до самой низкой ноты, и опять вверх, и опять вниз, рассыпаясь трелями.

Гости молча переглядывались, моргали глазами, чмокали губами, смаковали пение, словно вкусное блюдо или отменное вино, и этим подзадоривали кантора значительно больше, чем если бы его забрасывали похвалами и лестными комплиментами. У кантора голова закружилась. Раз так, то следует им показать, на что он способен. Он начал петь молитву за молитвой, потом свою новую вещь, его собственную «композицию».

Шолем-Мейер схватил его за рукав, сказал:

— Не обижайтесь, мой дорогой кантор, вы так сладко поете, что канторы хоральных синагог всего света с певчими в придачу не стоят вашего мизинца. Поверьте, если на нашей шее не было бы театра, репетиций, актеров, горестей и напастей, мы бы не ушли из вашего дома до конца вечерней молитвы, нам никогда не надоело бы слушать ваши «вещи», дай нам бог счастья и удачи. Но ведь заработок же. Времени не хватает, понимаете ли вы, завт-

ра даем новую постановку — «Куни-Лемл»... \* А может быть, вы перед уходом угостите нас «закуской»?

Кантор немного оторопел:

— Какой «закуской» вас, к примеру, угостить?

— Какой закуской?

И Шолем-Мейер Муравчик указал пальцем на дочку кантора, которая с него за все это время глаз не спустила.

Услышав такие речи, Рейзл онемела, а кантор и канторша раскрыли рты и глаза. Директор хотел немедленно выступить со своей речью, но Шолем-Мейер Муравчик тут же подал ему сигнал под столом и сам взялся объяснять, о чем идет речь:

— Мы думаем, понимаете ли, о «закусочке».

— О какой закуской?

— О вашей доченьке, то есть пусть она нам что-нибудь споет, у нее, говорят, голосок, и поет, говорят, песни так, что заткнет за пояс тридцать Патти и семнадцать Нельсон...

— Откуда вам известно, что моя дочь поет? — не выдержала канторша.

У Рейзл душа ушла в пятки. Она ждала, что вот-вот этот тип расскажет историю, которая произошла вчера у ее открытого окна... Ведь маме она об этом ни полслова. Уж получит она от мамы!

Шолем-Мейер, хитрец, заметил, как Рейзл меняется в лице, и он ловко вышел из положения.

— Красивая история, но короткая! Откуда всем стало известно, что ваш муж, жить бы ему сто двадцать лет, обладает таким голосом, такой «колватурой», что своим пением восхищает весь мир? Пятнадцать лет, как мы разъезжаем по свету с еврейско-немецким театром, и не подозревали, что есть городок под названием Голонешти, и все же, видите ли, узнали: шутка ли — Исроел голонештинский. Слава о нем гремит по всему миру. Ну, что вы на это скажете, моя милая канторша?

Милой канторше нечего возразить. Ее не удивляет, что имя ее мужа известно всему миру. Но чтобы ее доченька вдруг ни с того ни с сего пела перед двумя незнакомыми мужчинами... вы можете говорить что угодно, но по ее женскому разуму получается... сама не знает — что получается...

— Вот так с бухты-барахты, сдуру девушка начнет петь. Девушка — это ведь не мальчик. Мальчик — это мальчик, а девушка — это девушка, скажите на милость!

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### Дочь кантора поет «Владыко вселенной»

Совсем иначе отнесся к просьбе гостей кантор Исроел. Он не отказал им, хотя, как и канторша, думал, что мальчик — это мальчик, а девушка — это девушка. Все же один раз, в кои-то веки, ради гостей, если она с отцом в два голоса споет что-нибудь, так что случится? Между нами говоря, кантору самому захотелось побахвалиться и бахвалиться не переставая, подобно тому дождю, который если начинает лить, то льет без устали.

Исроел с мольбой посмотрел на свою жену Лею, как бы говоря: жалко тебе, если ребенок что-нибудь споет? Канторша поняла взгляд мужа. Если бес попутал — пиши пропало. Она внимательно и безмолвно одним взглядом сказала: тебе сильно захотелось. Пусть будет по-твоему. Раз тебе любо, то мне мило. Скажите на милость!

Кантор Исроел повеселел, откашлялся, взял тон и обратился к доченьке:

— Когда так просят, нельзя же быть грубиянами. Вопрос в том, что им, к примеру, сказать? Может быть, «Владыко вселенной»? \* А? Ты будешь петь, а я буду вторить на низкой «октаве». Ну, Рейзл, начинай. Ля-ля-ля-ля!

Рейзл, обрадованная, что вчерашний инцидент прошел благополучно, готова была из благодарности петь сколько угодно, тем более что петь она любила с детства, да и теперь целыми днями пела без устали, если бы только мама не запрещала. А то каждый раз, когда Рейзл начинает громко петь, Лея поднимает ужасный крик:

— Тихо, Рейзл, сколько раз я тебе говорила... Думаешь, наверное, что ты все еще крохотная девочка. Девица уже, не сглазить бы! Видано ли такое!

— Девица! — смеется Рейзл, и сама Лея смеется, но петь не разрешает, только иногда вместе с отцом. И то когда никто не слышит.

Рейзл встала рядом с отцом, заложила руки за спину, подняла глаза к потолку и мягким, нежным, чистым, как звук скрипки, голосом затянула еврейский молитвенный напев, в котором были и жалоба, и мольба, и слезы:

Припадаю к стопам твоим, Боже,  
Владыка небесный!  
Я пришел рассказать тебе правду,  
Всю правду, лишь правду, о Боже...  
О, доколе склоняться мы будем  
Пред черной судьбою  
И в изгнании мучиться будем, Владыка,  
Доколе?..

Гости, директор и его «флигель-адъютант», сидели околдованные. Смотрели друг на друга с раскрытыми ртами и были, надо сказать, вне себя. Онемели. Шолем-Мейер даже вскрикнул своим хриплым голосом: «Браво! Браво! Бис!» Но тут же сообразил, что «браво», «браво», «бис» здесь не к месту. Грустны слова песни, и слишком сладок юный девичий, нежный голос, слишком прекрасна и божественна юная певица, в сущности, еще дитя...

А Альберт Щупак — директор еврейско-немецкого театра? Трудно понять, что у этого типа творится в душе... Он вытащил из заднего кармана сильно надушенный платок и вытер слезы, стоявшие в его маленьких, красных, безбровых глазах.

В этом, кажется, черством человеку все же билось теплое отзывчивое сердце... Чувство жалости, очевидно, в нем сохранилось, если он еще способен плакать и сострадать, чувствовать народное горе.

Возможно, что в этом повинны божественной красоты брюнетка с ямочками на щеках и красивыми черными цыганскими глазами, ее сладкий, нежный голос, который льется прямо из ее души... Кто знает? Кто может ответить на этот вопрос?

Читатель, который уже знаком с директором еврейско-немецкого театра из предыдущих глав, знает, что был он косноязычен. Но теперь, после песни «Владыко вселенной», Щупак подошел к кантору, схватил его за лацканы и со слезами выговорил несколько слов:

— Не будь я Альбрет (заметим: сам Щупак, к стыду, не мог правильно произнести свое собственное имя, вместо Альберт у него получается Альбрет).

— Слушайте, не будь я Альбрет!

Это самый высший комплимент, который кто-то мог когда-либо услышать из уст директора еврейско-немецкого театра.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Альберт Щупак вне себя

Ограничься директор еврейско-немецкого театра, Альберт Щупак, только одним этим «комплиментом» («Не будь я Альбрет») — все бы обошлось ко всеобщему удовольствию: гости остались бы довольны, так как услышали такое исполнение «Владыко вселенной», какое не каждому дано услышать (ведь пела сама Рейзл); она была

бы довольна, что впервые пела на людях; кантор был бы счастлив, что его дочь очень понравилась гостям (какой отец не радуется первому успеху своего ребенка?). Больше скажу, даже канторша Лея, не терпевшая, когда дочь пела в присутствии чужих мужчин, теперь была так тронута, что у нее поневоле вырвался тихий вздох облегчения:

— Дитя родное, да падут на мою голову все несчастья, предназначенные тебе!

Однако суждено было, чтобы на ясный небосклон надвинулись тучи и омрачили праздник. Из-за кого? Из-за директора еврейско-немецкого театра и несдержанного его языка. Если уж он заговорит, то его не удержать.

Великий ли восторг или дело его заставило... но так или иначе, Щупак заговорил, поблескивая драгоценными перстнями, которыми были унижены его пальцы.

— Ай, голосок, ай, горлышко, ай, инструмент! Ну и ну! Послушайте, мой дорогой кантор, что я вам скажу: вы сидите в Голонешти, в дыре, заброшенном закутке... Что? Кто? Сидите в болоте и знаете только попешуи, кукурузу, «Кол-мекадешл»... хе... хе... Обидно, жалко, такая драгоценность, а какой толк, ценный бриллиант, жаль, право, жаль вашего дитяти. Мне кажется... не будь я Альбрет!

Из его слов канторша поняла, что речь идет о судьбе ее дочери, и потому резко перебила его:

— Зубы в чужом рту не считают... О моей дочери есть, слава богу, кому до ста двадцати лет позаботиться...

Альберт Щупак, очевидно, не понял слов канторши, а быть может, прикинулся непонимающим и продолжал, обращаясь к кантору:

— Итак, что же я хотел вам сказать, дорогой кантор? Да то, что вы слепые люди, заблудившиеся, фанатики, черт-те что. Мир, такой мир! Видели бы вы детей — золото! девушки, — дай мне господь столько счастья — ляльки, огурчики! Примадонна — тоже дочь именитых родителей. Правда, у нее не такое личико, как у вашей. Зато голос — годится для самой большой оперы! Поступила бы, то есть, ваша ко мне, то через три-четыре года она вот такую полную шапку...

При этом Щупак показал обеими руками размер шапки с золотом, которую она принесла бы, если бы поступила к нему в театр.

Поняла ли канторша смысл этих слов, трудно сказать. Но сообразила, что этот тип, у которого на голове высокая «труба», тип с противной бритой мордой, делает ее дочери

такое предложение — с души воротит,— и заговорила в ней «мать», та мать, что сотворена, дабы защитить и уберечь свою дочь как зеницу ока; та мать, что сподобилась увидеть дочь взрослой, стоящей на собственных ногах; та мать, что дрожит над дочерью, как над хрупкой драгоценностью. И не желая пускаться в длинные разговоры, пуще прежнего сердито сказала:

— Погибель врагам моим! Что вы думаете, мы из портных или сапожников, чтобы наша доченька, наша родная кровь оказалась среди комедиантов, актерщиков, бродяг?.. Скажите на милость!

Эти несколько «теплых» слов, которые Лея произнесла без передышки, видимо, не понравились директору еврейско-немецкого театра. Они его обидели, даже сильно обидели. Его отвратительное морщинистое лицо, покрывшись потом, посинело и пожелтело. Его губы странно искривились и маленькие глазки налились кровью. Альберт Щупак готов был отчитать канторшу по заслугам. Какая наглость вести разговор в таком тоне с ним, с директором театра!

Одному богу известно, каким скандалом это бы все завершилось... Альберт Щупак не любил откладывать в долгий ящик: у него раз, два и готово,— или дать пощечину, или получить пощечину... Счастье, что был тут Шолем-Мейер. Он знал своего принципала, знал, что это за птица, и как только мог оберегал его от скандалов. По Шолем-Мейеру, не надо ни давать, ни получать пощечин. Он придерживался мнения, что по-хорошему можно быстрее договориться...

Он дернул принципала за рукав, шельмовато подмигнул ему одним глазом, поднял шляпу и обратился к кантору:

— Ваша благоверная права, мне бы столько удачи, какую канторшу вы имеете. Да. Но все же — есть у нее один недостаток. Она слишком горячая женщина. Не поняла директора. Он говорил о заработках вообще. Каждый хвалит свою профессию. Как это вы говорите: каждая собака — хозяин у своих ворот, и каждая свинья думает, что ее лужа самая глубокая... Вот, собственно, и все, что они имели в виду, и ничего, помилуй бог, против вас, вашей жены и вашей дочери не имеем. Мы к вам пришли только ради кантора, послушать его пение, дал бы нам бог удачи и счастья! Мы бы у вас сидели и сидели, но не хотим вам больше мешать. Между прочим, вижу, байстрюки собираются к вам в хедер. Вам пора уже поработать.

Как вы говорите: учение свет... Будьте здоровы, скатертью дорога.

— Головой в сырой земле, ногами вперед,— так канторша напутствовала гостей, когда они оказались по ту сторону входной двери.

А Рейзл она сказала:

— Можешь, доченька, проститься с еврейским театром. Пока я жива, ты театра не увидишь.

Больше всех досталось бы мужу (когда канторша Лея в гневе, это очень опасно), но ему повезло, так как к тому времени ученики уже сидели перед раскрытыми молитвенниками. Сам Исроел себя плохо почувствовал после разговора с непрошеными гостями. Однако взял себя в руки, соорудил веселую гримасу и протяжно запел талмудический напев:

— Помните, дети, еще раз и еще раз... На чем мы остановились? Да!

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### Новый тип — Гоцмах

В большом широком дворе Бени Рафаловича весело. Сарай, в котором играет еврейский театр, никогда не закрыт, ни днем, ни вечером. Жизнь там начинается с раннего утра. Люди идут без конца. Одни выходят, другие входят. Столяры чинят скамейки, маляры малюют декорации, грузчики тащат сундуки, приносят дрова, складывают доски. Не переставая стучат молотками, забивают гвозди, крутят веревки... Всегда там крик, гам, брань.

Чаще всего слышится «Гоцмах».

— Гоцмах, черт тебя побери!

— Гоцмах, глаза у тебя что ли вылезли!

— Гоцмах, шевелись!

— Гоцмах, держи! Гоцмах, стой! Гоцмах, беги! Гоцмах! Гоцмах! Гоцмах!

Кто этот Гоцмах? — гадают сынок Бени Рафаловича. И перед тем как отправиться в хедер, заглядывает в сарай, теперь-то уже Лейбл знает, кто этот Гоцмах.

Высокий, худой, болезненный, вечно кашляющий, задышающийся, с белым рябым лицом, острым носом, заостренной головой и вечно прислушивающимся ушами; взгляд у него тоже острый, голодный, колючий — вот это и есть Гоцмах...

Его фамилия — Холцман. Но директор Шупак с первого дня окрестил его именем Гоцмах — и Гоцмахом он остается по сей день.

С первой минуты их знакомства Гоцмах понравился Лейблу. А познакомились они без церемоний, запросто, но без фамильярности. Вот как это произошло.

Гоцмах однажды увидел Лейбла, стоящего около сарая, и он издали с ним заговорил:

— Эй, хлопец, что ты тут делаешь?

— Ничего.

— Кто тебе нужен?

— Никто.

— Кто ты?

— Сын Бени Рафаловича.

— Что же ты стоишь у дверей, как сын бедняка. Пойди сюда, паренек! Папиросы куришь? Или еще не куришь?

— Еще не курю.

— Но отец твой курит? Братья твои курят, черт бы их батьку забрал! Ну, значит, ты можешь мне папиросы принести.

На следующий день запыхавшийся, потный, красный Лейбл, оглядываясь по сторонам, притащил ему полный карман папирос. Гоцмах острыми пальцами выгреб из кармана рассыпанные папиросы и переложил к себе в карман, помилуй бог, не как кражу, а как подарок от хорошего знакомого. Он не смутился и не поблагодарил — закурил, затянулся, выпустил дым из угловатых ноздрей, закашлялся и сказал:

— Кто курит у вас такие дорогие папиросы?

— Мой старший брат,— еле слышно ответил Лейбл.

— Черт побери старшего брата твоего, он знает, что надо курить! — ответил ему громко Гоцмах.— Скажи, моя дорогая птичка, что у вас едят, например, к завтраку, утром, к кофе?

— Что едят? Как когда. Иногда едят масло и сыр, иногда яйца, сдобу, масляное печение...

— Вот-вот,— перебивает его Гоцмах,— так и сказано в Священном писании. Принеси, умница, пару сдоб, только свежих. Ты слышишь, что тебе говорят? Свежих!

Это слово «свежих» Гоцмах произнес так громко, что Лейбл задрожал, испугавшись, а вдруг услышат.

Все же он удовлетворил просьбу Гоцмаха и на следующее утро принес пару сдобных булочек, дрожа, как бы

его не поймали. Не успел Лейбл оглянуться, как голодный Гоцмах проглотил их, пропустив через тонкое горло.

— Пилюли! — вскрикнул Гоцмах, облизываясь, как кошка, затем закурил папиросу, из тех, что принес Лейбл, и попросил принести еды еще.

И Лейбл приносил ему еще и еще, потому у него был свободный доступ в театр не только вечером во время спектакля, но и днем во время репетиций и даже за кулисы по ту сторону занавеса, туда тянулась душа Лейбла, он хотел знать, что там творится.

Ах, что Лейбл там увидел! Совсем, совсем другой мир: люди переодеваются, гримируются и выходят оттуда скороморохами, дьяволами, ангелами. А жизнь там как в раю, всегда весело, поют, танцуют. Одни уплетают за обе щеки, другие пьют из бутылки, третьи курят, сидя на корточках в укромном углу, чтоб директор не увидел. Злой директор. Все дрожат перед ним, и все смеются над ним, показывая ему язык за спиной и копируя его — как стоит, как сидит, как разговаривает, как выставляет напоказ свои бриллианты. Сущие дьяволы эти актеры.

Лучше всех показывает директора Гоцмах. Он всем подражает, и так искусно, что животики со смеху надорвешь. Веселое создание этот Гоцмах! Лейбл не может понять, откуда у этого человека столько веселья. Кажется, никто столько не трудится, как Гоцмах, никто столько не бегает, никто столько не страдает, никто столько не кашляет, никто столько пощечин не получает, и все же никто, кроме Гоцмаха, больше не смеется. Вот только что директор схватил его за шиворот и вытолкнул из гардеробной: «Гоцмах, черт тебя побери!» А он уже вновь стоит за спиной директора, чуть сгорбившись, голова у него набок, губы сжаты — и перед вами отвратительное лицо с маленькими глазками. Альберт Щупак, точь-в-точь!

Ну, как не любить такого человека?

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Гоцмах пишет письмо

— Слушай, ты, панский цап! Ты учишься в хедере, значит, ты, вероятно, хорошо умеешь писать? Принеси сюда чернильницу с пером, листок бумаги с конвертом и марку за семь копеек.

Так однажды утром обратился Гоцмах к своему юному другу Лейблу, начищая сапоги всем актерам театра.

Спустя несколько минут все названные предметы были принесены в сарай, то есть в театр, по ту сторону занавеса, за кулисы.

На опрокинутом ящике у трехногого стола сидел сынок Рафаловича, Лейбл, и писал. Напротив стола разлегся на полу, отодвинув в сторону начищенную обувь, Гоцмах с папиросой в зубах и диктовал:

— Пиши, душа моя:

«К моей любимой, дорогой маме Соре Брохе, жить тебе в довольствии! И к моему любимому дяде Залмену, жить тебе в довольствии! И любимой, дорогой сестре Златке, жить тебе в довольствии! И ко всем дорогим друзьям, жить им в довольствии!»

— Готово, Лейбеню? Езжай дальше:

«Во-первых, сообщаю о моем здоровье, что я, слава богу, вполне здоров, как желаю всем от всего сердца, всегда и повсюду слышать то же самое от вас, аминь!»

— Поставил ли ты, котик, слово аминь? За это я люблю тебя. Чеши дальше:

«Во-вторых, сообщаю тебе, моя любимая, дорогая мама, что мы находимся в Бессарабии, стране кукурузы, мамалыги и толстых женщин. Мы каждый вечер играем в театре, и я сообщаю тебе, что уже играю первые роли, после праздников начнем работать на марках, то есть на паях, пока я работаю на гаж, это значит, я получаю понедельно, то есть каждую неделю получаю жалование. Не так много, чтобы голова распухла, но слава богу, лишь бы не даром. Я знаю, что по моей работе я заслуживаю больше и, может быть, получал бы больше, так у нас есть шельма, Шолем-Мейер зовут его, провались он пропадом. Это такая собака, которая сама не жрет и другим не дает. Посылаю тебе трешку и прошу тебя, моя дорогая мама, не обижайся, что не три сотни. Это все, чем я богат, и купи себе что нужно к празднику и Златке обувь купи во что бы то ни стало, без оговорок, и скажи дяде Залмену, пусть он мне голову не морочит. На призыв я наплевал. Призыв давно меня не беспокоит. Этим я ему обязан, дяде Залмену... И я прошу тебя, моя любимая мама, если ты мне напишешь письмо, то пусть учитель Эле заодно мне напишет, когда у меня поминальный день. В прошлом году он пришелся на пятый день праздника кущей. И напиши мне, служишь ли ты на старом месте, и непременно

Златке ботинки, больше новостей нет у меня, будь здорова, дорогая мама, от меня, твоего сына, который желает тебе много добра и счастья, а мне от тебя такое же слышать — аминь».

— Теперь, карапуз, дай мне перо, я приложусь к бумаге.

И Гоцмах засучил рукав правой руки до самого локтя и взялся за работу: поставил несколько каракулей и крючков и спросил у Лейбла:

— Разве это не Герш-Бер Холцман?

Лейбл всматривался в эти каракули, долго искал и не мог найти ни Герша, ни Бера и никакого другого имени.

— Мой дорогой зверенок! Чего ты так смотришь,— обратился Гоцмах к своему юному другу и опять взялся за чистку сапог.— Как видно, тебе нравится мой почерк? Это я сам научился, глупенький, все, что знаю, я узнал своим умом, все, что я умею, сам научился. Мне все говорят, что у меня был бы очень красивый почерк, если бы меня учили. Но где? Ведь я так рано осиротел, а мама стала служить. Дядя Залмен забрал меня к себе работать. Он портной, мастер по заплатам, но бить он бьет, как настоящий мастер. Он меня однажды, сидя за столом, ударил утюгом прямо в грудь. С тех пор я кашляю... Тогда мама забрала меня от дяди-разбойника и отдала к другому портняжке. Но я не мог сидеть за работой. Все из-за утюга, которым дядя меня угостил. Тогда мама решила отдать меня в услужение к учителю хедера, мыть руки маленьким детям, читать с ними утреннюю молитву, приносить им еду в хедер. Ладно, приносить завтрак в хедер ничего себе работенка, можно полакомиться. Но таскать на плечах ребят, когда непогода, где силы взять? С божьей помощью приезжает к нам в город еврейский театр. Еврейский театр — шутка ли! Все бегут в театр, а я буду дома сидеть? Забрался и я туда, так себе, без билета. На мое счастье, директору Щупаку захотелось пройтись по рядам проверить билеты. Схватил меня за уши и выбросил из театра. Это было бы не так страшно, если бы он не сорвал с моей головы шапку. Как я могу вернуться домой без шапки? Мама расскажет дяде, тогда разбойник убьет меня. Я ждал на морозе, пока публика разошлась. Подбежал к директору, к Щупаку значит, плакал, умолял, руки целовал, чтобы вернул мне шапку, рассказал всю правду, что я мальчик-сирота и у меня есть дядя разбойник... Он выслушал меня, Щупак значит, осмотрел с ног до головы своими маленькими

глазками, чтобы они у него повылезали, и говорит мне: «Ты сирота и тебе негде жить? Может, говорит он, ты вступил бы ко мне в театр? Я из тебя актера сделаю»...

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Чудо, или Как становятся комиком

Гоцмах закашлялся. Он на минуту прервал чистку сапог, закурил папиросу, сделал несколько затяжек и начал рассказывать своему юному другу, как он стал актером.

— Ты думаешь, конечно, умник мой, что мама была довольна, что я получил такое место? Ничего подобного. И не так мама, как дядя Залмен. «Если он уедет с актерами, этот тупица,— говорит он,— то перестанет читать по отцу поминальную молитву». Так дядя стал говорить маме. Но что мне дядя! Что мне поминальная молитва, если я вдруг так возвысился! Допустим, первое время мне было несладко в театре. У Щупака свой метод обучения. Прежде всего он угостил меня многочисленными оплеухами за чистку сапог. «Вот так чистят сапоги!» Он забрал из моих рук щетку, показал, как сапог любит, чтобы его чистили. Потом он стал погонять меня, как собаку, потом посылать в такие места, чтобы запомнить, куда ходить и что сделать, надо иметь голову министра. Если что-нибудь не так — сразу побои от этого злодея. Чтобы у него руки отсохли! Прошел месяц, два, три, четыре — и я не вижу сцены. Гвалд, что будет дальше? Для этого я от всего отказался?.. Спросить у него, когда я увижу сцену,— боюсь. Жаловаться актерам, но существует проныра Шолем-Мейер, который доносит ему все, холера им обоим! Короче, нет помощи, надо немного помучиться, чтобы Щупаку так же мучиться! Я жду год, другой,— и дождался. Случилась такая история.

Гоцмах надолго закашлялся, успокоившись, проклял свой кашель: «Холера пришла бы на мой кашель! Погибель на него!»

Откашлявшись и отбранившись, опять сделал несколько затяжек, взял щетки и дальше рассказывает:

— Был у нас актер, первый любовник, Ухватковером звали его, прекрасный любовник, играл сильнейшие роли. Но шарлатан был неимоверный. Парень красивый, здоровый, широкоплечий. Глотка луженая, настоящий гор-таный голос. А язычок у него! Даже по-немецки говорил — уж тот любовник! Что делает бог? Ухватковер в

шуточку заболевает и умирает по-настоящему. Ладно, умер так умер. Мир праху его! Что же делать без любовника? Афиши уже расклеены, касса продает билеты, а билеты как назло нарасхват. Моего Щупака чуть кондрашка нехватила.

«Гоцмах,— говорит он мне,— ты сможешь сыграть роль любовника?» — «Ах,— говорю я,— почему же нет?» И стал заучивать мою роль. Играли очень серьезную пьесу. «Дора, или Богатый нищий» Шекспира, исправлена и поставлена мною, Альбертом Щупаком»,— вот так значилось на афишах! Когда наступило время играть, меня хорошо загримировали и выпустили на сцену в роли любовника — вымытым, расфуфыренным Рудольфом с подкрашенными щечками, черными усиками, и пиджак надели новый, и пару новых сапог, я говорю тебе — настоящий Рудольф! мне бы такое счастье! Что мне долго рассказывать тебе, мой дорогой птенчик! Черт побрал бы эту публику! С первой минуты моего появления на сцене, я еще рта не открыл, начали смеяться и до сих пор смеются. А когда я подошел к примадонне, к Доре, значит, и начал играть свою роль, взял ее за руку и сказал ей на чистом немецком языке точно так, как покойный Ухватковер: «О! любимое дитя! Мы должны пожениться, ибо после свадьбы любовь сильнее, чем до свадьбы!» — смех в зале стоял, вероятно, больше получаса, мне казалось, разнесут театр. Чем лучше я играл свою роль, тем громче звучал смех. Словно бес вселился в их души! Короче, я с трудом дождался, пока дали занавес, и повело меня куда глаза глядят, еле тащил ноги, света не видел, но вдруг почувствовал, что нахожусь в лапах Щупака. Оплеухи посыпались градом: «Мерзавец, почему ты мне раньше не сказал, что ты комик?»

Мне бы так не знать Щупака, а ему своих двух с половиной жен, господи небесный, как я тогда не знал, что такое комик! С тех пор и пошло! Я стал играть лучшие комические роли. Вначале Шмендрик, потом Цингитанг \*, затем Куни-Лемл, а потом пьяницу Ноя в «Скрипке Давида» \*, даже Попуса в «Бар-Кохбе» \*, а однажды лакомства удостоился — в пьесе Латайгера «Зелик-певец» сыграл. Когда выхожу на сцену и произношу: «Жених и невеста, поздравляю вас, сейчас я вам покажу нечто сногсшибательное: инквизицию, конпердицию, доле-лемоле!» — то падают со смеху, животы надрывают!.. А когда я выступаю в рваном сюртуке и танцую «хосидл» \*, напевая при этом:

Я хосидл,  
Я хосидл,  
Веселое создание,  
Я хосидл,  
Веселое творение.  
Я хосидл,  
Хасидак  
И пою себе  
Хоп-чак-чак! —

тогда весь театр ходуном ходит. Мне нечего перед тобой хвастать. Но могу сказать, что Гоцмах, благодарение богу, человек с именем. Беда только, что меня не выпускают на сцену ежевечерне: и кто, ты думаешь? Щупак! Противный тип, пропади он пропадом! Не дает ролей, дал бы ему бог хворобу на всю зиму! Лучшие роли себе забирает, если кому-то аплодируют, а не ему, он готов сквозь землю провалиться. Такой это болван... Жить бы ему столько, сколько я еще буду чистить ему сапоги! Не бойся — все до времени. Бог даст, после праздников мы все, актеры, столкуемся и станем работать на марках, на паях. А если нет — пошлем его ко всем чертям и составим отдельную компанию. Мы бы давно это сделали, если бы не этот пройдоха Шолем-Мейер, пропади он пропадом! Тьфу!

Так заканчивает Гоцмах свое жизнеописание, плюнув на щетку и продолжая усердно чистить сапоги.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Лейбл показывает свои способности

История Гоцмаха очень понравилась Лейблу. И не только она, но и все то, что он за это время видел и слышал в театре, нашему юному герою стало любо и свято.

С Гоцмахом наш юный герой часто виделся, по несколько раз в день. Когда он после хедера приходил домой обедать, он прежде всего заглядывал в сарай, что там слышно. И рано утром забегал в сарай и приносил Гоцмаху что-нибудь поесть. А Гоцмах постоянно в сарае. Там он живет, там он ест, там он спит.

— Театр нельзя оставлять без присмотра. В театре всегда должен кто-то находиться. Шуточки — декорации, костюмы, парики! Кроме меня, Щупак никому не доверяет свое богатство.

Так хвастает Гоцмах перед своим юным другом, Лейблом, и чем дальше, дружба между ними становится прочнее! Гоцмах нашел, с кем поделиться. Ему нравился этот «пузан» — Лейбл с красивыми, ласковыми, добрыми глазами. Кроме того, тот ему все время приносит вкусную еду и папиросы.

— Горько и тяжело, мой дорогой птенчик, — жалуется Гоцмах своему другу, — достается кусок хлеба, когда приходится быть актером, комиком у таких негодяев, как Щупак, погуще бы их сеяли и реже бы они всходили. Жизнь он нам отравляет, этот кровопийца в бриллиантах, да сгнили бы они с ним вместе, господи, боже наш!

Гоцмах закашлялся, затем продолжает:

— Положим, мы с ним тоже не церемонимся. Каждый раз пугаем его, что уйдем и составим свой театр. И если бы не его флигель-адъютант Шолем-Мейер, — чтоб на него хвороба напала! — мы бы это давно сделали. Будь они оба прокляты! Я-то знаю, что я, божьей милостью, еврейский актер, хотя и комик.

Гоцмах делает серьезную гримасу и становится еще более смешным. Лейбл смотрит на него с искренним уважением, а комик Гоцмах продолжает:

— Как только наступает вечер и я выхожу на сцену, исчезают все невзгоды и несчастья. На сцене я другой человек. Что мне Щупак? Кто мне Шолем-Мейер? Мне на них наплевать! Когда я на сцене, никого я не вижу перед глазами. Вижу только лампы, людские головы, лысины, шляпы, шапки — и больше ничего. Кто тогда мне ровня? Твой отец с большим пузом? Пусть он мне, к примеру, отдаст этот сарай и весь двор со всем богатством, и пусть он мне, к примеру, предложит уступить за это сцену на один вечер — пшепрашам пане!..

Так хвастает Гоцмах перед юным Лейблом, а юный друг неотрывно смотрит ему в глаза и глотает каждое слово.

И Гоцмах продолжает:

— Или, например (напшиклад), пусть мне насыпят полный сарай золота и в придачу дадут в жены принцессу, чтобы я оставил это шутовство и пошел работать в лавку или занялся ремеслом, — такому человеку я в харю плюну. Слышишь, малыш, ты мой дорогой птенчик, ты еще не знаешь, каким колдовством обладает театр — тянет, тянет, как магнитом, ко всем чертям!

— Точно так же и со мной! — вырвалось у Лейбла. Когда Гоцмах закурил папиросу, он признался своему

другу, что давно тянет его театр, с тех пор, как он стал что-то осознавать. Когда он еще понятия не имел о существовании театра, то со своими товарищами разыгрывал «Продажу Иосифа», «На горе Синае» и другие библейские сюжеты, которые в хедере инсценировали. И Лейбл стал рассказывать, как они играли:

— Я вхожу, например, к фараону, царю египетскому, во дворец, вот так становлюсь перед ним и обращаюсь к нему (Лейбл складывает руки на груди и говорит тихо, потом громче и громче, очень темпераментно): «Мое имя Моисей, сын Амрома, я прислан к тебе, царь-государь, еврейским богом, богом Авраама, Исаака и Якова, имя его Иегова, чтобы ты освободил евреев от рабства. Доколе страдать? Чего тебе от них надо? Ты терзаешь их тела, ты убиваешь их детей и купаешься в их крови, ты изверг, ты разбойник! знаешь ли, с кем ты затеял тяжбу (Лейбл поднимает руку). Вот подыму я правую руку к небу и покажу, что умею...»

Глаза Лейбла горят, щеки пылают, лицо сияет, а Гоцмах в восторге прерывает его:

— Прекрасная роль! — вырывается из груди Гоцмаха, он хватает своего юного друга за плечи и трясет. — Сильная роль! Провались я сквозь землю, если кто-нибудь скажет, что ты не актер, честное слово, подлинный актер! рожденный для сцены. Знаешь, что я тебе скажу, пампушка?..

Гоцмах дальше говорить не может, его душит кашель. Схватился обеими руками за столб, откашлялся и стал ругаться:

— Погибель на мой кашель, господи, боже мой! Пусть он перекочет вместе с одышкой к Шолем-Мейеру, а колики в боку дарю Щупаку на праздник...

Отдышавшись и откашлявшись, Гоцмах снова повеселел:

— Знаешь, парень, что я тебе скажу?

Лейбл смотрит ему в глаза в ожидании.

— Вот что я тебе скажу, моя дорогая певчая птичка, я на твоём месте наплевал бы на все. Отца твоего с толстыми щеками послал бы в хедер, пусть он там сидит, а геморе дал бы отставку. Кантору — учителю — я велел бы спеть «Из-за наших грехов», а сам я бы...

Тут является на репетицию группа актеров и перебивает их беседу.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

### Глаз, который следит

В доме Рафаловичей никогда бы не заметили, что не хватает папирос, и что кто-то выносит из дому сдобные булки, и что в коробке убывает сахар, если бы не старая бабушка, которая кивает головой «нет-нет» и зорким острым глазом наблюдает за всеми. Эта старушка давно поняла, что в доме вор, и она стала выслеживать, подсматривать, и ей, слава богу, повезло. Она уже знает, чья это работа. Это маленький сорванец Лейбл...

Одно ей непонятно: зачем мальчику сдобные булки, сахар и папиросы? Кому? Товарищам? Или, быть может, самому себе?.. Старуха заметила, что рано утром, когда все еще спят, он просыпается, этот негодный мальчишка, наспех читает молитву и исчезает... Куда? Что мальчику делать так рано в хедере, если сам ребе еще спит?

И старуха сидит за молитвенником, прикидываясь, будто тихо молится, и кивает головой «нет-нет», а глаз смотрит и все видит... Как только Лейбл выходит из дому, старая женщина следует за ним и с крылечка видит, как он крадется в сарай. «Что ему, к примеру, делать такому юному в сарае?»

На следующий день история повторяется. Старуха не успокаивается. Глаз следит, сердце кипит, а голова кивает «нет-нет», и мозг работает. Слава богу, она уже все знает: проказник связался с одним из комедиантов, который ночует в сарае. «Хорошая компания: оборванная, голодная собака, да не покарает меня господь за такие слова!..»

Сейчас остается только одно: решить, что делать. Сказать ему: «Зачем ты тащишь, куда ты лезешь?» — так разве он ее послушает. Нынешние дети, не приведи господь! Разве они знают, что надо уважать старую бабушку, которой скоро восемьдесят? Что же делать? Сказать снохе? Тоже мне мама! Как будто характер хороший, мягкосердечная... Но к чему мне ее мягкосердечность, зачем мне ее доброта, если дети садятся ей на голову, делают что хотят, растут как сорняк! Нет-нет. Если сказать, так только сыну Бене... Бенья отец, до ста двадцати лет, отец не мама, отец накричит на ребенка, иногда побьет, да так, чтобы парень запомнил на всю жизнь.

Старуха так задумала и так сделала.

Мало того, что донесла, но пожелала поймать его за руку, вора этого, поймать и наказать. Пусть все увидят, как эта добрая душа — мама — растит детей и как она их калечит.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

### Червь сомнения

Тихо и ловко сделала старуха свое дело, так что и птица не узнала. По строгому секрету, тихо, на ухо, она донесла сыну Бене, что его младший сын черт знает с кем якшается. Бенья выслушал ее, посмотрел на старую мать телячьими глазами и сказал на своем языке коротко и ясно:

— Корова летела над крышей и снесла яйцо...

Это означало, что он не верит... Лейбл лучший, самый удачный из его сыновей. Сам Бенья не очень большой знаток священных книг, или, как он говорит, «не большой псалмопевец», но слышит, что люди говорят. А люди говорят, что Лейбл удачный сын. Недавно Бенья встретился с кантором, с учителем Лейбла, и спросил его: «Как там пасется мой подсвинок?» Кантор Исроел сказал ему, что голова у него прекрасная, что это необыкновенный парень, из него что-нибудь получится, что-нибудь, что-нибудь...

Остальное он договорил руками, и Бенья сам за него ответил:

— Задвижка к двери, или ось к колесу, или вчерашний день...

Но душа у Бени ликовала. Бог одарил его таким чудным, удачным сыном на старости лет!

Бенья смотрел на него и радостно думал: «Что из него выйдет? Может, раввин? А может, и повыше раввина!» Кто знает, может, ему суждено благодаря этому сыну прославиться на весь мир? До сих пор знали только здесь, в Голонешти, что существует богач Бенья, а в будущем об этом узнает весь мир. Со всех концов света приедут к нему в Голонешти: «Это вы знаменитого Лейбла Рафаловича отец?» Тогда он им ответит: «Знаменитый Лейбл Рафалович — мой сын»...

Вот такие золотые сны являются Бене наяву, и вдруг приходит старуха и вливает яд сомнения в его сердце, будто этот удачный и любимый сынок — вор, обыкновенный вор! И Бенья в ярости мечется по комнате, как разъяренный зверь, вымещая злобу на окружающих людях, особенно на своей жене Бейлке.

Бейлка знает своего мужа насквозь и задает ему вопрос мимоходом:

— Что случилось?

Он не отвечает.

— Хозяин проглотил кошку,— говорят про него мастеровые.

— Отец встал с левой ноги,— говорят дети.

И в доме все ходят на цыпочках, не понимают, с чего и почему пахнет порохом...

Ночью, в постели Бенья вертится, глаз не сомкнув, с боку на бок, вздыхает и кричит, как связанный бык.

— Червь! Ай, червь! Взяли да разрушили всю постройку.

Он выбирается из постели, ему хочется что-нибудь разбить, поломать, раскрошить и расшвырять по сторонам, все уничтожить!

Понемногу он успокаивается. «Может, это все выдумка, может, старухе показалась сытая корова вместо груши...»

И Бенья засыпает, спит крепко и неистово громко храпит.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### Поймали вора

Сам бог еще спит, но Бенья Рафалович уже на ногах.

У Бени принято: спозаранку, как только проснется, надеть халат и тяжелые домашние туфли, подбитые гвоздями, выйти во двор осмотреть хозяйство, все ли на месте. Бенья не любит, когда ему «морочат голову» и «в постромки свистят», что на языке Бени означает: он не любит, когда его не слушаются и все разбросано. Дрова должны быть сложены, двор — подметен, мусор собран в кучу, и каждая корова должна стоять на своем месте.

— Ах ты, коровища, опять в гостях у рябой раввинши! Доброго вам года!

Так изъясняется Бенья с коровами, одна из которых и в самом деле толстая, пузатая, бодливая, а другая — тихая, гладкая, с невинной, как у раввинши, мордой.

Бенья достает палку и бьет их обеих, но больше достается мясничихе, и Бенья объясняет ей:

— Поставили тебе корыто — жуй! Зачем залезать в горшок к чужой хозяйке?

Из коровника Бенья направляется в конюшню, и с лошадьми он ведет разговор по-своему:

— Эй, ты, мудрец из сказаний, если тронешь парней, я тебе покажу, как толкуют библейский стих «Бичевание».

А лошади не понимают речей хозяина (лошадиные головы!), поворачивают к нему обаятельные морды и невинно-хитровато смотрят на него, будто говорят:

— Вы о чем, об овсе?..

Одну он локтем двинет в бок, другой пощекочет шею, третью погладит по гриве, затем направляется к рабочим, чтобы немножко поругаться по-молдавански: «Ала драко!»<sup>1</sup> И вдруг нелегкая принесла старуху, которая мотает головой «нет-нет». Своим всевидящим оком она подмигивает Бене: «Вот он, твой любимчик, с полными карманами». И исчезает.

Беня вспомнил, что она ему рассказывала о сыне, сердце его екнуло. Ему хотелось, чтобы вся история была бы не более чем халдой-балдой, с минуту он готов был махнуть на это рукой: пустословие, женский вздор, бабьи сплетни... Но увидел, как сын быстрым шагом приближается к сараю, и отцовское сердце вскипело: зачем такому молодому подвинку нужен сарай, почему он в такую рань общается с актерами? Беня громко позвал сына.

Лейбл, погруженный в свои мысли, услышав голос отца, остановился в нерешительности: пойти или не пойти? Но раз отец зовет, надо...

— Куда так рано? — спрашивает отец.

Лейбл не ждал такой встречи, потому переспросил:

— Рано?

— А что, сейчас поздно? Куда ты все же идешь?

— Куда мне идти?

— Разве я знаю, куда ты идешь? Но именно это я хочу знать.

Бедняжке Лейблу даже времени не хватило, чтобы придумать подходящее место, куда бы он мог сейчас направиться. Стоит он и смотрит виновато отцу в глаза.

— Что ты выпучил на меня глазищи, не узнаешь? Ты уже помолился или нет?

— Да... нет, то есть да.

Лейбл путается, а гнев отца растет.

— Помолился или не помолился, хочу знать.

Лейбл оробел, обдало холодным потом.

— Да, еще не... то есть я еще не молился, это я собрался в синагогу.

---

<sup>1</sup> Ала драко — к черту (молд.).

Отцу немного легче стало на душе. Был бы рад, если бы это была правда. Но по глазам сына видит, не правда, ложь! И разозлился он на сына, на лучшего из всех детей! Подошел к нему ближе, пристально посмотрел — руки в карманах, — очевидно, старуха правду сказала, сын все выносит из дому туда, в сарай. И отец ему говорит:

— А ну-ка покажи, что там у тебя в карманах запрятано. Ты что-то распух.

Такого удара Лейбл не ожидал. Придя в замешательство, прилип к месту, шевельнуться не может.

— Не хочешь показать? Так я сам десятью пальцами открою твою торбу! — так проговорил отец, залез руками в карманы и вытряс оттуда все добро: свежие сдобные булочки, куски халы, чай и сахар, и уйма папирос, да еще кусок жареного гуся.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

### Обещан

Нельзя сказать, что Бенья Рафалович строгий отец. Бенья почти не вмешивается в дела детей. Дом ведет жена, Бейлка, он, Бенья, знает только одно: «Надо до-бавить овса». На его языке это значит, что надо давать на расходы. И Бенья дает столько, сколько надо. Не торгуется, никогда не спрашивает на что. Это не его забота. Дети тоже вольны делать все что угодно, даже откусить друг другу нос. Его это не касается. Разве только когда ребенок натворит такое, что отцу необходимо вмешаться, тогда не приведи господь! Надвигаются тучи на весь дом, гром гремит, молния сверкает, град бьет. Все, понуря головы, прячутся по углам, и больше всего достается Бейлке, маленькой, тихонькой Бейлке.

Бенья не ограничился тем, что под горячую руку дал сыну такую пощечину, что искры посыпались из глаз. Он схватил его за руку, втащил в дом, созвал всю ораву, и заставил красавца рассказать, что он натворил и ради кого стал вором... Но и этого было недостаточно. Бенья распорядился выпороть мальчика.

Как слабенькая Бейлка ни умоляла мужа, пусть муж ее режет на куски, не бить мальчика, не позорить его перед всеми, как ни заступалась вся семья за Лейбла, пытаясь доказать, что не велика его вина, как сам Лейбл ни умолял, клялся, как ни целовал отцовскую руку — ничто не помогло. Если Бенья решил всыпать, значит, быть по сему!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### После экзекуции

Вечером, когда Беня умерил свой гнев и сердце его смягчилось (всегда так: если отец отторгает свое дитя, сердце смягчается у него), он приказал ораве идти в театр. И хотя после «экзекуции», которая опозорила Лейбла, никому не хотелось идти в театр, но раз отец велел — идут.

Театр (сарай, значит) был переполнен, как всегда, музыканты играли, артисты пели, публика грызла орехи, шумела, веселилась. Только один Лейбл сидел словно чужой, с высохшими после слез блуждающими глазами. Голова была тяжела, будто оловянная, а в сердце горело, точно в аду. Лейбл никогда не представлял себе такого позора, чтобы такой юноша, как он, бармицве, лучший ученик в хедере и любимый сын родителей, был так позорно наказан отцом — у всех на виду!.. Так неожиданно все произошло, что ему некогда было даже оглянуться; только тогда, когда все уже свершилось, у нашего юного героя, точно буря, созрел протест. Это, к сожалению, был протест червячка против великана, протест, который мог выразиться только слезами, и Лейбл плакал, горько и много.

Лейбл плакал не в одиночестве, с ним плакала его мама. У Бейлки не было слов утешения для ее любимца, младшенького сына, она его целовала, ласкала и глотала свои собственные слезы, не оставляла его весь день ни на минуту. В хедер в этот день Лейбл не пошел. За столом сидел, но к еде не притронулся. В тот день у Рафаловичей за столом была странная тишина. У всех глаза опущены, каждый смотрел в свою тарелку, только одна старуха оглядывала всю семью своим видящим оком и как бы говорила: «Всех бы выпороть по очереди».

— Буне деменяце (это значит: доброе утро)! — обратился Беня Рафалович ко всей ораве, увидев, что он почти один за столом ест и пьет.— Чего вы застряли с волами в болоте? Смазывайте телеги и поезжайте дальше!

На сей раз неподражаемая речь Бени не произвела эффекта, как обычно. Тихо поели, потихоньку разошлись, каждый к себе, в свой угол, все понимали, что у маленького Лейбла сейчас на душе, и все удивились, когда увидели, что Лейбл идет с ними в театр.

По существу, никто не знал, что происходит в душе Лейбла. В то время, когда все смотрели на сцену (Лейбл

тоже смотрел), его мысли были далеко отсюда. Юная душа была беспокойна, голова Лейбла лихорадочно выработывала план, как рассчитаться с отцом за этот невиданный позор, как отомстить за побои, «ничего, побои заживут,— думал Лейбл,— но отцу это дорого обойдется». О! Он уже знает, что делать!.. Не зря он связался с таким человеком, как Гоцмах. Вчера у него был с ним серьезный разговор, и Гоцмах откровенно сказал ему (Гоцмах не любит говорить двусмысленно):

— Дурачок ты эдакий! Распотроши отцовский карман, достань хорошую, большую монету и отправляйся с нами, мы в субботу вечером уезжаем, и ты станешь актером, и еще каким актером, если не так — провались я тут на месте.

То, о чем Гоцмах сказал вслух, Лейбл втихомолку про себя думал. Но от мысли «распотрошить отцовский карман» его начинало лихорадить, это же просто воровство! Стать вором! Так думал Лейбл, ну, а то, что он все время носил Гоцмаху завтраки, обеды и папиросы, разве это не воровство?.. Нет, оправдывается Лейбл, это не воровство... Человек хочет есть, Лейбл делится с ним. Человек хочет курить, Лейбл приносит ему папиросы,— что ему за это следует?.. Но деньги? Воровать деньги у отца?! Так Лейбл думает, но сказать Гоцмаху, что он боится воровать,— ему стыдно, тогда он находит другую причину: что скажет отец?

— Отец разве будет молчать? — говорит Лейбл, и у него зуб на зуб не попадает.

— Как он узнает, дуралей? — говорит ему Гоцмах.

— Он спохватится, меня нет, и пошлет погоню.

— Он тебе соль на хвост насыпет. Ты знаешь, мы ведь едем в Бухарест, теленочек? Знаешь ли ты, где Бухарест находится, божья коровка?

— Я знаю, где Бухарест. В Румынии. Я даже знаю, что это недалеко отсюда,— отвечает ему Лейбл.

— Так о чем ты толкуешь, мудрец великий? Как только ты пересек границу, любой лишается власти над тобой: и отец, и мать, и всякий другой, пусть сквозь землю провалятся. Ты расхаживаешь по Бухаресту, руки в карманы, и кажешь кукиш всему миру. Ты свободная пташка, понял, о чем тебе говорят? Или?..

Лейбл хорошо понимает, что тут понимать? Но как только Гоцмах упомянул маму, Лейбл ухватился за этот довод:

— А мама? Моя мама! Она не переживет!

— Раз так, так пойдя к матери своей, спрячься под ее фартуком, малютка, и пусть она даст тебе конфетку...

Лейбл смущен, ищет доводов. Он хочет, душа его тает, он страстно желает уехать с актерами. Лучшей участи быть не может. Но он колеблется, сомневается.

Это все было до экзекуции, до позорного приговора, теперь, после позорища, учиненного отцом... Не о боли речь идет, а о стыде. Срам какой! Да, теперь дело другое. Теперь Лейбл ни перед чем не остановится. Даже слезы матери его не тронут. Пусть себе плачет. Глядя на нее, все в доме будут плакать и горевать. И даже отец смягчится. Ничего. Первое время он будет орать, на всех бросаться, затем пожалеет. Ой, как пожалеет! Будет каяться, а когда никого не будет рядом, будет тихо плакать, будет его искать, звать: «Где ты, Лейбеле, сын мой дорогой?» Он не успокоится, как праотец Иаков, которому принесли окровавленную рубаху растерзанного зверем Иосифа...\* Или как царь Давид, когда ему сообщили, что любимейший сын его Авессалом умер\*.

— Умер? Ага! Быть может, покончить с собой? Умереть, умереть! Лечь и умереть!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### На собственных похоронах

И идея о смерти понравилась нашему юному герою. Ему представляется, что он уже мертв. Как и отчего умер — этого он не знает. Но он умер. И вот лежит сын Бени Рафаловича мертвый, холодный, на голом полу, прикрытый черным полотнищем, у изголовья горят свечи. Вся семья стоит у гроба, ломает себе руки и плачет. Мама в обмороке, врачи приводят ее в чувство, но она опять падает в обморок... А отец? Он бьет себя по голове и кричит: «Гвалд, люди, я, Бенья Рафалович, собственными руками убил сына, лучшего, любимейшего сына!..» И даже старая бабушка, трясущая головой, плачет и обращается к богу: ему следовало бы ее убрать взамен молодого деревца, невинного агнеца, которому полагалось жить да жить! И кормилица бьется головой о стенку и рыдает... И женщины, чужие женщины, с кружками для медяков распевают: «Благотворительность спасает от смерти!.. благотворительность спасает от смерти!..»

С поникшими головами следует за телом Лейбла большая толпа. А сам Лейбл? Чудовищно! Он безразличен,

его это не трогает. Напротив, смерть доставляет ему удовольствие. Его радуют такие торжественные похороны. Здесь все знакомые, все мальчишки из хедера во главе с кантором Исроелом, и канторша, и Рейзл...

Рейзл!.. где Рейзл? Почему она сегодня не пришла? Каждый вечер она к ним приходит, и они все вместе идут в театр. А сегодня ее нет, почему, почему?

Нет смерти, нет похорон, нет причитаний «благотворительность спасает от смерти» — Рейзл пришла на ум и вытеснила из головы все прочие идеи и мысли.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

### Слезы

После визита директора и его флигель-адъютанта канторша Лея не хотела доискиваться сути и понять, чего хочет этот лысый еврей в бриллиантах, куда он метит. Она его благословила: голову бы ему сломать! И сказала коротко и ясно:

— Больше в еврейский театр, дочка, не пойдешь, хотя бы мир перевернулся вверх ногами, разве только после моей смерти.

— А смысл-то какой? — нехотя сказал кантор, канторша оборвала его:

— Смысл хочешь знать? Смысл самый простой: у человека должна быть седьмая клепка в голове и соображение — когда «да» и когда «нет». Иногда должно быть «да», а иногда — «нет», скажите на милость!

Что здесь произошло, Рейзл не совсем уловила. Но из маминых слов она поняла, что театру пришел конец, с ним ей надо распрощаться. Она хорошо знает свою маму, у Леи слово — это слово. Трудно только к нему прийти, но раз она слово дала и к тому же клятву, ничто не поможет, даже все цари Востока и Запада. Пиши пропало! Всего можно у ее матери добиться, но чтобы нарушить слово?.. И Рейзл вдруг стало тяжело на душе, точно солнце закатилось среди белого дня и наступила темнота. Что-то отняли у нее, силой из рук вырвали, и слезы душили ее. Она весь день утешала себя: ничего не будет, если она не пойдет в театр, где это писано, что надо каждый вечер быть в театре?.. Но когда наступил вечер, кантор распустил учеников, а канторша зажгла закоптевшую лампу и Божья улица окуталась темной пеленой, — она места себе не находила от тоски. Сердце ныло, и тянуло туда;

в театр. И не так в театр, как к Рафаловичам, в их богатый, светлый, веселый дом, с веселыми, добрыми, милыми людьми... И она вспомнила те сладкие слова, которые Лейбл ей тогда сказал, выходя из театра: «Завтра опять придешь?..» Она вспомнила, как после того Лейбл утром пришел в хедер свежий, здоровый, чистый, красивый, как всегда, и она издали прочла в его красивых, добрых и нежных глазах те же слова: «Сегодня ты опять придешь?..» Она ему ответила тоже взглядом: «Конечно, я сегодня опять приду — что за вопрос!»

И опустила глаза, чтобы мама не увидела, что она смотрит в сторону учеников отца. Мама не любит, когда туда смотрят. Мама не любит, когда смотрят в ту сторону, где мальчики занимаются... Ах, мама! Ей кажется на самом деле, что Рейзл интересуют мальчики... Ничего подобного!.. Но среди мальчиков есть один, сын богача — Лейбл зовут его,— вот это мальчик!.. Не потому, что он сын богача, но потому, что добрый, как ангел божий! Ах, знаешь ли ты, мама, что это за мальчик, какой у него дом, какие это люди!..

Так обычно думала Рейзл в ожидании, чтобы дню пришел конец и наступил бы вечер, чтобы отец отпустил учеников. Тогда она наденет единственное субботнее платье, набросит на себя красный платочек, возьмет ситцевый зонтик, который мама ей купила, и (были бы у нее новые ботинки!) пойдет туда, в тот большой, богатый, светлый, веселый домище, где живут добрые, милые и благородные люди. И вместе с ними на весь вечер — в театр, в рай. И вдруг все пошло прахом. Черт их принес, и черт ее толкнул встать и спеть для чужих людей и за это быть изгнанной из рая!..

И Рейзл упала ничком на постель и начала плакать. Долго оплакивала Рейзл свою горькую судьбу и большое горе. И плача, слышит она, как по ту сторону занавески шепчутся отец с матерью, ссорятся потихоньку, очевидно из-за нее... Она слышит мамин голос: «Если говорят нет — так нет, скажите на милость!..» И Рейзл заплакала еще горше. Из-за занавески к ее кровати тихими шагами подходит отец, кантор Исроел, наклоняется над ней, гладит по голове, говорит тихо, чтобы Лея не услышала, называя самыми нежными словами: Рейзл, и Рейзеле, и Рейзеню,— просит ее перестать плакать и обещает ей красивые вещи: мама ей завтра купит ситца на платье, шерсти на кофту, ботинки... новые ботинки... Рейзл еще сильнее плачет, так долго плачет, что Лея, которая все

слышала, хватается за голову и начинает кричать: «Я повешусь! Зарежусь!» Кантор Исроел умоляет ее: потише — не то сбегутся!.. Если соседи услышат, что у канторши Леи кричат, они прибегут и начнется: «Господь с вами, Лееню, что случилось?» — «Ничего, ничего». — «Кто это у вас так кричал?» — «Кричал? Упаси боже! Вам почудилось, это мы так смеялись». — «Смеялись, ничего себе смех!» — «Не нравится вам, так зачем пришли?» — «По добрососедству, Лееню, по добрососедству. Мы слышали крик, подумали, у вас кого-то режут». — «У меня режут? Пусть мои враги будут зарезаны богом...» Соседи уходят, стукнув дверью так сильно, что стекла дрожат. «Головой об стенку,— выпроваживает Лея соседей,— нашлись друзья, скажите на милость!»

Все это слышит Рейзл, лежа в постели, она тихо оплакивает себя, что родилась у бедных родителей, которые не могут ей даже пару ботинок купить, должна проводить жизнь здесь, в темноте, при коптилке и должна слушать ругань мамы с соседями, с которыми ежедневно ссорится и мирится... А там? О, там светло, весело, там смеются!.. Живут!.. Театр! Что там теперь происходит? Вероятно, до середины пьесы уже дошли, а может, уже спектакль закончился.

Скоро закроется занавес и публика начнет аплодировать и кричать: «Браво!», «Гоцмах! Гоцмах! Хосидл! Гоцмах!..». Публика будет так долго кричать, пока не появится Гоцмах, измученный, вспотевший, весь в мелу, и в третий раз станцует «Хосидл». Музыканты играют, публика аплодирует, а Гоцмах поет:

Я — веселый человек,  
Мне невзгоды нипочем...

С этой веселой песенкой Рейзл засыпает.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

### Пожар на Божьей улице

Было далеко за полночь, когда разнесся звон колоколов обеих церквей.

Бум-бум-бум!..

Бум-бум-бум!..

Если в Голонешти раздастся три раза «бум» — это значит пожар. А как только пожар в Голонешти, то сбегаются

все жители городка, чтобы помочь погорельцам. Делают все это сами местные жители, ибо пожарной команды нет. На пожар собирается все население городка, и начинается сутолока, беготня. Вот почему пожар в Голонешти своего рода благо, там можно увидеть всех и вся, узнать новости... Там весело.

В доме кантора Исроела Лея первая услышала звон. Слезы дочери не давали ей уснуть. И хотя Рейзл давно уже спала тем сладким сном, который знают невинные дети, сама Лея глаз не сомкнула. Мучилась, словно собаки ее грызли, зачем она дала слово и клятву? Темные и мрачные мысли не покидали ее, как вьедливые мухи. Канторшу бросало в жар и холод. Закрывала глаза — ей чудилось, что Рейзл вылезает из окна и бежит, не дай бог, к речке топиться... И бедная мать поднималась, садилась и прислушивалась к тишине темной ночи: «Дитя спит»,— кряхтя, сплевывает она и снова пытается уснуть. Вдруг услышала три раза «бум» и еще раз. Посмотрела в окно и увидела красное небо, прыгнула с постели, осторожно, чтобы не напугать, стала будить мужа:

— Исролик! Исроле! Вставай, бог не оставит тебя, ничего не случилось, пожар.

— Где пожар? Где горит?

Исроел просыпается, испуган, а Лея его успокаивает:

— Не пугайся, это таки на нашей улице, на Божьей улице, совсем близко от нас, боюсь сказать, третий дом от резника Бенциана,— говорит Лея и смотрит в окно.— Ой, гром меня порази! Пойди сюда, Исроел, что ты скажешь? Третий от дома Бенциана, неподалеку от синагоги, да?

Исроел внимательно смотрит в окно:

— Третий дом, говоришь? Боюсь, не второй ли.

— Ой, несчастье нас настигло! Исроел, быстрее одевайся! Синагога, не приведи господь, сгорит! Что мы тогда будем делать?.. Быстрее, Исроел, быстрее, только накинь на себя мой платок, чтобы не простудить горло, быстрее, быстрее!

Напрасно Лея подгоняет его. Исроел уже почти готов. Он уже вымыл руки и набросил на себя капот (от Леиноного платка он, конечно, отказался, тепло было на улице) и стремглав побежал спасать резника Бенциана, спасти синагогу.

На пожаре кантор Исроел один из первых в Голонешти. Лишь бы у него было ведро воды, стремянка, топор,

веревка, он и в огонь бросился бы, ни с чем не считаясь. Исроел — натура нежная, слаб, как муха, но если пожар, становится силачом из силачей. Выбить десяток стекол и в кровь разрезать руки — ему нипочем. Взобраться на крышу, чуть не убится — для него ничего не значит. Лея об этом знает и не пускает его одного, она идет за ним, тем более сейчас, когда это так близко от синагоги!.. «Что же делать с ребенком?» — рассуждает Лея сама с собой, она подходит к Рейзл, любуясь, как она лежит разбросавшись, и прислушиваясь к ее сладкому дыханию, Лея накрывает ее одеялом, говоря шепотом: «Уснула, бедняжка, в одежде, мне бы все ее горести...» — и направляется к пожарищу посмотреть, только на миг, на полсекунды — и обратно.

И обратно? — это так говорится только. Как можно уйти с пожара, когда огонь трещит и перебрасывается с крыши на крышу? Правда, до дома резника Бенциана еще довольно далеко, а до синагоги тем более. Пока горит пекарь Ошер (где Ошер и где синагога!). Ну, и что? Разве пекарь Ошер не еврей? Правда, Ошер сам виноват. Сколько раз его предупреждали быть осторожным с головешками и чаще чистить печную трубу, ибо из-за этого когда-нибудь случится несчастье. Но кого слушает пекарь? Вот он и доигрался! Да бог с ним, с пекарем, его дом уже пропал, он горит со всех сторон, горит как свеча. Но что делать с соседями? Кругом еврейские дома, покрытые соломой и дранкой и тесно прижатые друг к другу, один маленький ветерок — и вся улица займется. Вся Божья улица.

И народ окружил дома, смежные с домом пекаря Ошера. Побежали за ведрами, принесли топоры, веревки, достали стремянки. А кантор Исроел залез на крышу мясника Мойше-Бера и оттуда командовал, как заправский брандмайор, просил помощи, так как вот-вот загорится дом мясника, а затем и дом раввина Шмуела, а за ним пойдет дом даена Ноеха, а за домом даена пойдет дом резника Бенциана — синагога — недаром эта улица называется Божьей улицей.

Но слишком велико было сборище, велик крик, шум и гам, чтобы услышать голос кантора Исроела с крыши дома мясника Мойше-Бера.

— Горе мне! — кричала ему издалека канторша Лея, размахивая руками. — Что ты делаешь, разбойник! Не приведи господь, зарежешь свой голос без ножа, а ведь надвигается Судный день!..

Но кантор Исроел угадал. Не успели еще вынести весь скарб из соседних домов, как огонь перебросился с дома пекаря Ошера на дом мясника Мойше-Бера, и поднялся великий шум среди народа:

— Кантор! Кантор!..

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Шолем-Мейер говорит иносказательно

Почему пристают к дочери кантора, Рейзл? Взяли девушку и положили на бревна, лежащие во дворе Бени Рафаловича, а женщины снуют туда-сюда, много женщин. Иногда подходят к бревнам, на которых лежит связанная Рейзл, подходят, посмотрят и спрашивают друг друга: «Горит?..», «Горит?..», «Горит?..».

Что это все значит? Разве собираются сжечь Рейзл? За что?.. Она хочет подняться, но не может. Она связана по рукам и ногам. Она слышит, как под ее телом трещат дрова. В глаза бьет ярко-красный цвет. Она собирается с силами, разрывает веревку и... просыпается — Рейзл в одежде на своей кровати. Вслушивается, беготня, крики: «Горит, горит». Взглянула в окно — вся улица залита красным. Небо охвачено пламенем, люди суетятся. Рейзл зовет маму, отца — нет никого. Что случилось? Не проходит минуты — и Рейзл уже на улице.

Околдованная, она останавливается у двери. Влажной рукой заслоняет полусонные глаза. Красный платок сполз с незаплетенных кос. Из-под белой юбочки видны стоптанные туфли. Она вся залита красным небесным заревом, светится новой огненной красотой... Но кто возьмет на себя смелость, кто отважится запечатлеть эту удивительную картину: эту пламенно-прекрасную девушку с распущенными прекрасными волосами, с пленительными ямочками и черными цыганскими полусонными глазами, которые загорелись и светятся на томном, огнем залитом лице, словно две звезды на ночном небе? А где взять краски, чтобы изобразить Божью улицу этой теплой, тихой летней ночью, это ярко-красное небо, которое освещает город, дома, лица сбежавшихся сюда людей, которые орут и размахивают руками; которые издали кажутся пляшущими чертями.

— Добрый вечер, кошечка! Одна, совсем одна! Болячка маме! Верно, ушла на пожар. Там весь город. Узнав,

что пожар на Божьей улице, я себе сказал, надо посмотреть, что слышать у кантора? Дай господь мне счастья и удачи!

Нетрудно догадаться, что это правая рука и флигель-адъютант Альберта Щупака, наш хороший знакомый Шолем-Мейер Муравчик.

На сей раз Рейзл не испугалась его. Напротив, обрадовалась, увидев знакомого человека: может, он знает, кто горит. Но Шолем-Мейер не может сказать, кто горит.

— Знать бы мне столько горя... Какая разница кто: Берл или Шмерл, Йокл или Тодрес. Вижу, бегут — и я бегу. Ты лучше скажи, девушка, почему сегодня тебя не было в театре? Я, пташечка, искал глазами тебя около того карапуза, который постоянно рядом с тобой сидит, и не нашел. Я уже думал, что ты больна или другое приключилось несчастье.

И только теперь Рейзл вспомнила, какой день и какую печальную ночь она пережила, сколько было слез... И почему-то она рассказывает Муравчику о том, как мать ее проучила, а Рейзл не знает за что, может, за то, что она с отцом спела «Владыко вселенной?»..

— И это все. Еврейские предрассудки, ха-ха-ха! — рассыпался дробным хриплым смехом Шолем-Мейер Муравчик. Затем преобразился, сочувственно покачал головой и, глубоко вздохнув, продолжал: — Какое же это несчастье, когда такой бриллиант должен валяться вот здесь, в голонештинском болоте, среди зверей, которые не умеют оценить его, у суеверных родителей, не понимающих, в чем счастье их дитяти...

Рейзл подняла глаза: что имеет в виду этот человек?

Шолем-Мейер продолжает:

— С первой минуты, когда я услышал, как ты вот здесь поешь — помнишь, однажды утром ты пела «Изюм и миндаль», — я тут же сказал себе: «Вот это она и есть настоящая примадонна, примадонна из примадонн — дай мне господь счастья и удачи!»

Рейзл все еще не понимала, куда он клонит. А он продолжал:

— А уж, когда ты с отцом спела «О, боже», я решил: эта девушка создана богом для нашего театра.

— Я?..

Ни единого слова больше выговорить она не смогла, кровь ударила ей в лицо.

— Я это тотчас сказал нашему директору. Нельзя, говорил я ему, допустить, чтобы такая примадонна пропала, ее надо отсюда вытащить силой.

— Силой?..

Рейзл совсем растерялась. А Шолем-Мейер знает свое дело и продолжает без остановки:

— А как иначе? Можно ли оставить золото валяться в грязи? Разве можно допустить, чтобы пропал такой талант? Я себе представляю твой первый выход на нашей сцене в «Цветке», или «Суламифи», или в «Святой субботе» в коротеньком платице, в маленьких туфельках, и ты поешь своим сладким голосом песни Гольдфадена, Феймана или Латайнера — весь город с ума сойдет! Или, предположим, ты загримирована под мальчика с черными кудрями и вот поднимаешь свои огненно-цыганские глаза и начинаешь петь «Горячие бублики» \*, вот, скажем, так (и Шолем-Мейер поет хриплым голосом «Горячие бублики» и смотрит на Рейзл, какое произвел он впечатление):

Глядите же на этого бездельника, люди!

Слоняется он вечно, не сносить ему башки.

Не хвор он кукарекать, как и я, поверьте, будет:

«Евреи, покупайте горячие пирожки!

Самые горячие во всей Касриловке!»

Понятно, если ты своим чистым голосом споешь эти «Бублики», публика с ума сойдет тут же на месте, разве не так, душа моя?

Шолем-Мейер Муравчик видит, что слова его не на ветер брошены, подходит к ней, гладит ей руку:

— Слышишь, пташка, ты должна бога благодарить, что меня встретила. Теперешняя примадонна тоже из хорошей семьи, из бедных, как ты, из маленького польского местечка. Она мне обязана — стала актрисой нашего театра, это я ей помог уйти из дому... Эффектная история, отец ее...

Обидно, но Шолем-Мейер вынужден оборвать историю о примадонне. Он увидел издали, как чья-то фигура приближается к дому кантора. Лучше не стоять здесь с дочкой кантора, чтобы не помешать плану, уже полностью созревшему в его голове, пока он здесь стоял. Муравчик за руку прощается с Рейзл, пропев:

Приголубь меня, дурного,—

Будешь вся ходить в обновах...

Человек, который появился на другой улице, был не кто иной, как молодой герой нашего романа, сын богача Рафаловича Лейбл.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ Пятнадцатиминутный антракт

Мы оставили нашего юного героя, Лейбла, когда он отправился в театр и вообразил свои собственные похороны. Все сожалеют о его преждевременной кончине, оплакивают его, провожая к месту вечного покоя. Эта картина представилась ему так ярко и ясно, что стало грустно... сердце у него защемило, и он почувствовал на губах своих соль собственных слез. Лейбл оплакивает Лейбла и, сидя в театре, не видит и не слышит, что происходит на сцене. Очнулся он, только когда в зале раздался страшный шум, смех и крик: «Гоцмах! Гоцмах!..»

Эти возгласы пробудили нашего юного героя от грустного сна и вернули его к действительности, где евреи радуются еврейскому театру, наслаждаются, восклицают и громко кричат.

Антракт пятнадцать минут. Так напечатано на афишах театра. Но публика знает уже (ее не проведешь), какие это пятнадцать минут.

— Столько бы им болячек, на сколько больше чем тридцать! — так говорит голонештинская публика. Народ покидает захваченные места и выходит на улицу, кто поговорить, кто подышать свежим воздухом, а кто провести в театр родственника или знакомого безбилетника, кое-кто собирается заглянуть за кулисы.

Есть в Голонешти такие, которые в антракте пробираются за кулисы. Разумеется, порядочный человек этого не сделает. Туда пролезает музыкант, или ремесленник, или легкомысленный парень, которому нечего терять в Голонешти. Сюда приходит частенько, как мы знаем, хозяйский сынок Лейбл через особую дверцу, открытую только для него.

И каждый раз, когда Лейбл попадает за эту дверь, он чувствует себя совсем в другом мире. Ступив на трясущиеся доски сцены, он плывет, он порхает, он несется ввысь. Он видит перед собой переодетых, мелом намазанных актеров и актрис, он наблюдает, как они бегают, прыгают, поют, ему представляется, что он один из них, и невольно он усваивает их движения, манеры и жесты.

А когда на следующий день Лейбл приходит в хедер, он показывает своим товарищам чудные фокусы, которые вызывают бóльшую зависть, чем то, что он сын богача.

На сей раз, когда Лейбл оказался за кулисами, он не думал ни о сцене, ни об актерах, ни о фокусах. Он не обратил внимания на примадонну с большими синими, густо подведенными глазами, с огромными медными серьгами в ушах. Лейбл пробежал мимо толпы актеров, которые, заливаясь смехом, грызли одно яблоко. Юноша ничего не замечал. Он повсюду, во всех углах, искал Гоцмаха.

Его так трудно было узнать в костюме Капцнзона (в тот вечер шла знаменитая пьеса: «Капцнзон и Хунгерман» \*).

Был он в рваном изношенном фраке, в старом мятом цилиндре, в рваных ботинках, из которых торчали пальцы, в брюках с заплатами, одна из которых представляла собой карту, туз бубей.

Этот бубновый туз вызвал у голонештинской публики такой хохот, что с первой минуты появления Капцнзона — Гоцмаха на сцене до конца акта народ помирал со смеху. Туз бубей на рваных, прошу извинить, штанах? Такая выдумка в Голонешти никому не пришла бы на ум даже через тысячу лет! Народ был уверен, что придумал ее Гоцмах (наивные люди!), потому они на сей раз устроили своему любимцу Гоцмаху такую овацию, что директор еврейско-немецкого театра, Альберт Шупак, игравший роль Хунгермана, чуть не лопнул от зависти.

Зато Гоцмах был на седьмом небе. Он чувствовал, что сегодня играет божественно, что сегодня вечером все его боготворят.

Увидев Лейбла за кулисами, он понял, Лейбл ищет его, Гоцмаха, вероятно, хочет поблагодарить за игру, а может, принес ему что-нибудь вкусненькое. Гоцмах весело позвал юношу:

— Эй, пампушка! Кого ищешь? Вчерашний день? Почему тебя не видно, душа моя?

Лейбл подошел к своему другу и попросил нагнуться к нему, ему необходимо сказать на ухо нечто очень важное.

— Секрет на весь свет? — сказал Гоцмах, нагибаясь к Лейблу, чуть не переламываясь пополам.

Выслушав Лейбла, Гоцмах выпрямился, в его острых колючих глазах зажегся огонь. Ударив Лейбла по плечу, он произнес:

— Вот таким я тебя люблю! Вот так! Ты из моих людей! Я тебе давно сказал, твое место здесь, провалиться мне на месте, если я не прав...

В это время за спиной Гоцмаха вырос Хунгерман (Альберт Щупак).

— Какое место? Где место? Пропади ты, Гоцмах! — Услыхав голос директора, Гоцмах обернулся, сразу все сообразил и указал пальцем на Лейбла:

— Он говорит, вот этот пузан, что какой-то человек занял место в театре без билета...

Услыхав слова «без билета», директор загорелся. Альберт Щупак не может слышать эти слова, как садовник не может слышать, когда говорят: «Свиньи в саду»...

— Шолем-Мейер! Куда подевался Шолем-Мейер? Холера! — кричит Щупак, а глазами ждет Лейбла, но тот уже исчез.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

### Мсть, мсть, мсть!

В ту ночь наш герой спал, как после бани. Уснул он с четко созревшим планом мести. Мсть, мсть! Отомстить, проучить отца, рассчитаться за розги, за позор, за все, за все!..

Долго думать Лейблу не пришлось. О чем здесь думать? Ему показалось, что это так естественно, так просто, проще быть не может.

Вот вам весь план, как на ладони:

Ночью, когда все уснут, он потихоньку встанет и на цыпочках подойдет к кровати кассира, Лейбл спит с кассиром в одной комнате, а кассир «Сосн-весимхе» — парень, который любит поспать. «Сосн-весимхе» хвастает, что у него чуткий сон и он может услышать, как муха пролетает, но все знают: если «Сосн-весимхе» заснул, его могут вынести вместе с кроватью, он не услышит, разве только облить ведром воды.

Все же кассу можно ему доверить. Во-первых, он свой человек, родственник Бени Рафаловича — племянник или двоюродный брат. Во-вторых, просто честный парень, преданный, сторожит кассу, то есть стол, где деньги лежат, как преданная собака. Ключи от ящика стола всегда при нем в брючном кармане, и спать не ляжет, пока не проверит, хорошо ли закрыты окна и ставни, заглянет под кровать, не забрался ли вор; и брюки кладет в изголовье. Кровать сына хозяина напротив, чего ему бояться?

Вот этого кассира сам бог послал нашему Лейблу, чтобы он мог заполучить монету, как тому научил его друг Гоцмах. Гоцмах по секрету сказал ему, нужна звонкая монета. И чем больше, тем лучше!.. И Лейбл, продумав беспрюжный план, уже представлял себе, как достанет «звонкие» из кассы. «Сосн-весимхе» спит как убитый, храпит, как зарезанный бык, и он, Лейбл, стоит темной ночью над его кроватью и думает, как вытянуть брюки кассира из-под его головы. Осторожно сует он руку под подушку, вытаскивает одну брючину, затем вторую — и ключи в его руках. Тихонечко, на цыпочках пробирается к столу, после каждого шага останавливается, отдыхает, а сердце стучит, стучит. Больше всего Лейбл боится бабушки, которая спит рядом в комнате. У старухи чуткий сон и такой острый глаз, что видит сквозь стену, как иной через очки. Дрожащими руками открывает он ящик стола... Осторожно сует руку и вытаскивает пачку банкнотов («побольше банкнотов», — сказал Гоцмах), предусмотрительно кладет на место ключи и брюки кассира, а сам наутек... На улице ждет его с подводой друг Гоцмах, с которым он отправится на вокзал... А чтобы под горячую руку немедленно не устроили погоню, Лейбл придумал такую штуку: он наденет чужую одежду, свою — положит на берегу реки — пусть думают, что утонул... Его, надо полагать, будут искать в реке, искать и искать, а найдут кукиш... Справят семидневный траур... Будут плакать и рыдать долго-долго, пока не забудут... Пройдут годы, десять лет, двадцать, Лейбл тогда уже станет знаменитым артистом, займет свой театр, и он будет разъезжать по свету со своей труппой. Любопытства ради приедет в Голонешти и сыграет в сарае отца, всех пропустит без билетов — пусть смотрят, как надо играть! Когда поднимется занавес и вся труппа выйдет на сцену: хорошо одетые актеры, — он, директор, будет стоять посредине, в бриллиантах и алмазах, словно Щупак... Как только он появится на сцене, его наверняка узнают, мать несомненно упадет в обморок, а отец своим громовым голосом крикнет: «Лейбл», — и подыметя со всех сторон восторженный крик: «Лейбл! Лейбл! Лейбл!»

Лейбл открыл глаза и увидел, что у его изголовья стоит кассир.

— Сосн-весимхе, что случилось?

— Что случилось? Видели ли вы, чтобы у человека был такой крепкий сон! Будят, будят, а он хоть бы что, вставай, пожар!

— Где пожар, кто горит?

— На Божьей улице. Все ушли на пожар, уж час, как звонят колокола, мертвого и то можно разбудить.

Так говорит Лейблу Сосн-весимхе, которого только что самого с трудом разбудили и приказали не отлучаться из дому.

Легко сказать «не отлучаться», как можно сидеть дома, когда пожар? И преданный кассир вместе с Лейблом на минуточку вышел посмотреть, кто горит. Когда Сосн-весимхе вышел на улицу и увидел красное небо, услышал звон колоколов, то против воли подался туда, куда всех несло в ту ночь, всех, кроме Лейбла.

Лейбла понесло в другую сторону, он направился вправо, посмотреть прежде всего на хедер кантора Исроела, постучать в окно, разбудить его, если он спит и не знает о пожаре на Божьей улице.

Еще не дойдя до дома кантора, он издали увидел дочку его Рейзл и рядом с ней какого-то типа, который вдруг отошел от нее, повернул налево и исчез. Лейбл ускорил шаг.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

### Волшебная ночь

Если наш герой будет жить даже сто лет, он никогда не забудет ту ночь, когда на Божьей улице вспыхнул пожар.

И в самое счастливое, и в самое несчастливое время своей жизни, и сегодня, когда он остается наедине с собой, ему приятно лежать с закрытыми глазами и еще и еще раз переживать ту радостную, прекрасную, незабываемую волшебную ночь, когда он, сонный, мчался смотреть, кто горит на Божьей улице.

Все обозримое небо было окрашено в красный, как кровь, цвет. Куда девались звезды? Они растаяли. С другого конца улицы доносился далекий крик. Слышен был гул голосов, лай собак и треск горящих крыш. В зареве металась темные фигуры. Окутанная красным маревом, стояла перед ним дочь учителя, похожая на красную принцессу, околдованную ночью. Ее черные волосы никогда так не блестели; ее румяные щеки никогда так не пламенели; ее большие цыганские глаза никогда так не сверкали, как в ту ночь. И она ему казалась воплощением огня. Вот-вот она поднимется и исчезнет вместе со

звездами в светлом пламени заколдованной ночи. И он чувствует, как непреодолимо влечет его к ней.

А Рейзл узнала его издали. Она оглядывается по сторонам, нет ли чужого человека, который мог бы их увидеть. Нет, никого чужого. Никого нет — все на пожаре.

И тогда она медленно идет ему навстречу. Рассказывает ему, как проснулась... одна... дома... все на пожаре... «Кто горит?»

— Кто горит? Я тоже не знаю, кто горит. Меня разбудили, сказали — пожар на Божьей улице, и я побежал прямо сюда.

Рейзл глядит в его глаза.

— Прямо сюда? Почему прямо сюда?

— Сам не знаю, был бы пожар не на Божьей улице, я бы прежде всего прибежал сюда...

Он оборвал себя, чувствуя, что сказал лишнее, и покраснел... Рейзл с него глаз не сводит... Ох, как он красив в отсвете огня! Большие, добрые глаза его смотрят на нее так ласково, будто он ее родной брат.

Лейбл спохватился и пытается объяснить ей, почему прибежал сюда в такую ночь!.. И вообще, что ему пожар?! Чего он там не видел? Как дома горят на Божьей улице? Пусть себе горят, пусть вся улица, даже весь город сгорит, какое ему дело, теперь он уже не голонештинский... еще день, два...

Он взял ее за руку:

— Ты дай мне слово, что все останётся между нами? Я тебе кое-что расскажу.

И Лейбл жмет ее руку своей большой рукой, как тогда в театре, и тихо и серьезно, с тоской в голосе сообщает:

— Я отсюда уезжаю.

Она взглянула на него горящими глазами.

— Куда?

Пока не знает, но что уезжает, в этом он уверен, как уверен, что сейчас ночь и что это небо господне.

Оба взглянули на небо. Рейзл стало холодно от его вести. Она придвигается к нему поближе, смотрит на него и спрашивает, а голос ее дрожит:

— Надолго?

— Надолго? Что значит надолго? Навсегда, навечно.

— Навечно? Так мы больше никогда не увидимся?

— Никогда!

В огненном отсвете Лейбл видит, как лицо Рейзл бледнеет, он еще раз берет ее за руку, и ему чудится, ее пальцы стынут, и так жаль, что ему придется уехать.

Но помочь изменить что-либо он не в состоянии. Он уже договорился — кончено. И он решил раскрыть ей тайну, свою святую тайну, куда едет, зачем и с кем едет... А Рейзл смотрит ему в глаза, вслушивается в его рассказ и вздыхает.

Лейбл так смотрит на нее, словно спрашивает: ты не хочешь? Ты будешь тосковать? Скажи, будешь тосковать?

Рейзл краснеет, потому что это не то, не то! Просто она ему завидует, захотелось ему покинуть дом — он уезжает. А вот она? Ей бы, к примеру, тоже захотелось уехать отсюда. Разве может она? А уехать отсюда ей тоже хочется. Очень хочется. Лейбл думает, что только он терпит гнет родителей? Ну да! Если подумать, то она более несчастна, чем он...

И она ему рассказывает все, что пережила за этот день и всю ночь, и о разговоре, который был у нее с хриплым чудачком, которого в Голонешти зовут Кикимора, и слова директора она ему сообщила,— все, все ему рассказала.

И Лейбл, сам не зная каким образом, но он хорошо помнит, что они вдвоем сидели на пороге дома кантора, и ее маленькая ручка оказалась в его руке и он ее гладил, подносил к горячим губам, целовал кончики ее пальцев, а она не убирала своей руки, испуганно смотрела на него огромными глазами, горевшими в отблеске зарева этой дивной, прекрасной, волшебной ночи.

Какая сила усадила здесь рядом, близко друг к другу этих невинных детей? Какая сила заставила их рассказать друг другу, что у каждого на душе творится? Какая сила их вдруг так сблизила, словно они знакомы бог знает сколько времени?

То была чудесная сила этой заколдованной ночи.

Это была сила волшебства.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Звезды не падают, звезды блуждают

То, что Рейзл поведала Лейблу в ту сказочную ночь, когда они вдвоем сидели на пороге дома кантора Исроела, было для него неожиданностью. Странно приятной, веселой новостью. Ее слова — словно бальзам на сердце. Ее голос звучал в ту ночь прекраснейшей музыкой... Ах, как нехорошо, что он этого раньше не знал. Но хорошо, что она сейчас ему рассказала, хорошо, что теперь он это знает. Теперь он уверен, что это предна-

чертано богом. Несомненно — это судьба. Им, очевидно, суждено вместе терпеть невзгоды в плену Голонешти и суждено одновременно освободиться из плена. Вместе вырваться отсюда, из этого узкого, заброшенного, темного местечка, обрести новый, светлый мир. О, там у них начнется новая жизнь, новая, светлая жизнь. Оба пойдут одной дорогой, оба будут учиться любимому делу: он — играть, она — петь,— оба обретут мировую славу.

И Лейбл дает ей руку и призывает в свидетели ночь и небо: вот эта ночь, вот это огнем объятые небо пусть будут свидетелями, что никогда они не разлучатся друг с другом. Что бы с ними ни случилось, где бы они ни оказались — они будут неразлучны, везде и всюду неразлучны. И даже когда вырастут, станут взрослыми, то и тогда один без другого не сделают ни шагу. Никогда, никогда! Они оба будут в одном театре и изъездят весь мир, они и Голонешти посетят. Непременно, обязательно явятся в Голонешти. Приедут к родителям в гости. Весь городок об этом узнает, сбежится посмотреть как на чудо на сына Бени Рафаловича и дочь кантора Исроела... Ах, как хорошо им там тогда будет! Все им будут завидовать, будут бегать за ними, указывая пальцами: «Вот она, счастливая, счастливая пара!..» Они тогда, наверно, будут женихом и невестой... Почему женихом и невестой? Нет, не женихом и невестой, а мужем и женой, ха-ха... Потому что женихом и невестой они уже давно стали... с того первого вечера, когда их посадили в театре рядом.

— Помнишь, как тогда нас рядом посадили, ха-ха?

Помнит ли она, какой вопрос?.. Она бы вечно так сидела, ведь что может быть лучше, и милее, и дороже театра, еврейского театра?..

«Ах, ты отче небесный! Славно они договорились! Разве это не судьба? Разве нет здесь перста божьего, сам бог прислал каждому из них своего вызволителя: ей — Кикимору Шолем-Мейера, ему — Гоцмаха»...

И Лейбл ей рассказывает всю историю своего знакомства с Гоцмахом, как они сошлись душа в душу, как отец строго наказал его, Лейбла, и как он дал слово отомстить, расплатиться за унижение и стыд... И весь план мести до малейших подробностей, даже как он добудет «звонкие», — все он ей рассказал. Лейбл ее не боится. Почему он должен ее бояться? Он знает, чувствует: он и она с сегодняшней ночи — одна душа, недаром они по-

жали друг другу руки. И бог им свидетель. Он, правда, высоко в небесах, но слышит, он все слышит, все...

Их глаза смотрят в высь, в небо. А небо уже не такое красное. Пламя пожара все уменьшается и уменьшается. Шум и гам стихают. И снова показались звезды на небе в эту прекрасную, божественную летнюю ночь. Сначала одна звезда, потом еще одна, а потом еще и еще, бесчисленное множество звезд, они движутся: одна вверх, другая вниз.

— Смотри, звезды падают,— говорит Рейзл Лейблу, голос ее дрожит, сердце замирает.

Лейбл смеется. Неужели она боится? «Не надо бояться»,— говорит он, успокаивая ее, как взрослый. Хотя она старше его на целый год. «Зачем бояться звезд? Звезды не падают, звезды блуждают, они блуждают»...

Словно взрослый, словно старший брат, он объясняет, как блуждают звезды. Он знает, он в хедере учится, потому и знает, что каждая звезда — это душа человека, куда направляется душа, туда и направляется звезда, потому нам кажется, будто звезды падают.

— Звезды не падают, звезды блуждают,— убежденно говорит ей Лейбл, вглядываясь в глубину неба, очищающегося от алого покрова. Только один небольшой дальний край еще покрыт бледно-алой пеленой, но и он становится все светлее и светлее. И черные тени, прежде метавшиеся в свете пожара, расползаются в разные стороны. Уже слышны близкие голоса. Скоро люди окажутся здесь и увидят их сидящими на пороге... Надо встать и разойтись... Но не хочется...

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Лейбл поднялся и повернул в сторону пожара, но остановился и, обращаясь к Рейзл, еще раз произнес:

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Еще секунда, и он скрылся в тьме ночной.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ Доброй ночи!

Суббота на исходе. Все замечательные ее приметы ушли в прошлое.

Не видно странных молодых парней с расфуфыренными барышнями, которые весь субботний день, с утра

допоздна, гуляли по Панской улице и разговаривали по-русски (плохо, и смешно, но зато лишь по-русски).

И на Божьей улице никого не видно: ни евреев в субботних сюртуках, ни евреек с «бриллиантами» в ушах (фальшивыми — все же с бриллиантами).

И детей, играющих «в театр», в эту новинку, тоже нет на улице, их давно загнали домой. Уже солнце закатилось во всей своей красе и погас последний луч прекрасной бессарабской тихой, летней ночи. Где-то на небосклоне появилась звезда, светит, сверкает и улыбается черной и пыльной земле.

Набожные женщины уже прошептали молитву на исходе субботы: «Бог Авраама, Исаака и Иакова», — какая-то странная тихая тоска воцарилась, и желтые огоньки показались во всех окнах.

Благочестивые евреи уже справили Гавдолу \*, весело пропели положенные библейские стихи, но в пении их затаились печальные ноты... Трудно расстаться «с царицей субботой»!..

— Доброй недели! Доброй недели! — сказал кантор Исроел своей канторше и дочери и громко спел вечерние молитвы, посмотрел на Лею и подумал: «Вот теперь она затеет разговор о деньгах, туфлях и прочих будничных вещах».

— Доброй и счастливой недели! — ответила ему со вздохом канторша. Она о канторе даже и не подумала, она смотрит на Рейзл, а та сидит в углу в одиночестве.

О чем сейчас думает дочь, на мою голову все ее напасти, храни ее господь.

Лея давно уже сожалеет, что обошлась с дочерью так строго... С единственным ребенком, над которым она трясется. Нет, надо было как-то иначе... Она сознает, что так нельзя было, но уже пропало, поправить невозможно... Тем более теперь... Театр, говорят, ночью уезжает (ко всем чертям! хотя незачем проклинать евреев на исходе субботы!..).

Лея скорбит, и довольна, что еврейский театр уезжает из Голонешти. «Меньше трескотни в городе, — успокаивает она себя. — Голонешти обходился до сих пор без еврейского театра и в будущем без него обойдется, скажите на милость!.. И дитя, вероятно, забудет, что когда-то был театр на свете... Ребенок остается ребенком». Она ей купит пару новых ботинок, и все раны заживут... А если к тому прибавить еще «мармеладки» и еще какие-нибудь вкусные вещи, которые принесет ей утром с базара... Ой, горе мне!

Завтра воскресенье, базарный день, почти ярмарка, а у нее еще и копейки нет за душой! Надо приняться за Исроела. Ведь предстоит такая неделя, скажите на милость!..

Эти мысли уводят канторшу в важные, хоть и будничные дела, что она забывает на минуту о причиненной ею Рейзл неприятности.

А Рейзл? — оставьте ее в покое. Рейзл нет. Рейзл далеко, — далеко отсюда...

То есть пока она еще здесь. Но где она завтра будет?! Завтра?.. Завтра? Этого никто не знает, никто, только они вдвоем, она и Лейбл... И еще два человека знают их секрет: директор еврейского театра и его человек, Шолем-Мейер... Этот Шолем-Мейер сегодня утром, когда все были в синагоге, договорился с ней, что в полночь, как только часы пробьют двенадцать, она... ах, она уже знает, она знает что!.. И только она и он, и больше никто, никто!

И ей нравится, что она знает что-то такое, о чем мать понятия не имеет... Так ей и надо! Шолем-Мейер прав. Он говорит: «Нечего было запирать девушку в доме, одну, держать ее как птицу в клетке. Ни одной минуты свободы, голову поднять нельзя, петь запрещено. В театр не ходи! Туда не смотри! Там не стой! Что же, мы разве проданы родителям? Рабы мы у них, что ли?» Так говорит Шолем-Мейер, и он прав, очень прав!.. Завтра утром, когда мама встанет и увидит, что птичка улетела из клетки, — ой, как она пожалеет! Вот тогда у нее будет добрая неделя. Добрая и счастливая неделя!..

Но сердце Рейзл болит за отца. Отец, его она очень жалеет. И он ее так любит, с ним она всегда была так близка. Не как дочь с отцом, но почти как сестра с братом. Кто с ним в праздник Ханука \* будет играть в юлу? Кто в пасху украдет у него афикоймен из-под подушки? Кто ему нарвет зелени в Пятидесятницу? Кто с ним в Симхас-тойре пойдет в синагогу? И кто будет с ним распевать субботние песни?..

И Рейзл вспоминает, как еще недавно она на исходе субботы пела с отцом молитвенные напевы и народные еврейские песни, которым отец ее учил. А в это время мать ставила самовар и заваривала чай.

Одну песню, помнит Рейзл, они пели почти каждую субботу, если кантор был в хорошем расположении духа. Эта песня называется «Мессия», и петь ее надо попеременно еврейскими и русскими словами. Кантор пел по-еврейски, а она ему в ответ по-русски:

О н. «Что тогда будет?»

О н а. «Конец нашему изгнанию!..»

Заканчивается эта песенка припевом, который она с отцом исполняют обычно вместе и в быстром темпе:

День ликования, день песнопения,  
Радость любви, торжество единения,  
Всюду веселью, любви поклонение.

— Может, хватит «день радости»? — вмешивалась мать, подавая самовар. — Лучше выпить стакан чаю, скажите на милость!..

Ах, как хорошо, светло и весело! И кажется, только что это было, и все-таки — давно, так давно, бог весть когда!.. Ее охватывает страшная грусть, ах, как тяжело на сердце. Ее душат слезы, она сама не знает, что с ней происходит. Вот-вот зарыдает...

Отец увидел, что она забилась в уголок, подошел, погладил красивые черные волосы и, нагнувшись, спросил:

— Что с тобой, доченька?

— Ничего... доброй недели!

И припала своей горячей головой к груди кантора, обняла и поцеловала его.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### Соблазн денег

Беня Рафалович тоже справил Гавдолу, то есть прочитал молитвы, сопровождающие переход от субботы к будням.

У него эта церемония — особый парад, на котором должны присутствовать все дети, жена, старая мать, кассир, кормилица и кухарка. Беня читает слова молитвы, а домочадцы должны в соответствующих местах произнести «аминь!».

Молитву, провозглашающую наступление будней, Беня начинает громко, но грустно: «Благословен господь наш, царь вселенной, отделивший священное от мирского», по середине он спотыкается, бормочет себе что-то невнятное под нос, а в конце снова возвышает голос и, завершив молитву, тушит свечи и рычит, как лев: «доброй недели!» И все ему отвечают: «доброй недели!»

Затем он кивает кассиру, чтобы тот подсчитал недельную выручку и записал ее в книге «Счета». Кассир Сосневсимхе, засучив рукава, достает ключи из брючного кар-

мана, открывает средний ящик стола и с серьезным видом, вдумчиво и азартно начинает считать.

Прежде всего появляются на столе бумажные деньги, пачка за пачкой. Кассир Сосн-весимхе — специалист считать деньги. Он плюет на толстый палец, и ассигнации в его руках трещат, несутся, мелькают в глазах. Сначала у него идут уважаемые, крупные сотни, или, как Беня их называет, «простыни», потом белые, деликатные двадцатипятирублевки, за ними — огненно-красные десятки и синие пятерки. А за ними уже мелочь — зеленые выпцветшие трешки и желтые рваные рублевки, не очень много.

В то время, когда кассир подсчитывал деньги, Лейбл сидел вдали над молитвенником и делал вид, что читает молитву, переворачивая страницу за страницей, на самом деле он тоже считал деньги, считал и считал — и не мог сосчитать. Пока шли большие пачки, он мог еще понять сколько, но когда появилась мелочь, он потерял счет и начал снова заглядывать в молитвенник и шептать ту же молитву, что раньше. Но пачки с деньгами маячили перед глазами и не давали ему покоя, и он сам себя спрашивал: «Где они будут, эти красивые пачки, сегодня в полночь?» Где? у него, у него, у него!

Дрожь была Лейбла, и он усерднее и усерднее шептал молитвы.

Оба, Беня и кассир, с таким рвением работают, что не видят и не слышат Лейбла. Зато мама Бейлка — она видит и слышит, как Лейбл читает молитву, восхищается и думает: «Счастье иметь такое дитя».

Великая боль, которую она до сих пор носила в своем сердце, понемногу стала затихать. И она рассуждала:

«Чем ребенок собственно так провинился? За то, что он отдавал свой завтрак бедному, больному актеру, надо так наказывать ребенка, так его осрамить?.. Если бы Беня мог посмотреть на него моими глазами... Мне бы за него вся кара, за его светлое чело!..»

Но Беня, как назло, не хочет видеть и не хочет слышать. Он занят подсчетом денег. Покончили с бумажными, берутся за серебро. На серебро Симхе еще больший специалист: он подсчитывает серебро кучками, а кучки растут у него и растут, вот одна, вот две, три, пять, десять, и еще, и еще. Покончили с серебром, начинают медь считать, а медь в руках кассира молниеносно исчезает. Звенит и исчезает между пальцами, как у фокусника. «Вы мне не нужны», — думает Лейбл. Ему мелочь не нужна, и серебро ему не нужно. Куда он с ним денется? Ему

достаточно иметь те бумажные, которые отец держит в руках... И Лейбл, прищулив один глаз, видит, как отец берет в руки каждую пачку ассигнаций в отдельности, щупает, гладит и передает их кассиру, а тот укладывает вновь в ящик стола каждую пачку на свое место. Сначала почтенные сотни, затем помельче и, наконец, серебро и медь.

Лейбл одним глазом смотрит в молитвенник, а другим — туда, в ящик стола, на пачки денег. Там сейчас все его мысли, его мечты, его душа.

Что деньги — соблазн, об этом Лейбл слышал много раз в хедере от учителя и просто от старых евреев. И что соблазн денег очень велик — это он тоже слышал. Но их силу он почувствовал сейчас, в эту минуту, когда дьяволискуситель зацапал его в свои лапы и держит, знает Лейбл, что напрасна попытка освободиться из рук этого дьявола-искусителя. И он даже не пытается выскользнуть. Наоборот, просит бога, чтобы грех ему удался. Но если, не дай бог... если его схватят — ой-ой! Горе горькое!.. Он пропал. Гоцмах уезжает, театр уезжает, а он?.. А Рейзл?.. Что будет с ним?.. Нет театра!.. Нет Рейзл!.. Конец всем золотым снам! Конец!

«Тпрруу, поздравляем! Приехали «сваты» очистить сарай от еврейской гадости»

Так выражается Беня на своем наречии и встает с места.

Читатель, который уже знаком с речью Бени Рафаловича, сам должен понять, что «сваты» — это извозчики, а «еврейская гадость» — это «еврейский театр».

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Благословен вошедший возница Шимен-Довид

Если б смог, Беня сам себя бы высек, так он презирает себя за то, что позарился на такие гроши и сдал такой чистый и светлый сарай еврейскому театру. Поселилось бы в сарае стадо свиней, и то бы, считает Беня, не изгадило бы двор так, как за две недели умудрились голодные оборванцы (Беня имеет в виду актеров). Больше всего он ненавидит «расфуфыренного щеголя с выскобленной мордой» (это он так называет Альберта Шупака).

Можно смело утверждать, что Беня Рафалович и Альберт Шупак возненавидели друг друга с первой минуты их

знакомства. Они смотрели друг на друга сверху вниз. У Бени не было иного имени для Щупака, как «шмаравозник», а у Щупака не было другого прозвища для Бени, как «бессарабское пузо». Потому легко понять радость Бени, когда он увидел возницу Шимен-Довида, подъехавшего к воротам на огромном фургоне, за которым следовала телега, а за ней еще один фургон, а за ним еще одна большая телега, которую в Бессарабии называют «арбой». И Бенья затеял разговор с Шимен-Довидом на своем языке:

— Блажен вошедший, мое почтение, гость, Шимен-Довид! Скажи на милость, сколько ты берешь у этих голодранцев за то, чтобы увезти эту «дохлятину»?

— Блажен муж, — отвечает ему Шимен-Довид стихом из псалтыря, — тяжела доля возницы, — и по пальцам стал пересчитывать: скотина есть должна, людей содержать надо, овес стоит дорого, смазывать колеса опять же надо...

Увидев, что пальцев не хватает, Шимен-Довид махнул рукой и завершил перечень словами Писания:

— Блаженство в деснице твоей вовек — хоть бейся головой об стенку...

Шимен-Довид возница-хозяйчик. Он имеет собственный дом, три пары лошадей, дети у него обучаются в хедере, и сам он тоже разбирается в маленьких буквах, все псалмы знает на память, часто ссылается на них и в любом случае приводит стихи Священного писания.

Щупак договорился с Шимен-Довидом как с подрядчиком. В ход дела он не вмешивается. На исходе субботы Шимен-Довид должен доставить еврейский театр: актеров, декорации и все прочее — к вокзалу Фачешти без всяких отговорок, пусть даже град камней с неба обрушится... Так говорил сам возница. Но наступил исход субботы, а Шимен-Довида нет. Уже давно звезды появились на небосклоне и свет в окнах, а фургонов не было видно. Щупак отправил Гоцмаха для серьезного разговора. Гоцмах застал возницу с большим молитвенником в руках.

— Реб Шимен-Довид, ну?

Шимен-Довид приложил палец к губам: «Ни-ни».

Это означало, что, пока Шимен-Довид молится, никакого разговора не может быть. Гоцмах закурил, выжидая, а Щупак тем временем с ума сходил. Никогда он так не нервничал, как на исходе субботы. Он шушукался с Шолем-Мейером, набрасывался на актеров и актрис, со всеми переругался, проклинал Гоцмаха. Он ему приказал привести извозчиков с телегами, не будь его имя «Альбрет»!

— Что происходит с нашим директором? — спрашивали артисты, столпившиеся за кулисами.

— Не трогай его, он спятил, завтра утром к нему приезжает директриса.

— Откуда ты знаешь?

— Получена депеша.

— Станет Щупак с женой считаться.

— Разве у Щупака есть жена?

— Привет! Ты откуда свалилась?

— Поговаривают, у Щупака три жены.

— А я слышал, что одной он дал развод.

— Ничего подобного.

— Почему же он вертится вокруг примадонны?

— Примадонну оставь в покое, ей на всех наплевать.

— Брайнделе Козак. Какая вы защитница?!

— Может, вы бы заткнулись?

— Провалиться бы всем вам в тартарары.

— Где? Здесь в Бессарабии или там в Румынии?

— Обезьяна, посмотри на себя в зеркало!

— Может, хватит вам языки точить.

— А что же с женами Щупака?

— Тихо, детки, кажется, едут!

— Едут, едут!

— Трам-тарарам. Трам.

— Ерцем-перцем, пери-вири-ерцем!

— Давай жару, давай!

— Жару!

Услышав стук телег, актеры и актрисы дружно, как один человек, поднялись и с пением вышли из сарая, чтобы встретить возницу.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Возница Шимен-Довид командует

В честь еврейского театра Шимен-Довид привел целую команду извозчиков и погонщиков, молодых и старых, в обильно смазанных сапогах, с длинными кнутами в руках. Здесь были: Нойех Бримзе — извозчик в рваной накидке и плюшевом картузе; Нахмен Кокош — злой еврей, похожий на петуха; Янкл Маметлива — заspanный парень с красными губами; Гецл Галаган — высокий увальень с одним глазом; Генех Кустай — маленький, но крепкий человек; Карп Мундзик — молдаванин в меховой шапке. Карп-молдаванин нахлобучил шапку, подотк-

нул полы своей свитки и принялся смазывать колеса, остальные начали выносить из сарая ящики, узлы, укладывать их в повозки, не обращая внимания на актеров, которые ходили по пятам и упрашивали все укладывать осторожно.

Как генерал, стоял среди извозчиков Шимен-Довид и командовал, ругался и изрекал стихи из псалмов, перемешивая их с молдавской речью:

— Сюда, калбун, мерзавец этакий, придержи телегу, а то получишь сейчас по харе так, что останешься без носа.

Погонщики, очевидно, не очень боялись брани Шимен-Довида и его стихов, так как продолжали очень важный разговор о жратве:

— Скажи, браток, тебе не хочется отведать малаю на гусином жиру в честь наступления новой недели?

— Проваливай, одноглазый, со своей малаей! Я бы охотно поел цимес.

— И запил бы виноградным вином «Помяк», ха-ха-ха!

— Или просто свежей брагой.

Шимен-Довиду не нравятся эти разговоры, и он кричит:

— Что вы шумите, люди? Почему вы заговорили о еде, байстрюки? Вот я вам дам такой «Помяк», что зубов не соберете.

Крик и смех погонщиков и проклятия возницы Шимен-Довида сливаются с голосами актеров, которые тоже бегают как сумасшедшие, орут друг на друга, а все вместе на Гоцмаха.

— Гоцмах, черт бы тебя побрал!

— Гоцмах, сбегай! Гоцмах, стой! Гоцмах, держи! Гоцмах, сюда! Гоцмах, туда!

И бедный Гоцмах тащит на своих худых и острых плечах все тяжести, выслушивает проклятия, бросается в разные стороны, несет и кашляет, все валится из его рук, потому что директор еврейско-немецкого театра Альберт Щупак, сверкая бриллиантами, орет и подгоняет его.

Но какое это в конце концов имеет значение? Гоцмаху наплевать на Щупака. Пусть только свершится задуманное, пусть только паренек сегодня ночью достанет «звонкие» — и дело в шляпе.

«Паренек» — это Лейбл, которого он ищет глазами и не находит. Все дети Рафаловича во дворе, и зятя, и невестки, и кормилица, и кассир, даже старая мать вышла посмотреть, как театр укладывает свои вещи, и, между

прочим, проследить, не утащит ли кто-либо по ошибке им не принадлежащее...

Все здесь, кроме Лейбла. Гоцмах вне себя. «Кто знает,— думает Гоцмах,— вдруг этот малыш передумал и отказался от плана!» Хорош он, Гоцмах, будет тогда! Дурнем из дурней! Чистильщиком хозяйских сапог. А может, ему придется, избави господь, жениться на холере Этл-Двойре. Кондрашка взяла бы всех сегодня ночью! Погибель на их головы! Не дожить бы им выехать отсюда! Не доехать бы им туда, куда они направляются...

— Гоцмах, черт бы тебя побрал, что ты там ворчишь?

— Не ворчу, а учу свою роль.

— Нашел время для роли, сгореть бы тебе, идиот, пойди сюда!

— Аминь! И вы со мной, иду! — И Гоцмах зыркает во все стороны, он ищет Лейбла.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Шолем-Мейер Муравчик произносит речь

Напрасно собрались в тот вечер обыватели Голонешти возле двора Рафаловича, чтобы с почетом, как полагается, проводить театр. Шолем-Мейер бранился почти непристойно, несколько раз просил их разойтись, потому что еще укладывают и упаковывают и не дожидаться им конца. Но голонештинские любители театра и слушать его не хотели. Они знали, что разглагольствования Шолем-Мейера ничего не значат, ибо, по логике вещей, всему есть конец. И сборам, стало быть, тоже будет конец. Театр должен во что бы то ни стало съехать со двора. И как это театр покинет Голонешти так просто, без того, чтобы добрая половина жителей городка не проводила его. Глупости!

Упорство собравшихся было не по вкусу директору еврейско-немецкого театра и его флигель-адъютанту Шолем-Мейеру Муравчику. Для осуществления задуманного ими плана все должно было быть как раз наоборот: без единого чужого глаза. Как поступить? Как их убедить? Шолем-Мейер дошел в речах почти до крайности. Но ссориться с городом тоже нельзя. Может произойти скандал. А нужна полная тишина... Все должно быть шитокрыто. И Шолем-Мейер додумался (все же дипломат!): забрался на высокую телегу и обратился к толпе с речью, настоящим спичем:

— Уважаемая публика! Господа и дамы! От имени директора еврейско-немецкого театра и от имени всей труппы я имею честь передать вам, достопочтенная публика, нашу глубокую благодарность за симпатию, которую вы выказали нашему театру, театр, говорю это с гордостью, никогда не был пуст. Не только на спектаклях, но и каждую минуту актеры чувствовали ваше внимание. Это значит, что вы понимаете и высоко цените искусство и еврейский театр. Я должен просить у вас прощения, прошу сто раз, за мое невежливое отношение к вам, за то, что я иногда выражался грубо, выбрасывал кое-кого из театра или обливал холодной водой. Люди не ангелы... Не знаю, как вы, но наш театр никогда не забудет Голонешти, почитаемая публика! Наш театр уезжает, возможно, на продолжительное время. Нам было бы очень приятно, если бы вы могли устроить нам проводы. Но вот такая досада, проводить нас не все сумеют, так как мы не тронемся с места до рассвета. Если вы в самом деле хотите доставить удовольствие, идите спать и завтра чуть свет, с божьей помощью, придете сюда, и мы вам скажем «вилькомен»!<sup>1</sup>

Эффект от речи Шолем-Мейера, особенно от немецкого словечка «вилькомен», превзошел все ожидания. «Уважаемая публика» устроила ему овации, много раз кричала «браво», но этого ей оказалось мало, и тогда закричали «ура!». Но этим публика не полностью выразила свой восторг, а стала вызывать Гоцмаха: «Гоцмах, хасидскую! Гоцмах! Гоцмах!»

Тогда Шолем-Мейер еще раз залез на телегу и попросил извинить его, но публика напрасно кричит и орет. Гоцмах «хасидскую» петь не будет. Театр закрыт.

Шум не уменьшился, он усилился, вызывали Гоцмаха.

Шолем-Мейер понял, что подобиру публика не разойдется, и обратился к испытанному средству. Он порылся в тюках декорации, достал «брызгалку» и обдал толпу холодной водой. Верное средство. «Уважаемая публика» разбежалась до единого человека.

После этого Шолем-Мейер выждал два часа, и когда городок утих, директор Щупак пригласил всю труппу и Ехиела музыканта со всей его компанией в погребок выпить стакан вина и закусить бобами — кутнуть в свое удовольствие, как сам бог велел.

---

<sup>1</sup> Вилькомен — добро пожаловать (нем.).

Труппа не могла надивиться: почему вдруг директор проявляет такую милость?

Вот чудеса! Директор без конца заказывал по стаканчику на всех, сам пил и людей просил пить, произнося по своему обыкновению что-то невнятное:

— Что я вам скажу, это такое вино, слушайте, дети, пейте и чихайте.

В самый разгар попойки Шодем-Мейер, оставив всю компанию в подвальчике, сам незаметно, тихо, как тень, выскользнул и устремился к Божьей улице.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

### Напрасные страхи

Исаак, вероятно, не так дрожал, когда Авраам вел его на заклание, как наш юный герой, направляясь в повозке со своим другом Гоцмахом к Фачештинскому вокзалу. Оттуда они должны укатить в Унгены, к румынской границе. А дрожал он потому, что боялся, как бы, не ровен час, не догнали их, не увезли бы обратно в Голонешти и не выпотрошили... Ах! Лейбл боится об этом подумать. Лучше не дожить, лучше головой в омут...

И Лейбл вслушивается в топот копыт, в скрип колес телеги. И кажется ему, что кто-то гонится за ним. Он весь дрожит от страха. От страха? А может быть, от такой «езды»? Горе им обоим, ему и Гоцмаху! В такой телеге душа от тряски едва не выскочит. Это все проделки Шодем-Мейера, посадить Гоцмаха «на почетное место», в «арбу» с багажом, чтобы, не приведи господь, ничего не пропало из декораций. Но на сей раз Гоцмаху все ни-почем — директор, декорации, весь театр и повозка. Он уже сам директор, у него уже свой театр и своя труппа. У Гоцмаха, понимаете ли вы, за пазухой нечто такое, что согревает и обжигает, разливается, как бальзам, по всему телу и переполняет сердце радостью...

Это передал ему тихонько, именно здесь, в повозке, его юный друг Лейбл, руки его были холодны и зуб на зуб не попадал, все тело трясло, как от лихорадки.

— Сколько здесь, Лейбеню? — тихо спрашивает Гоцмах, наклонившись к его уху, чтобы возница не услышал. По внешнему виду пачки Гоцмах догадался, что здесь немалая «копеечка».

— Не знаю, — отвечает ему Лейбл тоже на ухо, и Гоцмах ощущает жаром пылающее дыхание Лейбла.

— Чего дрожишь, котик? Тебе холодно? — спрашивает Гоцмах дружески, как старший брат.

— Нет, те-те-пло! — отвечает Лейбл, стуча зубами.

— Вот как? Те-те-пло? — передразнивает Гоцмах.— Да ведь тебя трясет. Надену-ка я на тебя, любя моя, свою тендеверенду<sup>1</sup>, ты согреешься. Моя тендеверенда греет, как мать.

И Гоцмах бросился к тюкам с одеждой, вытащил из вороха изношенное тряпье, заплата на заплатке...

Чего ему пришло в голову назвать эту рвань таким вычурным именем? Возможно, во времена, когда она принадлежала Щупаку, она была такой одеждой, что можно было ее называть «тендеверенда». Но полагаю, это было давно, очень давно, когда Альберт Щупак еще, надо думать, не был директором, а ходил на свадьбы и обряды обрезания и пел «Кол мекадеш» («Все освящающий»). Но, отдавая эти лохмотья комику Гоцмаху, он несколько раз повторил, что дарит навсегда, и не поленился созвать всех артистов и показать свою щедрость, «какой подарок он, хе-хе, решил подарить». И Щупак вертел бедного Гоцмаха во все стороны, любовался, хохотал и хвастался:

— Слушайте. Это было когда-то прекрасное пальто с дорогим плюшевым воротником, и пелерина была сверху, слушайте же, купил готовое, значит, по дешевке, приятно было смотреть, хе-хе, не будь я Альбрет!..

На красном безбровом лице Щупака показались тогда даже слезы. И Гоцмах надел это дорогое пальто и тут же, за спиной директора изобразил Щупака с его отвратительным сморщенным лицом, с зашнурованным ртом и маленькими слезливыми глазками так искусно, что трудно было понять, кто Щупак и кто Гоцмах. А все-таки эта тендеверенда служила Гоцмаху, как заботливая мать. Она была у него и дождевиком, а в пути и подстилкой, и одеялом, и халатом, и всем, чем угодно. И теперь она ему пригодилась, чтобы закутать этого «малыша», который дрожит, как овечка. И Гоцмах, наклонившись к «малышу», шептал ему на ухо, утешая, как маленькое дитя:

— Чего боишься, дурачок? Не успеешь оглянуться, и мы уже в Фачешти. Там садимся на поезд, а утром мы уже на границе, в Унгенах. А от Унген до Ясс не больше получаса езды, так что, пока дома спохватятся, мы уже — тью-тью!..

---

<sup>1</sup> Тендеверенда — искаженное «ротонда».

От этой веселой мысли Гоцмах тихо рассмеялся и закашлялся, проклиная свой кашель.

Лейбл не слышит, что говорит ему Гоцмах. Лейбл дрожит. Он мог бы поклясться, что кто-то гонится за повозкой и сопит: «Ха-е! Ха-е!» И как страх ни велик, он высовывает голову из тендеверенды, смотрит назад и видит их старого пса Теркуша!.. «Откуда здесь Теркуш? Наверно, кто-то из домашних едет, а Теркуш бежит впереди»... Так думает Лейбл, и его обдает холодным потом, и, не успев еще раз оглянуться, он слышит сзади гиканье, свист и треск кнута. «Пропало!» — думает наш юный герой и уже готов ко всему.

Оказалось, возница Шимен-Довид догнал их на своем фургоне. Мешая молдавские и древнееврейские слова, он поносил погонщика:

— Ты все еще тащишься, сонный ангел! Я-то думал, ты уже на полпути к Фачешти, слышь, взгрей кобылу по бокам или по ногам, что она плетется как дохлая.

И не дожидаясь погонщика, Шимен-Довид сам треснул кнутом по ногам лошади и приказал:

— Слышь, когда приедешь в Фачешти, скажи остальным возчикам, чтобы накормили лошадей и возвращались домой, не дожидаясь меня, слышь, что тебе говорят, или ты спишь? Вье, ребята, вье!

Так обращается Шимен-Довид к своим лошадям и поворачивает фургон направо, а наш юный герой вытирает пот с лица и благодарит бога, что на сей раз пронесло. Он медленно высовывает голову из тендеверенды, взглядывает назад, и... засияли ему из фургона Шимен-Довида хорошо знакомые, черные, жгучие, цыганские глаза. Лейбл вскакивает, сбрасывает тендеверенду и против воли кричит: «Рейзл!..» Но прежде чем звуки его голоса достигают фургона Шимен-Довида, тот с гиком, свистом и треском уже поворачивает на другую дорогу, будто возвращаясь в Голонешти. Вскоре фургон исчезает, оставляя после себя густую пыль, запах лошадиного пота, смешанный с вонью дегтя.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

### Загадки

«Когда человек в страхе, ему могут померещиться всякие небылицы».

Так думает наш герой, сидя с Гоцмахом в повозке поверх декораций. И с чего взялась такая мысль, что у

Шимен-Довида в фургоне сидит Рейзл? Если же это Рейзл, тогда загадка; почему фургон повернул совсем на другую дорогу? Разве они не едут вместе?

Эти вопросы задает себе Лейбл, поворачивает голову, чтобы еще раз посмотреть туда, куда исчез фургон Шимен-Довида, и он встречается с взглядом своего друга Теркуша, который все бежит за ним с высунутым языком. «Вот глупая собака!» — подумал Лейбл, и сердце у него защемило, так ему жалко стало старого преданного пса Теркуша, который остался совсем один. «А жеребенок разве не остается один?..»

— Холера бы их взяла! — говорит Гоцмах.

— Кого? — удивляется Лейбл.

— Кого? Именно Щупака и хитреца Шолем-Мейера, видел, как они разлеглись в фургоне Шимен-Довида, «как в отцовском винограднике»!

Лейбл смотрит на Гоцмаха с еще большим удивлением: он конечно не видел в фургоне Шимен-Довида никого, кроме Рейзл. Что происходит?..

А у Гоцмаха своя забота.

Он рассуждает сам с собой:

«Одного не понимаю, хоть отрежь мне голову: какого черта они повернули обратно? Надо спросить у этого сонного дурака...»

— Эй, дядя! вставайте к утренней молитве! — Гоцмах говорит погонщику. — Не обижайтесь, что перебили вам сон. Не можете ли, например, сказать, куда ведет та дорога, по которой ваш Шимен-Довид только что поехал?

— Та дорога? — отвечает погонщик, повернув заспанное лицо. — Той дорогой едут в Новоселец, если хотят.

— В Новоселец?

— Ха-ха — в Новоселец.

— Откуда взялся Новоселец? Разве мы едем в Новоселец? Мы же едем в Унгены.

— Ха-ха? Мы едем! В Фачешти мы едем.

— Знаю, — говорит Гоцмах, — что в Фачешти. Фачешти — это станция, откуда едут поездом в Унгены, Унгены — румынская граница, а Новоселец — совсем другая граница.

Погонщик снова проснулся и говорит:

— Другая граница, говорите? Да, другая граница.

— Чего же вы говорите Новоселец? — сердится Гоцмах.

— Дорога, говорю я, ведет к Новосельцу. Той дорогой, говорю я, едут, если хотят ехать, говорю я, в Новоселец.

— В Новоселец? Откуда взялся Новоселец? Разве мы едем в Новоселец? Мы ведь едем в Унгены! — криком кричит Гоцмах.

— Мы едем! В Фачешти мы едем.

— Чтобы тебя камнем убило! Я ему говорю — Унгены, а он мне говорит — Фачешти! Попробуй столкнись с извозчиком!

Гоцмах выругался и обратился к Лейблу:

— Вот чудак!

Но Лейбл не слышит, в голове его вертятся вопросы, и самый главный: «Что с Рейзл?..»

— Знаешь, что я тебе скажу, моя дорогая певчая птичка? — говорит Гоцмах. — Можно предположить, что мой Щупак с пройдохой Шодем-Мейером что-то забыли и вернулись в Голонешти. Но тогда возникает вопрос: почему Шимен-Довид приказал остальным извозчикам его не ждать? Что-то не так (Гоцмах поглаживает несуществующую бороду). Получается, что этот еврей прав (он указывает на погонщика) и что они таки уехали, черт бы их побрал, той дорогой, которая ведет в Новоселец. — Тут Гоцмах, подняв толстый палец, начинает рассуждать, будто нараспев читает Талмуд с комментариями. — Но вот вопрос. Как же они отправили всю трупку и все декорации к румынской границе, а сами, как сумасшедшие, отправились черт знает куда? Вот это загадка?

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

### Голонешти не дремлет

У обывателей Голонешти земля уходила из-под ног после исчезновения сына богача и дочери кантора. Был только один человек, который не плакал, не охал, не стонал, а спокойно взялся за дело.

Сам богач, Бенья Рафалович.

Когда Бенья Рафалович из всей сумятицы, криков и причитаний понял суть дела, он распорядился: чтобы было тихо. Затем велел немедленно запрячь лошадей и привести «кокарду». На языке Бени это означало: привести пристава, с которым был на «ты».

— Бери сколько хочешь, — сказал ему Бенья, — разори меня до нитки, но разыщи мне моего ребенка...

Трудно поверить, что человек в течение одного дня может так осунуться, как Бенья. Его всегда розовые щеки

посинели, похудели и обвисли. Глаза бегали из стороны в сторону, словно они кого-то искали. Даже всегда полный и круглый, как барабан, живот сразу обмяк. Бенья не кричит, не набрасывается, не ломает стулья. Тихими шагами бродит он по дому, из комнаты в комнату, мрачный как тень, даже на двор не выглянет, мир ему не мил. А тут еще жена, Бейлка, заболела. У нее сердце, ее надо успокоить, говорит врач... Успокоить? Чем Бенья может ее успокоить, когда ему голову отсекли, отняли самое дорогое и любимое?

— Бери сколько хочешь,— повторил он приставу,— до последней рубахи, только доставь сюда моего сына...

«Кокарда» смотрит на Бенью. Никогда не видел его таким взволнованным, сочувствует ему, положив руку на плечо Бени, успокаивает:

— Будет хорошо! Прикажи, Бенья, «кидеш», то есть пусть подадут чего-нибудь выпить.

Начальство с рвением занялось расследованием, стало прощупывать и изучать, добираться до корня, до первопричины и решило, что во всем повинен шельма кантор. Он точно знает, куда парочка девалась, но прикидывается дурачком, так пусть посидит пару часов «в каменном мешке», познакомится с крысами, клопами и другой живностью, тогда он перестанет дурака валять... И кантора арестовали бы, если б не умная голова канторши Леи.

Оправившись после первого потрясения, канторша Лея прозрела и вдруг поняла, что вся эта история связана с еврейским театром. У нее тысяча доказательств. Кто лучше матери знает? Она, гром порази ее, с первой минуты появления тех двух скоморохов, Щупака и Шолем-Мейера, с той минуты, как переступили они порог их дома, почувяла, что пришли они за ее кровинушкой. Гвалд! Гвалд! Где были ее глаза? Затмение, ничего другого. Или дурной глаз. Божье наказание за ее большие грехи!.. Теперь все ясно как божий день. В горе матери повинны многие. Прежде всего ханжа Неха, хозяйка гостиницы, и ее две распутные сестренки, которые со всеми ха-ха да хи-хи. Они все знают, все... А Ехиел-музыкант? Этот шарлатан льянствовал с актерами всю ночь в подвальчике Генеха. И сам Генех — великий праведник: разве не сбегала от него старшая дочь со станovým писарем три года назад? Лея готова поклясться на Торе, что все они причастны к ее несчастью. Лучше бы приняться за них, чем приставать к невинному человеку, ее мужу, который чист как стек-

лышко, ничего не знает и не ведает. Видано ли такое!..

Так канторша не только отвела подозрение от себя и мужа своего, но раскрыла глаза начальству, вооружила уликами, указала верный путь поиска.

Разумеется, что все названные канторшей были задержаны и допрошены с пристрастием. Поначалу они испугались, что их подозревают в каких-то темных делах, но когда поняли, что речь идет об актерах еврейского театра и побеге парочки, успокоились и стали давать показания. Каждый из них мог рассказать многое.

## ГЛАВА СОРОКОВАЯ

### Свидетели

Первым явился лавочник Генех, человек в летах, седой как лунь, но с румяными, пухлыми, как у молодого, щеками, с солидным брюшком. Генех звезд с неба не хватал, но было у него одно достоинство: он был человеком правдивым, никогда не рассказывал небылиц, того, чего не знал. И начал он рассказывать чистую правду, как перед богом. Такая была история.

На исходе субботы, так у него заведено давным-давно, с тех пор как начал торговать вином, достал он свечу и спустился в погреб посмотреть, в каком состоянии вино. Какое вино играет, а какое надо фильтровать. Какое вино надо подсластить, а какому придать крепость, которое нужно разливать в бутылки и закупорить, чтобы не скисло, но есть и такое вино, которое должно еще выстоять, чтобы обрести вкус, сладость и крепость. В чем вообще вся мудрость виноделия?..

На этом месте Генеха прервали, не о виноделии речь, а совсем о другом. Поговаривают, у него всю ночь пьянствовали актеры еврейского театра...

Услышав слово «пьянствовали», Генех рассмеялся: «Ха-ха-ха, пьянствовали? Это называется пьянствовать? Евреи разве пьянствуют?» Дело так было: находился он в подвале за работой, при вине значит, пришли и доложили, что актеры еврейского театра хотят выпить вина, он оставил дело, полагая, что будет обильная, изрядная попойка, вино польется рекой. А выпили они всего-навсего две с половиной четверти красного и одну четверть белого. Одни только разговоры о пьянке. Он по опыту знает: кто

говорит о вине, тот не пьет вина, а кто пьет вино, не говорит о нем...

— Это верно,— перебили допрашивающие виноторговца и попросили его рассказать, что он знает о сбежавшей парочке.

Оказалось, что о парочке он знает столько же, сколько они, то есть: когда он проснулся, то первым делом спустился в винный погреб...

— Хватит о вине,— оборвали Генеха и взялись за музыканта Ехиела.

Музыкант Ехиел — человек с пышной шевелюрой, серебряным кольцом на пальце, в высокой шляпе и пелерине, но хвастать здоровьем не может. То есть так он с виду не плох, но шея у него всегда перевязана и говорит он очень хриплым голосом. Ехиел утверждает, что хрипота его от скрипки. А его коллеги говорят, что скрипка тут ни при чем. Беда в том, что он любитель женского пола, то есть у него романы со всеми голонештинскими бабенками, шарлатан, повеса, каких мало. Его жена Хане-Перл хорошо знает своего муженька, все его повадки и фокусы. Но Хане-Перл не любит скандалов. Правда, до поры, человек не из железа, и всякому терпению приходит конец. Потому случается (и довольно часто), что она ему выдает, но чтобы никто не видел. Хане-Перл не такая, она не любит скандалов...

Теперь ясно, почему Ехиел так испугался, когда его вызвали на допрос и предложили рассказать все, что он знает о еврейском театре. Ехиел откашлялся, пригладил шевелюру и начал говорить.

Ехиел, стоит ему захотеть, умеет вести разговор. Черт бы его побрал! Но на сей раз ему не повезло. Быть может, потому что Хане-Перл была рядом? Язык у него заплетался: пробы и репетиции, репетиции и пробы, оркестровки и партитуры, партитуры и оркестровки — все остальное его не интересовало, кроме репетиций, оркестровок, репетиций, ничего... А если его товарищи музыканты говорят, будто у него шашни с примадонной, то пусть им плюнут в лицо, так это неправда, ложь, ни единого верного слова, вранье, небылица.

Хорошо, перебили его, очень хорошо: о его отношениях с примадонной потом поговорим, время терпит. Может, он будет любезен с расскажет о парочке, которая, как считают, сегодня ночью удрала вместе с актерами?

Ехиел-музыкант поклялся такими клятвами, что и выкресту можно было поверить, и ответил, что об этом

он ничего не знает, совершенно ничего не ведает, вот даже на столечко... «А не врешь ли?..»— «Пусть меня хватит удар, превратиться мне в скалу, пускай выскочат из меня...»— «Ша, довольно, довольно!»

Ехиел-музыкант полагал, что он уже отделался. А кончилось тем, что распорядились заключить его в отдельной комнате и попросили подождать, пока его еще раз не вызовут, если понадобится. Тем временем взялись за хозяйку гостиницы, за Неху и ее двух сестричек, но тут вышел скандал.

Наши читатели помнят, что в самом начале романа Шолем-Мейер Муравчик окрестил Неху «поцелуйчиком»... Трудно сказать, почему Неха вскипела, когда ее вызывали на допрос. Потому ли, что ее, праведницу, женщину чистой и скромной души, подозревают в каких-то махинациях? Или по другой причине? Но когда ее спросили, что она знает об исчезнувшей парочке, Неха раскрыла рот и из него полился поток проклятий, она подняла такой крик и гам, что невозможно было ее успокоить. Она метала гром и молнии на своих врагов, которые завидуют ее нищенскому куску, и желала зла: «Чтоб им рот перекошило, владыко небесный! Чтоб глаза у них повылезали, чтобы у них руки и ноги отнялись, чтоб им на костылях ходить, чтоб родителей своих лишились, чтоб по домам ходили побираться, они и их дети и внуки... боже милостивый, милосердный и праведный».

## ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

### Как масло на воде

Проклятия Нехи не помогли. Ей дали понять раз и навсегда: если она скажет все, что знает, хорошо; а если нет — пойдет туда, к музыканту... Неха испугалась и рассказала на плохом русском языке, а в общем-то, по-еврейски целую историю.

Она сама, Неха, значит, вдова и содержит гостиницу. Ха-ха, тоже мне гостиница! Сарай, вчерашний день. Она давно бы закрыла эту гостиницу, но что ей делать, если ее покойный муж оставил ей бомбу...

Начальство насторожилось:

— Какую бомбу?

Она имеет в виду — дом, дом она имеет в виду, дом — развалина, никто не соглашается его купить, разве только даром. Каждый, который приходит смотреть дом, говорит:

дом был бы ничего, если находился бы вблизи рынка. «Выходит, мне надо взять дом на плечи и перенести его на рынок?»

— Нет, не это. Рассказ о доме оставь на другой раз. Ты расскажи нам, дорогая, что ты знаешь о еврейских актерах, которые у тебя проживали?

Неха не сочла себя очень обиженной, что ее прервали, и начала рассказывать об актерах.

В тот субботний вечер, когда она только закончила молитву и готовила самовар для этих скоморохов, именно для них, значит, к ней подходит Кикимора, которого зовут Шолем-Мейер, и говорит ей: «Неха,— значит,— сколько вы хотели бы за ваш кошачий бурнус и теплый платок?» Она посмотрела на него как на сумасшедшего. «Недотепа,— сказала она,— зачем вам женский платок и кошачий бурнус летом?» Он ей в ответ: «Какое ваше дело. Если спрашивают, значит, нужно». Что вам сказать, он пристал как клещ. Что снилось ей в эту ночь и в прошлую, пусть это приснится ее врагам! Она принесла ему бурнус и теплый платок... Тогда он к ней обратился: сколько ей за барахло? Она ему в ответ: если это барахло, зачем он его покупает? Он сказал: «Какое вашей бабушке дело?» Она ему назначила цену, он обозлился: «Вы что, рехнулись?» Она ему: «Желаю вам сойти с ума за всех евреев!» Начали торговаться и ссориться. Он: «Старое тряпье», она ему: «Тогда не покупайте», он ей: «Поцелуйчик», она ему: «Кикимора». Долго торговались и договорились, получила наличными. Забрала деньги и подумала: «Господи! Зачем этому человеку старая женская шуба и зимний платок? Так срочно, перед самым отъездом?» И она стала следить, что же будет дальше. Тем временем из театра вернулись все остальные актершики, напились чаю, расплатились за квартиру, столько им болячек, сколько полтинников они не доплатили, и ушли к Генеху в подвальчик выпить вина.

Чего это вдруг перед отъездом вино? Ей бы не знать ничего дурного! Это не ее дело? Пусть пьют на здоровье. Не за ее счет, она занята совсем другим! У нее мозги сохнут: зачем этот комедиант вдруг купил у нее женскую шубу и теплый платок? Запаковал бы он бурнус и платок со всеми остальными вещами, она могла бы подумать, что он кому-то хочет привезти подарок из Голонешти. Если это так, ей очень жаль, что она по дешевке продала, болячка ему! А что получается? Он купил платок и бурнус и говорит ей: «Пусть это все висит на стене до последней минуты». Вы слышите? Что же было? Чуть не в полночь

является Кикимора, берет шубу и платок и уходит. Она спросила его: «Куда?» Он ей в ответ: «Какое вашей бабушке дело?» Она: «Чтоб тебе головой зарыться в землю!» Хочу лечь спать, но не могу. Как же мне лечь, если все остальные черти где-то у Генеха в подвальчике и должны прийти прощаться. Гости, столько дней проживали здесь... Как это можно уезжать, не попрощавшись? Точно, было уже далеко за полночь,— ага! Одна повозка, другая, третья. Кто это? Конечно, они, скоморохи. Вся компания уезжает, значит, «будьте здоровы, езжайте на здоровье». Она вглядывается, в третьей — последней — у Шимен-Довида в фургоне в самом центре сидит эта обезьяна, их директор, а рядом с ним женщина, закутанная в бурнус и зимний платок. Лица не видно, только глаза... знакомые глаза! Господи боже мой! Кто это может быть? Ихних женщин она знает в лицо. Уродины, тьфу! Одна хуже другой. А эта, кажется, красивенькая, то есть лица не видно, но глаза черные, цыганские глазки, знакомые, знакомые глазки. Кто бы это мог быть?.. Остановились бы хоть на минуту, она бы уж узнала, кто это. Но секунды даже не прошло: подъехали, попрощались, и их уже нет. Всю ночь она не могла уснуть: гвалд, гвалд! Кто эта девица со знакомыми цыганскими глазами? Только утром, когда она услышала историю, которая произошла в городе, она схватилась за голову, позвала обеих сестер и говорит им: «Дайте мне на завтрак солому и зовите меня теленком!..»

Короче, земля и небо, очевидно, поклялись, что тайн не бывает, а правда должна всплыть, как масло на воде. Дай ей бог счастья, она знала наперед, что так будет. Почему же этого не случилось с ее сестренками? Разве ее сестренки не бывали каждый вечер в театре? Потому, что ее сестренки не стреляли глазами в этих актерчиков, как дочь кантора...

— Замолчи, выродок! — раздался дикий вопль, и канторша Лея, как разъяренный зверь, бросилась на хозяйку гостиницы. Бедняжка готова была разорвать Неху за ее последние слова... Счастье, что вовремя разняли этих двух женщин, иначе бы случилась беда.

## ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ Вдогонку за беглецами

Из всех свидетельских показаний стало ясно и протоколом оформлено, что «сын Бени Рафаловича, Лейбл, четырнадцати лет, и дочь кантора, Рейзл Спивак, пятна-

дцати лет, удрали с компанией еврейских актеров в ночь с субботы на воскресенье к румынской границе, что выше-названный Лейбл похитил из кассы своего отца Бени Рафаловича столько-то...».

А раз так, то необходимо по горячим следам начать погоню, вдруг их поймают.

И решено было послать за ними людей, чем скорее, тем лучше.

Эта экспедиция состояла из двух человек: кассира Рафаловича, «Сосн-весимхе», и Аншла, сына Рафаловича.

Аншл — холеный молодой человек двадцати двух лет, упитанный, белолицый, с красными, как вишня, губами, красивой бородкой и черными лоснящимися кудрями.

Нельзя сказать, что Аншл был тупицей, но учиться не хотел, хоть режь его на части, хоть жги.

— Мужик неотесанный, что из тебя выйдет? — упрекал его отец, — живодер или поводырь медведей? Ты хоть бы научился читать поминальную молитву «Кадиш» по усопшим родителям. А ну, повтори «Исгадал веискадаш»...

Этого не могла выдержать даже маленькая Бейлка, она вмешивалась:

— Рехнуться бы моим врагам, что вдруг «Кадиш», мы, кажется, еще живы?..

— Глупая ты! — возражал ей Бенья, — когда этот неуч научится читать «Кадиш», тогда можно и умереть.

В результате Бенья забрал его из хедера.

— Учиться не хочешь, «Кадиш» читать не умеешь, так научись хотя бы свиней пасти.

Это означало, что Бенья желал приучить его к хозяйству. Аншл этого и хотел. Он научился ездить верхом, говорил по-молдавски, как истый молдаванин, знал толк в кукурузе и с первого взгляда определял, сколько топлива и сколько древесины получится от того или иного дерева. Одним словом, Аншл обнаружил способности купца.

Совсем недавно Бенья сосватал его, обещал приданое. Нашел ему невесту в Бельцах, некрасивую, очень некрасивую, зеленолицую, но зато из знатного рода. Аншл увидел ее и обалдел. Но возразить отцу — побоялся. Бене очень хотелось породниться со знатью, а если Бенья что-то хочет, кто ему откажет?

Аншл вернулся из Бельц подавленным. Но быстро нашел успокоение в живущей в их доме здоровенной

и красивой кормилице... Правда, кормилица возражала, клялась, что она его осрамит на весь город. Но что сыну богача город? Особенно такому парню, как Аншл, ибо не найдется ни одной девицы в городе, которая не надавала бы ему пощечин. Если бы Беня знал об этом, то настало бы светопреставление. Но кто ему станет рассказывать? Если случается скандал, Аншл немедленно его улаживает, чтобы до отца не дошло.

Только один человек в семье Рафаловичей знает о всех этих проделках и злключениях, но молчит, затаив боль глубоко в своем сердце.

Это мама, маленькая, тихая, слабенькая Бейлка. Она тащит на своих слабых плечах все невзгоды семьи, сгорает со стыда за Аншла. Но что Бейлка может сделать? Она молит бога, чтоб дал сыну добрую невесту. Ибо к пятнадцати — шестнадцати годам у него уже пробивалась борода. А с восемнадцати началось горе, горе без конца.

Вот таков сын Рафаловича, повеса Аншл, которого отец отправил в погоню за блудным сыном.

В помощь ему Беня дал кассира, снабдив его крупной суммой, и сказал:

— Айда! Поезжайте и привезите подсвинка!..

А кассиру Беня наказал: денег не жалеть, «черепков», рублей, давать сколько потребуется. А если понадобится еще, пусть напишет, он пришлет..

И бумаги Беня им дал, «документы с печатью», с помощью которых можно будет беглеца привезти обратно, если потребуется — закованного в кандалах.

— Только лучше — добром,— повторил Беня Аншлу несколько раз.

И когда экспедиция была совсем готова, то есть когда Аншл с кассиром уже сидели в бричке и лошади тронулись с места, Беня закричал вдогонку:

— Помните же, добром, только добром!..

## ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

### Не покладая рук

Когда Аншл Рафалович с кассиром «Сосн-весимхе» прибыли в Яссы, они уже никого из компании актеров не застали. Им сказали, что слонялись здесь какие-то молодые люди с бритыми рожами и в стоптанных

сапогах, очевидно, еврейские актеры; но куда они делись, неизвестно. Из этого «экспедиция» заключила, что здесь искать некого.

Не долго думая, поехали дальше, пока не прибыли в Бухарест.

В Бухаресте Аншл намекнул кассиру, что надо остановиться в приличной гостинице.

— Сам посуди,— сказал он,— истрчено столько денег, пусть уйдет еще немного, тем более что отец неоднократно наказывал: «денег не жалеть, если нужно, еще пришло».

Надо помнить, что это был первый выезд Аншла и первое посещение такого большого города, как Бухарест. Ах, Аншл давно мечтал о вольной жизни в большом городе. Но с тех пор как он стал женихом этой зеленолицей, родовитой девицы из Бельц, Аншл дал себе слово, что после свадьбы, как только станет более свободным от опеки отца, выберется в этот красивый Бухарест, на свет белый поглядеть, и поживет, как бог велел...

И вот Аншл в прекрасном Бухаресте, деньги есть, живи в свое удовольствие...

Одна закавыка — кассир. Но и «Сосн-весимхе» — человек, к тому же холостяк... И если хозяйскому сыну любо, то и ему не худо...

Остановились они в лучшей гостинице Бухареста под названием «Дачно», на одной из красивейших улиц города — Страда Подемогашуй.

Знаменита эта гостиница тем, что во время русско-турецкой войны там, говорят, жил знаменитый Оман-паша. Эта гостиница славится еще и кафешантаном и варьете «Парадизо», в котором знаменитая румынская певица Маринеско-Миланеско поет популярные русские песни: «Дуют ветры буйные» и «Я хочу вам рассказать, рассказать»...

Разве не рай?.. Правда, рай этот кусается, денег стоит. Когда кассир «Сосн-весимхе» услышал, сколько стоит номер, схватился за голову. Но Аншл его успокоил:

— Дуралей, если едут по такому делу, нельзя жить по-свински.

Тогда кассир решил: «Если хозяйскому сыну любо, так мне мило, я ведь только подневольный»,— и начался кутеж, гуляли напропалую. Глядя, как эти двое богачей меняют сотню за сотней, решили в гостинице, что это молодые магнаты, которые только что получили большое наследство и приехали покутить, и угостили их таким

счетом, что у кассира «Сосн-весимхе» чуть удар не случился, но Аншл снова успокоил его.

— Ну и дурак же ты! — сказал он ему. — Кто сейчас говорит о деньгах? Дело не в деньгах, а в спасении души. Дай бог, чтобы нам повезло найти, кого мы ищем...

И они ревностно принялись за работу: наняли экипаж, разъезжали по всем улицам, всем садам, музеям, галереям, театрам, циркам, кафешантанам, варьете и кабаре.

Аншл решил, что артисты бывают в таких местах: «Кафешантан и театр — как брат и сестра». Аншл был не стар, но опытен, и «Сосн-весимхе» не переставал удивляться, что его молодой хозяин, не сглазить бы, все знает, как взрослый, и куда бы ни пришел, всюду чувствует себя как дома, в Голонешти.

Больше всего Аншлу нравилось проводить время в кафешантане «Парадизо». Аншл сказал кассиру:

— Не будь я Аншл, если мы их здесь не поймаем. Сядем там в уголке, у того столика, там превосходно... Оттуда все видно.

Аншл был прав: там было великолепно, оттуда можно было видеть оркестр, сцену и арфисток, которые одинаково одеты: в короткие красные юбки с золотой бахромой, высокие черные ботинки, зашнурованные доверху, маленькие красные с золотой каймой шапочки набекрень. Аншл заказал ужин. И стали они аппетитно есть. На сердце светло, весело. Люди входят и выходят. Все сверкает. Все веселятся. А звуки песен разносятся по всему залу и живительной волной обдают тело. Слышится сладкое пение многоголосого женского хора. И трудно поверить, что это не люди поют, а арфы, что эти сладкие звуки исходят не из человеческих уст, что это медные струны. Аншл, приглядываясь к этим поющим арфам, изумляется арфисткам, перебирающим тонкими пальцами. Они покачивают головками и улыбаются.

Кому они улыбаются? Неужели ему, Аншлу?

— Посмотри только, как они улыбаются. Смотри, смотри! — задыхается Аншл.

Кассиру не до арфисток, его одолевает сон. Ему бы сейчас поспать, а тут Аншл голову морочит арфистками... Но вот появилась на сцене знаменитая Маринеско-Миланеско, в бриллиантах, и начала: «Я хочу вам рассказать, рассказать»... А народ в зале подхватывает: «Как мы с ним пошли гулять, пошли гулять»... Становится еще светлее и еще веселее. Благодать! Рай!

Так ежевечерне и усердно действовала «экспедиция», пока не приключилась одна история.

Однажды вечером в кафешантане «Парадизо» за своим столиком сидели наши два путешественника, Аншл Рафалович и кассир «Сосн-весимхе», они пили «Дульшатцу» — воду с каким-то вареньем и слушали музыку.

На сей раз Аншл был особенно весел и празднично настроен, «Сосн-весимхе», как всегда, был мрачен. Сердце его разрывалось на части из-за денег, которые они транжирят неизвестно почему и зачем. Сидят в Бухаресте и ищут вчерашний день, а рублики летят, словно мусор, ой, ой, чем все это кончится?

«Сосн-весимхе», как мы уже знаем, вопреки своей кличке, был меланхоликом. Все он видел в мрачном свете. Здесь пиликает музыка, народ ликует. Радость великая! Жрут, пьют, заметно тают рублики, для них деньги — трын-трава! Чего им не хватает? Головной боли!..

Вот с такими невеселыми мыслями сидит наш угрюмый кассир и пока что поглядывает круглыми осоловелыми глазами на сцену, на которой появляются разные артистки, странно одетые, полуодетые, почти одетые... А в заключение, на закуску, появляется знаменитая Маринеско-Миланеско. Она сверкает глазами и бриллиантами и поет: «Я хочу вам рассказать, рассказать...» Зал откликается, и Аншл подпевает: «Как мы с ним пошли гулять, пошли гулять»... Со сцены она смотрит на Аншла и подмигивает ему, Аншл кивает ей в ответ.

Как только Маринеско-Миланеско закончила свое выступление, она подошла к их столику. Аншл устроил ее между собой и кассиром, впервые так близко. Они слышат шорох ее шелков и вдыхают острый запах духов, дошедший даже до всегда заложенного носа «Сосн-весимхе». Его нос не привык к таким ароматам, и «Сосн-весимхе» начинает чихать. «Расти большой», — отзывается Аншл. Бедный кассир не знал, куда девать свой нос, который так некстати расчихался.

— Домнулу! — обратилась Маринеско-Миланеско к Аншлу и ударила веером его по руке, сверкнув бриллиантами, — такая «формоза домнулу», а пьет какую-то «Дульшатцу».

В переводе на наш язык это означает: «Разве к лицу такому красавцу, как ты, пить сладкую водичку?»

Можно ли устоять против соблазна? Как сердцу Аншла не растаять, как снег, от эдакого комплимента? Аншл подзывает официанта и смотрит на Маринеско-Миланеско, как бы спрашивая: «Каково твое желание, принцесса?» Красавице принцессе хочется шампанского. Аншл распорядился подать шампанское и, не отрывая от нее взора, спрашивает: что еще угодно прекрасной принцессе? Прекрасной принцессе угодно жареного фазана на закуску. Аншл заказал жареного фазана и смотрит ей прямо в глаза, что еще прикажет принцесса. Ликеру. Она сама распоряжается: пусть подадут ликер лучшего сорта — «Шартрез» или «Феферман», Аншл повторяет за нею слово в слово: «Шартрез» и «Феферман». И ананасы просит она подать. Официант говорит: «Ананасов нет, вышли». Аншл вскипел: «Что за отговорка, вышли. Говорят тебе ананасы, значит, подай ананасы, и никаких!..» «Сосн-весимхе» потянул Аншла за рукав и смотрит на него остекленевшими глазами: «Опомнись, это обойдется в копеечку». Смеется Аншл: «Дурачина, ты видишь ее бриллианты? Ты знаешь им цену?»

Нет, «Сосн-весимхе» не знает стоимости бриллиантов, но зато он знает другое: наличные в кассе тают с каждым днем... Он еще утром сказал об этом Аншлу. Аншл раскричался: «Дуралей! Почему молчишь? Напиши домой, что еще деньги нужны, пришлют еще...»

«Сосн-весимхе» такой человек, если ему приказывают писать, он пишет.

— Что мне писать? — спрашивает он Аншла.

— Напиши, что мы на верном пути и трудимся вовсю. Ночами не спим. Разъезжаем, ищем везде и всюду. Добрые люди нам помогают, но это стоит очень дорого, никто даром ничего не хочет делать... потому вышлите еще денег, ради бога, поскорее. И бывайте здоровы, и шлите приветы, и т. п.

Отправив письмо, Аншл почувствовал себя лучше, точно гора с плеч. Хмурый кассир, напротив, стал еще мрачнее: чем же это все кончится?.. А тем временем Аншл заказывает еще вина, наполняет все три бокала, пьет за здоровье Маринеско-Миланеско, следит за тем, чтоб и кассир пил. «Нельзя же сидеть как глиняный истукан». Аншл делает все, чтобы развеселить кассира, отвлечь его от мрачных раздумий. И Аншл добился, что меланхоличный кассир оживился, лоб его заблестел, толстая, густо покрытая волосами верхняя губа приподнялась, и на ней показалось подобие улыбки, сонные, стеклянные глаза

стали слипаться, и он начал облизываться — верный признак, что он уже под мухой.

Почти впервые в жизни «Сосн-весимхе» соответствовал своему прозвищу, на него, как и на Аншла, напал смех, его обуяла радость и веселье. Им обоим было хорошо, Аншл от избытка чувств обнял Маринеско-Миланеско, словно родную сестру, у кассира это вызвало неудержимый хохот. Он держал в руках пустой бокал, хохотал, чуть не давился смехом. Внезапно он прервал хохот, его сонные глаза протрезвели и уставились на распахнутые входные двери.

Он увидел двух субъектов. Один высокий, другой меньше ростом. Ему показалось, что они смотрят на него и на Аншла. А пока кассир обернулся к Аншлу и крикнул: «Он здесь, ей-богу, он здесь», — эти два субъекта рванулись к выходу и след их простыл.

Напрасно «Сосн-весимхе» пустился вдогонку. Напрасно клялся всеми клятвами мира, дожить бы ему увидеть всех, кто ему мил, что он своими глазами только что видел Лейбла! Аншл ему не поверил. Он убеждал кассира, что ему что-то приснилось и что во всем виновато вино, шампанское, ха-ха-ха!

## ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

### Птицы меняют оперение

Нет. «Сосн-весимхе» не ошибся. Два субъекта, вошедшие в кафешантан «Парадизо» и выбежавшие из него, были действительно те, за которыми была послана «экспедиция». Лейбл Рафалович и старый добрый наш знакомый Гоцмах. Так мы их будем именовать, пока они не поменяют свои имена.

Первое время эти два героя ничем не занимались, а только ходили и осматривали красивый город Бухарест. Они ведь только живые люди, а Бухарест город, в котором есть на что посмотреть. Особенно тому, кто обладает артистической душой и собирается стать директором театра, да, тому в Бухаресте есть чему поучиться.

— Надо изучать сцену, моя дорогая певчая птичка, — так внушает Гоцмах молодому другу своему. — Надо посмотреть все театры и взяться за дело, самим открыть

театр. Не дело, душа моя, жить на всем готовом. Никуда не годится транжирить рубли, надо подумать о заработке...

Слишком просто, прозаически просто звучали слова Гоцмаха для нашего юного героя Лейбла. Душа Лейбла тоже жаждала сцены, но не ради заработка. Нечто высшее влекло его на сцену, чего сам он еще в точности не понимал. Ему был дорог каждый день, каждая минута. Он хотел бы уже быть на сцене, загримироваться и играть... играть... играть... но Гоцмах говорит: сцену надо изучать, он знает, что говорит. И оба взялись за изучение сцены от «А» до «Я».

Начали весьма практично: с самых бедных районов и кварталов, присматриваясь к самым дешевым кафе и балаганам.

Затем посетили все знаменитые театры, кафешантаны и варьете. И всюду Гоцмах что-то находил, что-то высматривал и от каждого чему-то научился.

— Ну, птичка певчая, смотри, как у них оформлена сцена! Видишь костюмы? Видишь наряды? Видишь ботиночки? Видишь чулочки? И все это деньги, черт бы их батьку побрал! Недаром в священных книгах сказано: «серебро и золото творят чудеса».

— Облагораживают свиней,— поправляет его Лейбл.

— Пусть так,— поддакивает ему Гоцмах и ощупывает боковой карман,— не важно, как сказал, важно, что сказал. Хорошо, что мы забрались в такой город. Это нам пригодится. «Хедер» я составлю, что бог и люди позавидуют. Черт побери Щупака!

Совсем иначе учился Лейбл. Каждого артиста, которого видел на сцене, он ел глазами, ловил каждое произнесенное им слово и будто сам переносился на сцену. Она его поднимала ввысь, притягивала магнитом... Лицо его пылало, глаза горели, в горле щекотало. То и дело Лейбл вздыхал.

— Что с тобой, Лейбеню? — спрашивал его Гоцмах, — ты все трусишь, как бы тебя не узнали? Не сойти мне с этого места, если кто-нибудь догадается, что ты — это Лейбл!

Так утешал Гоцмах своего юного друга. И он был прав. Трудно было узнать Лейбла. Так изменились оба... Птицы сбросили старое оперение.

Как только прибыли в Бухарест, Гоцмах тут же побрился, оставив только небольшие бакенбарды, придававшие его лицу, по свидетельству зеркала, особое обаяние.

Затем он зашел в большой магазин одежды, оделся по последней моде: купил себе высокий цилиндр, красивую трость, лакированные ботинки и желтые перчатки.

— Ага! Что ты теперь скажешь, моя певчая птичка? Кто-нибудь скажет, что это Гоцмах?

— Никто на свете! — ответил ему Лейбл, радуясь.

Лейбл радовался искренне, что Гоцмах так преобразился. И Гоцмах радовался Лейблу. Гоцмах снял с него голонештинский сюртучок и шапочку и надел новый модный костюм и шляпу, купил ему тросточку и желтые перчатки.

— Болеть Щупаку, если ты похож на себя! — сказал ему Гоцмах, оглядывая юного друга со всех сторон, — а мне бы быть здоровым, ты красавец паренек, нет, не паренек, а парень, честное слово!..

И оба в тот день чувствовали себя так легко, точно не по земле ходили, а по воздуху летали.

## ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Голцман — Рафалеско

В один прекрасный день, когда еще оба валялись в постели, потягиваясь и разминая кости, хотя время уже было позднее, близился полдень, Гоцмах обратился к Лейблу:

— Может, хватит, душа моя, нежиться? Не пора ли встать и позавтракать: выпить чашечку ароматного кофе со свежими сдобными булочками. Начхать на деньги!

Встали, умылись, надели новые костюмы — и вот они уже готовы к деятельности: слоняться по Бухаресту, любоваться драгоценностями, выставленными в витринах, не покупать, а только разглядывать. Денег жалко, «они ведь у нас не ворованные» — так говорит Гоцмах. Затем они заходят в ресторан перекусить. Гоцмах заранее чувствует вкус еды, облизывается. Ему немало голодать приходилось на своем веку, и сколько бы ни ел, все ему было мало...

После завтрака они немного отдохали. Гоцмах на своем веку столько натруился, что сколько бы ни отдыхал, ему тоже все было мало... А когда наступит вечер, они пойдут в театр, оттуда в кафешантан «изучать музыку, искусство и театр».

Для людей, изучающих музыку, искусство и театр, самое подходящее время — ночь. В положении Гоцмаха и Лейбла лучше всего поменьше разгуливать днем. Лейбл

может поклясться, что вчера он видел промчавшуюся по улице карету, в которой сидел его старший брат Аншл и кассир «Сосн-весимхе».

— Перестань чепуху молоть,— высмеял его Гоцмах,— тебе мерещатся братья и кассиры. Глупости! Если они даже и приехали сюда, то, глупенький, надо обладать восемнадцатью головами, чтобы тебя узнать, а меня тем более. Знаешь, мой дорогой юноша, чего нам не хватает?

— Чего?

— Других имен.

— Например?

— Например? Я лежу всю ночь и думаю, чем это кончится? Разве можно вечно шляться здесь без дела и деньги проедать? В конце концов надо что-то сотворить. Создадим «хедер», заедем в маленький еврейский городок и будем играть театр. Представляешь себе, как мы тогда будем называться. Болячка им, если они узнают, кто мы. Я выставлю на афише мое настоящее имя Голцман, Бернард Голцман. Холера их возьми, если узнают, кто такой Бернард Голцман, ибо все знают, что я Гоцмах, и только Гоцмах.

— Ты прав! — подтверждает Лейбл. — Голцман красивее Гоцмаха.

— Видишь! Но что мне делать с тобою, душа моя? Представь себе, мы разъезжаем по миру и прибываем в местечко, в котором знают твоего батьку. Ты понимаешь? Не годится, чтобы твоя фамилия была Рафалович.

— Как же мне называться?

— Как? Именно это и не дает мне покоя. Всю ночь напролет не сплю и думаю. И приходит в голову такая мысль, почему бы тебе не взять румынскую фамилию, на «еско»? К примеру, Маргулис — Маргулеско, Хазанович — Хазанеско, Рафалович — Рафалеско. Ты понял, серденько мое? Мы приезжаем в большой город, развешиваем большие афиши: Первый еврейско-румынский театр Бернарда Голцмана и первый еврейско-румынский актер Рафалеско из Бухареста. Как тебе нравится, птичка моя, такая идея? Право же, у Гоцмаха умная голова? Так?

Разумеется. Лейблу понравилась эта выдумка, как и все, что выдумывает его друг Гоцмах. И сам Гоцмах был доволен своим предложением, схватил Лейбла за руку и пустился с ним в пляс, напевая мотив из «Колдуньи»:

Слеп сегодня Гоцмах!  
Что это за чудо?  
Скажем вместе, дети:  
«Гоцмах слеп сегодня!»

С тех пор как Лейбл знаком с Гоцмахом, он всегда видел его неунывающим, веселым, жизнерадостным, даже в самые тяжелые времена для них. Но таким счастливым он его видел впервые. Гоцмах весь светился, почти перестал кашлять и изрекать проклятия. Редко, очень редко он кого-либо ругал. Правда, когда речь заходила о Щупаке или Шолем-Мейере, тогда уж обязательно добавлял: «холера», «чума» или просто «болячки»...

— Запомни, пташечка моя, меня уже не зовут Гоцмах. Я Голцман. А тебя как зовут?

— Рафалеско,— ответил Лейбл.

— Вот именно таким я тебя люблю, кошечка моя.

#### ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Перемена места — перемена счастья

В тот вечер наши герои, Гоцмах и Лейбл, или, как они себя называют, Голцман и Рафалеско, вышли погулять по Бухаресту, и не для того, чтобы «познавать искусство, музыку и театр», а так просто. Они уже хорошо знали город. Как им казалось, они уже побывали повсюду, где «процветает музыка, искусство, театр». Гуляя, они очутились на большой улице Страда Поддемогашуй и увидели огромный фонарь с большими электрическими буквами: «Парадизо».

— Парадизо? Парадизо — это, кажется, означает рай. Может, Лейбеню, зайдем на секундочку в этот рай?

Так сказал Голцман своему юному другу и не думал дожидаться ответа, ибо он всегда с ним соглашался. Для Лейбла Гоцмах, или Голцман,— божество. Слово Голцмана закон. И оба спустились в рай...

Мы говорим «спустились» потому, что войти в рай не так просто. Прежде надо пройти через семь кругов ада: сначала надо обзавестись входными билетами — так принято во всех раях мира, затем повернуть налево, потом подняться на две ступеньки, сдать швейцару пальто и тросточки, за это надо заплатить. Лишь после этого снова спуститься на две ступеньки вниз и войти в просторный, ярко освещенный коридор, а там, предъявив билеты, оказаться в подлинном раю.

В зале их ослепил блеск разноцветных ламп, они увидели элегантную публику, господ и дам, сидящих за белыми мраморными столиками, закусывающих и весело смеющихся, как и полагается в раю.

К кафешантанной атмосфере и публике наши герои, надо сказать, уже немного привыкли. Но не настолько, чтобы смело занять места за столиком и барским тоном позвать официанта, как поступают настоящие джентльмены и завсегдатаи этих мест... Ни новые одежды, ни перемена имен не могли так быстро изменить их провинциальные повадки. Местечковые традиции все еще сильно сказывались на их облике и поведении. Этим объясняется, что у входа они задержались, озирая ярко освещенные стены, разрисованный потолок, обитые красным плюшем ложи, белые мраморные столики и главным образом фешенебельную публику.

— Деньги! Пусть пропадом пропадут,— сказал Голцман и пустился в зал, чтобы занять столик, но вдруг Лейбл схватил его за руку и тревожно шепнул:

— Вот они!

— Кто?

— Мой брат Аншл.

— Да ну тебя...

Возможно, Голцман хотел, по обыкновению, сказать чепуху. Но когда он взглянул туда, куда указал его юный друг, он увидел столик, заставленный разными яствами, а за столиком двух молодых людей: Аншла, обнимающего певицу Маринеско-Миланеско, и смеющегося толстогоблого малого, держащегося за бока...

Быстрее, чем может себе представить фантазия, наши герои дали тягу. На несколько минут они потеряли дар речи. Вся сила ушла в ноги, и они унеслись из «рая» в мгновение ока. На третьей улице, смешавшись с публикой, убедившись, что никто за ними не гонится, Гоцмах заговорил:

— Твой братец, видно, тот типчик. Черт бы его побрал! А тот, с толстыми губами, кто?

— Ты не узнал его? — сказал Лейбл, у которого от испуга зуб на зуб не попадал.— Это наш кассир «Сосн-весимхе».

Инстинктивно ощупав карман, Голцман убыстрил шаг:

— Чтоб гром его сразил! Знаешь, что я тебе скажу, пташечка моя, я не намерен здесь с ним встречаться... И ты, думаю, тоже? А раз так, оставляем Бухарест с его раем и едем дальше.

— Куда?

— Куда глаза глядят. Как сказано: перемена места, перемена теста.

— Перемена счастья,— поправил его Лейбл.

— Пусть так, как ты говоришь. Главное. Нам надо отсюда удрать, и чем раньше, тем лучше. Плевал я на них, но лучше с ними не встречаться. Я не люблю голонештинцев, да простит мне бог. Послушай, Лейбеню, прибавим шагу. А впрочем, возьмем извозчика и прикажем гнать лошадей. Деньги? Пропади они пропадом.

Через два часа наши brave герои уже сидели в скором поезде Бухарест — Будапешт. А ночь была прохладной, Голцман достал свою «тендеверенду» и окутал ею Лейбла Рафалеско.

— Закутайся хорошо, закутайся, а то простудишься. Как сказано: «Перемена места...»

— Перемена счастья!

— Умно сказано. Ей-же-ей.— Ощупывает Голцман карман, кашляет и ругает на чем свет стоит Щупака и Шолем-Мейера Муравчика.

## ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

### В Галиции

Несмотря на то что наши герои, Гоцмах и Лейбл Рафалович, переменяли имена и зовут их теперь Бернард Голцман и Лео Рафалеско, несмотря на то что они настолько преобразились, что их узнать почти нельзя,— все же они боялись остаться здесь, вблизи Голонешти. Они ушли из Румынии в Буковину, а из Буковины в Галицию, скитаясь по городам с труппой актеров, которую Голцман сколотил, играя разные спектакли. На афишах крупными буквами было написано: «Знаменитая бродячая труппа Бернарда Голцмана и К<sup>0</sup>. И еще большими буквами написано было имя знаменитого молодого артиста «Лео Рафалеско из Бухареста».

Кто этот Рафалеско? Откуда взялся? Это мало кто знал. Однако всем было известно, что гастролирует какая-то еврейская труппа во главе с неким Рафалеско, о котором газеты рассказывают чудеса и призывают читателя посмотреть, что он вытворяет. И даже неевреи восторгаются его игрой. (А если неевреи тоже хвалят, то какое

уж тут сомнение.) Газеты писали, что Рафалеско — это второй Зоненталь, второй Поссарт, второй Ирвинг, Росси \*. Называли имена еще великих артистов. И публика хлынула в театр, чтобы посмотреть юного, но уже известного чародея и нарадоваться молодой звездой, взошедшей на небосклоне еврейской сцены.

Чем, собственно говоря, этот молодой артист очаровал публику? Рецензенты писали: «одним — тем, что он везде и всюду серьезен, прост, непосредственен, правдив, как сама правда, и естественен, как сама природа».

«Вся еврейская бродячая труппа, — писал один рецензент, — ломаного гроша не стоит. Еврейский театр без Рафалеско, как и все еврейские театры, — балаган, комедиантство, — мертв, как кладбище. Но с той минуты, как Рафалеско появляется на сцене, становится светло во всех уголках, ярко, тепло, радостно, все оживает, все приходит в движение. Это уже больше не сцена, не театр, а сама жизнь».

Так писали критики, рецензенты. А публика? Что говорила публика? Еврейская публика, которая не избалована ни театром, ни хорошими пьесами, ни одаренными актерами, она валом повалила посмотреть на восходящую звезду, на чародея Рафалеско. Публика дралась из-за билетов, осаждала театр и бурно аплодировала. Публика хлынула в театр не потому, что разбиралась в игре Рафалеско, а по принципу: «свет с ума не сошел». И все же сидящие в театре поняли, что перед ними глыба, великолепная таинственная сила. Человек говорит обыкновенные слова, просто, естественно, без фокусов, но они трогают, будят скрытые мысли, уснувшие чувства, и легкий морозец пробегает по вашему телу, вы переживаете с ним вместе и не можете глаз от него оторвать. А когда он уходит со сцены, у вас вырывается возглас «Браво!».

Неудивительно любопытство публики, хотевшей знать, кто этот кудесник, вот этот молодой актер, откуда он, где он изучал актерское искусство. Откуда в нем такая сила? Как он выглядит в жизни? Как его настоящее имя? Чего только не хотела узнать публика. Но как ни ломали себе головы любопытные зрители, сколько и кого они ни спрашивали, но узнали лишь, что прекрасного актера зовут Лео Рафалеско, что родом он из Румынии, из Бухареста, что он еще совсем молод, ему всего семнадцать лет. И ничего более узнать не удалось.

Больше чем где бы то ни было молодой артист понравился во Львове.

Здесь давно существовал еврейский театр. Его хозяином, антрепренером являлся человек, с которым стоило познакомиться. Его зовут Гецл бен-Гецл.

Гецл бен-Гецл, директор Львовского театра,— директор, который кормит публику душераздирающими драмами и мелодрамами с кричащими названиями, «Шминдер Бегец на аутодафе», «Кровавая инквизиция времен царя Сабескеса», «Изабелла с тонкой талией» и подобными им перлами, сочиненными в сумерках, между днем и ночью, такими же злодеями от литературы, как Щупак и его флигель-адъютант Шолем-Мейер Муравчик.

Гецл бен-Гецл не сторонник современных пьес. Лишь в последнее время он иногда включает в репертуар «литературную драму», к примеру: «Хинке Пинке», «Шлойме Горгл», «Шпринг ин бет», «Велвеле ест компот». Но не всегда нужно ставить «литературную» пьесу, публику нельзя баловать. Публика всеядна, что ни дашь, она пальчики оближет, будет аплодировать и кричать «браво» на чем свет стоит.

После первой встречи двух директоров Голцман понял, что «Екл бен-Флекл» (так Голцман окрестил Гецла бен-Гецла) даже в подметки не годится Щупаку. Екл бен-Флекл упрямец и тупица — свет не видывал. Переместить Львов гораздо легче, чем с Гецлом договориться.

Но и Голцман упрямец не хуже его. Дело уже зашло не о заработке, а о чести. Потому он позволил этому дубу, эксплуататору, давить его, пошел на такие условия, на какие могут пойти люди, потерявшие разум, но свои амбиции отстоял.

Когда контракт на три спектакля был подписан и стороны, чтобы закусить, отправились в ресторан, Голцман вполне серьезно спросил у Гецла бен-Гецла:

— Скажите, мой дорогой Екл бен-Флекл, у вас в Львове гостила хоть раз холера?

— Нет, до сих пор бог миловал. А почему спрашиваете?

— Жаль, а то была бы надежда, что когда-нибудь от вас можно будет избавиться...

Все же пришли в еврейский ресторан, пропустили по рюмочке, закусили гусиной печенкой и еще кое-чем, закурили дешевые сигареты «Трафик» и разговорились. Но как дело дошло до платы за завтрак, Гецл бен-Гецл потряс карман, показывая, что в нем нет ни гроша, и пытался удрать из ресторана. Но Голцман задержал его:

— Пане директор! Зачем утруждаетесь? Директору еврейского театра такого города, как Львов, не к лицу удирать черным ходом.

Но не только на словах Голцман донимал Гецла бен-Гецла. Голцман знал, что после первого же спектакля, в котором будет занят Рафалеско, Гецлу будет нанесен сокрушительный удар... И Голцман не ошибся.

Как повсюду, так и во Львове с первого выступления Рафалеско покорила здешнюю публику. Львовская публика, которая не далеко ушла от голонештинской, никак не могла понять, чем ее очаровал Рафалеско. Кажется, все просто, легко, обыкновенный актер, не поет, не танцует, и все же все необыкновенно. Каждый шаг, поворот, каждое слово — все естественно. И говорит он со сцены просто, как в жизни. Странно! Но хочется слушать только его, ибо все остальные на сцене — куклы, манекены, движущиеся чурбаны.

— Кто он, этот восхитительный актер? — спрашивает публика.

— Кто его знает? Какой-то Рафалеско из Бухареста.

Так было на первом представлении. На втором спектакле театр был переполнен, на третий нельзя было достать билет. В зале негде было яблоку упасть. Гецл бен-Гецл не отходил от Голцмана, упрасывая его остаться хотя бы еще на три спектакля.

Несомненно, что оба директора хотели скорее избавиться друг от друга. Но оба, как истые дипломаты, стремились обмануть друг друга, перехитрить и окопачить!

## ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Генриетта Швалб

Гецлу бен-Гецлу нужно было быть сильнее железа, чтобы спокойно наблюдать, как глупая публика, точно стадо баранов, рвется в театр и платит кровные денежки, чтобы попасть и хоть раз послушать этого пустого парня. Сборы его чуть с ума не сводили, хотя три четверти выручки получал он. Словно разбойник, сидел он у кассы и смотрел, как рехнувшаяся публика дерется за каждый билет. Что хорошего они нашли в его новом представлении? А когда все места и приставные стулья были распроданы и театр был битком набит, задохнуться

можно, тогда сам Гецл бен-Гецл полюбопытствовал, чем увлекаются эти глупые евреи.

Он пробрался за кулисы. Гецл бен-Гецл не понял, в чем секрет успеха, но голова у него кругом пошла не от игры, а от полного зала. Дух захватило. С той поры как он директор, он такого полного зала не видел... И это все из-за парня из Бухареста? Нужно его непременно переманить. Но как? Приступить к делу прямо и назначить ему большое жалование. А если он об этом расскажет своему директору? Выйдет скандал, Голцман еще та язва. Попасть Голцману на язык нежелательно... Нет, у Гецла бен-Гецла другой план. Он нападет с другого конца, через свою примадонну — Генриетту Швалб.

Кем она была и как стала примадонной, можно рассказать в двух словах.

Однажды директор Гецл бен-Гецл заметил в своем театре девушку, скромно одетую, с «великолепной талией и величественной фигурой» (так выразился сам директор). Стал за нею наблюдать: швея — не швея, горничная — не горничная, но красавица из красавиц.

— Заполучить бы эту девицу в театр, она стала бы у меня примадонной,— сказал Гецл одному из своих почитателей,— ты бы узнал, где она служит.

— Вот эта красотка? — ответил ему почитатель,— где она работает не знаю, но брата ее знаю, его зовут Швалб. Хаим-Ицик Швалб, торгует папиросами.

— Вот тот тип с красной мордой? Как же, на прошлой неделе я ему тумачков надавал и выгнал из театра, чтобы отбить охоту лезть за кулисы и угощать актрис папиросами как раз тогда, когда они должны выходить на сцену.

— Не велика беда. Совсем наоборот. Выходит, что вы давно знакомы. Если вам угодно, могу с ним поговорить.

— Пожалуйста, но так, чтобы он не очень заломил... Понимаешь, о чем я тебе говорю?

— Как не понять, я что, какой-нибудь чурбан?

После этого разговора Генриетту Швалб (ее тогда еще звали Ентл) пригласили в дом директора. Ее брат Хаим-Ицик Швалб еще помнил тумачки директора, потому в дом к нему не вошел, а стал сестру свою дожидаться на улице.

Это было днем, после обеденного сна. Директор принял ее босиком, сидя в постели. Предложил ей сесть. Она ответила, что может постоять. «Где ты работаешь?» —

спросил он. Она похвастала: «Служба у меня легкая и хорошая». — «Сколько получаешь?» — «Пятнадцать гульденов в месяц, не считая белья». За белье она получает еще десять гульденов. Со стороны ей еще перепадает иногда шесть, иногда семь...

— Сколько это вместе?

— Сосчитайте.

Директор босиком бросился искать карандаш и бумагу и между прочим спросил ее, что она скажет, если ей предложили бы пятьдесят гульденов в месяц.

— Это хорошее жалование, — ответила она, — но все зависит от самой работы.

— Никакой работы. Надо играть в театре. Как вас зовут?

— Кого нас? Меня и брата моего?

— Нет, только вас.

— Только меня? Меня зовут Ентл, а фамилия моя Швалб.

— Ентл, фи! Что за имя Ентл? Ентл — Энтл. Генриетта красивее. Генриетта Швалб. Вы сказали, что у вас есть брат. Где ваш брат?

— Он на улице, вот там, рядом у вашего дома.

— А? Позови его. Скажи, пусть зайдет, мы с ним потолкуем.

## ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Хаим-Ицик Швалб

Директор Гецл бен-Гецл жестоко ошибся, рассчитывая, что с братом Ентл он сумеет поладить.

Хаим-Ицик Швалб оказался упрямым. Беда состояла в том, что этого разносчика папирос давно тянуло к театру. Пойди угадай, что в этом коротышке таится душа артиста. Угадай, что эта красная морда обладает светлой душой, мечтает стать актером, мечтает заниматься музыкой и служить прекрасному... Недаром этот папиросник постоянно торчит за кулисами, одаривает актеров папиросами, чтобы ему только разрешили постоять за занавесом и хотя бы издали посмотреть, как играют. Чужая душа потемки! Не всегда можно судить о человеке по его внешности.

Когда Хаим-Ицик Швалб услышал от директора Гецла бен-Гецла, зачем тот позвал его сестру, он решил

и сказал себе: «Вот настало время»... Он выставит свое требование: он отдаст сестру в актрисы при условии, если Гецл возьмет его в актеры.

— Какой же вы актер с таким лицом?

У Хаим-Ицика сердце защемило. Ему еще никто не говорил, что у него лицо бродяги и разбойничьи глаза. Опустив глаза, он тихо спросил:

— Какое же у меня лицо?

— Лицо... я сам не знаю.

Хаим-Ицик Швалб вздохнул.

— Разве так появляются на сцену? Меня же загримируют,— папиросник поднял глаза на директора.— Вы думаете, я не сведущ в этих делах? Я даже играл когда-то.

— Где вы играли?

— Где я играл? С пуримшилерами играл, я и теперь играю, когда праздник пурим. А ну, пусть кто-нибудь сыграет Амана, как я!

Разбойничьи глаза Хаим-Ицика загорелись. Но директор Гецл перебил:

— Возможно. Очень возможно, ну а пузо куда девать?

— Я подпояшусь, затанусь, думаете, я уже ничего не понимаю! У вас за кулисами то же самое, что у нас, пуримшилеров...

Директору Гецлу не понравилось, что кулисы его театра сравнивают со скоморохами, он тут же перебил парня:

— Ну а с речью что вы сделаете?

— Мне кажется, у меня речь как у всех людей.

— Вам кажется. Вы бы хоть не свистели.

— Кто свистит? Я разве свищу?

— А кто же свистит? Я?

— Вы просто придираетесь.— Папиросник привстал. Лицо его побагровело.— Прощайте. Если я не гожусь в актеры, то сестра моя не годится в актрисы.

Вот так. Директор Гецл бен-Гецл горел желанием заполучить Генриетту в актрисы, потому вынужден был принять ее в театр вместе с братом. Генриетта хотя и не выявила больших способностей и особым голосом не обладала, зато у нее была «прекрасная талия и величественная фигура». Но что делать с таким бревном, как папиросник? Согласился бы он хоть быть статистом, тогда уж черт с ним. Потратил бы лишние десять гульденов в неделю ради сестры. Но Хаим-Ицика тянет как раз к лучшему трагическим ролям. Однако что не сделаешь

ради денег? А дела у Гецла за последнее время никуда. Публика не идет в театр, хоть тащи ее клещами. И если такая актриса, как Генриетта Швалб, с ее «талией и фигурой», не поправит дело, стало быть, бога нет...

Так подумал про себя Гецл бен-Гецл и заказал объявление о том, что скоро приезжает знаменитая певица из Буэнос-Айреса, которая красотой очарует весь мир... Имя Генриетты Швалб ему из-за брата не хотелось называть, ведь только вчера он был папиросником. Город Буэнос-Айрес Гецл придумал только потому, что более отдаленного не знал.

Тем временем начали готовить Генриетту к выступлению. Она заучивала роли, дешевые песенки, несколько двусмысленных куплетов. А главное, ее научили так одеваться, чтобы быть одетой и не одетой, голой и не голой. А когда она появилась на сцене, то произвела такой фурор, что с галерки кричали: «Пташечка», и «Кошечка», и «Котик», и другие ласковые слова... Директор Гецл бен-Гецл был в восторге. Зато ее брат Хаим-Ицик Швалб причинил директору много неприятностей. «Безумие выпускать такого на сцену», — сказал Гецл бен-Гецл труппе, и все с ним согласилось.

Следует отметить, что они были не совсем правы. Хаим-Ицик трудился до седьмого пота, роль знал назубок, а если она ему не удавалась, потому что у него была каша во рту, то виновата дикция. Все к нему придираются, не так стоит, не так ходит. Чем он виноват, что у него с рождения особая походка? Зато он чувствует себя уверенно в трагических ролях. Когда играет злодея, тирана или просто бандита, то становится и впрямь страшным. Разбойничьи глаза наливаются кровью, как у настоящего разбойника, багровое лицо вызывает страх. Недаром у него был шумный успех в роли Амана, не будь помянуто, с пуримшпилерами.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

### Охотники за примадонной

На все должно быть счастье.

Хаим-Ицик Швалб, ей-же-ей, не такой уж плохой трагик. На свете существует много хуже его. Есть комики, которые думают, что они хорошие трагики, и есть трагики, считающие себя отличными комиками. И ничего, все сходит с рук.

«Слышите, без счастья человеку лучше вовсе не родиться», — так говорит Хаим-Ицик. Он знает, его коллеги — враги. Они утопили бы его в ложке воды. Смеются над ним, обзывают «болваном», и «бревном», и другими оскорбительными словами. Нет ни одного человека, который бы его любил. Но больше всех его ненавидел директор Львовского еврейского театра.

Однажды Гецл бен-Гецл в присутствии Хаим-Ицика сказал:

— Странно! Кажется, родные брат и сестра, одна мать их родила, все же Генриетту я обожаю, а этого злодея видеть не могу.

Хаим-Ицик Швалб только и ждал этого. Зная давно, что директору и всей труппе его сестра больше по душе, чем он, и он глядел в оба, чтобы Генриетта вела себя достойно, как подобает порядочной девушке. Это означало, что на публике она может выступать хоть голой, на сцене она может танцевать, прыгать и ломаться как угодно, но вне сцены — не приведи господь. На то он брат, преданный брат, даже слишком преданный... Об этом знали все. А кто не знал, тому он давал это почувствовать, но так, чтобы и другим неповадно было. «Ну и ручка у этого костолома, отсохнуть бы ей». Так говорили между собой актеры. Но это их вовсе не останавливало. Все до единого, включая и директора, увивались за примадонной Генриеттой Швалб.

Да. Генриетта Швалб уже примадонна. Предшественница должна была с огорчением уступить ей свое место только потому, что Генриетта красивее ее, хотя поет и играет значительно хуже. Но что делать? Говорят, красивое лицо даже в Париже способствует карьере. Таков мир. Так он устроен!

Как бы там ни было, наша Энтл, или Генриетта Швалб, уже примадонна еврейского Львовского театра. Прежняя Энтл стала неузнаваемой. Полюбуйтесь, какая шляпа на ней. Настоящая панاما со страусовыми перьями. Не поддельные, боже сохрани, натуральные. И держит себя как настоящая принцесса. На своих бенефисах она уже получает не апельсины, как бывало, а подарки стоимостью в двадцать, двадцать пять гульденов, а то и в тридцать. Говорят, у Генриетты уже есть прислуга, которая доставляет ее туалеты в театр.

Правда, когда никто не видит, Генриетта не гнушается вместе с прислужгой стирать и гладить белье.

Однажды приключилась история. У Генриетты пропал

воротничок стоимостью в полторы кроны. Примадонна учинила жуткий скандал прислуге, уличив ее в воровстве. Обе женщины стали наперебой честить друг друга. Генриетта сказала прислуге, что она живет с ее братом. Прислуга возмутилась и стала обвинять Генриетту в более тяжких грехах. Дело чуть не дошло до драки. Счастье — явился брат и сообщил, что воротничок у него, у Швалба, лежит между переписанными ролями и нотами. Как он туда попал, сам черт не разберет.

Служанка расплакалась и на расспросы Швалба сказала ему, что о нем сестра думает.

И возгорелась душа бандита Хаим-Ицика, и он...

Нет, лучше обойдем молчанием эту сцену. Кому какое дело, как ведут себя актеры в повседневной жизни.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

### Закулисная политика

«Если нужен вор, его вынимают из петли».

Эту поговорку вспомнил директор Львовского театра Гецл бен-Гецл. Он позвал к себе «бандита», брата примадонны Изака Швалба (его уже больше не зовут Хаим-Ицик), заперся с ним в комнате и имел длинный и интимный разговор с глазу на глаз.

Швалб в этот день очень расхваливал сестре молодого актера из Бухареста. Он советовал ей почаще показываться на глаза и ближе держаться к Рафалеско, хотя он еще и щенок.

— Понимаешь, Генриетта, этому парню надо вскружить голову, да так, чтобы он черта с два захотел отсюда уезжать. Это будет хорошо для всех нас... Чем хорошо — не спрашивай, потом узнаешь, а об остальном сама догадайся, если у тебя есть хоть одна клепка в голове...

Наставления Швалба были напрасны, так как наша примадонна давно заинтересовалась этим парнем с наивными задумчивыми глазами и красивыми светлыми волосами, не потому, что была восхищена его игрой, а просто из чувства обиды.

Генриетте, уже привыкшей к тому, что все по ней с ума сходят, обидно было, что парень никакого внимания на нее не обращает, будто не видит ее.

Она применила средства, какими пользуются все красавицы, чтобы околдовать парня. Вертелась около него,

пела, танцевала, строила глазки, дарила улыбки, смеялась, хохотала, показывала маленькие белые зубки. Как пчела над медом, как бабочка вокруг свечи, как летучая мышь в теплый летний вечер, она жужжала и мелькала перед его глазами. Однако напрасно! Повторилась древняя история Петиферы и Иосифа \*, но не так просто, как рассказано в Библии, ибо Генриетта Швалб все-таки не была Петиферой, а Рафалеско не был Иосифом Прекрасным...

Все, кроме самого Рафалеско, были заинтересованы, чтобы между ним и Генриеттой завязался роман. У каждого на это были свои причины.

Директор Гецл бен-Гецл хотел с помощью примадонны переманить к себе в театр парня из Бухареста, потому что это прекрасно для кассы.

Примадонна Генриетта сама взялась за работу, по меньшей мере для того, чтобы показать, на что способна красивая женщина. «Как же так, за ней увивается столько мужчин, а она не может покорить этого юнца?!»

Неужели ни она, ни ее красивые глаза и шелковистые ресницы, ни ее удивительные волосы, ни талия, ни фигура, ни ее шляпка с перьями не имеют никакого значения? Если так, то конец света! И она взялась за дело с еще большим рвением.

Хаим-Ицик имел свой расчет. Ему просто нравился этот выбор. Пришло время, чтобы вокруг его сестры перестали виться поклонники, а он перестал бы быть стражем и костоломом... Пора Генриетте выйти замуж, такая дуреха с красивым лицом, не дай бог, попадет черт знает в чьи руки. Поэтому Швалб прилип к директору Голцману, стараясь лестью и обедами расположить его к себе. И зажили они душа в душу.

Умный Голцман, который был умнее всех их вместе взятых, очень хорошо видел, что здесь происходит, однако он сам задумал «переманить» к себе в театр эту красивую девушку, взяв в придачу ее брата и нескольких артистов. Почему нет? Почему бы не оставить «Екла бен-Флекла» на бобах?

Скажем уж всю правду. Гоцмах имел виды на Генриетту — может, она привыкнет к нему, к Голцману, и со временем... чем черт не шутит?.. Если она к нему относится с прохладцей, то имеется дополнительный способ — бенефис, подарки, еще раз бенефис, и опять подарки, главное, чтобы было чем... черт бы денежки побрал..

Так думал директор Голцман и был очень доволен, что эта финтифлюшка строит глазки Рафалеско.

Одного он понять не мог: почему Рафалеско избегает примадонну Генриетту Швалб?.. Что с ним случилось здесь, во Львове, почему он так угрюм и озабочен?

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Брайнделе Козак

В первый вечер, когда Голцман приехал со своей труппой играть в театре Гецла бен-Гецла, он увидел за кулисами знакомую по внешним очертаниям женщину небольшого роста. И так как кулисы в Львовском еврейском театре и по сей день еще не освещены электричеством, кроме одной закопченной лампы, которая еле горит, он не сразу разглядел, кто это. Иногда женщина казалась ему знакомой. Временами — чужой. Но она подошла к нему поближе, засмеялась, выходит, узнала его. Он тоже приблизился к ней, хорошо всмотрелся и отскочил:

— Брайнделе Козак?!

— Гоцмах?!

— Ш-ш-ш. Не следует... Пусть никто не знает, что мы знакомы... Горе мне, что с вами? Вы очень раздобрели! Вы здесь служите у этого «Екла бен-Флекла»? Давно? А где сейчас Щупак? И мерзавец Шолем-Мейер Муравчик? Холера прибрала бы их обоих в один день!..

— Амины! — сказала ему с усмешкой женская фигура, которая звалась Брайнделе Козак.

Раздался звонок, уже выходили артисты, а режиссер подгонял их, так как пора было поднять занавес, чтобы публика не разнесла театр. Старые знакомые должны были расстаться до конца первого акта. Условились: никто, даже птица небесная, не должен знать, что они давно знакомы.

Голцман отправился к своему юному другу Рафалеско в артистическую уборную и по секрету сообщил, что он только что встретился здесь с актрисой из труппы Щупака, с мадам Черняк, или Брайнделе Козак, которая когда-то с ним играла. Лейбл должен ее помнить по Голонешти. Небольшого роста, толстенькая, в одной труппе... Голцман предупредил Рафалеско несколько раз, если он

встретит ее здесь за кулисами, пусть притворится, будто видит ее впервые. В уборной, где молодой гастролер переодевался, было не светлее, чем за кулисами. К тому же Рафалеско гримировался у закопченного треснувшего зеркала. Не мудрено, что Голцман не заметил, как его юный друг изменился. Он замолчал. У него перехватило дыхание. И как бы невзначай, с безразличием спросил у Голцмана, не переставая накладывать грим у треснувшего зеркала:

— Как, говоришь, ее зовут?

— Брайнделе Козак.

— Брайнделе Козак?.. Хм... я не помню такую... Ты меня с ней познакомишь?.. Как тебе нравится мой сегодняшний грим?

— Отличный грим... После первого акта тебя знакомят со всеми артистами и с ней тоже. Притворись, точно ты видишь ее впервые. Понимаешь? К чему нам, чтобы здесь знали, кто мы и что мы? Понимаешь или нет?

Он понимает, отчего не понять? Который час? Уже время? Чей выход? Его? Раз — два — три!

— С правой ноги! — говорит Голцман и поправляет ему парик.

Рафалеско в тот вечер играл плохо. Хуже чем когда-либо. То есть, по мнению публики, он играл хорошо, отлично, прекрасно. Об этом свидетельствуют бурные аплодисменты и овации, которыми сопровождали гостя из Бухареста. Сам Рафалеско знал лучше других, что играл сегодня как сапожник. Ему надо отрубить руки и ноги, отдать в солдаты. Он пропускал реплики, сочинял слова, суфлера не слушал. И очень фальшивил. С трудом дотянул первый акт, с трудом вырвался от публики, которая, как назло, сошла с ума и не переставая кричала: «Ра-фа-ле-ско! Ра-фа-ле-ско!» Он бросился к треснутому зеркалу. Глаза у него горели. Его охватила дрожь. В уборной тесно, иголке негде упасть. Вся труппа Гецла бен-Гецла собралась здесь. Они поздравляют гостя. Кто с затаенной завистью, а кто искренне. Ему представляют каждого в отдельности. И ему кажется, он видит не людей, а зверей и птиц. Один похож на козла, другой напоминает петуха, третья, он мог бы поклясться, напоминает кошку: зеленые кошачьи глаза и облизывается по-кошачьи.

Рафалеско сразу узнал Брайнделе Козак, и она его, хотя он повзрослел, да и загримирован. Она его много

раз видела с Гоцмахом в сарае, когда играла с Щупаком в Голонешти.

«Разве это именно он?.. А-а-а!!» — как молнии сверкали у нее в голове мысли, мгновенно возникали разные комбинации. Под шумок отозвала Голцмана в сторону:

— Это твой Рафалеско из Бухареста, ха-ха? Это ведь хозяйский сын из Голонешти...

— Ш-ш-ш...— говорит ей Голцман и наступает на ногу.— Ни слова больше!.. Поговорим лучше о чем-нибудь другом.

— О чем, к примеру? — говорит она ему, смотрит в его глаза и думает: «Что с человеком может случиться! Пойди знай, что это тот самый Гоцмах, который когда-то чистил сапоги у Щупака и получал тумачи, как собака у мясной лавки».

— Где же, черт его побери, Щупак? И Шолем-Мейер Муравчик? И остальные калеки? — спросил он на одном дыхании, и она не знает, на что раньше ответить, так как, не дожидаясь ответа, он продолжает спрашивать. И все молниеносно. Ему все лезет в голову Щупак и Щупак, а она хотела бы знать, как сюда попал этот паренек. И глаза обоих направлены в одну сторону, туда, к Рафалеско... «Слишком много народу вокруг парня,— думает Голцман.— Оставлять его одного среди столько волков-актеров опасно!..»

И разговаривая с Брайнделе Козак, он глаз не спускал с Рафалеско и, хотя довольно темно, видел, как все проталкиваются к гостю, к юному артисту из Бухареста. Каждому хочется увидеть его вблизи, подать ему руку, услышать словечко. Но гость не расположен к беседе. Он кого-то ищет глазами, кого? Это он ищет маленькую, толстенькую, которую зовут Черняк, или «Брайнделе Козак». Он увидел ее с Голцманом в углу, ему хочется подойти к ней, но не решается.

Если бы дать себе волю на секунду, он кинулся бы к ней и спросил: «Не слышали или не видели ли вы одну девушку, по имени Рейзл? Вы должны знать ее, она дочка кантора из Голонешти».

Он не будет тихо спрашивать, а закричит во весь голос, чтобы все услышали, потому что слова эти застряли в его горле и он задыхается.

Все мелькают перед его глазами звери и птицы, которых не хочется ему видеть, и не хочется слушать их надоевшие комплименты. Сквозь толпу к нему проталки-

вається человек маленького роста в золотых очках, с треугольным черепом и удивительно большими белыми зубами, растущими один над другим. Его лицо сияет, глаза сквозь очки блестят. Он проталкивался в толпе изо всех сил. Актеры и актрисы издали его увидели:

«Ребята! Левиафан идет!..»

А когда он приблизился, толпа расступилась и дала ему дорогу с криком:

— Пропустите доктора Левиуса!

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Доктор Левиус — Левиафан

Голцман не спускал глаз с Рафалеско. Даже тогда, когда Голцман разговаривал с Брайнделе Козак, он смотрел туда, где находился парень. И как только издали заметил незнакомца, проталкивающегося к Рафалеско, оставил Брайнделе Козак и вырос между гостем и Рафалеско, острым взглядом посмотрел на пришельца, спрашивая: «Кто вам нужен? Что вам нужно?..»

Незнакомец, увидев элегантного директора с бакенбардами, достал визитную карточку: «Доктор Левиус».

Голцман бросил взгляд на визитную карточку, осмотрел доктора Юлиуса Левиуса с его треугольным черепом и белыми большими зубами, растущими один над другим, и подумал про себя: «Что это за чучело?» Один из артистов отозвал Голцмана в сторону и на ухо шепнул: это доктор Левиус, которого актеры прозвали «доктором Левиафаном». Он знаменитый доктор, большой ученый, меценат и восторженный любитель еврейского театра, и к тому же большой богач, возможно — обладатель полумиллиона...

Не звание «доктора», не прозвище «Левиафан» \* и не то, что он ученый, и меценат, и любитель еврейского театра, оказали магическое действие на Голцмана, а сведения о том, что он обладатель полумиллиона... Как только Голцман услышал, что Левиус имеет «почти полмиллиона», он бросился к доктору, ученому, меценату и любителю еврейского театра и до того заискивающе приветствовал его, что присутствующих покорило.

Доктор Левиус, или «Левиафан», вежливо обратился

к Голцману по-немецки, приоткрыв при этом свои странные зубы, растущие один над другим, и спросил: не он ли импресарио знаменитого гастролера?

Возможно, что слово «импресарио» Голцман (не в обиду будь сказано) услышал впервые в жизни.

Он, вероятно, вопроса не понял и ответил доктору Левиусу какой-то чепухой. Наш Голцман заговорил с ним тоже по-немецки, вернее, — на плохом еврейском. Он сказал ему, что он, Голцман, русский из «Рассеи», а «парень», значит, происходит из Бухареста, то есть не из самого Бухареста, а из местечка в полутора часах езды от Бухареста...

Заметив, что импресарио не очень понимает, о чем речь, Левиус заговорил с ним по-еврейски. Да еще на каком еврейском языке! Многие евреи пожелали бы говорить на таком еврейском языке, как у доктора Левиуса.

Услыхав, что доктор «Левиафан» говорит по-еврейски, как все люди, Голцман повеселел и заговорил вовсю, выдумывая небылицы, хвастая перед доктором, будто он, Голцман, вывел «парня» в люди. Как такое произошло? Это было в Бухаресте... играли в театре... познакомился с бедным ремесленником... с сыном его, тоже ремесленником... Парень ему с первого взгляда понравился, и он обратился к его отцу: «Вот этого парня вашего я должен сделать артистом»... Посмотрел на меня ремесленник и спрашивает: «Что такое артист? Что это за профессия? Ха-ха!»

И Голцман, естественно, рассмеялся, а доктор Левиус решил, что все это сушая правда. Он смотрел ему в рот и верил каждому слову.

Наш Голцман так заврался, что попал к румынскому королю Карлу... Как он выкрутится «из королевской истории» — одному богу известно. Счастье, что в эту минуту пробежал режиссер и, запнувшись, закричал:

— Все неприятности на вашу голову! Разносят театр, а они — ничего! Облизываются, как после субботней трапезы!..

Голцмана спасли. Он свободно вздохнул. Избавился от несчастья... Король Карл из Румынии! Откуда он взялся на его голову?..

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ  
Кто верхом, а кто пешком

Первые гастроли странствующей труппы «Голцман и К<sup>0</sup>» завершились в Львовском еврейском театре с тем же успехом, как и всюду. Много раз подымали и опускали занавес, и публика не переставая кричала: «Ра-фа-леско! Ра-фа-леско!» Актеры уже сняли приклеенные бороды, переоделись, ищут кто ботинок, кто воротничок. А там, в зале, продолжают вызывать: «Рафалеско! Ра-фа-леско!»

— Кричать бы вам от зубной боли! — протяжно говорит рябой актер, который никак не может, хоть лопни, надеть пиджак, порванная подкладка мешает.

— Открыть? — спрашивает вспотевший режиссер у Голцмана, держась обеими руками за край занавеса.

— Хватит! Хватит им за их жалкие гроши, — говорит Голцман, который не любит церемоний. Но не помогает: гость из Бухареста должен еще раз показаться публике. Занавес раскрывается в последний раз, Рафалеско выходит и кланяется, а публика опять орет: «Ра-фа-леско! Ра-фа-леско!»

— Довольно. Больше не выйду, — говорит Рафалеско, как капризное дитя, и снимает парик, отклеивает усики и начинает снимать грим с молодого свежего лица, обрамленного красивыми светлыми волосами, падающими на мраморно-белую шею. Артисты с любопытством разглядывают его вблизи и завидуют: его необыкновенному успеху, спокойствию, непрекращающимся аплодисментам, которыми одаряет его рехнувшаяся публика. Все вызывает их зависть... Они завидуют и недоумевают: чем, собственно, отличается этот юный актер? И к чему здесь этот крик: «Рафалеско! Рафалеско!»? Пока гость из Бухареста не появился на сцене, они ожидали невесть чего. Они думали, что услышат бог знает какой «львиный» голос. Думали, увидят такую игру, от которой стены задрожат, услышат диковинные слова. Но ничего подобного. Он играет как человек, стоит как человек, сидит, ходит и держится на сцене спокойно и просто, просто как обыкновенный человек. Ха-ха! Это называется играть! Он разговаривает даже не как актер, а как человек с улицы! Чем восхищается здесь публика, черт бы ее побрал? Бараны, ослы, коровы!..

Все на свете имеет свой конец. Да, вызовы на сцену тоже ведь должны кончиться когда-то. Увидев, что занавес

больше не открывается, публика, наконец, стала покидать театр. Начали гасить свет. Несколько минут — и театр опустел.

Только один человек остался дожидаться артистов: доктор Левиус, или, как его актеры прозвали, «доктор Левиафан». Он пригласил обе труппы в кафе.

Львовские артисты знают этого мецената. Они знают, что у доктора Левиуса не такая широкая натура, чтобы тратиться на еврейских актеров. Доктор Левиус щедр на комплименты, на добрые слова, но не на деньги.

Доктор Левиус, вообще-то щедрый на похвалы, осыпал нашего юного героя с головы до ног комплиментами. После каждого акта доктор Левиус забегал к Рафалеско за кулисы, тер руки, потел, скалил в улыбке зубы, растущие у него странным образом, один над другим, благодарил юного гостя и его импресарио Голцмана чуть не со слезами. По окончании третьего акта наш меценат был в таком восторге, что обнял и расцеловал юного актера. Потом Левиус отозвал директора Голцмана в сторону и в чем-то с жаром стал его убеждать, прикладывая руку к сердцу и тем доказывая, что всю ответственность доктор берет на себя.

Увидев, что «немец» млеет от восторга, Голцман подумал: «Преподнес бы немец хоть достойный подарок... Подарил бы несколько тысяч крон... или ша! — захотел бы вступить в компаньоны с Голцманом, вместе бы содержали театр, примадонну и все прочее... Или сказал бы: «Голцман, бог тебе дал сокровище — Рафалеско, мне господь дал деньги, будем компаньонами...» Почему бы и нет? Доктор, меценат, любитель еврейского театра, у которого наличных полмиллиона?!»

Но Рафалеско! Громкие аплодисменты публики и комплименты доктора Левиуса еще не настолько вскружили голову нашему юному герою, чтобы он хоть на минуту забыл о Брайнделе Козак. Только она могла бы ему передать привет от дочки кантора, от Рейзл!

Рейзл! Рейзл! Где бы он ни был, что бы он ни делал — всегда перед его глазами Рейзл. А сегодня — ярче чем когда-либо. Он оглядывается и ищет маленькую, полную женщину, которую зовут Брайнделе Козак. Вот она в толпе. И как странно смотрит на него, пронизывает взглядом. Точно знает что-то... И как странно одета. Красная ротонда, красная и широкая. И сама она тоже странная. Толстые ноги, полные, короткие руки-пампушки, маленькие японские глазки и очень густые брови. Лицо белое,

круглое, как тарелка, как луна, она всегда улыбается, показывая большой рот со здоровыми зубами. Взгляните на нее, и, как бы у вас ни было горько на душе, вы обязательно улыбнетесь. Удивительно смешная эта Брайнделе Козак!

И все-таки в эту минуту в глазах Рафалеско она была самой важной и самой милой. С каким удовольствием наш герой отправил бы всех актеров в тар-тара-ры, чтобы остаться с этой обаятельной женщиной с глазу на глаз, остаться и поговорить с ней о Рейзл, о Рейзл... Как нарочно, словно наняли их, все мотались, кружились вокруг него и ждали все его, его одного, чтобы пойти с доктором Левиусом в кафе. И они стояли, балагурили и смеялись. Веселая компания!

— Что это так долго? — спрашивает Голцман у Рафалеско и помогает ему одеться и повязать кашне, чтобы не простыл. Они тронулись, и весь народ за ними, с шумом, смехом, как дети, которых только что выпустили из хедера после учебы.

На улице тихая, звездная ночь. У театральной двери стоит карета с лошадьми — необыкновенная вещь для Львовского еврейского театра. Актеры останавливаются: «Чья карета? Чьи лошади?» Это доктор Левиус прислал экипаж для себя и для гастролера Рафалеско, и, само собой разумеется, для его импресарио Голцмана. Втроем садятся они в карету, и Голцман, не выдержав, говорит: «Наплевать на денежку»... Доктор Левиус обращается ко всем: «Пожалуйста, господа, в кафе «Монополь!»»

Актеры смотрят и завидуют счастливому Рафалеско. Так в молитве и сказано: «Кто в огне, кто в воде», кто едет верхом, а кто ходит пешком...

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Тост в честь блуждающих звезд

Актеры обеих трупп ввалились в кафе «Монополь» и кинулись к столикам с таким шумом, точно собирались съесть и выпить все, что тут припасено. Появились как из-под земли два длинноносых кельнера в коротких фраках, безмолвно стали по обе стороны от пришедших: «Чего желают господа?» Но господа пока ничего не желают. Они ждут других господ и, скрашивая ожидание, перемывают им косточки. Больше всего достается доктору Левиафану. Один изобразил, как он держит руки в

карманах, смотрит поверх очков и скалит зубы. Другой — как аплодирует Рафалеско руками, ногами и всем туловищем. Третий — как он обнимает «парня» и целует его... И все заходятся в смехе.

Веселый народ актеры. Недаром их у нас называют комедиантами. Есть причина — смеются, нет ее — все равно смеются. Кто-нибудь сострит — смеются, скажет глупость — опять хохочут.

— Наш Левиафан им в фэтоне лекции читает об искусстве...

Актеры все знают. Словно присутствовали при этом. Доктор распорядился сразу в кафе не ездить, а гнать лошадей по городу, чтобы подышать свежим воздухом. Покровитель, который платит, не особенно церемонится с бедными актерами, тем более с еврейскими.

Как только доктор появился в кафе, все встали, уступили ему почетное место, которое он занял с чувством собственного достоинства. Но возле себя справа он усадил гастролера Рафалеско, а слева — импресарио. Общее настроение стало торжественным. Доктор Левиус позвонил, и оба кельнера в коротких фраках опять появились в зале, заглядывая в глаза доктора с таким трепетом и любопытством, будто то, что он им сейчас скажет, имеет для них, для кафе, для всего мира важнейшее значение. Оба кельнера склонились в поклоне и задерживали дыхание, насколько может выдержать живой человек.

Доктор Левиус не торопился. Сперва разгладил свой треугольный череп, сморщил лоб, прикрыл глаза и вдумчиво посмотрел поверх очков, как человек, решающий мировую проблему. Наконец слово сказано. Доктор Левиус просит кельнеров принести всем по кружке пива и кошерную колбасу.

Кельнеры выпрямились, пустились исполнять распоряжение так быстро, с такой радостью на лицах, точно спешили сообщить миру новость: кто-то из близких или знакомых открыл новый материк или, по меньшей мере, кого-то освободили из плена.

Пиво и кошерная колбаса торжественно явились на столах, доктор Левиус поднялся, словно президент государства, со сладкой улыбкой, разлившейся по толстым губам и большим белым зубам, начал длинный и велеречивый тост.

Естественно, доктор Левиус говорил на высокопарном немецком языке, ибо официально надо было говорить по-немецки.

В трех словах передаем эту речь:

Прежде всего, доктор Левиус сделал короткий экскурс в историю театра вообще от времен великого Шекспира по сей день. Понятно, что при этом была обнаружена большая эрудиция: назывались поэмы, романы, пьесы и авторы, имена сыпались градом на головы изголодавшихся актеров, которые шельмовато подмигивали пенистому пиву и любезно улыбались кошерной колбасе, издававшей приятный аромат хорошо прокопченного мяса и чеснока.

Господа помаленьку стали тянуться к кружкам с пивом; за время короткого «экскурса» о творчестве Шекспира они, по их расчетам, могли трижды справиться с пивом и кошерной колбасой.

Доктор Левиус сам понял, что он со своим коротким «экскурсом» слишком далеко зашел, он искусно перепрыгнул от Шекспира прямо к «отцу еврейской сцены», к Гольдфадену и его последователям, а затем благополучно перешел к артистам Львовского театра и к артистам всех других театров, странствующих из города в город и несущих знамя еврейского искусства.

Один из значительнейших странствующих артистов, сказал доктор,— молодой гость из Бухареста, знаменитый уже маэстро, талантливый художник, Рафалеско, которого они имеют честь здесь в узком кругу артистов чествовать.

— Этот молодой артист, дамы и господа,— обратился доктор Левиус к артистам, указывая на Рафалеско,— этот юный артист предстал перед нашими глазами совсем неожиданно, как появляется иногда на небе неожиданно для астрономов сверкающая блуждающая звезда. Эта блуждающая звезда — Рафалеско, он осветил небо нашей еврейской сцены. Но, к сожалению, дамы и господа, только на короткое время. Как все большие блуждающие звезды, которые неожиданно появляются и вдруг исчезают... Я предлагаю тост, дамы и господа,— закончил доктор Левиус свою речь,— за наши еврейские блуждающие звезды, ура!

Тройным «ура» ответили артисты обеих трупп и поблагодарили оратора аплодисментами, а затем взялись за пиво и кошерную колбасу.

— За нашу блуждающую звезду! — сказал доктор Левиус, допивая последний глоток пива. Позвонил кельнерам, расплатился и попрощался со всеми до следующего спектакля, до завтра.

— До свидания!

— Благословен освободивший нас! — сказал один из компании, когда доктор Левиус был уже по ту сторону двери.

— Все до времени, — подхватил другой.

— Ничего нет вечного под луной, как Дон Педро говорит.

— Дурак! Какой Дон Педро? Это вовсе сказал пророк Моисей.

— Ты, вероятно, думаешь — царь Соломон?

— Пусть будет царь Соломон. Ребята, за работу! Ночь на исходе.

И народ перешел к карточным столам в соседней комнате.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

### За картами

Когда компания актеров собирается здесь, в маленькой игровой комнате кафе «Монополь», время течет будто сквозь пальцы.

Сядут играть, и кто-нибудь станет козлом отпущения, и на его голову градом падают остроты и бранные слова.

Чаще всего таким козлом отпущения бывает Швалб, наш знакомый трагик Изак Швалб.

На сей раз Швалб горячился за картами больше обычного. Кошка, видимо, перебежала ему дорогу. Не везло ему, хоть лопни. Оба, он и его сестра, примадонна Генриетта Швалб, то и дело меняли деньги, и щеки обоих пылали адским пламенем.

Проигрыш сестры волновал его больше, чем собственный. При всех он упрекал ее, что «она кидает деньги в огонь». А она ему: она сжигает свои деньги, а не его. Тогда он крикнул: «Стирать бы тебе белье», она ему в ответ: «Крутить бы тебе папиросы»... Он ей... она ему... Слово за слово, стало весело; кто берет сторону примадонны, а кто ее брата. Швалб совсем рассвирепел. Он кричит, что ему не нужны защитники и что он не нуждается в сочувствии. Весело! Народ радуется.

Игрой были захвачены оба директора: Гецл бен-Гецл и Бернард Голцман.

Вначале директора сидели и присматривались, как народ играет. Любопытно ведь посмотреть, кто выигрывает

и кто проигрывает. Потом они тоже ставят на кон. Упаси бог, не на выигрыш. Нет, так себе, не всерьез. Интересно посмотреть, чья карта бьет. Карта слепа, и наши директора, как водится, проигрывают. Хотят отыграться, но снова проигрывают. Начинают горячиться так, что ничего не видят, кроме трех вещей: банкмета, денег и карт.

Карты раздаются, лица пылают, глаза горят, деньги звенят, крики от возбуждения растут, кто-то смеется, а кто-то чуть не плачет. Кое-кто доволен, а кое-кто огорчен. Взвинчены все. Готовы убить друг друга, живьем проглотить.

Только двое не приняли участия в карточной вакханалии. Это наш юный герой Рафалеско и Брайнделе Черняк, или, как ее называют, Брайнделе Козак.

Не потому, конечно, что они равнодушны к карточной игре. Наоборот. О Брайнделе Козак говорят, что «она за картами заткнет за пояс трех мужчин». У нее выиграть грош, говорят, это — «что из стенки высосать вино»... Когда Брайнделе Козак выигрывает, она забирает деньги и — тью-тью. Так о ней говорят актеры. Выиграв, она прячет деньги глубоко в карман; а если ей не везет, прекращает игру, такой человек Брайнделе Козак.

Рафалеско тоже не прочь сыграть. Можно сказать, он даже любит карты. Хотя... Его не интересует выигрыш или проигрыш, ему нравится сам процесс.

«Ха-ха! Шестой раз ставлю на пикового короля и ни разу не выиграл».

Или: «Ха-ха! Что вы скажете на это? Опять я проиграл!»

На сей раз Брайнделе Козак и Рафалеско, дождавшись, когда шум усилился до предела, а внимание всех поглотил карточный стол, отошли в сторону и разговорились:

— Если не ошибаюсь, я вас где-то видел, кажется, в Голонешти?

— Нет, вы не ошибаетесь.— Круглое лицо мадам Черняк багровеет, верхняя губа начинает потеть.— Я вас сразу узнала, хоть вы выросли и очень изменились... Может, присядем на минутку?

И они усаживаются за отдельный столик, и разговор вьется, вьется и вьется: «Голонешти... театр... труппа... Щупак...» И вдруг вопрос:

— Где же сейчас этот Щупак?

— Где Щупак? Э-ха! — она размахивает руками, — покойник...

Рафалеско вострепнулся:

— Умер?..

Мадам Черняк рассмеялась, обнажив все зубы:

— Ха-ха, Щупак умер? Не такой он человек, Щупак, чтобы совершить такую глупость. Как раз жив и здоров, только голову посыпал пеплом. Кроме того, у него на уме одни бабы (разбойник Щупак позволил себе иметь трех жён, получить бы ему три нарыва в горле!), он с божьей помощью получил еще один удар, который запомнит навсегда, и так скоро не очухается.

Мадам Черняк придвинулась к Лейблу поближе и рассказала ему с жаром необыкновенным. Как плохо Щупаку, как он истратился, заложил все бриллианты! А ради чего? Ради девушки. Ему приснилось, что она будет со временем его опорой... Она должна была стать примадонной. Щупак рассчитывал нажать (пусть болячку наживет!) с ее помощью богатство... В конце концов, есть бог на свете. Что делает бог? Случилось так. Эта девушка познакомилась где-то на концерте с известной певицей Марчеллой Эмбрих \*, а Марчелла Эмбрих, услышав, как она поет, пришла в восторг и устроила ее учиться в Венскую консерваторию. Так не провалиться ему пропадом, этому Щупаку? Когда теряешь такую примадонну, то не надо ли повеситься? Девушка золото... совсем ребенок... красива, как день, а поет — свет не слыхал... Роза зовут ее. Роза Спивак.

— Рейзл?!

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Кто красив, а она умна

Брайнделе Черняк, или Брайнделе Козак, когда услышала, как Рафалеско вскрикнул «Рейзл», больше сдерживаться не могла. Она всплеснула руками и сама себя похвалила:

— Ой! Ой! Ну? Кто красив, а я умна!..

Да. Она может похвастать, что у нее наметанный глаз. Ой, глаз! С первой минуты, как увидела за кулисами «Лео Рафалеско из Бухареста», она поняла, что это «он»... Тот, которого она видела вместе со Спивак. И не один, а много раз. И она стала вспоминать. Господи! Где же я его видела вместе с Розой Спивак? Конечно же в Голонешти, в театре. Но только сегодня ей все ста-

до понятно, ясно как день. Во-первых, ей понятно, почему Роза Спивак так страдала... О! По такому парню можно скучать... Ах, если бы он знал, как Роза убивалась.

— Убивалась?

У Рафалеско перехватило дыхание. Мадам Черняк хлопнула его по руке. Полюбуйтесь, как он притворяется!.. Бедненький. Такой молоденький уже лукавить научился. Ай-ай-ай! Спрашивает: убивалась, тосковала? Тоска тоске рознь. Она изнывала! Откуда Брайнделе знает? Ха-ха, вот тебе и на! Они с Розой жили душа в душу, как сестры, родные сестры... Разве были у Розы хоть какие-нибудь тайны от нее?

Однажды приключилась такая история... Ша! Где она случилась? Брайнделе Козак уже точно не помнит. Где они только не побывали! Как цыгане, тащились за Щупаком, утащили бы его, господи боже мой, черти в гроб. Из страны в страну, из города в город, где дневали, там не ночевали. Оставаться долго на одном месте нельзя было из-за преследовавших Щупака жен. Всякий раз к нему новая жена приезжает, казни египетские бы на его голову. А труппа была тогда у него — такое бы ему счастье. Актрисы — дубины, одна больше другой. Если бы не она, Брайнделе Черняк, с ее игрой и Роза Спивак с ее пением, хоть торбу бери и ступай побираться. На нас обеих, можно сказать, держался этот театр. Особенно на пении Розы! Вот это пение! Это — песни!..

Мадам Черняк уже тогда понимала, что эта девушка со временем станет знаменитостью. Мадам Черняк знает в этом толк... Чего она только не повидала на своем веку, ой-ой-ой! Сколько раз говорила она Розе — не место ей здесь. Никто не решился бы с ней так откровенничать, как она, и никому, как ей, не доверила бы Роза своего сердца, ибо никто не знает — нет, никто не знает Щупака, черт дерит его, Брайнделе Козак... Она знала, чем это пахнет для одинокой... совсем ребенок... кровь с молоком... девушки. Распространяли слух, что Роза Спивак родственница Щупака, племянница, которую он привез из Варшавы! Ха-ха! Это он бабушке расскажет, не ей! Она, Брайнделе Черняк, сразу почуяла, что Роза ему такая племянница, как она царица... Но он хочет племянницу, черт с ним, пусть будет племянница... И мадам Черняк стала присматриваться, подслушивать, выпытывать у флигель-адъютанта Щупака, у Шолем-Мейера Муравчика, так его зовут. Рафалеско должен его помнить... — О! Он

очень хорошо его помнит, отчего же ему не помнить? Низенький, веселый, одним словом, Кикимора...

— Кикимора? — подхватывает Брайнделе Козак. — Злодей, вор, выродок, еще больший негодяй, чем его хозяин. Как преданная собака служит Щупаку, черт знает что этих двух объединяет. Речи у них — что мед, а дела — что полынь.

И не уставая, она обливает их грязью, а наш юный герой терпеливо ждет, ему бы послушать о Розе, но она трещит все о Щупаке да Щупаке. Даже сама замечает, что в ее рассказе слишком много Щупака, перебивает себя: «Да, на чем я остановилась, значит? Все на этой Розе Спивак...» Однажды она пришла к ней, Роза, значит, и спрашивает, умею ли я гадать на картах? Чего вдруг? Уметь я умею. Но я знаю гадалку, такая одна на всем белом свете... Бросилась она мне на шею, Роза, значит: «Душенька, милая, любимая, поведите меня к гадалке...» Нет, она хочет теперь, немедленно... «Что тебе приспичило, пташечка?...» Так, хочется. Капризная девица была эта Спивак, огонь, пламень... Вдруг ни с того ни с сего расплачется, уткнется головой в подушку, и не ест, и не пьет. А иногда среди белого дня схватит вас и завертит в танце... Вроде с ума сошла или рехнулась... А иногда запоет, а поет, ну, как соловей. Капризная девица эта Спивак!..

Итак, на чем я остановилась? Идут они к гадалке, значит, хорошо. Пришли к ней — умная колдунья. Хитрющая. Посмотрела ей в глаза, раскладывает карты, выпадает король — «любовь», значит... и валет червей — «светлый кавалер»... и шестерка, каждый раз иной масти — «дорога», значит... Хорошо. И гадалка не спускает с нее глаз, объясняет ей, что «светлый кавалер» постоянно думает о ней... постоянно... Днем и ночью он думает только о ней, этот блондин. Он рвется к ней, к Розе, значит, всеми силами, телом и душой... Хочет, говорит она, с тобой встретиться, изнывает, мечтает и не знает как... Потому что вы, говорит она, оба в «дороге», всегда в дороге. Всегда, всегда в дороге... Он — сюда, ты — туда. Он туда, ты — сюда... Вы любите друг друга, говорит она: он — тебя, а ты — его. И вы стремитесь, говорит она, один к другому и мечтаете, рветесь, но блуждаете, вы блуждаете... Вы блуждаете, как звезды, говорит она, как звезды на небе...

И еще что-то ей гадалка говорила, говорила и говорила. Она уже не помнит, что именно... Она только помнит,

когда они вышли от гадалки, Роза упала ей на грудь и стала обнимать, целовать и плакать от радости... «Капризная девица,— думала я тогда,— капризная»... Сейчас ей все понятно — так кончает Брайнделе Козак свой рассказ, и ее круглое лицо расплывается в самодовольной улыбке.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

### Хочется петь

Уже было далеко за полночь, когда актеры закончили, наконец, карточную игру и разошлись, кто с сожалением, а кто с досадой, кто с радостью, а кто со злостью на самого себя и на весь мир.

Как назло, не было ни одного извозчика на улице, и наши герои, Голцман и Рафалеско, должны были вместе со всеми тащиться пешком по львовским улицам из кафе «Монополь» до своего пристанища.

Была осенняя ночь. Одна из тех ночей, о которых говорят: «не зима, не лето, не холодно и не тепло». Спрашивается, почему нашему молодому герою так хорошо и весело? Почему ему улыбается небо? Почему сияют звезды? Почему поют птицы? Почему ему улыбается ночь? Почему он парит в вышине? Почему ему хочется петь сегодня? Почему хочется обнять своего друга, его дорогого любимого друга, и расцеловаться с ним именно здесь, сейчас, посреди улицы? Нет, он должен обнять его, Голцмана, он любит его.

Тот смотрит на него как на сумасшедшего.

— Что с тобой стряслось сегодня, моя дорогая певчая птичка?

Голцман не может простить себе увлеченность игрой. Он сегодня проигрался, как настоящий картежник. Черт его понес пристроиться к банку. Соблазн, ко всем чертям! Увидел полную тарелочку, и очень захотелось.

Черт бы побрал эти деньги!.. Вначале он выигрывал, так забери же шапку «с орехами» и ступай быстрее домой, плешивый. Нет, хочется еще и еще. У человека глаза завидующие, да к тому же не мог отказать директору Гецулу.

— Холера на него вместе с моим кашлем.

Плохая примета. Когда Голцман начинает кашлять и проклинать, значит — не в духе. Зато Рафалеско в хорошем настроении. Счастлив! Счастлив? Не то слово!

Пусть будет благословенна эта ночь! И благословен мир. Этот прекрасный мир! На всем пути от кафе до гостиницы он говорил, говорил, без конца ему пел. «Что случилось с парнем?..» Директор Голцман взглянул на Рафалеско: лицо его сияет, глаза блестят. «Очевидно, комплименты доктора Левиафана ему вскружили голову»...

Пришли к себе на квартиру на рассвете, с трудом добрались, едва разделись, чтобы лечь спать, а Рафалеско все никак не перестает говорить и смеяться. Голцману показалось, что его юный друг странно сегодня разговаривает. Слова не клеятся... Нет, ему нравится, говорит он, город Львов! Львов очаровательный город. Прекрасное название Львов. А люди? Золотые люди, говорит он. А театр ему тоже, говорит он, понравился. А артисты — хорошие все люди.

— А директор Гецл бен-Гецл? — перебивает его Голцман.

— Тоже. Очень милый человек этот Гецл.

— Счастья бы ему такого! — подхватил Голцман и хотел потушить свечку — пора спать. Рафалеско не разрешил, хотелось еще немного поговорить. — Ты с ума сошел? Скоро день.

— Ну еще немного, — просит его Рафалеско и смеется.

— О ком тебе хочется поговорить? — спрашивает Голцман.

— О докторе Левиусе.

— Что можно сказать о докторе Левиусе? Меценат, немчура, может наврать с три короба...

Да, но хочется знать, что Голцман думает о Вене. О поездке в Вену!..

Что должен Голцман думать о Вене? Как они могут бросить все дела и вдруг поехать в Вену? Что у них — краденые деньги, что ли?.. Пусть доктор Левиус примет участие в расходах — у него, возможно, полмиллиона, не хвор он и помочь...

Рафалеско задумывается:

— Помочь? Определенно! Почему ему не помочь? Золотой человек этот доктор. Золото, не доктор.

— Все у тебя золотые люди. Все бриллианты. Пора, пора спать. Спать! Спать!

Голцман вытянул длинную худую шею, дунул, погасил свечу, закрыл глаза, приготовился уснуть, но Рафалеско не дает:

— Вот эта маленькая, толстенькая, эта Брайнделе Козак, правда, приятная?

Голцман приподнялся, облокотился на острый локоть высохшей руки и вглядывается острыми глазами в темноту, которую прорезает прозрачная голубизна раннего утра.

Голцман как-то забыл о Брайнделе Козак. Теперь вспомнил, что она все время сидела рядом с парнем. О чем они могли говорить?..

Кто знает... Есть много мерзавцев на свете... нет, он не может простить себе, что так увлекся картами, даже забыл о парне. Больше этого не будет...

Голцману не спится. Он глухо покашлял и спросил Рафалеско, о чем, однако, он там разговаривал с Брайнделе Козак.

Рафалеско успокоил его: «О чем можно говорить? Ни о чем, о пустяках. Просто так беседовали. Болтали...»

— Все-таки?..

Рафалеско стал рассказывать. Он придумывал одну небылицу за другой и сам над собой смеялся, сам удивлялся, что ложь льется из его уст так легко, гладко, как по маслу. И чем больше говорил, тем правдоподобнее получалось.

И все-таки Рафалеско чувствовал, что говорит не то, что надо, и потому закончил так:

— Эта Брайнделе Козак, право, славная душа. Человек без желчи. И видимо, одаренная актриса. Она, видимо, должна хорошо играть. Здесь все актеры так играют. Что? Не так?

Никто не отвечает, Гоцмах уснул? Да, он спит.

Сон у Гоцмаха тяжелый. Что-то в груди у него перекачивается, хрипит и поет, а то клокочет и рвется наружу, застревает в горле, не дает спать. Он захлебывается, давится кашлем и, проклиная кашель страшными словами, засыпает.

\* \* \*

Как можно уснуть в такую ночь? Не понимает этого Рафалеско. Необыкновенная ночь. Почти зима, и так чудесно. Да будет благословенна эта ночь!.. Рафалеско встает с постели, открывает окно. Вдыхает свежий воздух. Взор его охватывает все небо. Потухли звезды. В стороне висит туманная луна. Вот-вот она исчезнет за горизонтом. Полуночная синева становится серой, утренней. Не заметишь, как проснется шумное утро. Наш герой этому рад:

пусть будет ночь, пусть будет день. Бог сотворил такой прекрасный мир! Да будет благословен этот мир! Невозможно спать, когда так хорошо на душе, когда сердце переполнено и хочется петь!

## ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

### Дипломаты

Голцман почуял, что директор Львовского театра «Екл бен-Флекл» имеет виды на его парня. У Голцмана, слава богу, острый нюх и верный глаз. Он видит, что все кружатся вокруг Рафалеско и смотрят на него, как коты на масло. «Пляшите, детки, пляшите. На свою беду пляшите»... Так думал Голцман, продумывая свои ходы.

Прежде всего он договорился с братом примадонны, который слишком явно обхаживал парня. Таких, как дубина Швалб, Голцман десяток может заткнуть за пояс.

Однажды Голцман пригласил трагика Изака Швалба в «ресторан» и за кружкой пива и колбасой превозносит его до небес, пошли ему господь столько счастья, сколько в Швалбе актерского таланта. Разве директор «Екл бен-Флекл» достоин иметь такого трагика, как Швалб?

Голцман нащупал самое больное его место. Швалб признался по секрету, что он давно хочет расстаться с этим эксплуататором, но, во-первых, он связан контрактом еще на добрых три года, а во-вторых, нет «ниток»... Имел бы он деньги, э-хе-хе — где бы он теперь был? Гнить бы так долго в земле Геццу бен-Геццу, как долго видели бы его во Львове. Он уж нашел бы, куда поехать с такой примадонной, как его сестричка. Лондон, говорят, гораздо больше Львова, ха?

— Я думаю, — соглашается Голцман со вздохом.

Чего же лучше. У Швалба там брат в Лондоне, родной брат. Тоже папиросник. То есть он когда-то был папиросником, теперь он уже «бизнесмен». Недавно прислал свою фотографию: на ней парень с животиком, золотой цепочкой, бриллиантовым кольцом, совсем не узнать. Он пишет ему, этот брат, ради бога, приезжай с сестрой в Лондон, вот тогда узнаете, что значит жить на свете!

Голцман выслушал его и сказал: «Мне бы столько счастья, сколько ума у вашего брата».

Сам он, Голцман, совсем не прочь проехаться со своим парнем в Лондон. Его давно туда, в этот Лондон, тянет. Чувствует, там их ждет удача и счастье. Главное в дру-

гом, надо сколотить «хедер». Он, Голцман, знает, чего ему не хватает. В его труппе недостает хорошего трагика на сильные роли и красивой примадонны — если бы он получил их, тогда «сам черт ему не брат»!

Полчаса спустя, когда Голцман и Швалб вышли из ресторана с толстыми благоухающими сигарами во рту, они долго и крепко пожимали руки и дружественно улыбались, как люди, понявшие друг друга с полуслова и заключившие надежный товарищеский союз в важнейшем деле.

Прослышав, что «язва» Голцман снюхался с «толстопузым» Швалбом, кое-кто из актеров донес директору: «Так, мол, и так: наш Ицикл слишком уж запанибрата с этим свистуном из Бухареста...»

Директор Гецл бен-Гецл выслушал это донесение вполуха, но сделал вид, что потрясен. Гецл позеленел и посиленел от злости и велел позвать к нему папиросника Швалба. Когда Швалб вошел к директору, тот запер двери и окна, оглядевшись, начал разговор. Говорили они тихо, едва слышно. Мало ли что, вдруг кто-нибудь подслушивает за дверью? Кругом подлые люди, интриганы, бездельники...

Когда после этого тихого разговора Швалб вышел из директорского кабинета, его красное лицо жаром пылало и было мокро, как шкура бобра.

— Очевидно, получил хорошую взбучку! — подумали его коллеги, но они ошибались.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ Голцман делает ход за ходом

У артистов Львовского театра появилась новая забота. Отчего этот бухарестский директор так сблизился с их Брайнделе Козак, ломали они себе головы. И как обычно, начали посмеиваться, точить языки, обмениваться шутками и прибаутками:

- Точно прилипли друг к другу.
- Смотрите, не пахнет ли здесь свадьбой?
- Поздравляю! Хочешь сказать, оба влипли.
- Как черт с ведьмой.
- Теперь обоим конец.
- Дай бог, чтобы это был их последний час.

Кто мог подумать, что Голцман через Брайнделе Козак подъезжает к Генриетте Швалб. Надо было обладать таким чутьем, как у Голцмана, чтобы понять, что Брайнде-

ле Козак может ему быть лучшим помощником. Он взялся за работу умно, искусно, энергично и с большим азартом.

Все началось просто: с беседы, прогулки, визита домой — старые знакомые. Чем дальше, тем дружественнее. Ему приятно видеться с нею. Жаль только, нет здесь Щупака.

— Что было бы? — спрашивает она и смотрит на него маленькими японскими глазками, пытаясь угадать, что он имеет в виду.

— Провалился бы он сквозь землю.

— Аминь, дай боже, из ваших уст да в божьи уши!..

Чуть не сказала: «из твоих уст» — но спохватилась.

Ей странно говорить ему «вы»! Господи, что с человеком может статься! Если бы Щупак был здесь и поглядел бы на Гоцмаха, он в самом деле провалился бы сквозь землю!..

Так думает Брайнделе Козак, и смотрит на него, и не может наглядеться. Она слушает его речи и не может послушаться. Это совсем не тот человек, совсем не те речи, он уже говорит о «деле», о «капитале». «Гоцмах» и «капитал» — ха-ха!.. Он хвастает, что у него, слава богу, мало денег... Капиталист он не большой, говорит он, но со Щупаком может тягаться. У того бриллианты, а у него наличные; наличная копейка, говорит он, дороже бриллиантов, черт побрал бы их батьку!

— Отвяжитесь от Щупака! — перебивает его Брайнделе Козак.— У него сейчас горести, не до бриллиантов.

— Не поверю, пока не увижу своими глазами, и не успокоюсь, пока Щупак не будет чистить мне мои сапоги. Холера взяла бы Щупака вместе с моим кашлем.

Говоря о Щупаке, Голцман разволновался и закашлялся. Откашлявшись, заложил пальцы за жилет и принялся шагать по комнате мадам Черняк взад и вперед длинными худыми ногами, смотрел на кончики ботинок и не переставая хвастал перед нею, чем занялся и владеет.

Вдруг остановился и начал оправдываться, объяснять ей, откуда у него деньги. Просто заработал и собрал, сэкономил и спрятал. «Он достаточно бедствовал, пока добился этого дела. Бог должен ему помочь».

— Аминь, дай бог, почему нет? — соглашается мадам Черняк. Она не понимает, зачем ему оправдываться. Разве позор иметь деньги? Позорно быть «касриликом», нищим, попрошайкой, как все эти чудачки, которые, прощу прощения, ходят без нижней рубашки и умеют только резаться в карты, одалживать рубль без возврата!

— Видеть их не могу, этих людей, потому что деньги у них ничто... руки у них как решето, фи-фу-фа... В чем дело? Разве нельзя быть хорошим актером и сберечь грош? Что человек без денег?

— Тело без души,— поддерживает он ее, попадает в ее тон. Он еще помнит со времен Щупака, что была и у нее «торбочка».

Актеры говаривали, что Брайнделе Козак богата деньгами, как годами. Плохо только, что бог не совершает чуда, не сделал, чтобы земля проглотила ее, как Кораха \*, а они унаследовали бы ее капиталы...

Понемногу Голцман переходит к важным делам и планам.

До каких пор скитаться ей по белу свету и пребывать в рабах у такого аспида, как «Екл бен-Флекл»? Не лучше ли пойти рука об руку с ним, с Голцманом? Такие два человека, как Голцман и Брайнделе Козак, могут сотворить что-то ценное. Ха-ха! Такие два человека, как они, ей-богу, вроде битых собак... Знают, почему фунт лиха... И как капиталец сколотить, их учить не надо. Надо уметь зашибать деньги, а главное — их надо уметь беречь. Грош надо беречь, а он уж и рубль сбережет. Не так ли?

— До денег охотников много,— соглашается Брайнделе Козак.

Их беседа текла мирно, пока Голцман не добрался до главной цели.

— Надо переманить,— говорит он,— у «Екла бен-Флекла» красивую телку.

— Красивую телку, ха-ха? — повторяет за ним Брайнделе Козак.

Ее жирное, круглое, как луна, лицо расплылось в улыбке, обнажившей белые зубы. По всему видать, она довольна: во-первых, тем, что угадала, кого он имеет в виду, во-вторых, что Голцман назвал примадонну ее настоящим именем, в-третьих, она вообще довольна беседой...

Голцман пронизывает ее колючим взглядом и полусерьезно-полушутя объясняет, почему надо переманить «красивую телку».

— Хорошенькая примадонна, будь она глупа как телка, для дела годится.

— Неиссякаемый клад, ха-ха,— соглашается Брайнделе Козак.

— Благословение господне,— продолжает Голцман тем же полусерьезным, полушутливым тоном.

— Благословение господне,— подхватывает Брайнделе Козак и кокетливо ударяет его. Ее круглое лицо вспотело от удовольствия... а ее маленькие азиатские глазки так сузились, что их почти не видно.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

### Любовные приключения Брайнделе Козак

Как понимать намек Гоцмаха «идти с ним рука об руку»? Как не обрадоваться ему одинокой, блуждающей душе, которая столько лет странствует из города в город, из страны в страну, из театра в театр?.. Когда Голцман был у Щупака и звали его еще «Гоцмахом», было совсем другое. А теперь, когда «Гоцмах» уже «Голцман» и директор собственного театра, обладатель такого парня, такого актера, как Рафалеско, из-за которого все готовы передрасться, к тому же Голцман имеет небольшой капиталец,— о! — теперь другое дело. Если бы они, как он выразился, шли рука об руку, если бы ей удалось переманить «красивую телку», Генриетту, а потом вчетвером, вместе с примадонной и Рафалеско, отправиться бродить по свету — о, тогда им сам черт не брат!

Вот с такими сладкими надеждами наша Брайнделе Козак взялась за работу рьяно и умно, как настоящий дипломат. И слава богу, все удалось наилучшим образом. Генриетта, «дубина» с красивым личиком, дала себя уговорить, согласилась на все условия и «привилегии», которые ей предложили. Особенно расположила ее тем мадам Черняк, что она будет очень близка к «парню», к Рафалеско...

И Генриетта смотрела на мадам Черняк красивыми синими глазами, краснея как мак. Брайнделе Козак заметила ее смущение и выручила ее:

— Не понимаю, чего стесняться? Дело житейское... Мне пальца в рот не клади, откушу... Разве я не вижу, что Генриетта без ума от него, а он от нее?..

Генриетта Швалб вспыхнула. Он от нее? Откуда это ей известно?

О! Она знает, мадам Черняк, она все знает. Нет ничего такого, чего бы мадам Черняк не знала. Нет ничего на свете, чего бы мадам Черняк не смогла сделать. Надо ее только хорошо попросить, и она все моментально сделает. Раздва-три, и бьют тарелки.

— Брайнделе! Милая, душенька! — Генриетта бросается ей на шею, пряча красивое пылающее лицо в красную ротонду мадам Черняк.

Недаром примадонну называли «красивая телка», «дубина» и «овечка». Генриетта Швалб взялась, очевидно, доказать миру, что можно иметь красивое лицо, а разума не иметь ни на грош. Брайнделе Козак могла заткнуть ее за пояс, купить и продать целую дюжину красивых глупых девиц, как примадонна Львовского театра... Кто в те дни не видел Брайнделе Козак, тот не видел счастливого человека. Каждая душа имеет свою звезду, и всякому овощу приходит свой черед. Пришел черед Брайнделе Черняк, пришло время и ее сердцу проснуться от долгой спячки и забиться, затрепетать от предвкушения подлинного счастья.

Беда, однако, в том, что пробуждение от душевной спячки она испытывает не впервые. Не впервые и, по-видимому, не в последний раз.

Сколько раз в жизни она обжигалась! Сколько ударов нанесли ей эти «лживые, избалованные, испорченные мужчины»? И все-таки жизнь ее ничему не научила.

Было время, когда Щупак нуждался в ее услугах и сватался к ней, и она ему верила. Потом она волосы на себе рвала... По сей день не может хладнокровно слышать его имя, а все-таки вспоминает его трижды на день.

После Щупака с ней начал заигрывать его флигель-адъютант, наш старый знакомый Шолем-Мейер Муравчик, Кикимора.

Этот субъект залез к ней, как говорится, сапогом в душу. Дошло до того, что оставалось только повенчаться. Но об этом Шолем-Мейер и слышать не хотел. Актер не признавал семейных уз. Девушка, невеста, прогулки, подарки, ужин, шутки, танцуйки — все что угодно, только не брак: «Лучший брак — хуже худшей смерти»...

Роман Брайнделе Козак с Муравчиком начался так же, как и все ее романы до него и после него. Началось с того, что Муравчик взял у нее взаймы немного денег, затем последовал еще заем, а кончилось ссорой, душевной болью и непримиримой ненавистью ко всем «лживым, изменчивым мужчинам».

Но какие раны не лечит время? Деньги, взятые у нее в долг, так и остались невозвратной ссудой, мадам Черняк как была мадам Черняк, так и осталась мадам Черняк.

Но она не теряла надежды. Рано или поздно — придет все-таки тот, кто поймет и оценит ее по достоинству.

Он должен, должен когда-нибудь прийти. Она впустил его в свой дом, откроет сундук, и он увидит ее сокровища. Увидит ее белье, платья, драгоценности. Все приготовлено для него... Для него... а он ничего не знает! Ее сердце и душа откроются ему. Возможно, она не красива, не молода, как другие, но сколько нежности, сколько любви таится в ее груди!.. Сколько настоящей чистой преданности и сердечного чувства скрыто в ней!

На сей раз выбор мадам Черняк пал на Голцмана. Теперь Голцман прочно занял место в ее сердце, властвовал над нею, пока ему это было нужно. А потом, когда они поговорили пообстоятельнее, оказалось, что они друг друга не поняли. Что означало «идти рука об руку»? Это значило: она должна стать компаньонкой в его деле.

А почему бы и нет? С превеликим удовольствием. Ей только нужно внести немного денег!

Внести деньги, стать компаньонкой?..

Разве это было в мыслях у мадам Черняк?..

Лживые, неверные мужчины! Бедная Брайнделе Козак!

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

### Визит

Однажды в антракте львовский меценат доктор Левиус нежнейше обратился к директору Бернаруду Голцману с просьбой прийти вместе с молодым маэстро Раффалеско к нему на обед. Он надеется, сказал доктор, улыбкой обнажая странно росшие зубы, что ему не откажут.

— Отказаться от такого обеда? — вырвалось у Голцмана, и он подмигнул своему другу: «ну и болван!» — ни в коем случае. Напротив, — продолжал Голцман, — с превеликим унижением, то есть, виноват, с превеликим уважением.

Для Голцмана этот визит был таким праздником, к которому надо готовиться. Эх! елки-палки! Раз меценат приглашает на обед, надо явиться в достойном виде.

Голцман отправился в магазин и купил себе новый костюм, до хрипоты торговался со львовскими продавцами, пока не сошелся в цене, приобрел обновку, можно сказать, почти даром.

— Столько болеть директору «Еклу бен-Флеклу», сколько времени необходимо, чтобы найти такой костюм за такую цену. Что ты скажешь, Лейбеню?

— Дешевле краденого.

— А разве нет?

— Почему же нет?

— Так отчего смеешься?

— А что, плакать прикажешь?

— Кто говорит плакать? Эх ты, голова дубовая,— сказал Голцман. Оба рассмеялись и стали готовиться к визиту.

Голцман сел брить ссохшееся желто-зеленое лицо, оставив ради красоты черные бакенбарды. Они очень гармонировали с его впалыми щеками и длинной шеей, торчавшей из белоснежного воротничка, искусно повязанного элегантно галстуком.

Новые лакированные штиблеты с широкими шнурками, блестящий цилиндр на заостренной голове придавали его несколько угловатой фигуре особую привлекательность.

Его молодой друг Рафалеско не удержался от похвал и сказал, что Голцман с каждым днем становится красивее.

— Красивее — может быть, но не моложе,— ответил тот, наклонив голову.— Видишь, пташечка, седые волосы, холера этому Щупаку, ему обязан...

И Рафалеско оделся по последней моде. Его белые, на редкость красивые руки оттенял черный смокинг, который был ему мал и узок, так как Рафалеско был в том возрасте, когда человек растет не по дням, а по часам. Широкая белоснежная манишка выглядывала из жилета и соперничала с белизной его прекрасной шеи. От всей его фигуры веяло юностью и обаянием, и поистине на него радостно было смотреть. Не зря примадонна Генриетта забросила всех кавалеров и женихов и решила совсем серьезно «победить этого молодого щенка», у которого не то каменное сердце, не то глаза не на месте, или он еще «зеленый огурец».

Генриетта Швалб, привыкшая к тому, что все по ней с ума сходят, не могла понять, что с парнем. Как так? Она всегда у него, на глазах, специально ради него наряжается, недавно сшила себе бархатное платье «реформ», подбитое мехом, делает все, на что способна, из сил выбивается, а он — ничего! Станный парень, дикарь дикарем. Вот он весел, прыгает, поет, танцует,— и вдруг становится грустным, отрешенным от мира сего. Надо его прибрать к рукам.

Рафалеско и думать не хочет о Генриетте. Ум и сердце его — в Вене. Вена стала тем раем, куда рвалась его душа. В Вене сейчас находились два человека, которые притягивали его как магнит. «Увидеть их и умереть».

Что Рейзл в Вене — он узнал от Брайнделе Козак. Что он ее там найдет — в этом нет сомнения. Вопрос в том, узнает ли она его. А как выглядит она сама? Как при первой их встрече? А что он ей скажет в первую минуту? Он не назовет себя, пусть она первая узнает его.

И вот она узнает его с первой секунды, они бросаются друг другу в объятия, но слов у них нет, кроме двух: «Рейзл» и «Лейбл». Грезы, грезы...

И еще: Зоненталь... Трудно сказать, кто больше занимает его сердце: Рейзл — его богиня, но Зоненталь — сам бог. А Вена? Это же город, где живет Зоненталь... С замиранием сердца Лейбл переступил бы порог дома великого артиста.

И вот ангельское лицо и солнечная улыбка бога артистов встречает юношу. Великий Зоненталь берет его за руку, вводит во внутренние покои своего великолепного дворца и усаживает в кресло против себя. Зоненталь, увидев его игру, так хвалит, так, что голова у Лейбла кружится. Нет, не такие роли ему надо играть, говорит ему Зоненталь с интонацией доктора Левиуса в первый день их знакомства. Нет, такой богом благословенный талант должен проявить себя в серьезных, классических ролях. То же самое, что, слово в слово, сказал ему доктор Левиус...

«Доктор Юлиус Левиус» — прочли наши герои на маленькой медной дощечке, прибитой к большим воротам великолепного дворца, окруженного железными прутьями ограды и высокими тополями. Богатый особняк внутри двора смотрит на вас весьма солидно, будто говорит: «Здесь хорошо, здесь уютно, здесь спокойно».

— Все деньги, черт бы их батьку взял! — не сдержался Голцман, высморкался в новый носовой платок и потянул ручку звонка.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

### Львовский меценат

Когда приглашенные гости Голцман и Рафалеско вошли в дом, доктора Левиуса они почти не узнали. Куда девалась широкая улыбка на его веселом лице? Куда девалась его непринужденная болтовня? Здесь, у себя, он казался более солидным и сдержанным. И меньше ростом стал на целую голову. Совсем не тот меценат, что в театре, совсем не тот доктор Левиус, что на улице.

Нельзя сказать, что доктор Левиус принял их недружелюбно. Напротив, помог им снять пальто, ввел в свой просторный кабинет, уставленный книжными полками от пола до потолка, усадил их в высокие кресла и завел разговор о том, нравится ли им Львов, погода и что-то еще, не заслуживающее внимания. Разговор был пустой, светский, как во всех аристократических домах, когда обед еще не готов, а проголодавшихся гостей нужно чем-то занять. Хозяин смотрит на вас как на напасть и думает: «До чего скучный гость, его еще надо занять разговорами». А гость смотрит на хозяина, спрашивая самого себя: «Какой бес меня сюда принес и заставил голодать? Разве дома у меня нет обеда, черт бы меня побрал»... Настроение ваше улучшается, когда хозяин просит к столу и представляет вас расфуфыренной, мило улыбающейся жене, и вас усаживают на видном месте справа от хозяйки, наливают вам первую рюмку, подают вам закуски, яства с тарелок смотрят на вас, источают аромат, и вы, наконец, входите в роль.

Потратив полчаса на пустую болтовню, доктор Левиус поднялся, провел гостей через анфиладу просторных комнат, великолепно обставленных богатой мебелью, с тяжелыми портьерами на окнах и высокими зеркалами, и подвел их к накрытому столу. Но вместо улыбающейся хозяйки увидели они на видном месте седое чудище со сморщенным желтым лицом, похожим на кислицу.

— Моя мамочка,— представил ее доктор Левиус после того, как поцеловал ей руку.

«Мамочка», женщина в парике, в шелковом платье, с бриллиантовыми серьгами в ушах и жемчужным ожерельем на шее, едва удостоила гостей взгляда. Это был холодный взор, от которого стынет материнское молоко. «Старая ведьма» — мелькнуло в колючих глазах Голцмана. И оба гостя, достаточно проголодавшись, сели к столу без приглашения и принялись за еду, продолжая разглядывать меж тем доктора Левиуса, физиономия которого странно изменилась. На его лице заиграло какое-то подобие улыбки, скорее напоминавшей искривленный рот человека, которому собираются удалить зуб. Кажется, вот он соберется с силами, запрокинет голову, зажмурит глаза, откроет рот и произнесет: «На, тащи, рви, делай что хочешь»...

Так выглядели мамочка и доктор. Гостям казалось, что оба думают: «Какой дьявол принес их сюда». Нет, тем для разговора не было, а то, что возникало, отска-

кивало от гостей, как от стенки горох. Если бы не стук ножей и вилок, можно было услышать, как они жуют и глотают. За обедом царила тишина. Гости обрадовались, когда доктор встал из-за стола, поцеловал руку мамули и вернулся с ними к себе в кабинет.

Здесь хозяин открыл ящик письменного стола и достал три разных сигары из трех разных коробок! Острый глаз Голцмана оценил: три сигары трех разных сортов: хорошего, так себе и уж совсем никудышного. Хорошую сигару взял хозяин, ту, что так себе, дал Рафалеско, а никудышную преподнес Голцману.

Оказалось, Голцман знает толк в сигарах. Как только закурил, то сильно закашлялся. Если бы у Голцмана не было никакой иной цели, он не постеснялся бы спросить мецената, где он достает такие вонючие сигары, которые продают по дешевке для травли мух. Но так как этот визит преследовал определенную цель, Голцман сдержался и продолжал курить, кашлять и слушать лекцию об «искусстве», которую доктор читал для своего юного друга Рафалеско.

«Все одно и то же, с души воротит,— думал Голцман,— искусство, искусство, классические роли... в нашей Вене... Зоненталь, наш Зоненталь... А парень слушает и думает, что доктор приобщает его к «высокому искусству». Это может продолжаться до утра, нет, эту канитель надо кончать».

— Не обижайтесь, господин немец, я человек простой, во всех этих премудростях не разбираюсь. Вы утверждаете, что парню играть такие большие роли, как он до сих пор играл, не следует, ему нужно учиться в Вене. Вену ему, конечно, необходимо повидать. Разумеется, вы правы, но возникает вопрос, а как это осуществить? Вам, думаю, знакома поговорка: «Если нет пальцев, то кукиш не покажешь...»

При этих словах Голцман кивнул Рафалеско, призывая прийти ему на помощь.

Не понял его Рафалеско или прикинулся, что не понял, но на помощь Голцману не пришел... И меценат сорвался с места, словно его кипятком ошпарили.

— Пардон, вы имеете в виду письмо к Зоненталю, которое я обещал? Сейчас, одну минуточку.

Напрасно Голцман успокаивал доктора, говорил, что письмо не к спеху, и напрасно возвращался к тому, что «если нет пальцев...», напрасно пытался объяснить Левиусу, что речь идет о затратах, связанных с переездом

в Вену... что им «ниток», мол, не хватит, ибо у них на руках считанные копейки... Доктор Левиус был глух, как тетерев.

Догадавшись, что Левиус прикидывается непонимающим, Голцман повел речь в открытую. Но не успел Голцман произнести слово «деньги», как доктор Левиус уже вручал ему письмо, пожимал руку и просил швейцара показать гостям дорогу, а сам лично проводил их до дверей.

— Сегодня ваше последнее выступление, увидимся в театре и там обо всем потолкуем. До свидания! Благодарю за визит, адье, адье, до свидания!

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

### Последний спектакль во Львове

Последний спектакль знаменитой бухарестской труппы перед ее отъездом из Львова удался на славу и прошел с еще большим успехом, чем премьеры. Все актеры соответствовали ролям, режиссеру не надо было надрываться до седьмого пота, директору не надо было «рубить дрова», суфлеру буквально нечего было делать. Все шло гладко. Обе труппы на сей раз сыгрались; царил величественная одухотворенность молодого актера.

Рафалеско чувствовал, что он сегодня в ударе. Несмотря на всю нелепость разыгрываемой пьесы, удивительная сыгранность актерского ансамбля ее вытягивала. Настоящие ценители искусства получили огромное удовольствие, любители театра торжествовали, а обыватели были в восторге, неистовствовали и вызывали: «Рафалеско! Ра-фа-леско!»

И Рафалеско выходил на сцену без конца. И не один, а вместе с известной львовской примадонной, которая в этот вечер разделяла с ним триумф. Каждый раз, когда Рафалеско брал руку Генриетты, трепет пробегал по ее телу. «Парень мой... будет мой... попадет в мою упряжку», — так думала Генриетта Швалб, широко улыбаясь, сверкая белыми зубами и недавно приобретенными фальшивыми драгоценностями.

Глядя на сестру, радовался ее брат, трагик Швалб. Вот оно, золотое дно удачи: во-первых, он избавится от кровопийцы Гецла бен-Гецла, во-вторых, директор Голцман договорился с Швалбом об открытии собственного театра под названием: «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>». А сколько

стоит то, что горб свалится с его плеч? Он имеет в виду свою сестру Ентл, или Генриетту, которая, как ему показалось, прошибла парня. «Ничего, свадьба будет,— думал он, вытирая руками вспотевшее красное лицо,— мои коллеги лопнут от зависти, а моего директора «Екла бен-Флекла», как его зовет Голцман, кондрашка хватит».

— Чего вы каждую секунду заглядываете в щелочку, кого вы там ищете? — обратился Швалб к своему новому компаньону Голцману, который взволнованно вертелся за кулисами и поминутно заглядывал в зал.

— Вчерашний день,— ответил ему Голцман, не переставая заглядывать в партер.

Он искал доктора Юлиуса Левиуса, который обещал прийти на последний спектакль и не явился. Это событие так взволновало Голцмана, что он весь вечер непрерывно призывал холеру и другие болезни на всех врачей, немцев и меценатов всего мира.

— Кого это вы благословляете? — интересовались актеры.

— Это я вспоминаю своего дядю портного, который был бедняком из бедняков, хоть не прочь был пожить остатками материала своих заказчиков. Теперь он уже на том свете, да удостоится он места в раю во имя своих заплатанных штанов.

Актеры это объяснение всерьез не приняли и донесли своему директору о странном поведении Голцмана — директора из Бухареста.

Гецл бен-Гецл выслушал их, опустив глаза и едва скрывая улыбку.

«В раздрызганных чувствах? — подумал он.— Ослы! Лишь завтра все узнаете... Завтра произойдет кое-что пикантное».

\* \* \*

На другой день действительно свершилось нечто невероятное. С той поры как Львов стал городом и в нем появился еврейский театр, а директором театра сделался Гецл бен-Гецл, не было случая, чтобы у него увели всех актеров, выманили примадонну. Это во-первых. А во-вторых, увели ее брата, бандита, и еще одного актера, Беню Горгла, прекрасного суфлера. И даже мадам Черняк, Брайнделе Козак, тоже с ними пропала, всем бы им в тартарары провалиться!

— Что теперь делать? — жаловался Гецл бен-Гецл оставшимся актерам, — хоть возьми и закрой театр или живьем ложись в гроб.

— Не иначе! — утешали его актеры и от сильного переживания направились в кафе «Монополь» перекинуться в картишки. А директор Львовского театра взял, что называется, ноги в руки — и вдогонку за беглецами: в Бухарест, Вену, а если потребуется, то и дальше. Не будь он Гецл бен-Гецл, если их не настигнет. Разве что бога нет на свете!

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

### Родословная Швалбов

Договор наших компаньонов Голцмана и Швалба весьма торжественно был заключен в прекрасной Вене.

А именно, в ресторане, который вряд ли можно назвать первоклассным, но все же там можно было найти отдельный кабинет и неплохо провести время за кружкой пильзенского пива с сосисками.

Уединившись в таком кабинете, наши компаньоны выработали условия договора пункт за пунктом.

Первый. Голцман и Швалб открывают театр под названием: «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>».

Второй. Директорами театра являются они оба.

Третий. Оба директора вкладывают в дело: Швалб свою сестру Генриетту в качестве примадонны, а Голцман — знаменитого актера Лео Рафалеско на роль первого любовника.

Четвертый. Вся выручка, за вычетом расходов, делится пополам.

Пятый. Играть на сцене директора не обязаны. Играют только актеры. Если случится кому-либо из актеров заболеть, настолько, что он будет не в состоянии выйти на сцену, тогда заработки больного актера отойдут директорам.

Шестой. Все актеры работают у них на марки. Это значит: половину вечернего чистого заработка забирает дирекция; вторая половина идет на марки, и каждый из актеров получает вознаграждение сообразно достоинству, исключая Рафалеско и примадонну, которым причитается по две доли.

Седьмой. Актеры могут узнать холеру, но не сумму заработков дирекции.

Восьмой. Кассиром должен быть...

На этом пункте между директорами вышло недоразумение. Каждый из них хотел, разумеется, быть «с ложкой ближе к тарелке». Но недоразумение было быстро улажено благодаря догадке Голцмана: кассиром должен быть Швалб, потому что он расчетлив, жаден и тяжел на подъем. Но все расходы, поступления, счета должны пройти через руки Голцмана.

И еще некоторые не очень важные пункты были предусмотрены — и все с умом и пониманием дела. Формулировать пункты нужно учиться у Голцмана. Он имел хорошего наставника — Щупаком звали, провалиться бы сквозь землю!..

Выработав все пункты договора, Голцман позвонил и попросил достать ему перо и бумагу, чтобы подписями заключить контракт. А компаньону Голцман дружески сказал:

— Ну-ка, руки давай: распишемся, и дело в шляпе.

— Я,— наивно ответил ему Швалб и отодвинул чернильницу с пером,— в своей жизни ни разу перо в руках не держал.

— Правда? — переспросил его, будто удивившись, Голцман,— ни разу? Человек ни разу не написал хотя бы пару слов по-еврейски?

— Откуда мне,— откровенно ответил Швалб. И так как он уже выпил третий стакан пива, язык у него развязался, и Швалб изложил Голцману свою биографию.

Где родился, он не знает, рос сиротой, а у кого — не знает тоже. Собственно, их было трое сирот: он, его старший брат Нисл, который сейчас проживает в Лондоне, и маленькая сестричка, Ентл, которую теперь зовут Генриетта. Кормились у помоек, пока люди не сжалились и рассовали кого куда. Его, Изака, с братом пристроили в пекарне разносить бублики. Работа им не понравилась, и они взялись за папиросы. Правда, и от этой работы — только одна хвороба. К счастью, он, Изака, с детства тянулся к театру, обладал талантом актера. Как только наступал праздник пурим, он загребал золото... Короче, они с братом кое-как перебивались, хотя и голые, босые и голодные. Но миру они показывали кукиш. Хуже было сестричке. Что с нею делать? За кусок хлеба они определили ее в прислуги. С плеч долой. Но с ней было у них уйма неприятностей. Каждые три недели сестрица меняла место, потому что была ладная девушка, не так умом, как красотой, а большинство хозяев, увидев кра-

сивую девушку, не дают ей покоя, пошли на них, господа, хворобу... Был бы старший брат, Нисл, дома, они бы узнали почем фунт лиха. Он намял бы им бока так, что наказали бы десятому поколению не трогать ее. Но захотелось моему брату пуститься по свету, в Лондон, пешком, обещал писать, а на самом деле брехня. Когда он догадался написать? Тогда, когда Изак Швалб стал исполнителем сильных трагических ролей, а сестричка стала примадонной вот у этого «Екла бен-Флекла». Спрашивается, когда Швалб мог научиться писать?

Выслушав интереснейшую биографию своего компаньона, Голцман вдруг признался, что тоже умеет писать, но пишет тогда, когда никто не видит. Однако можно взглянуть на дело и с иной стороны: а кому нужно уметь писать?

При этих словах Голцман порвал бумагу и сказал своему компаньону:

— Головой в землю со всей писаниной! Не вексель оплачивает, а человек. Дадим друг другу руки в знак того, что то, о чем мы договорились,— свято. Выпьем еще немного пива и расцелуемся. Лехаим! Дай боже, чтобы все было с удачей и счастьем.

— Лехаим! Лехаим! Дай бог, чтобы во всем была удача!

— Аминь!

— Аминь, аминь!

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

### Первый визит к великому Зоненталю

Возвратившись домой «навеселе», наши компаньоны никому не рассказали, что заключили важный контракт. Они занялись поисками помещения, пригодного для еврейского театра, но упустили из виду, что «Вена не театральный город», а венские евреи не евреи, а потому поиски бесполезны. «Евреи,— сказал Голцман,— которые могут жить без еврейского театра, ходят на Зоненталю или проводят время в кафешантане, а то и просто в кабачке за кружкой пива, курят папиросы, слушают, как поют «Хава» или «В пятницу вечером» \*, громко аплодируют и пальчики облизывают,— таких евреев надо вешать или расстреливать».

Такой вывод сделал Голцман на своем непристойном языке и договорился с компаньоном Швалбом, что они плюнут на красавицу Вену и отправятся в провинцию в

небольшие городки благословенной Галиции, Буковины, Румынии, где проживают евреи, «еще не вкусившие плод древа познания добра и зла», где публика валом валит посмотреть на еврейских актеров, как на медведя, слона или обезьяну.

Единственный, кто удерживал Голцмана в Вене, был Зоненталь. «Артист-миллионщик заслуживает того, чтобы пробыть в Вене лишний денек». Так думал Голцман, и не потому, что преклонялся перед ним. Ничего подобного! Что Голцману миллионер! Он на своем веку перевидел миллионеров, общался с ними, разъезжал в одной карете и, если вам угодно, обедал с ними за одним столом (намек на доктора Левиуса из Львова). Голцман, понимаете ли, придерживался того мнения, что такой Зоненталь, заработавший миллион и не растранивший его, не пропивший, не проигравший его в карты, вполне заслуживает, чтобы на него посмотреть и его послушать.

Голцман выгладил костюм, почистил цилиндр, купил новые перчатки и полушелковый зонтик, взял с собой письмо доктора Левиуса и сказал парню: «Ну, дорогой птенчик, с правой ноги...»

Тут спохватился Швалб. И он хочет пойти к Зоненталю. Раз они компаньоны, то иначе и быть не должно. Но Голцман его одернул:

— Стоп! Дружба дружбой, а дело делом. Надо знать что к чему.

Упорства Голцмана Швалб не понимал. Что? Дороже обойдется, если пойдут втроем, или он укусит этого Зоненталья?

Голцман выдвинул логические доказательства: «У каждого человека своя доля, впусти свинью в дом, она с ногами на стол полезет...»

Это обидело Швалба, и он напомнил, что примадонна Генриетта его родная сестра, а он ее родной брат.

Голцман взорвался, заговорил по-древнееврейски: «ни жала твоего, ни меда твоего», что значит: катись-ка подалее...

Ни Рафалеско, ни Голцман не понимали, почему Зоненталь проживает в отеле, а не в особняке. Если нашему брату приходится валяться бог знает где,— и в курятнике с курами и петухами, да утками, в хозяйских домах с их клоповниками,— так мы же несчастные еврейские актеры. Но Зоненталь? В Вене? В гостинице? Как это возможно?

Такие претензии возникали у Голцмана, пока они добирались к Зоненталю. Но как только он очутился у фешенебельной гостиницы, в которой жил Зоненталь, и навстречу им вышел какой-то субъект в ливрее с золотыми пуговицами, Голцман мгновенно изменил свое мнение, сказав другу Рафалеско: «Ко всем чертям деньги!» Швейцару они сказали, что хотят видеть Зоненталья. Золотые пуговицы оглядели наших героев сверху донизу и ответили: «Зоненталья видеть нельзя».

— Почему?

— Потому. Зоненталь не принимает.

— Что значит «не принимает»?

Золотые пуговицы последний вопрос пропустили мимо ушей и собрались уйти. Тогда Голцман гордо сказал, что у него письмо к Зоненталю от важной персоны, который так же богат, как их хозяин. «Не думайте,— сказал Голцман,— что мы с улицы,— прежде всего мы тоже актеры».

Голцман приподнял цилиндр, снял перчатку и тут же снова надел, похлопав по плечу типа в золотых пуговицах. Тот смутился, принял письмо, поднялся наверх, оставив наших героев ждать ответа. Ответ же гласил: Зоненталь просит извинить его, но он теперь работает над новой ролью... Если хотят с ним поговорить, то, пожалуйста, в театр, за кулисы, в антракте. И ни единого слова больше вытянуть у швейцара не удалось. Золотые пуговицы повернулись и ушли...

«Что мне приснилось в эту ночь, в прошлую и в течение всех ночей года, пусть все это падет на голову Зоненталья, доктора Левиуса и всех меценатов мира!»

«Но, дорогой птенец, ша, никому ни слова». Так сказал Голцман своему молодому приятелю Рафалеско на обратном пути; лица их пылали огнем.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

### Тщетные надежды

Вернулись после визита, словно ошпаренные; актеры их встретили доброжелательно:

— Ну?

— Что «ну»?

— Что слышать у великого Зоненталья?

— А что бы вы хотели услышать? — И Голцман соорудил невинное лицо, сказав: — Зоненталь — это ж Зоненталь!

И Голцман, набрав полные легкие воздуха, стал придумывать всякие небылицы, рассказы и чудеса о величии Зоненталя, о том, как он их тепло принял, угостил чаем, пивом, сигарами. «Каждая сигара была вот такой толщины». Голцман раздвинул руки, чтобы показать размер сигары. Он так широко их распахнул, что угодил в красное лицо Швалба. Как известно, Швалб был крупным специалистом по части сигар, потому не удержался от замечания, что такого размера сигар не бывает на белом свете. Видит бог, это именно так. Ибо кто еще знает, какие сигары и папиросы бывают, кроме Швалба, который всю жизнь ими торговал.

— Прямо-таки жаль,— оборвал его Голцман,— что ты не за свое дело взялся. Остался бы ты папиросником, на еврейской сцене одним истуканом было бы меньше.

Это замечание было уж слишком резким и обидным для такого артиста, как Швалб, лицо его еще больше побагровело и начало сильно потеть. Но Швалб не из тех людей, которые, обидевшись, долго злятся. Не удивляйтесь поэтому, что между Голцманом и Швалбом вскоре дружеские отношения восстановились. Они тотчас договорились снять ложу в Бург театре, чтобы всем вместе посмотреть Зоненталя. Сказано «всем вместе», а пойдут только: оба директора, Рафалеско, Генриетта и Брайнделе Козак.

— А остальная компания?

— Остальная,— решил Голцман,— не хвора сидеть дома и читать псалмы, а в случае острой нужды пускай отправляются на галерку — это и дешевле, и ближе к богу.

Одним словом, Голцман был доволен. Более того, он в то утро пребывал в хорошем настроении, болтал больше чем когда-либо, гримасничал, пел и танцевал, будто его кто-то осчастливил.

Совсем иначе вел себя второй посетитель, Лео Рафалеско. Если Голцман веселился и радовался, то Рафалеско был печален, мрачен и казался растерянным. Из всех его мечтаний ничего не вышло, и его замыслы оказались тщетными.

Первой его мечтой была встреча с девушкой, дочкой кантора, Рейзл Спивак, из-за которой он ночи напролет не спит. Вторая мечта — встреча с великим Зоненталем...

Зря он так рвался в Вену к знаменитой певице Марчелле Эмбрих, у которой жила его Рейзл, или Роза Спивак. После расспросов и расследований он узнал: в Вене нет ни Марчеллы Эмбрих, ни Розы Спивак. Мадам Черняк,

заверившая его, что Роза непременно в Вене, что она их сведет, в Вене повела себя странно. Каждый раз она приходила с новой историей: сначала будто Роза ушла от Марчеллы Эмбрих, вышла замуж за какого-то артиста и уехала в Берлин. Через некоторое время мадам Черняк сообщила: Роза учится в Берлинской консерватории за счет богатого мецената, Жана Решко, христианина, влюбившегося в еврейскую певицу. А однажды мадам Черняк приходит в своей красной ротонде и шепчет ему на ухо: «Роза Спивак теперь в Лондоне, дает там концерты вместе со знаменитым скрипачом Гришей Стельмахом, прославившимся на весь мир. Предполагают, что Гриша — жених Розы, а может, они уже давно поженились».

— Ложь, вранье! — произвольно вырвалось у Рафалеско.

— Что ложь и вранье? — переспросила мадам Черняк и презрительно взглянула на него своими маленькими японскими глазками, а на ее круглом, луноподобном лице расплылась, обнажая крепкие белые зубы, широкая недобрая улыбка.

Ах! Если бы Рафалеско не стыдился, он поднял бы руку на эту ведьму. Так противна она была ему в эту минуту, с ее круглым, заплывшим жиром лицом, маленькими японскими глазками, — плящущая образина в красной ротонде. А ведь совсем недавно она казалась ему очень и очень симпатичной... Нет, это не та Брайнделе Козак, не та!

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

### Человек рехнулся

Люди из компании Голцмана, занявшие ложу в Бург театре, — разные, и каждый из них по-своему реагировал на игру великого Зоненталья.

Голцман был весь захвачен публикой и декорациями. «Вот это театр!» Помог бы ему всевышний занять такой театр, скажем, годика через три, тогда он показал бы миру, кто такой Голцман. Черт бы их душу слопал! Давайте рассудим: разума у Голцмана не меньше, чем у этой немчуры, маленький капиталец он тоже имеет, и сил, слава богу, хватит... Только где взять такую публику?

И взоры Голцмана падают в партер, на неимоверное море блестящей, элегантной публики, заполнившей театр. И вырывается его обычное проклятие: «Холера». Неиз-

вестно точно, кого он прокликает, немцев ли, заполнивших театр, или евреев, которые не захотят ходить в еврейский театр, который он, Голцман, задумал организовать здесь, в этом проклятом городе.

«Фи! — сказал Голцман сам себе. — Тоже мне город Вена! Надо бежать отсюда, и поскорее, в местечко, в еврейское местечко». Пропади пропадом вся эта расфуфыренная публика, все эти лысые головы он не променяет на одну еврейскую голову из Голонешти...

Почти о том же думала мадам Черняк. Только осуществиться ее мечты должны несколько иначе. Она должна понять замыслы Голцмана и дожидаться той счастливой минуты, когда он ей скажет: «Пойдем рука об руку», — то есть поженимся. Тогда — о, тогда они вместе создали бы такой театр, такой театр!

И мысли уносят ее далеко-далеко, в еврейское местечко где-то в Галиции или Буковине. Там она видит себя уже мадам Голцман, женой директора Голцмана. Они с божьей помощью — уже хозяйева собственного театра с декорациями, с собственной труппой, состоящей из самых знаменитых еврейских актеров. Среди них молодой Рафалеско и примадонна Генриетта Швалб. Она теперь Генриетта Рафалеско... Да, Генриетта Рафалеско! Мадам Черняк постарается устроить эту свадьбу. Тогда Голцман перестанет смотреть на примадонну, как кошка на сметану. Болячка ему!

Брайнделе Козак маленькими японскими глазками следила за каждым шагом Голцмана и видела, что он увиливается вокруг примадонны Швалб не так, как обычно ухаживают за примадонной... «Надо эту глупую девицу с красивой мордочкой поскорее выдать замуж за этого чудаковатого парня»... Так решила и соответственно начала действовать мадам Черняк. Прежде всего надо заставить парня забыть Рейзл Спивак, затем заняться «бродягой» — братом примадонны, — открыть ему глаза. Он должен понять, что его глупой сестре-красавице надо выйти замуж за ровню (а что может для нее быть лучше этого парня) и перестать морочить голову тому, кто ей подходит, как кошке седло.

И Брайнделе Козак бросает взгляд на «бродягу», а он хоть и смотрит на сцену, но душа его неизвестно где. «Стаканчик пива с колбаской были бы теперь очень кстати — думает Ицик Швалб. И видит себя в буфете, за мраморным беленьким столиком, среди стаканов и бутылок, вилок и тарелок со всеми известными миру яствами... Лицо

же его старательно выражает заинтересованность, восторг от игры великого Зоненталя. Черт бы его побрал!

Сестра его, Генриетта, тоже смотрит на сцену, но по существу занята собой. Она сегодня нарядилась, любо взглянуть. Причесалась в парикмахерской по последней картинке, надела лучшее платье, навесила на себя настоящие и фальшивые драгоценности. Не ради великого Зоненталя, а ради молодого Рафалеско, сидящего пока совсем не близко, но есть надежда, что... О! Понадеемся на мадам Черняк. Генриетта знает, зачем она так нарядилась... Примадонна сведуща в таких делах. Этого парня надо сначала немного помучить. Генриетта достанется ему не без труда... Но как только он придет к Брайнделе Козак, она будет точно знать, что надо делать.

Однако что с ним? Генриетта смотрит на Рафалеско и не узнает его. Он перегнулся через ложу и весь устремился к сцене. Так захвачен игрой Зоненталя, что никого не видит и не слышит. Никто для него сейчас не существует, кроме Зоненталя, великого Зоненталя. Он хрустит пальцами рук, дрожит, лицо его пылает, глаза горят, и глубокий стон то и дело вырывается из его груди. Генриетта глядит на Рафалеско и не понимает, что с ним происходит. Сидит человек рядом с ней в одной ложе и не проронил ни единого слова! Ни разу не посмотрел на нее! Вот кончится акт, она ему скажет, что... ш... ш... Первый акт кончился, и Рафалеско совсем с ума сошел. Со слезами на глазах он каждому пожимает руки — и Голцману, и Брайнделе Козак. А когда очередь дошла до трагика Швалба, Рафалеско обнял его и поцеловал.

— Вот это игра! Вот так надо играть!

Генриетта Швалб, стоя в стороне, оглядывала его со всех сторон и решила сама с собой:

— Нет, парень рехнулся... Человек с ума сошел!

## ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ

### Мечтатель

После первого акта Голцман вступил в переговоры с капельдинером Бург театра, прося его пропустить труппу за кулисы к Зоненталю. Выяснилось, что Зоненталь может принять только одного актера, молодого, о котором писал ему доктор Левиус из Львова.

— Здравсьте, рыжий! Редьки не хочешь?..

Так выразился Голцман и тут же осекся, ибо увидел рядом всю свою труппу с примадонной и Брайнделе Козак

посредине. Будь тут яма, он живьем провалился бы в нее. Стыдно ему было перед молча переглядывающимися актерами, особенно перед компаньоном Швалбом, который хитро посматривал на него: «Как же так! После таких сигар».

Время идет, капельдинер ждет, и Голцман отзывает Рафалеско в сторону и шепчет на ухо, будто он только здесь, в театре, узнал: «У Зоненталья единственный сынок, которому можно пожелать короткой жизни и побольше горя, ибо он настоящий разбойник. Он выдает векселя, которые оплачивает отец. Стало быть, будь внимательным, чтобы не случилось, как с львовским меценатом, околоть бы ему! Ты с ним говори откровенно, не давай плевать себе в лицо, ибо если есть сало, то пусть по бороде течет, ты понял меня?» Но тут наш юный герой ответил так, что Голцман не поверил своим ушам... Трудно сказать, то ли Голцман надоел ему своими наставлениями, то ли он был расстроен с утра тем, что Зоненталь не захотел принять их у себя дома, то ли просто был взволнован,— но когда Рафалеско, кажется, был уже готов пойти с капельдинером за кулисы, вдруг он повернулся к Голцману и сказал коротко и ясно:

— Нет, я не пойду.

— А, что?

— Я не пойду.

— Как это «ты не пойдешь»?

— Вот так...

Голцман протер глаза и при ярком свете электричества стал всматриваться в лицо своего юного друга. Как это возможно, чтобы парень ему, Голцману, не подчинился! Это первое «нет», которое он от него услышал. В этом «нет» было столько твердости и решимости, что Голцман даже не переспросил, почему «нет». Он только посмотрел ему в глаза и опешил. В ту минуту Голцман себя чувствовал почти как Валаам, услышавший голос ослицы, заговорившей человеческим языком.

— Нет так нет,— с усмешкой сказал Голцман, хотя это не совпадало с его теперешними планами.

Можно смело сказать, что в эту минуту Голцман постарел на несколько лет. Острый его нос как-то странно вытянулся, угловатые плечи опустились, и его начал дуть сильный кашель.

Прозвенел звонок, минуты антракта истекли, публика стала занимать места в партере, а оба наши героя молча вернулись в ложу.

Выходя из театра, артисты новообразованной труппы «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>» объединились: пятеро из ложи, остальные с галерки вместе вышли из театра, маршировали по улицам Вены и говорили все одновременно, как водится, сильно размахивая руками, и делились впечатлениями, высказывали свое мнение и критику. Смеялись, шумели, орали. Чаще всего слышны были слова: «остолоп», «дурак», «дубина», «обжора» и подобные острые словечки, бытующие в среде еврейских актеров. Кому эти острые словечки были адресованы, сказать трудно, но, так или иначе, было весело, говор и смех разносился по улицам Вены.

И не один немец, думаю, останавливался и удивленно всматривался в эту необыкновенную группу людей, которая своим необычным поведением взбудоражила улицы этого тихого, гостеприимного города.

Только два человека не принимали участия в этом шуме. Директор Голцман и премьер Рафалеско. Оба были заняты собственными мыслями и чувствами. Голцман, шагавший рука об руку с Брайнделе Козак, вроде бы вслушивался в ее болтовню, а думал он о парне, впервые сказавшем ему «нет». А парень шел об руку с примадонной Швалб. Она шутила, смеялась, строила глазки, блестела белыми зубами, и он притворялся, будто слышит ее, изредка ронял одно слово на ее десять и был очень далеко отсюда. Он видел себя на сцене в той же роли, что играл Зоненталь, и клялся: не будь он Рафалеско, если он когда-нибудь не станет играть, как Зоненталь.

И наш молодой фантазер принялся думать о новом рае и лелеять новые мечты: как он, Рафалеско, начнет штудировать роли, те самые, которые играет Зоненталь, и как мир признает, что Рафалеско перерос Зоненталья. И вот Рафалеско приглашают на гастроли в Вену в Бург театр. А Зоненталь, великий Зоненталь, сидит в партере и видит его игру. Зоненталь в восторге врывается на сцену, обнимает его, целует и громко, во всеуслышание заявляет: молодой актер Рафалеско его победил.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Оба смеялись

Беспокойная ночь была у Голцмана. Он долго не мог уснуть. На сердце тяжело было, словно камень его придавил. Мысли путались, скверные, мрачные мысли. «Что стало с парнем?» — этот вопрос неотступно пресле-

довал его. Голцман кашлял, вертелся с боку на бок... Во всем виноват этот город, сгореть бы ему! С той минуты, как приехали в Вену, парень стал другим человеком. Капризничает, словно единственный сын у матери. Отсюда надо удирать, и чем раньше, тем лучше.

Так решил Голцман, возненавидев город и его обитателей. Красивый, веселый город казался ему мрачным, скучным, а люди были в его глазах лживыми и хитрыми. И все, что ему представлялось во сне в эту ночь, казалось наяву во сто крат хуже. Все радужные планы неожиданно рассеялись как дым. Люди, на которых он надеялся, зло обманули его и выдали с ног до головы. Самое худшее, чего он всегда боялся, свершилось: его окружили со всех сторон, устроили слежку, хотят забрать у него все его богатство, хотят прямо-таки из-под носа вырвать у него Рафалеско.

«Надо внимательно следить за парнем, — думает Голцман, — его надо беречь как зеницу ока... Слишком много охотников... Кто знает, куда и как его уведут? Кто знает, с какими мыслями носится Швалб? Какие мечты вынашивает в своем сердце Генриетта? Какая змея затаилась в груди Брайнделе Козак?.. Один-одинешенек среди стольких зверей...»

Гоцмаху не спится, он садится на кровати, опираясь на острый локоть, кашляет и обращается к своему молодому другу:

— Рафалеско, ты спишь?

— Нет, а что-нибудь случилось?

— Пришла в голову мысль.

— Какая?

— Ты слышал, как я кашляю?

— Ну?

— Думаю, надо готовиться в путь-дорожку, завещать сохранившиеся несколько злотых и направиться туда, где покоится мой, светлой памяти, отец.

Рафалеско тоже присел в кровати, смотрит на Голцмана испуганными глазами:

— Ты рехнулся или с ума сошел? Или в горячке все это говоришь?

Голцман доволен, что Рафалеско испугался, закашлялся и стал браниться:

— Глупенький! Столько лет хворать бы Щупаку, сколько лет с божьей помощью я еще буду жить. Я это так просто сказал... Надумал вызвать к себе маму и сестру, быть может, меньше кашлять буду.

Голцман снова сильно закашлялся, повернулся лицом к стене и уснул. И снится ему, что он вовсе не в Вене, а во Львове, разгуливает по Карл-Фридрих-штрассе и издали видит директора Львовского еврейского театра Гецла бен-Гецла, держащего под руку парня. Они проходят мимо, не одарив его даже взглядом. Это задело Голцмана за живое, и он позвал Рафалеско, но никакой реакции. Рафалеско не слышит, тогда Голцман не в состоянии сдержать себя. «Э! Чему быть, того не миновать». Он решился подойти к выродку, к «Еклу бен-Флеклу», одной рукой схватить его за глотку, а другой надавать ему подзатыльников: раз, два, три, трах, тарарах.

Полумертвый от испуга выскочил из постели Рафалеско, подбежал к кровати Голцмана и увидел такую картину: ночной столик лежит у кровати Голцмана вверх ногами, на полу осколки разбитого графина и стакана, канделябры, и даже часы Голцмана, золотые часы, совсем недавно купленные, и те изуродованы.

— Что случилось? — спрашивает Рафалеско.

Сам не свой, Голцман смотрит блуждающими глазами на Лейбла, а тот с трудом сдерживает смех, увидев погром, учиненный во сне.

Довольный, что это только сон, Голцман весело ответил:

— Очевидно, разбойники мне приснились, какая-то чертовщина. Смотри-ка, сколько убытков из-за них. Холера бы их побрала в сегодняшнюю ночь.

И оба шумно и долго хохотали. Галдели до тех пор, пока кто-то не постучал из соседнего номера.

Смеялись оба, но по-разному. Один — искренне, от всего сердца, а другой только для вида, думая про себя: «Нет, это уже не прежний парень, даже смех не тот... Теперь за ним нужен глаз да глаз. Необходимо, чтобы мама с сестрой поскорее приехали... А из Вены все-таки бежать, удирать, куда глаза глядят».

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ «Человек с образованием»

Единственный образованный артист в труппе «Голцман, Швалб и К<sup>о</sup>» — суфлер Бене Горгл. Тот, кого Голцман переманил из Львовского театра. Директор Гецл бен-Гецл всегда хвастал, что ни у кого нет такого суфлера, как у него. Ибо его суфлер, понимаете ли, человек с обра-

зованием. Именно потому Голцман и переманил его и заодно примадонну Швалб. Наедине с собой он так себя оправдывал: «Сам не знаю, на кой черт он мне нужен, посмотреть на него; он и ломаного гроша не стоит. Но ничего, черт его побери, «человек с образованием» свой кусок хлеба всегда заработает».

Голцман был прав. На первый взгляд Бене Горгл недотепа: черный, сухопарый, высохший человек с большим носом, тонкой шеей и большим кадыком. Когда он говорит, кадык то поднимается, то опускается, будто он глотает. Оборванный, в потертой шляпе, с гривой волос, напоминающей воз сена, которую он редко причесывал. Суфлер, «человек с образованием», был занят важными делами. А раз так, то мы должны простить ему, что рубашка и воротничок у него всегда грязные, галстук всегда небрежно завязан и трудно определить его первоначальный вид. Если рассматривать суфлера в целом, то легко представить себе кикимору, Голцман сказал (конечно, за глаза), что в присутствии Бени Горгла даже кусок хлеба проглотить неприятно. И хотя он «человек с образованием», Голцман называл его «недотепой», «чудищем», «шутком гороховым», «Куни-лемлом»<sup>1</sup>.

С древних времен известно: чем образованнее человек, тем он скромнее. Видимо, потому наш суфлер не обижался, не возражал против любого прозвища и выполнял разную трудную работу. Голцман был того мнения, что человек, видите ли, мог быть семи пядей во лбу, но раз он кормится у другого, то он должен свой хлеб заработать. К примеру, он сам, Голцман, разве не так жил? Было время, не будь оно вспомнито, когда он трудился за троих, трудился до кровавого пота, чистил сапоги Щупака, будь он трижды проклят! А питался хворобой.

Так Голцман в сердцах оправдывал свое отношение к суфлеру. А «человек с образованием» работал, никому не жалуясь, не изливал душу, ни единым словом не возразил, будто так все и должно быть.

Однако у каждого человека своя судьба, свой звездный час. Пришло время и для «человека с образованием», и его звезда засияла: возвысился суфлер, даже в глазах Голцмана.

Это было в то время, когда труппа «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>» покинула «запустение» Вены и начала скитаться

---

<sup>1</sup> Образ неудачника в пьесе Гольдфадена.

по городам и весям и «играть театр»: оперетты, мелодрамы...

И вот однажды, когда во время репетиции должен был выйти на сцену Рафалеско, его в театре не оказалось. Нет Рафалеско! Не стало Рафалеско! И не его одного, но и суфлера.

Прямо-таки чудо, как тогда кондрашка нехватила Голцмана. До того он был потрясен. Жуткие видения одолевали его, он передумал все возможные варианты, один страшнее другого. После «нет», сказанного парнем в Бург театре, все могло случиться... Так думал Голцман. Его трепала лихорадка, подбрасывала под потолок. Мадам Черняк, напуганная его заостренным, как у мертвеца, носом, необычно вытянувшимся через все лицо, и его потухшими глазами, решила отвлечь его посторонними разговорами, высказать все, что таится в ее груди. Мадам Черняк упрашивала его лечь, собиралась сделать ему компресс из уксуса. Но получила от него такой компресс, что теперь до конца дней своих не сделает такой попытки. Что попадало на язык, то он ей и высказывал. Кто просит ее совать нос не в свое дело? Он обозвал ее «святошей», «полулуной», «Мазепой» и другими ругательствами. Она, надо сказать, свыклась с его бранью. Последнее время он часто к ней прибегал. Но что же ей оставалось делать, влюбленной по уши? Она вытерла глаза и молчала, лишь бы было тихо... Тем временем кто-то прибежал с доброй вестью: «Поздравляем, нашелся». Как? Где? В гостинице. Они оба, Рафалеско и суфлер, заперлись в отдельном номере и читают книгу.

Голцман схватил цилиндр и тросточку и примчался в гостиницу едва живой, бледный, задыхающийся. Что случилось? Нашелся, нашелся.

Рафалеско обнял и расцеловал Голцмана:

«Клад, клад!»

Голцман смотрит на него как на сумасшедшего:

«Какой клад? Что за чепуха?» — «Уриэль Акоста — роль, которую вчера играл великий Зоненталь, нашлась у суфлера и на идиш». Все! Впредь Рафалеско играет только эту роль, долой оперетты! Мелодрамы! Все — все долой, долой!

Как стоял Голцман с цилиндром и тросточкой в руках, так и опустился на поломанный стул, весь в холодном поту.

Что это за слова, что это за тон? Какие мысли у парня? Как это он впредь не будет играть оперетты? А где

он, директор Голцман? Он лишен своего мнения? А что будет с декорациями, костюмами, пьесами, ролями, нотами, афишами? Что творится! Конец света.

Голцман готов был разорвать суфлера на части. Вот тебе новая напасть: «человек с образованием».

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Чья кошка масло съела

С того дня все завертелось вокруг «Уриэля Акосты».

Везде и всюду, в любом городе и в любом местечке, там, где гастролировал театр «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>», после первых двух-трех представлений давали «Уриэля Акосту». И стоило показать трагедию хоть один раз, ее заставляли играть и играть.

В некоторых городах напрочь отказывались от оперетт и требовали «Акосту». В Париже, где труппа играла двенадцать спектаклей, шел только «Уриэль Акоста» и была, по выражению Голцмана, «тьма тьмущая», театр буквально разносили. Все газеты сравнивали Рафалеско с актерами мирового театра, предсказывали, что Рафалеско затмит Зоненталья и других мировых звезд.

Разумеется, это радовало Голцмана, хотя и удивляло, что такая пустышка, как «Уриэль Акоста», приносит доходы гораздо большие, чем прекраснейшие оперетты, хотя в «Акосте» нет танцев, песен, веселых куплетов. Мир перевернулся, черт бы его побрал! Благочестивая мораль им дороже куплетов. Полусумасшедший Акоста им милее прекраснейшей примадонны. Пойди их пойми!.. А впрочем, пусть хоть от козла, лишь бы доходы. Здоровья ему, этому кикиморе-суфлеру, который нашел книгу «Уриэль Акоста». Раз говорят «человек с образованием», ха-ха, то это кое-что значит. Надо подарить ему какой-нибудь старый костюм, проследить, чтобы кикимора надел белый воротничок с новым галстуком, постричь его надо, а то похож на деревенского дьякона, черт его возьми!

Так распорядился Голцман. Он повысил суфлеру жалованье, стал его уважать и исключил из своей речи слова «недотепа», «умора», «Куни-лемл» и другие. «Если богу угодно, то и веник начинает стрелять»,— сказал Голцман, лихо закручивая острые усы а-ля Вильгельм Второй.

Голцман теперь разгуливал по театру, заложив руки в карманы, выставляя напоказ двойную золотую цепочку на белой жилетке, благодарил бога за то, что тот обогатил Голцмана без меценатов, без знаменитостей — всем бы им заодно со Щупаком провалиться и сгнить в преисподней!

Но Голцману не хватало хозяйки. То есть у него, если хотите знать, была хозяйка, и дармовая к тому же — мадам Черняк. Она вела его хозяйство, берегла каждую копейку, следила за домом, чинила белье, штопала носки, готовила ему гоголь-моголь от кашля, словом, была предана как собака. Дело зашло так далеко, что актерская братия, за глаза, конечно, стала называть ее «мадам Гоцмах». Счастье, что Голцман не знал об этом. В противном случае он был бы очень огорчен. Во-первых, потому что все еще не забыто его прежнее имя, а во-вторых, потому что ему хотят сосватать мадам Черняк. Голцману хочется другого, он желает иметь обаятельную, красивую жену. Например, такую прелесть, как примадонна Генриетта Швалб. Почему бы нет? Чем она не ровня? Правда, она не умница, зато красива, черт бы ее побрал! Конечно, она слишком кривляется, вертится, как кантор во время молитвы... Однако это пустяки. Как только он наденет ей обручальное кольцо, он даст ей такие уроки поведения, как сам бог велел.

Однажды, было это в субботнее утро, Голцман оделся с иголочки. В последнее время он стал франтить. «Одет, как падла», — говорили актеры. Голцман побрился, завил усы кверху, надушился, взял трость и предложил примадонне прогуляться. Она оглядела его с ног до головы и ответила: если ей станет скучно, то пошлет за ним. Как побитый стоял Голцман и молчал, делая вид, что ничего не произошло.

В другой раз он завел с ней разговор о свадьбе. Хватит, сказал он ей, прыгать, фи-фу-фа, надо подумать о будущем. Генриетта ответила ему так грубо, как не принято отвечать директору. Она заявила: пусть у него мозги не сохнут за других. Лучше ему подумать о собственной персоне! Голцман проглотил и эту пилюлю, заметив: откуда ей известно, что он не себя имеет в виду? Напротив, он рассчитывает в ближайшее время стать женихом. Она же нахально рассмеялась и переспросила: «Женихом? Кого, например, ха-ха-ха, ангела смерти?»

Наш Голцман стал выслеживать, расспрашивать, кто же ее дьявол-искуситель? Ему не удалось напасть на вер-

ный след. Брайнделе Козак пришла на помощь и доказала ему, что он большой дурак. «Если глаза,— сказала она ему,— у тебя не сзади, а спереди, сам должен видеть, чья кошка масло ест»...

Так мадам Черняк немного отомстила за свои бессонные ночи и пролитые слезы. Теперь она никого не боялась. Теперь ей было ясно как божий день, что свадьба примадонны с Рафалеско состоится не сегодня завтра, нарыв лопнет. И тогда уже Бернارد Голцман будет принадлежать ей. Несомненно.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

### Гости Голцмана

Намек Брайнделе Козак на роман примадонны Швалб с премьером Рафалеско ударил Голцмана словно обухом по голове. Кроме того, что он может в одно прекрасное утро потерять сокровище, гибнет его мечта, гибнет лучший его план, в котором он воздвиг целое здание.

Этот план созрел внезапно, в одно прекрасное утро, когда он получил письмо из дому от матери, вдовы Соре-Брохи. Мы передаем это письмо слово в слово, как оно написано:

«Моему любимому, преданному Герш-Беру Голцману. Я пишу тебе, мой любимый, преданный сын Герш-Бер, письмо через сына меламеда Алтера Ицхака, во-первых, сообщаю, что я, слава богу, в наилучшем здравии, дай бог того от тебя слышать не хуже, аминь! Во-вторых, пишу тебе, мой любимый преданный сын Герш-Бер, что давно писем от тебя не получала, не знаю, что передумать. И прошу тебя, мой любимый преданный Герш-Бер, писать мне о твоём здоровье и как себя чувствуешь. Кланяется тебе твоя сестричка Златка, жить бы ей долгие годы, невроку девицей стала, если бы увидел ее, не узнал бы, так выросла невроку и красива она, не сглазить бы, как день, не я это говорю как мать, а все говорят. Когда смотрю на нее, сердце болит, надо подумать о будущем, хватит ей день и ночь сидеть с иголкой в руках и шить чужие кофточки, надо подумать о замужестве, женихов у меня для нее тысячи. Но ей они не годятся, один Фишл, младший сын столяра Йосла, второй мясник, Рувим зовут его, она его не хочет, так как от него пахнет кожей. А сын столяра по ней помирает, но он выродец, шарлатан, черт знает что, у него даже пары сапог нет,

а он вертится перед глазами. Я дала ему уже несколько раз понять, чтобы он забыл, как зовут мою дочь, а если нет, вышвырну из дома, но сегодняшние парни хуже свиней, выгони их через дверь, полезут в окно, конечно, если бы твой дядя Залмен жил, он справился бы с таким парнем, а что я могу делать, женщина, вдова, и больная к тому же. Если я могла бы дать приданое, заткнуть жениху рот хотя бы сотней рублей, то она давно была бы у меня невестой. В женихах нет нужды, мне бы столько добра, ибо с каждым днем она хорошеет, посмотрел бы на нее, не сглазить бы, не узнал бы, она передает тебе сердечный привет, и я прошу тебя, мой любимый и преданный Герш-Бер, тут же написать, как ты поживаешь, а главное о своем здоровье, ибо не знаю, что передумать, и будь здоров, как желает тебе твоя мать, видеть от тебя много радостей, Соре-Броха Голцман».

Письмо Голцману врезалось в память, особенно слова «не сглазить бы, девица, не узнал бы ее». Неотступно точила его мысль: «Если она в самом деле такая, как пишет мама, то, может, есть смысл, чтобы старуха приехала с сестрой сюда, пусть познакомится с парнем, вдруг она ему понравится. Чем черт не шутит, моментально составляют брачный договор и, раз, два, три, идут под венец». Вот тогда он сумеет показать кукиш всему миру. Аминь!..

Голцман тайно заперся с суфлером и продиктовал ему ответ матери:

— Послушай же, мой дорогой, пиши ей так:

«Дорогой, благочестивой матери моей госпоже Соре-Брохе, да продлятся дни ее, и дорогой, благочестивой сестре Златке, да продлит бог годы ее. Да будет вам известно, что я, слава богу, в лучшем здравии и больше, слава богу, не играю в театре, у меня собственный театр и собственная труппа, зарабатываю, слава богу, хорошо и живу, не сглазить бы, как человек, одеваюсь по-человечески, приобрел имя в мире, вот только одно, вечно скитаюсь, не имея своего дома. Поэтому, дорогая мама, не задерживайся, возьми Златку и приезжайте ко мне. Ты будешь хозяйкой, тебе хорошо будет на старости лет. Хватит тебе стоять у чужой печи. Уже пора твоим старым косточкам отдохнуть и узнать, что такое жизнь. А о Златке тебе беспокоиться нечего. У меня для нее есть чуть лучше жених, чем сын столяра Йосла и даже Рувима мясника. Смотри же, уважаемая мама, как только получишь это письмо, не задерживайся, возьми Златку и приезжай

сюда ко мне, к твоему сыну Бернарду Голцману. Директор театра «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>».

Отправив письмо, Голцман стал со дня на день ждать гостей. Напрасны были его ожидания. Вместо гостей он получил письмо от мамы, в котором она писала, что его письмо получила, что она, слава богу, здорова, девушку, не сглазить бы, узнать трудно, а то, что он пишет, чтобы она приехала к нему, она охотно полетела бы к нему, будь у нее крылья, но как же она может приехать, если это должно стоить столько денег, двум человекам проездные, а еще граница, если бы у нее было столько денег, сколько проезд стоит, она давно Златку замуж выдала бы, о женихе забот нет, тысячи, не сглазить бы, девица, увидел, не узнал бы... и т. д.

Это Голцмана так взволновало, что он тут же выслал деньги и написал ей, чтобы выезжала сию минуту, не задумываясь ни на секунду о женихах, взяла бы Златку и приехала к нему. После этого письма было отправлено еще одно письмо, и еще одно письмо, пока бог не сжалился.

Однажды летним вечером в театре маленького галицийского местечка за минуту до поднятия занавеса услышали шум с улицы. В чем дело? Какая-то бедная женщина с девушкой спрашивает Голцмана и хочет прорваться в театр без денег, а ее не пускают.

— Черт взял бы вашего батьку! Хулиганы, это же мои гости! — раскричался Голцман и выбежал на улицу.

— Твои гости? Значит, поздравить тебя надо! Дай бог, чтоб порадовали тебя! — И все пошли поглядеть на гостей директора.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

### Бедная Брайнделе Козак

Стояла ясная, прохладная ночь. Луна еще не выглянула из своего убежища, чтобы осветить землю, но появившиеся одна за другой звезды рассеяли мрак ночной, и можно было рассмотреть гостей Голцмана.

Прежде всего бросалась в глаза высокая, сухопарая женщина, похожая на иссохшую загнанную клячу. Оборванная, нагруженная перинами, подушками, одеялами и просто каким-то старьем, она смотрела всем в глаза, искала своего сына. Рядом с ней, как жеребенок, стояла молодая девушка, почти еще ребенок, с свежими румяны-

ми щечками, с чуть заостренным детским носиком и густыми бровями над стыдливо опущенными глазами. На ней была простая ситцевая юбка и легкая бежевая кофточка, а сверху незастегнутый желтоватый бурнус, который не мог скрыть округлые формы,— подтверждающие, что перед вами не дитя, а взрослая девушка.

Актеры стали разглядывать молодую красивую девушку, которая, ожидая брата, стояла в стороне.

Удивительно привлекательной выглядела эта просто одетая, наивная девушка с пылающими абрикосовыми щеками и густыми бровями над стыдливо опущенными глазами. Вся ее фигура светилась юностью, свежестью и невинностью. Никто из актеров не проронил ни слова, кроме Швалба, компаньона Голцмана, который утробно буркнул под нос: «Ну и яблочко — мне бы!..»

Эта острота Изака Швалба улетела с ветром, точно никто не слышал ее.

Когда вокруг только сморщенные, накрашенные лица с фальшивыми улыбками на крашенных губах, подведенные брови, накладные волосы, затянутые и приподнятые корсетом бюсты,— свежее естественное существо так поражает, что смотришь и глазам своим не веришь. И вдруг вспомнишь, что и ты когда-то был таким же молодым, ясным, естественным, каким мать тебя родила.

Хотя сестра Голцмана, как видно, произвела хорошее впечатление на актеров, сам Голцман почувствовал себя неважно: неловко было перед труппой, что к нему, директору, который «живет по-человечески и одевается по-человечески», приехали в гости мать с сестричкой и похожи они на нищих. И как назло, собралась вся труппа, стоит и смотрит как на чудо. Голцман раскричался, обрушивая брань на актеров, показывая своим гостям, что он, Голцман, слава богу, хозяин, директор театра, и труппа готова за него в огонь и воду. И не только актеры, но и компаньон Швалб в его полном подчинении, потому раскричался и на него:

— Слушай, ты, бычище пузатый, трефная глотка, ты тоже здесь среди этих дураков?..

В одну минуту вся компания разбежалась кто куда.

Режиссерскую работу в тот вечер Голцман передал Швалбу, а сам забрал своих гостей с их котомками, перинами, подушками, одеялами и прочим барахлом и отправился с ними на квартиру.

Назавтра после спектакля он созвал всю компанию и угостил пивом по случаю приезда гостей, которые были уже празднично одеты. Старуха — в своем шерстяном платке — выглядела, как старая лошадь в фате, а сестренка Златка, вымытая и причесанная, всех очаровала, не так своим нарядом, как свежими щечками, густыми бровями, маленькими зубками и смущенными глазками.

— Яблочко! — еще раз сказанул Изак Швалб, и теперь уже все рассмеялись...

Но кое-кому было не до смеха. А именно — примадонне Швалб и мадам Черняк. Все утро они были не в духе. Генриетта Швалб была просто недовольна тем, что есть еще одна красивая девушка на свете. Она злилась на Рафалеско, когда он смотрел на эту провинциальную девку с красными руками и острым носиком... Генриетта почувствовала соперницу и, сколько ни искала в ней недостатков, кроме красных рук и носика, немного заостренного, не нашла никаких погрешностей! Это усилило ее раздражение.

Генриетта злилась. А на мадам Черняк было жалко смотреть. На ее круглом лице выступили красные пятна, и в маленьких японских глазках стояли слезы, хотя держалась она гордо и даже улыбалась.

Мадам Черняк понимала, что ее «семь сытых лет» кончились, что скоро у нее заберут ключи и передадут их старой ведьме, которой она желала от всего сердца близкой и легкой смерти.

Мадам Черняк знала горечь разочарований, не в первый раз ее выбрасывают, как расколотую посуду, как старое платье, вышедшее из моды, как надоевшую вещь. Этот обманщик Гоцмах, думала она, сразу сделает вид, будто он ничего не знает. Он все забудет, о чем они когда-то говорили. А напомним, устроит кашель на полчаса...

Бедная Брайнделе Козак! Случилось так, как подсказало ей сердце. Голцман не любит церемоний. У него раз-два-три, он ее даже не поблагодарил за ведение хозяйства, за уход, за ласку, ни за что.

Когда он заметил, что утром она собирается ему что-то сказать, схватился за сердце и так сильно раскашлялся, что даже подпрыгивал при этом.

В полдень тихо, молча мадам Черняк перебралась на новую квартиру. Не обронив и слезинки, запаковала она сундуки, надела красную ротонду и, обнажив в улыбке

свои большие зубы, как всегда пританцовывая, покинула дом Голцмана. Вот разве умру и на моей могиле трава вырастет...— утешала себя Брайнделе Козак, плетясь в красной ротонде за подводой.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

### Правила приличия

Старуха Соре-Броха с дочкой Златкой первые дни считались гостями, и Голцман, как полагается в таком случае, ухаживал за ними, проявляя внимание, следил за тем, чтобы они вовремя ели, пили, обеспечивал им досуг. Он ни на шаг не отходил от них, демонстрировал свою важность и богатство и каждый вечер брал их в театр, усаживал в первом ряду на видном месте. Златка была на седьмом небе, так ей нравился театр, голова у нее кружилась от счастья, и старуха, ненавидя театр, как правоверный еврей свинину, соизволила посещать его и одним глазком поглядывать на сцену, а другим на публику, громко смеялась и еще громче проклинала актеров, называя их недотепами, дьяволами, и посылала их ко всем чертям: «Мои болезни на их головы!», «Сломали бы себе руки и ноги, боже милостивый!». Голцман делал ей знаки со сцены, пытаясь унять старуху... Одним словом, мать с дочкой катались, как сыр в масле.

Однако когда пыл гостеприимства остыл, Голцман взялся обучать своих гостей правилам приличия: как ходить, как стоять, как сидеть в театре, как держать себя на людях. Сестричке велел надеть перчатки, чтобы не видны были ее красные руки, купил шляпку с зеленым пером, почти такую же, как у примадонны, вырядил ее словно принцессу.

Нельзя сказать, что эти наряды доставляли удовольствие Златке. Она себя чувствовала в них стесненно. У нее болела голова, в глазах мельтешило, ей казалось, что нос у нее не на месте и все это видят... С каким удовольствием она бы надела ситцевую юбку, бежевую блузку и старые стоптанные туфли. Иметь бы ей столько счастья, насколько свободнее она чувствовала себя в старой обуви. В туфельках на высоком каблуке она еле передвигается, но что делать, так велит брат...

А брат зорко осмотрел сестру, сравнил ее с примадонной и понял, что девушка она привлекательная. Правда, Златка немного дика, стеснительна и слишком молчалива, ее надо обучить светским манерам, растормошить, одним

словом, превратить «в цивилизованную мадемуазель»... Когда Рафалеско разговаривает с Златкой, она опускает голову и краснеет как рак. И если Голцман делает ей знаки, чтобы она опустила руки и подняла глаза, Златка краснеет еще больше. Голцман дает волю гневу, когда остается наедине со Златкой. Он не может понять, почему она боится в глаза смотреть. «Ты что-нибудь украла?»

Занялся он и старой матушкой. Он хотел приодеть её, чтобы «была как люди». Не годится, говорил он ей, чтобы мать директора выглядела как торговка курами... Этого было достаточно. Соре-Броха простая, но искренняя женщина, что у нее на душе, то и на языке. Она его выслушала и громким мужским голосом ответила: если ему не подходит нищая мать, она может доставить ему удовольствие и повернуть оглобли домой вместе с дочкой.

Не долго думая, старуха всерьез взялась за свои перины, подушки и одеяла, обьявив дочери: «Поедем, Златка, обратно домой, что нам, нищенкам, тут делать среди панов и паненок? Мы, упаси боже, можем запачкать их панские платья».

Голцман тут же понял свою ошибку, собака лает — ветер носит. Он поклялся всеми клятвами мира, встал перед матерью на колени и добился прощения.

Немало мук пережил Голцман, когда сказал, что хочет из Златки сделать актрису. Старуха стала на дыбы. Ни в коем случае! Скорее она подохнет, чем увидит, как ее дочь танцует с комедиантами на одной веревке. Разве только тогда это случится, когда навсегда она закроет глаза!

Короче, ни по-хорошему, ни по-плохому. Голцмана обдало холодным потом, он даже кровью стал кашлять...

Увидев кровь, старуха испугалась: «Горе мне, болячки на мою голову, гром меня порази!» И она согласилась. Правда, в присутствии двух свидетелей Голцман дал слово, что прежде всего он выдаст Златку замуж. Он обязался не позже чем через полгода подыскать ей жениха и сыграть свадьбу, как богом велено.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

### Девятый вал

Черновцы. Главный город Буковины. В ожидании гостей на рыночной площади окнами к лавкам горделиво высится гостиница «Черный петух». Бог в помощь! Но от странствующего театра «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>» ей

не разбогатеть. Вся труппа занимает всего-навсего три-четыре номера, столуется в кошерной столовой, и то не каждый день, так как не всегда у актеров есть деньги. Особенно в последние дни месяца, «нечистыми днями» их называют актеры. Тогда труппа повторяет тексты ролей, устраивает репетиции и играет в «тертл-мертл». Эта карточная игра обладает многими достоинствами: не надо думать и можно играть где угодно, как угодно, даже стоя и при любом количестве игроков. Потому актеры, музыканты, приказчики — и вообще все, кто хочет играть в карты, а времени у них мало, играют в тертл-мертл, то есть в девятый вал.

В комнате, где идет игра, ужасно накурено, несмотря на то что на дворе ясный день и светит солнце, с трудом различишь, что здесь происходит.

На видном месте у большой тарелки сидит банкомет. Теперь держит банк компаньон Голцмана Изак Швалб — бритый субъект с удивительно красным, будто с него содрали кожу, лицом. Он очень волнуется, сильно потеет, раскладывает карты, проигрывает и проваливается сквозь землю, как библейский Корей. Почти каждая карта бьет его, словно бестия. Мало того, что он выплачивает каждому в отдельности в три, в четыре и даже в девять раз бóльшие ставки, его еще бранят и проклинают. К нему тянутся руки со всех сторон:

— Швалбеле! Мне две кроны, две болячки тебе на твою красную рожу!

— Швалб! Сегодня я тебя раздену догола, пойдешь в чем мать родила.

— Швалб, будешь у меня кровью харкать!

— Смерть, смерть тебя приберет!

— Ага, байстрюк, ты убит!

И чем больше его ругают, тем сильнее он горячится и тем больше проигрывает.

— Холера! Брось игру! Отдай банк, ты же видишь, что сегодня тебе не везет.

Так советует Голцман, как компаньон и друг, но получает грубый отпор от разгоряченного Швалба:

— Пошел вон, дохлый пес, старый холостяк, кому нужны твои советы?

Банкомет Изак Швалб тасует карты и видит красными глазами, что деньги в тарелке тают и тают. Вздыхая, он берется за внутренний карман и дрожащими руками достает оттуда толстый бумажник с деньгами.

— Едешь в «Кишинев»<sup>1</sup>, Ицикл, поезжай, поезжай, мошеник, провалиться бы тебе сквозь землю.

Высказался иссохший актер с острым кадыком, а сестричка директора Голцмана Златка, не совладав с собою, громко засмеялась. Люди загляделись на нее, а она, покраснев до кончика носа, чуть со стыда не сгорела. Рафалеско пожалел ее и предложил купить общую карту, туз трефей. «Сегодня этот туз в выигрыше». Златка просто побагровела, взглядом поблагодарив Рафалеско. Сердце ее чуть не разорвалось на части. Эх, подошел бы он к ней совсем близко, близко... Так подумала Златка. А Рафалеско, словно угадав ее желание, подошел к ней совсем близко, и она почувствовала запах его длинных светлых волос, от которых она чуть с ума не сходила. «Боже милосердный, разве существует на белом свете еще один такой небесный ангел, как этот юноша с душистыми волосами и добрыми глазами? Нет, такого не было и не будет!» Каждый раз, когда Златка рядом с ним, она чувствует, что вот-вот сердце ее выскочит из груди, и так теряется, что не знает, на каком она свете. Мать замечает это и громко спрашивает: «Что с тобой?» Златка еще больше краснеет, но все же счастлива, потому что он рядом. Когда он дарит ей хоть один взгляд, сердце Златки замирает, и девушке все равно, глядят ли эти солнцем напоенные глаза только на нее или и на других. Лишь бы это солнце не потухло и согревало своей теплотой...

Банкомет Изак Швалб сдает чуть более полколоды и собирает деньги, набросанные в тарелку. Затем медленно сдает вторую колоду, публика жадными глазами следит, как одна карта бьет другую, шум и проклятия усиливаются, поднимаются до небес. Швалб горячится, он платит наличными. Вдруг выигрыш пал на туза трефей. Поднялся крик: «У кого туз трефей?»

— У Рафалеско.

— Почему молчишь, Рафалеско, бери деньги!

— Мы выиграли,— сообщает Рафалеско приятную новость Златке.

Златка вне себя от радости, и не столько из-за выигрыша, сколько из-за того, что Рафалеско к ней обращается.

Рафалеско показывает карту банкомету. Актерская братия завидует: «Вот же везет, вечно ему везет, счаст-

---

<sup>1</sup> Игра слов: карман по-еврейски — кешене.

ливчик! Кого ты встретил сегодня с полными ведрами?»

Завидуя, актеры изливают свою горечь на голову банкиомета.

— Швалбеле, туз трэфей! Делай ставки в четыре раза больше. Давай деньги, деньги давай, Ицикл!

— Даю, даю,— отвечает Изак Швалб и отсчитывает Рафалеско сумму его выигрыша. Швалб по-своему рад, что выигрыш достался Рафалеско, ибо он не такой, как эти оборванцы: он не приходит в восторг, когда выигрывает, и не впадает в уныние, когда проигрывает, не шумит и не бранится. Рафалеско не такой человек, и его любят все, все без исключения, а сильнее всех Златка, сестра директора.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

### Телеграмма из Лондона

Златка не довольна собою и не понимает, что с ней происходит. Она теряет покой, увидев Рафалеско, ноги подкашиваются. А если встретится с ним на сцене, то, едва услышав его голос, приходит в такое замешательство, что впору снимать ее с роли. Перед всей труппой получает она нагоняи от брата. Голцман строгий режиссер. Он ей говорит:

— Ну и играла ты сегодня, как настоящая корова, за такую игру надо тебе переломать руки и ноги.

Златка согласна, она понимает, что ничего другого не заслужила. Но что ей делать? Она полюбила этого парня, полюбила с первой минуты. И зачем, думает Златка, она приехала? Чем ей было хуже дома, в маленьком городке? Научилась шить блузки, принимала заказы и понемногу зарабатывала. Так нет же. Брат стал забрасывать их письмами, прислал деньги и потребовал приехать немедленно. Вот и приехали. Ее стали готовить в актрисы, на роли субреток. Нарядили в коротенькую юбочку, в тесные туфельки — глаза на лоб лезут. Щеки нарумянили, глаза подвели черным карандашом. И пошла учеба: так стоять, так ходить, так поворачиваться, так моргать глазами. И кто же ее всему этому учил? Брат, ее родной брат. Однажды она пожаловалась матери. Соре-Броха ей ответила: «А если бы ты служила у чужих и тебе велено было бы лезть на чердак, то тебе лучше было бы?»

Брат хотел сделать из нее примадонну, но не было у нее певческого голоса. Брат сердился, передразнивал.

«Ты, сестричка,— говорил он,— визжишь, как кошка, когда ей наступают на хвост».

Только тогда стало легче на душе, когда получила она роль Юдифи в трагедии «Уриэль Акоста». И не потому, что роль ей нравилась, а потому, что партнером ее был Рафалеско. Какое красивое имя — Рафалеско! Ради него одного стоит здесь мучиться, учить роль и повторять, как попугай, необычные слова, смысл которых ей непонятен, стоит каждый вечер выступать на сцене, презирая театр, актеров и актрис. Больше всех она презирает компаньона брата, Изака Швалба, его красную морду, его попытки, когда никто не видит, подобраться к ней за кулисами. Он пристаёт к ней, щиплет даже и все спрашивает, любит ли она его: «Яблочко мое, ты меня любишь, яблочко?» Златка молчит. «Бог забрал бы к себе этого типа с распухшей красной мордой»,— говорит про себя Златка — и удирает. На край света удрала бы она, но боится брата. Плюнула б на театр, но ей тяжело расставаться с Рафалеско. Ах, Рафалеско! Рафалеско! Это сладкое имя всегда на ее устах. Это сладкое имя слышит она во сне. И часто, лежа ночью в постели, обнимает холодную подушку, прижимает к теплой девичьей груди и произносит слова Юдифи: «Кто может мне помешать прижать его к моей груди?» И еще сильнее прижимает подушку, невинными губами целует и шепчет: «Рафалеско! Рафалеско!»

Утром, когда мать будит ее, первое, что приходит ей на ум,— любимое имя Рафалеско. Сейчас она снова его увидит. Она будет стоять на сцене рядом с ним и ловить его упоительные слова: «Юдифь! Юдифь! На каждом лепестке твоих цветов горячими слезами написано, чем мы стали друг для друга...» И трепещет ее сердце: «Рафалеско! Рафалеско!»

Но увидев его, она теряется, меняется в лице, становится сама не своя.

Никто из актеров этого не замечает. Только Голцман все видит, даже тогда, когда на нее не смотрит, а занят карточной игрой. Он все видит и думает: «Не сглазить бы, парень сам идет в «хедер». Если богу будет угодно, мы в ближайшее время покажем миру кукиш, да будет так!»

— Буйвол! Что задерживаешь игру! Раздавай карты,— кричит Голцман компаньону.

— Даю, даю! — отвечает Швалб, раздает карты, и лицо его не перестает гореть...

Внезапно врываются люди с криком: телеграмма.

— Кому телеграмма?

— Изаку Швалбу.

— Из Лондона.

— Что за телеграмма?

— Не торопитесь, дайте ему прочитать.

— А разве Швалб умеет читать?

Первым делом Изаак Швалб возвращает деньги всем игрокам. Это занимает немало времени. Ведь надо иметь голову министра, чтобы помнить каждую ставку в отдельности и сколько кому надо вернуть...

Тем временем на голову банкмета в изобилии сыплются проклятия, остроты и язвительные насмешки.

Раздав деньги, Швалб бежит с телеграммой к хозяину гостиницы и просит его прочесть. А компания актеров с нетерпением ждет его возвращения.

Какие могут быть секреты у Швалба от компаньона Голцмана? Больше всех взволнован Голцман. Ему крайне не понравилось поведение Швалба. Зачем он с ним связался? Пусть только вернется, Голцман задаст ему взбучку. Холера взяла бы этого папиросника. Швалб возвращается с сияющим лицом и, обращаясь к актерам, выпаливает:

— Детки, мы едем в Лондон!

Трудно себе представить, что произошло в ту минуту, когда актеры услышали эту новость. Один влез на стол и закричал:

— В Лондон! Лондон! Да здравствует Лондон!

Другой хлопнул себя по ляжкам и заявил:

— Меня давно тянет в Лондон, черт бы его побрал!

Третий, долговязый, сухощавый актер в клетчатых штанах, выпрямился во весь рост и, засунув руки в карманы, тараща глаза, начал говорить по-английски:

— О, йес, йес, май дир, май дир, май кайк, май стайк, май ринг, май кинг<sup>1</sup>.

Четвертый дал пятому подзатыльник и пустился в пляс, хриплым голосом напевая русскую песенку, бог весть откуда занесенную в эти края.

— Байстрюки! Тихо! — цыкнул Голцман голосом хозяина, стукнув кулаком по столу. — Смотри, как развеселились! Никакого уважения к старшим. Волдырь вам в рот! Волдырь вам на морду! Холера бы вас!

Обратившись к Швалбу, приказал:

— А ну-ка, Швалбеле, покажи телеграмму!

---

<sup>1</sup> Набор ничего не значащих слов.

— Показать? — переспрашивает Швалб, но что-то сомневается, нужно ли ее показывать... — конечно, покажу, как иначе. Покажу, покажу, но не сейчас, а немного позже. Прежде я должен тебе кое-что рассказать. Пойдем, если хочешь, в погребок, там я тебе ее покажу.

Швалб, обратившись к компании актеров, спрашивает:

— Кто пойдет со мной в погребок?

— Что значит «кто»? Все.

— В погребок! В погребок!

С криком, гамом, руганью компания покидает гостиницу «Черный петух» и отправляется в погребок.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

### В погребеке

Собственно, это не погребок, а дом. И не дом, а хранилище, и не хранилище, а кабак. В Черновцах зовут его «подвал». Если говорят: «идем в подвал», то все знают, что идут к Мееру, сыну Бешла. Так зовут владельца погребка. Покойный отец его тоже был вино-торговцем.

В этот погребок и пошли наши артисты, заказали себе кто тушеную морковь, кто рассольник с огурцами, а кто просто пару огурчиков. Каждый по своему карману. После карточной игры вино ставил Швалб.

— Сегодня моя очередь, — сказал он.

После первой выпитой рюмки муската у Изака Швалба развязался язык, и он рассказал компаньону Голцману всю историю с начала до конца, всю правду. Упаси бог, он ничего не скроет от него — вот ни на столечко. Зачем лгать, если можно говорить правду? Это известное дело. Он, Изак Швалб, давно понял, что он Голцману не нужен, совсем лишний человек. Все-таки он долго терпел. Ради кого? Только ради сестры, ради примадонны. Но с некоторых пор сама примадонна вышла из моды! Забыты лучшие оперетты ради Уриэля Акосты и подобных пустяков, и взошла звезда Рафалеско, Рафалеско и только Рафалеско. Ладно, ему самому, Швалбу, все равно. Акоста — пусть Акоста. Но сестра! Что-делать с сестрой? Она тоже хочет аплодисментов. Изак подумал и написал письмо своему брату Нислу в Лондон, описал всю историю: так-то и так. Изак всегда, если что-нибудь случается, отправляет письмо своему брату Нислу в Лондон. «Дурак из дураков, — пишет ему Нисл. — Сколько можно скитаться.

Возьми,— пишет он,— сестру, и приезжайте в Лондон. У меня здесь для вас имеется,— пишет он,— золотое дело. У нас здесь имеется театр-игрушка, зовется он у нас «Павильон-театр». Это театр из театров! А артисты,— пишет он,— один к одному: остолопы, дубины, а деньги загребают лопатами, так как публика,— пишет он,— здесь не избалована, что ей дают, ест и облизывает пальчики. Я уже обращался,— пишет он,— к кому надо, и мне сказали: пусть только приедет твой брат с сестрой, мы их озолотим. Мы читали в газетах, наслышаны о ней. И добрые вести доносятся издалека». Взял он, Изак Швалб, и написал Нислу еще письмо: так, мол, и так, поехать не фокус, надо знать, зачем едешь, нужны кондиция, гарантия, контракт... Пришел ответ. «Осед,— пишет он,— если я тебе говорю: приезжай, то, вероятно, есть все что надо: кондиция, гарантия и контракт». А Изак Швалб опять ему пишет так-то и так: «У меня столько-то и столько, и у сестры столько-то и столько, дай телеграмму, и мы выедем». И вот эта телеграмма и прибыла.

— Ну что ты скажешь про моего брата? — спросил Швалб компаньона.

— Что мне сказать? — ответил ему Голцман вроде бы хладнокровно,— я тебе уже давно сказал, что твой братишка бравый парень, ты ему в подметки не годишься. Конечно, хорошо торчать в Черновцах, когда имеешь брата в Лондоне, о чем здесь толковать! Ну что же, я хотел бы увидеть телеграмму.

Швалб отпил немного из рюмки.

— А сможешь прочесть?

— Читать не буду, хочу только посмотреть.

— Невидаль какая! Телеграмма как телеграмма.

Швалб показал телеграмму, держа ее на весу. И не успел он оглянуться, как она оказалась в руках Голцмана.

Позвали секретаря, «человека с образованием», и он громко прочитал: «Если приезжать, то только с Рафалеско».

Директор Голцман даже слова не сказал, звука не издал, взял телеграмму и утер ею красную рожу Швалба.

## ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ

Кто он?

Знаменитая странствующая труппа «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>» уже была готова покинуть Черновцы и продолжить свои скитания. Но тут Нисл Швалб прислал

им из Лондона еврейскую газету, где на первой странице огромными кричащими буквами было опубликовано объявление:

«Сенсация!

!!!Потрясающая новость!!!

Лео Рафалеско — самая крупная еврейская звезда, он потряс весь мир, скоро прибудет в Лондон, в Павильон-театр!!!»

И начали собираться в дорогу. Осталось только дать еще один спектакль в бенефис Рафалеско. К этому бенефису готовилась вся черновицкая молодежь со студенческим союзом во главе. Все билеты были проданы. В Черновцы собрались молодые люди из соседних местечек, куда еврейский театр не заглядывал со времен Адама до наших дней.

Переполненный зал — залог успеха для артиста. Особенно для такого, как Рафалеско, который в каждом спектакле играет так вдохновенно, словно выступает впервые. Рафалеско давно себя так хорошо не чувствовал, как в этот вечер. На глазах публики творил прекрасного Уриэля, тихого, одинокого философа, так похожего на великого Спинозу. Сам Рафалеско об этом не думал, это получилось как-то само собою, интуитивно. Его правдивая игра помогала понять истину: не тот сильный, кто побеждает другого, а тот, кто может побороть самого себя, свои сомнения, свой страх.

Возможно, где-нибудь в другом месте игра Рафалеско не так увлекла бы публику, но в этот вечер здесь собрались те, кто незаметно, но упорно боролся с темными силами. Эти неизвестные герои побеждают редко, чаще они бывают побежденными, как сам Уриэль Акоста... Аплодисменты и овации сотрясали театр. Студенческая молодежь на руках вынесла бенефицианта Рафалеско на сцену, забросала его цветами, поднесла подарки, которые актерская братия завистливо рассматривала, а Голцман собирал и прятал. Зачитывали адреса, хотя никто их, кроме студентов, не слушал. Это был триумф, редко выпадающий на долю даже такого избалованного актера, как Рафалеско.

В первом антракте Голцман, стоя на страже, заметил среди молодежи, проникающей за кулисы, странного пучеглазого человека с очень знакомым заспанным лицом. Этот субъект не понравился Голцману, как только он его увидел. Ему не понравилось, что он прет прямо за кулисы,

толкается и упорно хочет пробраться к Рафалеско. Голцман попросил его вернуться обратно.

— Дяденька! — сказал Голцман вежливо, — не будьте тем, кто хрюкает, и не лезьте туда, куда не надо.

После второго акта история повторилась: тот же пучеглазый субъект опять пытался пройти к Рафалеско, Голцман снова выпроводил его, сказав на прощание:

— Говорят тебе, не лезь, нельзя же быть свиньей.

После третьего акта Голцман поймал незнакомца в двух шагах от Рафалеско, схватил его сзади за ворот и без церемоний выбросил, благословляя: «Холера тебе в правый бок, тебе и всем дуракам, путающимся под ногами черт знает зачем».

Но позже, совсем к концу спектакля, когда артисты уже начали переодеваться, Голцман увидел его издали, он все-таки прорвался к Рафалеско, прямо в артистическую уборную. Как разъяренный тигр бросился за ним Голцман, но не успел добежать, посетитель оказался в объятиях Рафалеско, и оба целовались, как два родных брата. Голцман одеревенел. Если бы отец явился с того света, Голцман удивился бы не меньше. Он в эту минуту напоминал незаконченную глиняную статую, в которой скульптор хотел выразить страх и ужас, но это ему не удалось. Вытянутое рябое лицо Голцмана казалось смешным, и его острые глаза вопили: «Режьте же меня на куски! Бросьте мое тело собакам! Только скажите на милость: кто это целуется с парнем?..»

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

### Мать умерла

Кто помнит кассира Бени Рафаловича, пучеглазого, заспанного, мрачного типа из Голонешти, по прозвищу «Сосн-весимхе»? Так это он целовался с Рафалеско.

Как он попал в Черновцы? Откуда и ради кого? Что слышно в Голонешти? Как поживает Бенья Рафалович со своей семьей? Как поживает кантор Исроел, канторша Лея и их дочка Рейзл? Вот о чем «Сосн-весимхе» мог рассказать Рафалеско.

Когда вышли из театра, оба попросили у Голцмана разрешения остаться вдвоем в номере Рафалеско.

— Ох, страшно, но согласен! — балагурил Голцман. Окинул острым взглядом мрачного субъекта и приказал оставить их вдвоем. А сам директор, к стыду своему, сел

в комнате рядом, под самой дверью, приложил ухо к двери и прислушивается к каждому слову.

— Слушай же, душа моя, любимый мой, что я тебе расскажу,— так начал «Сосн-весимхе» монотонным своим голосом (на сей раз чуть живее, чем всегда),— я могу тебе рассказывать и рассказывать. Трех дней и трех ночей не хватит. Во-первых, Голонешти — это совсем не то Голонешти, что когда-то. Одесса, Варшава, Париж! И люди теперь не те люди, что прежде. А кому мы должны быть благодарны? Только еврейскому театру. Помнишь? С тех пор все изменилось у нас. Все, ты слышишь, иначе стало. Что иначе, сам не знаю, но иначе... А о вашем доме и говорить нечего. Ваш дом совсем развалился. Прежде всего хозяин, твой отец, значит. Как только ты исчез, в тот субботний вечер он приказал найти тебя и привести живого или мертвого, но привести! Мы оба, я и твой брат Аншл, ты слышишь или нет, пустились по большому свету искать вчерашний день... Как показали следствие и свидетели, правда всплыла, как масло на воде, что это не иначе, как работа Щупака, и что у него не было другого пути, как в Румынию. И мы поехали в Румынию. Прибыли в Яссы, стали расспрашивать у евреев, не видели ли они таких-то и таких-то еврейских актеров, одного с отвратительным, помятым лицом, второго маленького с хитрющими глазами, при ходьбе он пританцовывает? Ты слышишь? Мы узнали, что евреи видели много еврейских актеров с отвратительными лицами и хитрющими глазами. Ну и что же? Что актеры ходят подтанцовывая или танцуют, когда ходят, это, сказали они, мы забыли заметить. В следующий раз, обещают они, слышишь, они лучше разглядят актеров. Ну, что ты скажешь про таких дураков? Слушай же, что дальше было. Поняли мы, что в Яссах ничего не узнаем. Плохо. Что делать? Мы пустились, слышишь, дальше и дальше, пока не прибыли в Бухарест. По дороге говорит мне твой брат: не будь он Аншл, если он вас не поймает! Я сказал: «Из твоих уст да в божьи уши». Приехали мы в Бухарест, твой братишка, Аншл, значит, стал кутить. Денег нам дали с собой полную шапку, а ему-то что? Где только театр, кафе, кабак, слышишь... Я говорю ему: «Аншл,— говорю я,— ради бога, что ты делаешь, зачем транжиришь деньги?» А он мне в ответ: «Не твоего батьки дело, молчи!» Скверно. Что делать? Молчу. Проходит день, два, три, деньги тают как снег, скоро ничего не останется. А он говорит: «Напиши отцу, пусть пришлет деньги». — «Аншл! ради бога,— говорю я,—

чем это все кончится?» — А он мне в ответ: «Это не твоего ума дело, говорят тебе, пиши, пиши!» Плохо. Что делать? Я пишу. И вот однажды сидели мы в каком-то не то театре, не то кабачке, называемом «Парадиз», девушки там играют, поют и танцуют, а одна, Маринеско-Миланеско зовут ее, порядочная проститутка, ты слышишь, хорошо умеет выманывать деньги (тут верхняя губа у «Сосн-весимхе» чуть приподнялась, вроде он улыбнулся первый раз за эту ночь). Гляжу, слышишь, как раз у двери стоят двое знакомых, оба празднично одетые. Всматриваюсь — и мог бы поклясться, что это ты, Лейбл, значит. Да это ты, честное слово! И я поднялся и обращаюсь к твоему брату Аншлу: «Аншл,— говорю я,— он здесь!» Аншл спросил: «Кто?» — «Лейбл»,— отвечаю я. «Тебе что-то снится»,— ответил мне Аншл. Пока туда-сюда, след ваш простыл. Скверно. Что дальше делать? А тем временем пришло письмо из Голонешти, что мама опасно больна и Аншл немедленно должен вернуться домой. Сказал я Аншлу: «Едем!» А он говорит: «Напиши письмо, что мы уже на верном пути, пусть пришлют еще денег». — «Аншл,— говорю я,— ради бога,— говорю я,— поедем домой или поедем дальше. Одно из двух»... А он мне в ответ: «Не твоей бабушки дело, тебе говорят — пиши, значит, пиши». Плохо. Что делать? Написал, ты слышишь, написал письмо в Голонешти отцу, как принято, завуалированно: так и так, пишу я, обстоит дело. Да будет вам известно, что наша поездка, пишу я, выброшена на ветер, пойдя ищи вчерашний день, напрасная трата денег, делать мы ничего не делаем, а то, что я писал вам, что мы воруем мирами, то это потому, что Аншл приказал, мне так велел писать Аншл, что мне было делать? Я ведь не больше чем подчиненный человек. Мне велят писать, я пишу. Потому, пишу я, больше денег не присылайте, а когда перестанете присылать деньги, мы в конце концов вынуждены будем вернуться домой. Вот так замаскированно я и писал. Скажи, я разве не прав? Слушай же дальше, не проходит недели, как мы получили телеграмму, короткую и ясную, всего три слова: «Приезжай, мама умерла!»

Как только «Сосн-весимхе» произнес эти слова, Рафалеско схватил его за руки:

— Что ты говоришь? Мама?..

— Да приютит ее рай... Как же, миленький, могло быть иначе? Шутка, сколько она натерпелась! Она и так была, да простит она меня, кожа да кости, еле-еле душа

держалась в ней, и как ей жилось при отце, ты, конечно, знаешь. А тут одна бомба за другой. Не знаю, кого из вас двоих она больше любила, тебя или Аншла. Пока Аншл был в Бухаресте, у нее теплилась надежда, что он с тобой вернется. Как только она узнала, ты слышишь?

Нет, Рафалеско его больше не слушал, голова его упала на руки, как в молитве, он заплакал, зарыдал, как маленький ребенок. «Сосн-весимхе» растерялся. Утешить, успокоить ласковым словом — это он не умеет. Он начал ломать пальцы, сокрушаться: «Плохо, скверно! Что делать?» Услышали плач Рафалеско в соседних комнатах, прибежали: раньше всех Голцман, потом Соре-Броха, а за ней Златка, поднялся шум и гам.

— Что случилось? — Все трое ворвались в номер.

— Моя мама умерла! — вскрикнул Рафалеско и с плачем упал Голцману на грудь. Голцман не мог сдержаться и скривил лицо, как женщина, которая собирается плакать. Глядя на него, заплакала Златка, а старая Соре-Броха ломала руки, рыдала и причитала:

— Горе мне, гром меня срази! Мать детей, маленьких птенцов! Кто кормить их будет? У кого голова болеть будет за этих сирот, которые остались как брошенные в воду! Пока мама — мамой, отец отцом, а когда мать уходит, лучше до этого не дожить...

— Пусть будет тихо! Разревелась! — рассердился Голцман на мать и на пучеглазого мрачного кассира за хорошее известие, что он принес парню. — Чучело гороховое! Кто вас просил? Кто вас тянул за язык? О таких вещах узнают от недругов.

«Сосн-весимхе» сидел как побитый, но Рафалеско взял его под защиту, заявив, что «Сосн-весимхе» его гость и что он хочет, чтобы сегодняшнюю ночь оставили его в покое, только сегодняшнюю ночь... Голцман понял это предупреждение. И хотя ему очень не хотелось оставлять парня одного с этим шутком, но что поделаешь, теперь не то время. Теперь, если Рафалеско хочет, то уже никуда не денешься... Голцман заглянул Рафалеско в глаза, а всю злобу выместил на матери и сестре.

— Чего сбежались сюда, какого черта! Кто за вами посылал, кто? Раскудахтались. Кто вас нанимал в плакальщицы, кто?

Голцман еще раз повторил эти слова, прогнал всех, а сам выскользнул из комнаты, сел на прежнее место по ту сторону двери и приложил к ней ухо. Рафалеско же остался с «Сосн-весимхе» вдвоем и попросил кассира

рассказать все подробно. Как мама умерла, когда умерла? Застали ли они ее еще в живых? Какие были похороны? «Сосн-весимхе» все должен ему рассказать, и не раз, а несколько раз, много раз.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

### Новости из Голонешти

«Сосн-весимхе» не спал ночь, рассказывая голонештинские новости, а Рафалеско прислушивался к его монотонному голосу, гудевшему, как треснувший колокол, бесконечно и безостановочно. Почти в каждой фразе звучало «слушай же дальше», или «слышишь», или «что делать?».

Голцман не пошел спать, он не в силах был оторваться от двери, не подымался со стула, чтобы не услышали скрипа. Как назло, его часто душил кашель, но он сдерживался из последних сил, сидел и слушал вместе с Рафалеско новости из Голонешти.

В ту ночь Рафалеско и Голцман узнали столько новостей, сколько за все годы странствования по свету узнать не могли.

Во-первых, о Бене Рафаловиче, ой, ой, что стало с домом Рафаловича! Переворот начался с жены Рафаловича, с Бейлки, тихонькой, слабенькой Бейлки, которая расстаяла, как свеча. Смиренно, покорно, не жалуясь, ушла она в мир иной. Сколько она страдала из-за детей, хорошего дня не знала. Покорная Бейлка умерла тихо, как жила. Никто не знал, что с ней. А когда ей стало очень плохо и все увидели это, Беня разослал людей по всем городам и весям, привозили лучших врачей, не жалея денег, Беня решил остаться голым, но во что бы то ни стало спасти Бейлку. К сожалению, поздно спохватились. Как крошечный ребенок, лежала маленькая Бейлка на своей большой кровати с крепко сжатыми губами и впалыми бледными щеками. Одна в большой комнате, в большой кровати. Никого рядом с ней. Беня занят врачами, старшие сыновья — в лавке, дочки — по хозяйству. Аншла и Лейбла нет. Только одна Башева, младшая дочка, сидела в уголке и плакала тихо, чтобы маму не разбудить. Нет, она уже мать не разбудит. Мама крепко спит. Закрытые глаза на бледном, очень бледном лице как две черные ямы. Светлые, когда-то очень красивые брови, выглядывавшие из-под белого полотенца, завязанного вокруг лба,

придавали ее маленькому личику детскую задумчивость. Одна рука лежала поверх одеяла. Все выглядело обыденно, точно она в глубоком сне. Было тихо. Сердце, которое так любило и столько претерпело, уже перестало любить, страдать и мучиться. Было тихо. Страшная, святая тишина. Это была тишина смерти. Бейлка умерла.

Бейлка умерла, а старая бабушка, мать Рафаловича, та, которая кивает головой «нет-нет», живет! Она в маразме и ослепла на оба глаза, но живет. Ну, пойдя и разберись с богом!..

Все старшие дети, сыновья и дочери, снохи и зятья с внуками разбрелись кто куда. Беня никогда не умел ладить с детьми, но с тех пор, как Бейлка умерла, он стал... избавь бог!

Аншла он женил. На той самой девице из Бельц. Жена его уродлива, но из богатой семьи. Являться к отцу ему было запрещено. Жизнь в Бухаресте отец никогда ему не простит. Поэтому Аншл живет в Бельцах. У него табачная лавка. Говорят, так огрубел, что не узнать его... Средняя дочь, Перл зовут ее, развелась с мужем, вторая, Ехе-вед, назло отцу вышла замуж за брата музыканта Ехиела, тоже музыканта. Младшая, Башева, очень хотела обучиться акушерству, так Рафалович выдал ее замуж за кассира, за «Сосн-весимхе».

Теперь «Сосн-весимхе» опускает глаза и начинает оправдываться.

Он должен признаться, что давно обратил внимание на Башеву, но никогда не посмел бы... Хотя, если подумать, чем брат Ехиела-музыканта знатнее? Все-таки Симхе свой. Дальний родственник, но все же родственник. Сама Башева этим сватовством была, можно сказать, не очень довольна. Одно время брыкалась, брыкалась, плакала, рыдала, даже говорила, что наложит на себя руки. Ему, Симхе, значит, тоже было не по себе. Башева действительно очень мила, можно сказать, лучшая из всех дочерей, но навязываться силой он тоже не хотел. Но Беня Рафалович заупрямился — раз и навсегда... Короче, они поженились, и ничего. Слава богу, у них уже двое детей и скоро будет еще один... Им было бы, можно сказать, неплохо, если бы не то новое несчастье, которое случилось...

— Какое несчастье? — со страхом спросил Рафалеско, «Сосн-весимхе» стал его успокаивать:

— Ничего, ничего. Так говорят: несчастье, на самом деле это вовсе не такое уж несчастье. Хозяина, имею я

в виду тестя, чтобы был здоров, то есть твоего отца. Он на старости лет с горя, вероятно, слышишь, стал набожным. И еще каким! Уму непостижимо! Он окунулся, слышишь, в дела веры. Денно и ночью — только молится и читает псалмы. Ладно, то, что он молится и читает псалмы, тоже не так страшно, если бы не большая беда. Какая беда? Ребе!.. Хозяин, я имею в виду тестя, дай ему бог здоровья, вдруг стал хасидом, горячим, пламенным хасидом, и начал наезжать, ты слышишь, к ребе. И не только наезжать, но бывать там, жить, спать, не выгнать его из дома ребе. Раньше был Штефанештский цадик Матисегу, а теперь Боянский. Больше полугодом он сидит в Боянах у ребе и не хочет вернуться домой. Приехал он в Бояны на осенние праздники, и с тех пор только его и видели.

Вижу, что этому конца не будет, пишу ему, тестю, значит, письмо за письмом. Гвалд, любимый тесть, что будет? Все хозяйство пойдет прахом! Стена отвечает? Он знает одно: посылай ему деньги. Что у меня — бездонный колодец? Неисчерпаемый источник?.. Вижу, скверно. Что делать? Я решил, слышишь, поехать к тестю в Бояны поговорить. Нельзя же его бросить на произвол судьбы... Но толкуй со стенкой. У него на устах только ребе, ребе и ребе! Говорить с ним о домашних делах нельзя, о Голонешти — ни в коем случае. Слышать не хочет. Напомнить ему о детях нельзя. Лейбл и Аншл вычеркнуты из памяти. Аншл у него ангел смерти. Вот этот ангел смерти, говорит он, убил мать. Если бы не Аншл со своими путешествиями в Бухарест, тесть не овдовел бы. Это ясно как день. Послушай дальше. Я приехал в Бояны к цадик, увидел тестя, но я его нашел таким... всем врагам желаю! Я не в силах изобразить его. Сердце болит. Если бы ты видел его, то сам сказал бы — половина осталась. Живот обвис, щеки впали. Сед и стар. Я даже расплакался, а он хоть бы спросил, как дети поживают. Нет, ничего, просит пойти с ним к цадик, без предварительного посещения ребе он не хочет ничего знать и слышать. Надо быть крепче железа, чтобы смотреть на этого человека. Я заговорил с ним о доме, а он от меня отворачивается. Завтра, говорит, сегодня он должен быть у цадика. И так день за днем... И тут слышу, как молодые люди из Черновцов рассуждают о еврейском театре, о бенефисе какого-то знаменитого, еще совсем молодого актера из Бухареста по имени Рафалеско. Город Бухарест, молодой актер — вот и пришла мысль, не наш ли это Лейбл. Я подумал: проезд в Бояны все равно стоит, так обойдется

еще немножко дороже, и я решил посмотреть на молодого актера из Бухареста.

Но прежде всего надо поговорить с хозяином, то есть с тестем, услышать, что он скажет. Но с чего начать разговор? С театра, с еврейского театра в Черновцах... Услышав про еврейский театр, что тебе сказать? Краше кладут в гроб. Он затрясся, схватил палку и обещал, что он голову мне размозжит, если я произнесу еще раз одно слово... Скверно, но что делать! Я вышел на улицу, нанял подводу и укатил в Черновцы, заплатив возчику втридорога. А если, например, стоило бы дороже, разве я не так бы поступил? Главное, что вижу тебя, слава богу, живого. А какие почести ты имеешь? Ты мне поверишь, когда начались крики и аплодисменты «Рафалеско! Рафалеско!» и когда молодежь подняла тебя на руки — слезы появились у меня на глазах, честное слово! Я вспомнил, гром меня порази, это наш Лейбл, тот самый, который спал со мной в одной комнате! Кровать возле кровати!..

«Сосн-весимхе» вытер слезу, и голос и лицо его вдруг изменились, и сладчайшим голосом он продолжил:

— Помнишь, душенька, когда мы спали в одной комнате, кровать против кровати? Мои брюки с ключами всегда лежали у меня в изголовье... Думаешь, я не слышал, что кто-то стоит у моей кровати и ощупывает мои брюки и возится у ящика стола. Слышу, но открыть глаза не в состоянии... Куда же девались деньги, те... из ящика стола? Я все думаю, у кого они остались: у того, с отвратительным сморщенным лицом, или у маленького актера с шельмоватыми глазами? Или вовсе у этой рябой холеры? Его когда-то звали Гоцмах, а ныне зовут Голцман...

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

### Распад семьи Рафаловича

Начало светать. Черновицкий базар, расположенный напротив «Черного петуха», ожил, а наши старые знакомые, Рафалеско и «Сосн-весимхе», все еще говорили и говорили. То есть говорил «Сосн-весимхе», а Рафалеско слушал очень внимательно, редко прерывая его восклицаниями: «в самом деле?», «что ты говоришь?», «не может быть!». «Сосн-весимхе» его уверял, что все рассказанное сущая правда, чтоб ему не вернуться домой к жене и детям. Клялся и другими клятвами, словно Рафалеско без них не поверил бы ему. Клятвы были такие смешные, что

Голцман, находившийся все еще за дверью и прислушивавшийся к разговору, не в состоянии был удержаться от смеха. А когда «Сосн-весимхе» спросил Рафалеско относительно денег, пропавших тогда из ящика стола, Голцман прижался к двери, дабы услышать ответ парня. Но в эту секунду так затрещал его стул, что все трое испугались, Рафалеско и «Сосн-весимхе» треска в ночной тиши, Голцман же испугался, а вдруг узнают, что он все время торчит по ту сторону двери и подслушивает чужой разговор. Но испуг быстро прошел, и Голцман мог остаться на прежнем месте. К сожалению, самого интересного он не услышал, и не потому, что плохо слышал, напротив, он слышал каждое слово. Здесь была другая причина: Рафалеско, не желая отвечать на вопрос, поднялся с места и стал шагать взад и вперед по комнате. Вместо ответа он остановился против новоявленного шурина и спросил:

— Ну! А как поживает мой бывший меламед, кантор Исроел?

«Парень вовсе не дурак,— подумал Голцман.— «Сосн-весимхе» спрашивает одно, а он ему в ответ другое. Забывает голову кантором. Если так, могу пойти спать. Уже скоро день. Черт с ним, с этим чудачком, холера может забраться к нему в левый бок!»

С этими мыслями Голцман пошел к себе в комнату, разостлал постель, разделся, лег, укрылся одеялом поверх головы и быстро уснул.

А родственник «Сосн-весимхе» продолжал разговор.

«Сосн-весимхе». Ты спрашиваешь о канторе Исроеле? Э-хе-хе! Счастлив, очень счастлив, как мир.

Рафалеско. Например?

«Сосн-весимхе». Например, говоришь. Богач!

Рафалеско. Богач? Исроел-кантор богач?

«Сосн-весимхе». Миллионер. Он уже меламед и не кантор, то-то же! Совсем не узнать Исроела. А канторшу Лею, ты помнишь ее? Она, можно сказать, носит жемчуг в будни, одета как богачка и перед всеми хвастает своей дочкой. Куда бы ни пошла и что бы она ни сделала, канторша говорит «моя Рейзл», «моя Рейзл». Она со своей Рейзл голову всем заморочила. Шутка ли — ее Рейзл! Ее теперь зовут не Рейзл, а Роза, она знаменитая певица, сейчас она в Лондоне. Ты ведь помнишь ее? Недавно она гостила в Голонешти с группой певцов и музыкантов, из Лондона приехали, разъезжали в каретах и на велосипедах, фи-фу-фа! Мы можем себе пожелать столько

заработать, во сколько обошлась ей эта поездка. Шуточки! Говорят, что у нее жених миллионер. Голонешти ходуном ходил. Бегали за ней. Шуточное ли дело! Во-первых, она так похорошела, что можно ослепнуть, глядя ей в лицо. Высокая, красивая, поет, говорят, так, что свет не слыхивал. А богата! Можешь себе представить, дочь кантора позволяет себе купить наш дом, то есть дом тестя. И для кого, ты думаешь? Для себя? Ничего подобного! Для кантора. Сам кантор не хотел слышать, и канторша Лея тоже. Они сказали: зачем им такая большая ермолка? Они хотели лучше купить дом вдовы Нехи, так Рейзл заупрямилась, только дом Рафаловича. И не только дом, но весь двор с сараем и хозяйством она хочет купить. Чего больше! Даже собаку Теркуша — помнишь его? — ей тоже захотелось купить. Если покупать, говорила она, так все. Наглость для дочери кантора, хе-хе!

«Сосн-весимхе» засмеялся второй раз за всю ночь. Увидев, что Рафалеско не смеется, а, наоборот, загрустил и опечален, «Сосн-весимхе» стал извиняться:

— Я дом ни за что не продал бы, но бог прислал такого покупателя, разве можно устоять. Я подумал, пусть хотя бы хорошо заплатят. Разве не так?.. Что с тобой, Лейбеле? Тебе, может, жаль, что мы продали дом? Поверь мне, Лейбеле-сердце, у меня тоже душа болела не меньше твоей, но что было делать. Хозяйство идет ко дну, хозяин, то есть тесть, у ребе, а дети разъехались кто куда. А кто остался дома? Только старая бабка, выжившая из ума, и моя Башева с детьми. Себя я не считаю, чего мне надо? Мне, как и тебе, ничего не надо, живу, слава богу, как жил. Другой на моем месте — эх-хе-хе! Эх-хе-хе,— повторил «Сосн-весимхе» и махнул рукой. Что он имел в виду, трудно сказать.

## ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Они готовятся в путь

Напрасно оправдывался «Сосн-весимхе» перед своим шурином. Мысли и чувства Рафалеско были далеко отсюда. В нем кипели разные ощущения: угрызения совести, тоска, любовь,— такого, как в эту ночь, наш герой никогда не переживал. Он, если можно так сказать, в течение одной ночи потерял отца и мать, братьев и сестер, дом, в котором родился и вырос,— все,— все, что ему когда-то было мило и дорого. Все потерял, потерял

навек! Он понимал: все, что было ему дорого, стало теперь бесконечно далеким, между его прошлым и его сегодняшним днем легла пропасть, вечность. Жизнь представлялась ему загадкой под темным покровом ночи. И только одна звездочка в этой темноте светит, сверкает и манит, зовет его к себе — Рейзл...

Рафалеско задумывается над тем, что услышал, и хочет понять только одно: почему Рейзл решила купить их дом для своих родителей? Именно их дом, а не другой?.. Что ей в их доме?.. А что, если это ради него? Неужели он ошибается? А что, если ей так дорог дом, в котором он родился и вырос? Значит, она его еще не забыла? Не забыла слово, которое дала тогда в Голонешти, в ночь пожара, их свидетелем на Божьей улице было багряное небо: они вечно будут вместе, что бы с ними ни случилось и куда бы их ни забросила судьба, их сердца будут вместе, всегда и везде вместе!

И он увидел перед глазами ночь пожара, ту колдовскую ночь, необыкновенную и счастливую, незабываемо волшебную ночь, когда Рейзл, прекрасная ночная принцесса, стояла перед ним в красном зареве пожара.

Раздался стук в дверь.

— Кто там? — спрашивает Рафалеско как бы со сна.

— Это я, Берnard.

Открылась дверь, и вошел Голцман, а вместе с ним ворвался поток свежего утреннего воздуха. Вошел Голцман и бросил острый взгляд на парня, лежавшего в одежде на софе, молчаливого и задумчивого, затем на мрачного гостя, напоминавшего сонного синагогального служку. Голцману в эту минуту очень хотелось схватить этого бессарабского наглеца за шиворот, надавать ему по шее и спустить его со всех лестниц ко всем чертям. Но Голцман знал, что не всегда следует давать волю злости... Он сдержался, посмотрел на разостланные постели и обратился к ним, усмехаясь:

— Смотри! Совсем не спали?

— Не спали, — ответили оба.

Голцман чувствует, что сказал не то, и обращается к ним почти сочувственно:

— Даже не ложились?

— Не ложились.

— Всю ночь сидели и болтали?

— Всю ночь.

— Хм. Пора готовиться в дорогу, — сказал Голцман и взглянул на Рафалеско.

— Я готов,— ответил Рафалеско. Поднялся с софы, и лицо его сияло, как солнце, бьющее в окно.

«Молодость берет свое»,— подумал Голцман. Слава богу, что ему не пришло в голову справлять траур по умершей матери, не захотелось поехать в Бояны к ребе и повидаться с набожным отцом. Что было бы, если бы им овладела дикая мысль прокатиться в Голонешти? Мало ли что он может придумать.

Голцман все утро не выпускал из виду Рафалеско и его гостя. Он незаметно следил за ними. Голцману стало легче на душе только тогда, когда шурин расцеловал Рафалеско, сел на подводу, и Рафалеско попросил передать своим сердечный привет.

— От меня тоже передайте привет,— кричал вслед Голцман.

— Дружеский привет,— ответил «Сосн-весимхе», обернув к нему обросшее заспанное лицо с подводы, переполненной пассажирами, любителями театра, возвращавшимися по домам с тяжелым сердцем, ибо только богу ведомо, когда они еще раз увидят и услышат такого артиста, как Рафалеско.

— Именем бога нашего, головой бы вам в землю,— «благословил» их Голцман и обратился к актерам: — Дети, за работу!

Актерская братия начала собираться в дорогу... Над ними стоял директор Голцман, потный, в цилиндре, и командовал, как когда-то Щупак, будь он трижды проклят!

— Нет, не так... Вот так... Вначале маленький сундук, потом большой. Нет, наоборот, вначале большой, а потом маленький сундук... Вот так... Истукан, чего остановился? Ты возьми справа, а он возьмет слева. Нет, наоборот: возьми ты слева, а он возьмет справа. Вот так... Слушай, ты, оловянная башка, чего смотришь на меня, лучше смотри, как ты несешь кресло царя Соломона, вынесли бы тебя вперед ногами!.. Осторожно, корона Наполеона Бонапарта! Выродок, если ты поломаешь корону Наполеона, я тебе голову сниму!..

Вот так командовал, так погонял актеров Голцман, награждая их смертными проклятьями. К каждому слову он находил проклятие. К примеру, кто-то ему сообщил, что кончилась веревка, а он в ответ: «Кончилась бы твоя душа». Кто-то спросил: «Куда мне положить эту вещь?» Голцман говорил: «Лежать бы тебе в земле!» — «Может быть, сюда поставить?» — «Стой столбом!» — «Взять бы

нам еще одну подводу!» — «Пусть тебя черти возьмут!».  
Одного актера Голцман удостоил новым, весьма простран-  
ным проклятьем: «Столько бы тебе болячек, сколько было  
дыр во всей маце с древних времен по сей день...»

Как назло, черт подослал старуху Соре-Броху с по-  
стельным бельем.

— Уже? Ты тоже здесь со своим старым барахлом?  
Доведешь меня до того, что я вспорю перины и перья  
пушу по ветру.

— Дай боже тебе такого счастья, — ответила старая  
мать, единственное существо, которое не боялось дать  
отпор директору.

Голцман сплюнул, старуха ушла, но тут же вернулась.  
Что еще? Ничего. Она хочет, чтобы ее сын поел. Мертвец,  
говорит она, краше тебя. Как мертвецы едят, так они и  
выглядят... По щекам видать, как зубами хрустят... Силу  
надо искать в тарелке... Жевать надо, говорит она...

Видимо, старая Соре-Броха решила выложить всю  
народную мудрость, имеющую отношение к еде. Голцман  
был не в духе и перебил ее:

— Смотри! Разошлась! Когда наступит конец?

От раздражения Голцман закашлялся, актерская ва-  
тага чуть не лопнула со смеху. Громко смеяться они бо-  
ялись. Директор за этот смех может выдать такое, что не  
рад будешь.

Нет, Голцман сегодня не в духе, очень не в духе.  
Поездка в Лондон ему как кость в горле: не проглотить  
и не выплюнуть... Он сам не знает почему, но очень  
тяжело на душе. Старухи всю ночь снились ему, болячки  
на их головы!..

*Конец первой части*

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ Скитальцы

### ГЛАВА ПЕРВАЯ Мистер Кламер

Лондонский Уайтчепель — это своего рода Бердичев, или Вильно, или Броды, или все они вместе взятые, или даже Иерусалим. Нигде так не дает себя знать еврейский дух, как в Уайтчепеле. Нигде еврей не чувствует себя так привольно, как здесь. Одеваются здесь на наш манер, разговаривают на нашем языке. Бегут, кричат, жестикулируют, как у нас. Даже доходы те же, что у нас. Я хочу сказать, местные евреи ничего нового не придумали: живут как бог на душу положит, хватают из рук, что там «хватают» — вырывают кусок хлеба изо рта. Одним словом, если вы туда попали, значит, вы приехали к себе домой. У вас нет никаких забот о ночлеге, синагоге и еде.

Раз мы заговорили о еде, должен рекомендовать вам еврейский ресторан, располагающийся в самом центре Уайтчепеля и называющийся «Кафе Националь». Это не только ресторан, но и еврейский клуб; когда бы вы ни зашли туда, вы там найдете сборище разных типов: биржевиков, докторов философии, коммивояжеров, миссионеров, содержателей «веселых» заведений, актеров еврейского театра, полировщиков жемчуга, конторщиков, журналистов, шахматистов, приказчиков, сионистов, территориалистов и молодых людей, о которых никто не знает, откуда они и чем занимаются, но которые шумят и кричат, курят и смеются, заполняя весь клуб. Но больше всех шумит, курит и кипитесь хозяин ресторана мистер Кламер, которого имею честь представить.

Мистер Кламер, родом из Галиции, рассудительный человек, красивой внешности, с бородой а-ля Герцль, что дает ему основание считать себя сионистом и поря-

дочным человеком. Склонен он признать и территориализм \*, хотя он, собственно, не территориалист; не принадлежит ни к какой партии, ни к какому сообществу. И это потому, понимаете ли, что по природе мистер Кламер эпикуреец. Он, кроме как себе, никому не верит. Но если кто-нибудь похвалит его бороду, скажет, что она точь-в-точь такая же, как у Герцля \*, вот тогда мистер Кламер объявляет себя сторонником сионизма. Правда, с оговоркой. Если мистеру Зангвилю \* удастся все-таки найти подходящую территорию для евреев, то мистер Кламер возражать не станет. Ибо доктор Герцль — великий человек, настоящий джентльмен, но мистер Зангвиль тоже не мальчишка.

«Живи и дай жить другим» — таков принцип мистера Кламера. Он вообще человек принципов. Говорит он по-английски и считает свою речь поистине английской. Мистер Кламер считает себя ученым человеком и знатоком книжной мудрости, и нет ничего такого на свете, чего бы он не знал.

Дело, то есть ресторан, мистер Кламер ненавидит, как набожный еврей свинину. Когда гости расплачиваются, он снисходительно берет только по счету. Если же кто-то и не заплатит, тоже не беда, ибо у Кламера есть принцип: «Всякий, кто голоден, пусть придет и поест» \*. Евреи приходят, выпивают рюмочку, закусывают и уезжают в Америку. Иди, ищи ветра в поле. Мистер Кламер тараторит без устали, расписывая свою доброту и свое знание света. Он слишком много разглагольствует. А почему бы и нет, раз отсутствуют иные заботы. Рестораном же занята его жена миссис Кламер, горемычная, многострадальная женщина, которая только в субботу видит закопченное серое лондонское небо. Приходит суббота, она надевает хет <sup>1</sup>, красивое дрес <sup>2</sup> и становится леди. Она заботится о муже, чтобы он вовремя получил свой брекфест <sup>3</sup> и динер <sup>4</sup>.

После обеда мистер Кламер отдыхает, в остальное время разгуливает по клубу, поглаживая бороду. Иногда сидит с гостем за пивом и сигарами и жалуется на свою горькую судьбу: горе мистеру Кламеру, раз ему приходится торговать лапшой! Что поделаешь, жить надо,

---

<sup>1</sup> Хет — шляпа (англ.).

<sup>2</sup> Дрес — платье (англ.).

<sup>3</sup> Брекфест — завтрак (англ.).

<sup>4</sup> Динер — обед (англ.).

или, как говорят англичане: «Ю маст ворк фор юр ливинч»<sup>1</sup>.

Да, мистер Кламер не любит, даже ненавидит ресторан. Но зато он любит дела общественные, дела лондонских благотворительных обществ, презирает русских евреев, называет их не иначе, как «попрошайками» или «кацапами». С его точки зрения, всех русских евреев надо повесить на одной веревке. Но не думайте, мистер Кламер и английских евреев не жалует. Когда на него находит, он всех лондонских богачей и еврейских лордов смешивает с грязью (за глаза, конечно). Мистер Кламер — человек с амбициями. Троньте его хотя бы одним словом, вы не отмоетесь за всю жизнь. Знатки остерегаются. Нежданно-негаданно он может влезть в чужой разговор и заявить: «Евреи, позвольте, я вам откровенно скажу, что вы ничего не смыслите, а только болтаете языком. Правда, это денег не стоит, как говорят англичане: «Ток из чин» — болтовня ничего не стоит». Так мистер Кламер заканчивает свою речь и поглаживает бороду, утверждая, что спорить, собственно, не о чем.

Однажды приключилась такая история. Станный тип забыл у мистера Кламера целую пачку исписанных листов. Этот пакет принадлежал скитальцу, еврейскому актеру-коротышке, с хриплым голосом и хитрющими глазами.

— Черт бы меня побрал, — сказал мистер Кламер, — если я знаю, откуда он взялся. У меня принцип: если мне не говорят, я не спрашиваю... У каждого человека свои отметины. Словом, две недели подряд он у меня столовался, сказал, что у него здесь знакомая актриса, зарабатывающая миллионы, они друзья. К ней попасть почти невозможно. Все-таки, если попадешь, осыплет деньгами, как жениха конфетти. Ол райт! Мой принцип: человек говорит, надо ему верить, как англичане говорят: верь только своим глазам. Как-то раз приходит этот человек ко мне и просит одолжить несколько шиллингов. Ему необходимо съездить на один день в Брайтон, куда на лето выезжают все лорды и магнаты Лондона. Там находится знаменитая артистка, певица. И он просит меня взять на хранение этот узелок и держать его за семью печатями, ибо в нем важнейшие бумаги и стоят они огромных денег. Ол райт! Я держусь того принципа, если человек говорит, значит, говорит правду, как англи-

---

<sup>1</sup> Чтобы жить надо работать.

чане говорят: зихинг из беливинг. Дал ему несколько шиллингов, взял узелок и запер его под замок в своем письменном столе. Жду человечка день, два, неделю, месяц, год — вы его видели, так и я. Как говорят англичане: «Кеч ми иф ю кен»<sup>1</sup>. Однажды вспомнил я про узелок, оставленный этим типом. Достал, и захотелось мне узнать, что в нем. Смотрю, какие-то записи на идиш. Ол райт! Все несчастья на его голову. Зачем они мне, какая им цена? Как англичане говорят: «Траш мит олт»<sup>2</sup>.

Так рассказывает мистер Кламер о кладе, который бог ему послал и который состоит из заметок на еврейском языке. А так как эти заметки имеют отношение к нашему роману, то приводим их в надежде, что читатель сам отгадает, кто и кому их написал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Связка писем

#### Первое письмо

Пишу тебе, мой дорогой, и задаю себе вопрос: зачем? Разве я знаю, где ты, кем ты стал и чем ты занят? Однако, надежда! Не сегодня завтра... Дни, часы, минуты я все уповаю, что узнаю, где ты. Хочется рассказать тебе все, что со мной приключилось с первой минуты отъезда из Голонешти... Представляю себе, что ты рядом со мной, и я тебе рассказываю и рассказываю. Разумеется, все подробности не описать, как не описать мне все то, что со мной случилось. Откуда мне уметь писать? Моим незначительным знанием идиш я обязана отцу-кантору. Бывало, он мне говорит: «Мальчики сидят и пишут, ты бы тоже писала, тебе это не повредит. Помни, доченька, когда-нибудь знание идиш тебе пригодится». Только теперь я поняла, как он был прав.

С чего, родной, тебе хочется, чтобы я начала свой рассказ? С того субботнего вечера? Помнишь? О, если я в тот вечер не умерла со страху, то это значит, что я долго буду жить. Пока я дождалась двенадцати часов, я думала, сердце выскочит из груди. Каждая минута казалась мне часом. Что я говорю — часом? днем, годом. А когда часы пробили двенадцать, я тихонько поднялась, тихонько раскрыла окно и выглянула на улицу — вчераш-

---

<sup>1</sup> Лови меня, если можешь.

<sup>2</sup> Чепуха и вздор.

ний день, тьма тьмушая, и никого нет... Чего я только не передумала в эту минуту? Всякие недобрые мысли приходили мне в голову. Больше всего я волновалась за тебя, мой дорогой, не случилось ли чего-нибудь с тобою... Но вдруг я услышала свист, один и еще раз — как мы условились с хрипатым типом (с тем, которого зовут Шолем-Мейер Муравчик)... А сердце — словно часики: тик-тик-тик. Руки и ноги дрожали, и вся я покрылась холодным потом. «Рейзл, закрой окно, закрой окно, укройся с головой и скажи «спокойной ночи!»» — так на мгновение подумала я... Но вспомнила скрепленную пожатием рук клятву, что мы дали друг другу в ночь пожара. Помнишь эту ночь? Я вскочила с постели... «Прощайте, родители, прощай, Голонешти. С вами расстаётся дочь кантора... Нет больше Рейзл! Выпорхнула пташка из клетки...» Вот так я простилась с комнатой и расцеловала подушечку, что у изголовья. Сердце ныло, и жаль стало отца. Что он скажет завтра утром! Но длилось это всего одну секунду, и того меньше... Я уже за окном, на улице. Божья улица мертва. Только мы, Хриплый и я, две тени, я бегу быстро, а Хриплый за мной, он с трудом переводит дух. На краю улицы, у сгоревшего дома пекаря Ошера мы остановились. Он смотрит на меня, я — на него. Затем он рассмеялся и сказал: «Девочка, ты так бежишь, что я еле поспеваю». При этом он развязал узел, а в нем бурнус и старая шаль.

— Что это?

— Это,— говорит он,— для тебя, чтобы кошечку, избавь господь, не поймали. Они,— сказал он,— могут быть и семи пядей, но в этой одежде тебя не узнают. Ты, пташечка, только хорошенько закутайся в эту шаль... и молчи как рыба, пока не приедем на станцию, ты не должна произносить ни единого слова, слышишь, любонька, ни гугу.

Меж тем появилась повозка, запряженная тремя лошадьми. Хриплый ее остановил. На облучке сидел Шимен-Довид-возница — я его и в темноте узнала. Из повозки выскочил директор Щупак, очень чем-то расстроенный. Отозвал в сторону Хриплого, и они стали шушукаться. О чем, не знаю. Дошла до меня только ругань. Хриплый кричал, видимо, на директора, обзывая его идиотом... Я как на иголках, закутанная в бурнус и шаль, а те не перестают шушукаться. Потом подошли к вознице, спустился и он с облучка... Теперь уже втроем о чем-то советуются. «Бог милостивый, о чем они секретничают?»

Возница Шимен-Довид, слышу, разговаривает с ними на своем молдавском языке. До меня доходят отдельные слова: «угодил пальцем в небо», «кум с кумой видятся, а близко не сходятся», «где Фачешти, а где Новоселица?». Не сбросить ли с себя бурнус, подумала я, пока есть время, и не удрать ли мне обратно домой? И вдруг слышу: «Мадам Кац! мадам Кац!» Кого это зовут? Кажется, меня. Это мне дали новое имя... «Мадам Кац, чего вы стоите, влезайте в фургон».

Мы втроем садимся в фургон, я и директор занимаем лучшие места, а напротив нас Хриплый. Директор мрачен. Он вздыхает, от него несет вином. Хриплый дает команду вознице, Шимен-Довид щелкает кнутом, и мы трогаемся.

Сколько мы так ехали, не знаю. Но вдруг чувствую, возница остановил лошадей, смотрю — у дома вдовы Нехи. Ужас охватил меня, не доставало, чтобы вдова Неха меня здесь увидела. И надо же, не успела оглянуться, как у двери стоит вдова Неха и ее две сестрички, почти голяком, а Шимен-Довид разговаривает с Нехой «о морских котах» (очевидно, он имел в виду актеров); все ли уже уехали в Фачешти, когда они уехали? Кстати, он ей напоминает, что как-то раз привез ей с вокзала нескольких типов, а она его даже не поблагодарила... На что вдова Неха ему ответила, что таких типов надо часто сеять, но чтобы редко всходили. Меж тем Неха заглянула в фургон и в упор посмотрела на меня. Могу поклясться, она меня узнала... Еще чуть-чуть, и из меня душа выскочит. Я с головой спряталась в бурнус и шаль, еще минута — и задохнусь. Долго бы жить Хриплому, он раскричался на возницу и приказал поторапливаться. Попрощавшись с Нехой, Шимен-Довид замахнулся кнутом, крикнул «айда!», лошади тронулись, да так быстро побежали, что казалось, будто мы все сейчас рассыплемся. «Чего вы так торопите, словно за нами гонятся», — спросил директор, и слышно было, как зубы у него стучат. Но Шимен-Довид молчит. Он погоняет лошадей все сильнее и сильнее. И тут подумалось, не в самом ли деле за нами гонятся... Вот почему они шушукались. Размышляя об этом, я увидела рядом с лошадьми вашу собаку Теркуша. Я ее сразу узнала. Плохой признак! Как очутился здесь Теркуш?.. Значит, кто-то с вашего двора за тобой гонится. Поймают тебя... пропали. Мы оба пропали! Мне даже представилось, как нас с большим почетом везут обратно в город закованными в кандалах... Может, лучше уж, подумала я, выброситься из фургона

и разбиться насмерть. Такой стыд, такой позор... «Стоп! Задержи!» — услышала я крик Шимен-Довида. Теперь уже в чистом поле остановился он и разговаривает с другим извозчиком по-молдавски. Всматриваюсь в фургон, заполненный ящиками, а на них два человека, один, кажется мне, Гоцмах, а второй — ты. Тебя, дорогой, я тотчас узнала, хотя и ты, как я, был закутан в какое-то тряпье. На мгновение почудилось, что ты смотришь на меня. Вот ты поднялся, протянул мне руку и произнес мое имя. Еще секунда, и я бы выпрыгнула из повозки. Но, видимо, мне все только почудилось, да и длилось это полминуты, так как Шимен-Довид развернул лошадей, будто мы направляемся в обратную сторону.

Стало быть, мы, с божьей помощью, пережили и этот страх. Но спрашивается, куда мы едем? Куда едут остальные? Почему директор так мрачен? В чем тайна? И почему Хриплый назвал директора идиотом? Об этом я тебе напишу во втором письме. Поздно, пора идти спать. Спокойной ночи!

## Второе письмо

Мой единственный друг!

Описанные в первом письме страдания, пережитые мною в ту ночь, нуль по сравнению с тем, что пережила впоследствии. Муки ада! Представь себе, дорогой, лишь когда мы пересекли границу, узнаю, что мы не в Румынии, как было договорено. Должна ли я описывать свое состояние? Готова была покончить с собой, броситься в воду. Я рвала на себе волосы, била себя кулаками по голове, рыдала так, как никогда в жизни. Хриплый и директор очень испугались, утешали, успокаивали ласковыми словами. Но чем больше они говорили, тем больше я волновалась и кричала. Я рвала на себе платье, рубашку, пыталась разбить окно. Директор был так напуган, что куда-то удрал. Возможно, он это сделал по совету Хриплого. Очевидно, решил, что сморщенное, отвратительное лицо директора с его красными противными безбровыми глазами пугает меня...

Оставшись с глазу на глаз с Хриплым, которого зовут Шодем-Мейер Муравчик, я заплакала по-настоящему. А он клялся всеми клятвами земли и неба, своим здоровьем и самим богом, что со мной ничего худого не случится. Я припала к его рукам, целуя их, умоляла сказать мне правду, чистую правду... Он снова поклялся,

что расскажет все до мельчайших подробностей... И вот что он мне рассказал. Приведу коротко его повествование:

Должны были мы поехать в Румынию. Но в последнюю минуту план изменился. И все из-за директора. У него, оказывается, две жены, хотя говорит, что с одной он давно развелся. На то, говорит он, у него имеются свидетели. Но разведенная утверждает, что это наглая ложь. Потому вторая, неразведенная, требует развода, а директор не хочет с ней разводиться. Почему? Он требует, чтобы она вернула ему деньги, драгоценности, гардероб и возместила капитал, на нее потраченный. Но она утверждает: столько ему болячек, сколько она на него потратила. Кто из них прав, сказать трудно. Хриплый говорит, что все трое правы, потому нельзя допускать, чтобы они встретились — из этого получится большой скандал, они передерутся и останутся без глаз.

Тем временем случилась такая история. Директор за несколько дней до отъезда из Голонешти получил от одного из своих знакомых письмо, что первая жена, то есть разведенная, узнала, где он находится, и собирается приехать в Голонешти. Ему дурно стало, ибо она со свету его бы свела. Он давно рвался в Румынию, в Бухарест. И вот, получив письмо от друга, он со всей труппой стал готовиться в путь. Болван, уехал бы один потихоньку. Так нет же. Он написал письмо второй жене, то есть неразведенной, «знай, я уезжаю в Румынию и нам давно надо кончать, хочешь жить со мной, приезжай в Румынию». А она, то есть неразведенная, взяла и написала: «Мой дорогой муженек, прежде всего развяжись с разведенной, а затем мы поговорим». А разведенной она отправила такое письмо: «Если ты хочешь покончить со Щупаком, то немедленно выезжай в Бухарест»... И разведенная поехала в Бухарест. Директор узнал об этом со слов одного актера, который получил письмо тоже от актера. И это письмо он показал Щупаку за полчаса до отъезда, в подвальчике виноторговца Генеха. Вот и вся история, весь секрет, почему Хриплый назвал Щупака идиотом. История, которую он мне рассказал, хоть короткая, но дух захватывает.

— Но,— спрашиваю его,— что мы дальше будем делать?

— Дальше,— говорит он,— будет хорошо. Жены будут драться в Бухаресте, а мы снимем помещение для театра, напишем письмо труппе (она в Яссах) с пред-

ложением приехать сюда, у кого нет денег на билет, может не приезжать.

— Ну, а Гоцмах? — спросила я.

— А что Гоцмах, ты по нем соскучилась?

— Нет, просто так, вспомнила, как он исполнял хасидскую пляску.

— Плясать бы ему перед ангелом смерти, этому долговязому Гоцмаху, был Гоцмах, найдется другой.

Ты, конечно, догадываешься, что от этого рассказа у меня кровь в жилах застыла... Но я изо всех сил состроила веселую мину. Я поняла, по-хорошему большего добьюсь, что с Хриплым надо заключить союз. И я стала просить его собрать всю труппу, иначе я не успокоюсь. И если он в самом деле мне друг, то должен всех позвать, и Гоцмаха в том числе. Вот только тогда я буду себя чувствовать, как дома в Голонешти. А он смеется:

— Немедленно пишу письмо, пусть все приедут, и Гоцмах тоже, черт бы его побрал!

Так ответил мне Муравчик и просил по любому вопросу обращаться только к нему, а уж он во всем мне поможет...

Ушел он в магазин, принес целый ворох новых платьев и предложил выбрать то, что мне нравится. И три пары обуви принес на выбор. Я переоделась, посмотрела на себя в зеркало — и не узнала. Куда исчезли слезы? И мне захотелось петь... И я запела, как соловей, словно весь мир мне стал мил.

### Третье письмо

Ты, дорогой, можешь подумать, что всем описанным в первых моих письмах завершились мои страдания. Нет, дорогой, этим только начинались мои слезы, обиды, тоска и душевная боль. В году триста шестьдесят пять дней, день длится двадцать четыре часа, час — шестьдесят минут, и каждая минута приносит новые муки и беды. Я жила иллюзией. Мне казалось, что стать актрисой совсем не трудно. Переодеваются, выходят на сцену, и готово. На деле это совсем не так. Прежде всего надо учиться, усвоить актерскую школу. Артистами не рождаются. Знаменитая Патти, сказали мне, в молодости бродила по дворам с шарманкой в руках и распевала песенки под окнами... Так объяснили мне директор Шупак и мой покровитель Муравчик. Чтобы привыкнуть к сцене, мне поначалу разрешили петь куплеты и научили танцевать.

Свой первый выход на сцену я запомню на всю жизнь. А появилась я с одной-единственной песенкой. Директор Шупак хвастает, что песенку сочинил он. Хриплый говорит: плюнь ему в лицо. Кто ее придумал, не знаю, но начинается она так:

Сладким вином запивая заботы  
В день равновесья в усталой душе,  
Знать не желает еврей по субботам  
Об ожидающем всех рубеже.

Но главное не слова песни, не ее исполнение, а грим и костюм. Меня нарядили молодым хасидом: атласные брюки, шелковый сюртучок и котелок,— загримировали и приклеили пейсы. Музыка играла, я плясала «Фрейлехс» и пела «В пятницу вечером». Что творилось? Аплодисменты, крики «браво», спаси бог и помилуй! Думала, потолок обрушится. До небес доходили крики: «Спивак!», «Роза Спивак!» (так была я обозначена на афишах). Земля уходила из-под моих ног, стены тряслись, и лампы раскачивались. Я не знала, как я должна себя вести. Тогда директор с одной стороны, Хриплый с другой вытолкнули меня из-за кулис, уговаривая еще раз показаться публике. А она шумела и требовала «В пятницу вечером» и «Фрейлехс». Я танцевала. И вместе со мной все танцевало: потолок, стены, лампы, публика, наконец, я кончила и как сноп упала за кулисами и разрыдалась...

— Ты плачешь, кошечка? Радоваться ты должна! Какой успех! Какой фурор, какой триумф. Патти твоего ноготка не стоит, ей-богу! Да ниспошлет нам бог счастья и успехов.

Так утешал меня Хриплый, а директор стоял поодаль (я его держу на полсажени от себя), блаженствовал и наслаждался. Это заметно было по глазам и смешку, который скорее напоминал плач, чем смех. «Ой, куплеты, поверьте, сладенькие, как сахар, не будь я Альбрет...» — лепетал он и сверкал своими бриллиантами.

С той поры вошла в моду «Роза Спивак». Ежевечерне в заключение театрального представления я должна была петь «В пятницу вечером». Очевидно, публика полюбила больше всего мои номера. Своими ушами я слышала, как два солидных зрителя громко, на весь театр сказали: «Когда уже кончится пуримшпил и нам дадут Розу Спивак?»

Первое время не знала, куда мне деваться от подобных комплиментов. Это надо понять, это надо почувст-

вовать. А взгляды мужчин, пронизывающие меня насквозь, шарящие под моим жилетом, масляные глазки пошляков, их двусмысленные словечки... А злые глаза женщин, боже мой! Я их проклинала всеми проклятиями земли, проклинала всех мужчин, всех женщин, еврейский театр и самое себя, день, когда появилась на свет божий. Но как видишь, все уже позади, и я могу этим с тобой поделиться на радостях. Знаешь ли ты, кому я обязана? Только тебе, мой дорогой, мой единственный друг, ибо я ни на секунду не теряла надежду, что ты приедешь ко мне, что я увижу тебя, твое милое лицо, что мы возьмемся за руки и зашагаем вместе вперед, как мечтали... Мой покровитель, Хриплый, не переставая, обещал, что совсем скоро вся труппа приедет вместе с «моим Гоцмахом». Так шли дни, недели. Но где? что? — никого не видно и не слышно.

Единственная, кого я увидела из прежней труппы, была мадам Черняк, актриса, — уродина, комическая фигура, ее зовут «Брайнделе Козак». Ты должен ее помнить еще со времен пребывания театра в Голонешти, маленькая толстушка с большими белыми зубами. От нее я узнала, что Муравчик обманывает меня. Никакого письма он в Яссы не отправил и никого не просил приехать. Ложь, вранье от начала до конца...

Брайнделе Козак рассказала мне такие истории — волосы дыбом встали. Декорации, по ее словам, выписали, а актеров и актрис оставили в чужой стране без гроша за душой. Если бы не она, то они умерли бы с голоду. Чем только могла, она им помогала. Они продали все что было и растворились как соль в воде.

— Ну, а Гоцмах? — спросила я.

— Гоцмах, — ответила Брайнделе Козак, — сквозь землю провалился.

Страшные истории о судьбе актеров она рассказывала мне, а я каждый раз задавала ей один и тот же вопрос: «Ну, а Гоцмах?» И она повторяла одно и то же: «Гоцмах сквозь землю провалился».

Один раз Брайнделе Козак невзначай обронила слово о том, что она слышала от одного актера, который слышал от другого актера, что он видел Гоцмаха с очень молоденьким парнем разгуливающими по Бухаресту... Ты представляешь себе, как от этих слов забилося мое сердце... Я готова была ее расцеловать. Мы с ней стали как две сестры.

Брайнделе Козак я многим обязана. Она открыла мне глаза, помогла понять, кто они — этот Щупак и Мурав-

чик, она учила меня жить... Ей я обязана тем, что вовремя выбралась из этого болота и поняла, что мне нет места среди этих комедиантов... Если бы не она, я, наверное, еще по сей день скиталась бы с труппой Щупака... Если бы не она, я бы еще и сегодня выступала, одетая в мужское платье, в разных кабаках, распевала бы «В пятницу вечером» и танцевала «Фрейлехс».

Дорогой! Дорогой! Когда я вспоминаю то время, краснею, от стыда горю как в огне... Я возненавидела не так Щупака и Муравчика (это обычная история, так ведут себя все хозяева: зарабатывают на нас большие деньги), как так называемых «любителей» еврейского театра, которые приходят для того, чтобы посмотреть, как я танцую «Фрейлехс» и пою песенку «В пятницу вечером», и при этом они поглаживают свое толстое брюшко и облизывают пальчики. Возненавидела «любителей», которые из вечера в вечер приходят в театр Щупака, чтобы забраться за кулисы и посмотреть на девушку в мужских брюках. С одним таким «любителем» я тебя познакомлю в следующем письме. Доброй ночи, мой дорогой, спи спокойно!

#### Четвертое письмо

Однажды в летний жаркий день, когда мы все репетировали (я тогда изучала «первые роли»), пришел кто-то и сказал: человек просит директора. Щупак стал бледный как смерть, вероятно, жен своих вспомнил.

Мадам Черняк, вот та, которую зовут Брайделе Козак, говорит, что Щупак не двоеженец, а троеженец... Щупак растерялся и решил посоветоваться с Муравчиком: «Шолем-Мейер! Где Шолем-Мейер? Холера!» Человек, не дождавшись выхода Щупака, зашел в зал и крепко обнял Щупака. Человека звали Стельмах. На веселые возгласы «Стельмах!», «Щупак!» прибежал Хрипатый, и все трое расцеловались, словно родные братья, не видевшиеся лет двадцать. А тот, кого зовут Стельмах, таял, как снег на солнце. Надо полагать, оттого, что вновь увидел Щупака и его правую руку, Шолем-Мейера Муравчика...

Человек небольшого роста, чернявый, волосатый, уже в летах, упитанный, с круглым животиком, лоснящимся лицом, со слезящимися глазами и слащавой улыбкой

(видимо, он доволен собою, богом, всеми людьми и всем миром) — вот портрет того, кого зовут Стельмах. У него большое достоинство — он не зазнается. Хотя сам говорит, что ему, не сглазить бы, хорошо живется, что он, не сглазить бы, очень богат, все же он простой, обыкновенный человек. Гордецов он не любит, выставляться напоказ он тоже не любит. Всегда готов всем и каждому в отдельности рассказать свою биографию. Говорит он тихо, еле слышно, с негромкими вздохами и улыбочкой, при этом он гладит руку слушателя или вертит его пуговицу, чтобы слушающий не уходил. И льется его речь, льется так гладко, как по маслу, одно слово переходит в другое, и получается сказка тысячи и одной ночи. Получится ли так у меня, не знаю, но постараюсь пересказать его биографию его же словами.

«Был он, не про вас сказано, и не про любого будь сказано,— так начинает он рассказывать свою биографию со вздохом и улыбочкой, а лицо при этом сияет.— Значит, не про вас будь сказано, был я нищим, бедняком из бедняков, а дом полон детей, куска хлеба не было, жил в маленьком местечке, в пустыне, можно сказать, в глуши, недалеко от Бердичева, которое называется не то Махновка, не то Яхновка (забыл его название), и жил тем, что шил мужицкие шапки, ходил с товаром на ярмарку за три версты, авось что-нибудь заработаю. Сапоги, не про вас будь сказано, были подвязаны веревкой, чтобы подошва не отлетела, а тулуп весь в дырах. Мороз трещит, снег скрипит, ветер хлещет в лицо, сердце замирает. А дома, не про вас будь сказано, больная жена с маленькими детьми. Старшему еще шести лет не было, Гершеле его тогда звали. С малолетства был одаренным ребенком. Золотко! День и ночь не выпускал палочки из рук и играл, играл, играл.

— Гершеле, что ты делаешь?

— Играю,— отвечал он,— на скрипке.

И отец однажды любопытства ради принес ему простую скрипочку, три копейки ей цена. Увидев скрипку, мальчик заплакал. Где он видел скрипку? Кто ему показал, как надо играть? Не знаю, чтобы мне так горя никогда не знать. Ребенок самоучкой начал пиликать. Пиликал до тех пор, пока не научился играть напевы. Богу было угодно, чтобы в этом городке жил граф или князь (точно не помню). Местечко принадлежало графу. Узнав о том, что в нем проживает еврей-шапочник, у которого мальчик необыкновенно хорошо играет на скрипке, граф или князь

приказал доставить ему еврея с его сыном. Раз пан приказывает, то нельзя же быть свиньей. Пришли со скрипкой в руках. Мальчика поставили на стул, и он начал играть, раз, и два, и три. Пан пришел в восторг, а графиня обняла ребенка и начала его ласкать и целовать. К столу подали чай и кофе, булочки на закуску, варенье, яички — все, что еврею дозволено есть. Садись, говорит пан, чего стоишь, знаешь ли ты, чем обладаешь? Ты обладаешь, говорит граф, драгоценным камнем, ты, говорит он мне, миллионер. Но ты грубый человек, слепой, ты преступником будешь, если сына своего не отвезешь в город обучаться музыке. На это я ему ответил: «Господин граф! Тебе легко сказать «обучать музыке». Я, не про тебя будь сказано, нищий, бедный человек, обремененный большой семьей...» А пан сказал: «Оставь мальчика мне, и я его выведу в люди». Графиня качала головой в знак согласия».

Но сам Стельмах, по его словам, не из тех, которых десятками продают за грош. Думает Стельмах, пока суд да дело, его сын может отпасть от еврейской общины...

— Нет, господин вельможа,— сказал Стельмах,— твой план не годится, ты лучше одолжи мне несколько рублей, и я с сыном уеду в Бердичев, в этот большущий город, где проживает много евреев, где имеются богатые люди.

И было так. Приехали они, рассказывает Стельмах, в Бердичев со своим мальчуганом. «Слоняемся по Бердичеву, в котором все кипит, как в котле. Люди носятся кто куда, все заняты делами, никто на сына моего не обращает внимания. Мальчик проголодался, а время летнее, обилие яблок, груш, слив, и все дешево. Ребенок просит сливу, но имел бы я хоть один грош. Остановил я одного, другого еврея, только спросить совета. «Что делать, спрашиваю я, обладаю великим сокровищем, целым миллионом». Смотрят на меня как на сумасшедшего. Нищий оборванец слоняется с голым и босым мальчуганом и говорит, что он миллионщик. Рассказываю всю историю о скрипке мальчика. Смеются, отворачиваются, слушать не хотят. Задело меня за живое. Тогда пошел я к молодым, рассказал им о совете пана и просил их послушать, как мальчик играет на скрипке. «Так что же еврею надо? спрашивают они.— Пару рублей на обратную дорогу?..» Но вдруг один из них предложил: «Знаете что, организуем концерт». А что такое концерт? Не знать мне горя, как

не знаю, что такое концерт. Советуют концерт, пусть будет концерт.

Словом, мальчик им очень понравился. Сняли зал, расклеили афиши и начали продавать билеты. Но никто их не покупает. Скверно. Не огорчайтесь, сказали мне молодые люди, до концерта еще много времени. И вот наступил день концерта. Восемь часов вечера, девять, половина десятого — никого нет. Лишь часов около одиннадцати пришло несколько человек. А где мальчишка? Уснул. С трудом разбудили его, поставили на стул, и мальчик заиграл, ну и ну! Вот это был концерт! Мальчишку окружили, тискали, целовали, чуть не задушили. Но что с того, когда нечем даже за зал заплатить. Пришли мы в заезжий дом огорченные, усталые, голодные. Есть, говорит хозяйка, уже поздно, а за койку она просит наличными. Горько! Сняли тулупы, постелили на пол, в изголовье свои кулаки подложили, и сын вскоре уснул. Дитя есть дитя. А я, отец его, лежу и думаю, голова трещит, как же нам выбраться отсюда. Понимаю и чувствую, что рядом со мной на рваном тулупчике целое состояние, миллион, но пойдя кричи: «Я провидец!» С этакими думами уснул и я. И снится мне удивительный сон: в центре города стоит слива, на макушке которой сидит мой сын, он раскачивает дерево, а плоды падают на землю около меня. Вглядываюсь, это же не плоды, а миллионы, миллион за миллионом. Осматриваюсь, нагибаюсь и заполняю карманы миллионами.

— Папа, еще? — спрашивает сын.

— Еще, еще, — отвечаю и не устаю собирать миллионы.

Внезапно поднялся крик и шум, и я произнес: «Хватит дерево трясти!» А сон продолжается. И кажется мне, что я проснулся, кругом много народу, хозяин белый как стена, а хозяйка ломает руки и плачет: жемчуг, ее жемчуг! Отец с сыном поднимаются с пола и собираются уходить. Но им говорят:

— Вас необходимо обыскать!

— На каком-таком основании?

— Мы вас и ваше дитя разденем догола и проверим, не попал ли случайно ночью к вам жемчуг хозяйки».

(Видимо, здесь не хватает нескольких страниц, так как из продолжения повествования Стельмаха о его вундеркинде мы узнаем, что они в Петербурге, что сына уже зовут не Гершеле, а Гриша и что он получает стипендию.)

«Прибыли мы в Петербург. Здесь все несутся как угорелые, где завтракают, там не обедают, где обедают, там не ужинают. А сына носят прямо-таки на руках. Везде и повсюду, где какой-нибудь бал, концерт, вечеринка, только и слышишь: «Гриша Стельмах, Гриша Стельмах!» Студенты, профессора, дамы — все в один голос: «Гриша Стельмах!» О деньгах нет разговора, раз есть стипендия. Правда, она стоила крови и стыда, беготни от одного к другому. С большим трудом добился ее, и то благодаря христианину, человеку злого и крутого нрава. Об этом долго рассказывать. Так, год за годом, мальчик рос, а слава его опережала. Для него уже не было учителей. В Петербурге не было уже профессоров, он их всех перерос. Что же дальше будет? Пора подумать о будущем. Вечно стипендию не дают. Пора самому зарабатывать. Надо поехать с мальчиком по свету. И как можно скорее, пока он вундеркинд, чудо ведь привлекает. Все хотят увидеть его, а как только оно вырастет из коротких штанишек, чудо перестанет быть чудом. И бог знает, что из ребенка вырастет и в чьи руки он попадет... Значит, надо пользоваться моментом. Так думал я, отец, и так оно и было. Но не так быстро дело делается, как говорится. Выехать в свет — денег стоит, а их нет. Что делать? Надо найти выход, искать компаньона: твои деньги, мой товар... И бог помог, нашелся желающий, немец по фамилии Шульц, который взял мальчика на свое обеспечение, а сколько заработают — половина немцу. Но что же? Ничего, — пустяк. Он хочет заключить контракт на десять лет. Немец же! Какое десятилетие? Ты что, сумасшедший или умалишенный? Хватит года, достаточно двух, трех лет. Хоть бей его и режь. Упрямый немец. Пока ведем переговоры, расходы идут. Из дому пишут: пришлите деньги... В конце концов мы с немцем договорились, заключили контракт на пять лет. Расписались на договоре, как полагается, и пустились в добрый час по свету. Начали давать концерты, один за другим, и, слава богу, пошло удачно. Куда ни приезжаем — всюду полно народу. Послушать Гришу Стельмаха бегут, как на пожар. Людей — как песчинок, как звезд на небе. Богачи, миллионеры, христиане и евреи, а деньги сыплются со всех сторон. Только обидно, что надо делиться с этим немцем. Почему ему причитается столько денег? Что он вложил в дело? Отцовское наследство? Или большие познания? Я сам уже, слава богу, умею устраивать концерты. Большая наука: приезжаешь в город и перво-наперво опове-

щаешь в газетах, платишь за анонсы, и они начинают трубить: «Приезжает Гриша Стельмах! Гриша Стельмах едет! Гриша Стельмах приехал!» Снимаешь зал или театр, развешиваешь афиши, заготавливаешь билеты — и все в порядке. Но душа болит: немец! Грешно перед богом. Но если попался в ловушку, так что поделаешь! Пропало! Одно только утешение, что пять лет на исходе, кончится контракт, тогда можно плюнуть на немца. Кто будет тогда мне равен?»

Так кончает Стельмах свою биографию. Поглаживая животик, улыбаясь, он спрашивает Щупака, а что слышно в еврейском театре? Ибо еврейский театр для него, говорит он, единственное удовольствие. Концерты сына — это для него дела. А если он хочет отдохнуть, он ходит в театр. В еврейский театр, а потому он знаком со всеми еврейскими актерами. Именно потому у него дружеские отношения с Щупаком. Когда он приезжает в город — первым делом узнает, где можно поесть кошерное и есть ли здесь еврейский театр. До того как приехал сюда, он слышал, говорит он, что у друга его Щупака — новость, какая-то Роза Спивак, ее очень хвалят... «Это она», — говорит ему Щупак и показывает на меня своими красными безбровыми глазами. Стельмах протягивает мне руку, теплую, мягкую как подушка, волосатую руку, с короткими толстыми пальцами; а лицо его расплывается от удовольствия. «Она, правда? — кто она и откуда?» — «Она моя племянница из Варшавы, сиротка, без отца и матери», — солгал Щупак, не моргнув глазом. «Какая жалость!» — сказал сочувственно Стельмах, пожав мою руку, простился и обещал прийти вечером. Он непременно придет послушать меня. «С парнем?» — спросил его Шолем-Мейер Муравчик. «Боже сохрани! — ответил ему Стельмах и отпрянул точно ошпаренный. — Что значит, мой Гриша пойдет в еврейский театр, ха-ха-ха? Если я хоть раз покажусь с ним среди евреев — конец, пиши пропало... Не потому, что он у меня, не дай бог, перестал быть евреем. Наоборот. А что же? Это надо понять, это тонкая материя... — Тут Стельмах показал толстыми короткими пальцами, какая это тонкая материя. — Вы шутите с моим Гришей? Мой Гриша, если он куда-нибудь едет, то только первым классом, — там евреи не ездят. И проживаем мы только в первоклассных гостиницах. А когда надо идти на концерт — пусть даже всего три шага, то только едем, и только

в закрытой карете. Его все знают, но видеть его просто так, бесплатно, ха-ха-ха, нельзя. Если хотят его видеть, то прежде всего надо поговорить с немцем. Немца уважают, хотя, между нами говоря, он еврей по фамилии Шульц. Он это скрывает... Если кто-нибудь приходит ко мне и хочет повидать моего Гришу, я его отсылаю к немцу, ха-ха-ха, к немцу...»

Вот это и есть Стельмах. И этому человеку я обязана своей карьерой и, возможно, всей своей жизнью.

Так как письмо уже слишком длинное, я перехватила через край, то откладываю дальнейшее до следующего письма. Будь здоров, мой дорогой!

### Пятое письмо

Мой драгоценный друг!

«Любитель еврейского театра» Мейер Стельмах не вылезал из нашего театра. Ежевечерне он бывал у нас, трижды смотрел каждое представление, и ему не надоедало. Сидел всегда на почетном месте, развалившись, в первом ряду, естественно, бесплатно, ибо «любитель еврейского театра» денег не платит. Зато он аплодирует всегда раньше всех, громче и дольше всех. Он восхищается каждым актером. А мною и моими песнями, по словам Шолем-Мейера Муравчика, особенно!

Первый раз он от песни «В пятницу вечером» так разволновался, что прибежал за кулисы со слезами на глазах, обнял Щупака и расцеловал его.

Мой директор намекнул, что он хотел бы послушать, как играет его Гриша, но Стельмах пропустил это мимо ушей, заговорив ему зубы. Но намеки Щупака были так грубы, что Стельмаху пришлось как-то в воскресный день принести три билета на утренний концерт: директору, Хриплому и мне. Тут же Стельмах стал восторженно хвалить концерт. Это будет, сказал он, еще тот концерт: его Гриша будет играть на скрипке, а немец будет ему аккомпанировать, и Марчелла Эмбрих будет петь. Хотите, вероятно, знать, кто эта Марчелла Эмбрих? Это вторая Патти. Что он говорит «Патти». В десять раз, во сто раз, в тысячу раз знаменитее Патти! Когда Патти первый раз услышала Эмбрих, она бросилась ей на шею и сказала: «Мы две звезды — я заходящая, а ты восходящая звезда», — и расплакалась... Понятно, что с другим Марчелла Эмбрих в концерте не станет выступать ни за какие деньги, а вот с его Гришей — это совсем другое...

И пошло: Гриша, Гриша и еще раз Гриша!.. Я уже не чаяла дожить до той минуты, когда можно будет увидеть и услышать Гришу. Что это за чудо такое на белом свете, Гриша?

Бог помог, я дожидла, увидела и услышала. И я должна сказать тебе, мой дорогой друг, я увидела сразу двух Гриш. Хочу сказать, что видела одного Гришу, слушала другого. Гриша, которого я видела в первую минуту на эстраде, был довольно рослый паренек в коротеньких штанишках, толстенький, с пухлыми щечками, покрытыми веснушками, а глаза — только намек на глаза... Самый обыкновенный паренек, встретишь такого на улице и не обратишь никакого внимания. Единственно, что бросается в глаза — это лакированные ботинки с широкими шнурками, которые казались слишком большими для него, для вундеркинда, а также выделялся широкий белый воротник, повязанный большим бантом с длинными концами. И более ничего примечательного. Зато когда он взял скрипку, сделал несколько движений смычком по струнам, прежний парень с пухлыми щечками куда-то исчез, а на его месте вырос новый человек. Совсем другой, другой образ, другие глаза — большие, синие, небесные глаза. Странно, где они раньше были, эти глаза... А может быть, это мне только показалось? Как только он перестал играть и публика начала греметь и сходить с ума, передо мной вновь стоял тот же пухляк. Стоял спокойно, а публика неистово кричала. Стоял спокойно, холодный как лед, едва кланялся. Раз десять его вызывали, и каждый раз он выходил холодный и спокойный, как человек, который уверен, что он это заслужил...

Сразу после того, как он сыграл, выступила знаменитая певица Марчелла Эмбрих. Ее пение отказываюсь описать. Звуки ее голоса проникали прямо в сердце и доставляли огромное наслаждение. Слушаешь как заколдованная и удивляешься, откуда берется такая сладость и такая сила? Звуки льются легко, без всякого напряжения. Слышишь ее пение, и тебе кажется, что не голос, а скрипка поет, и вместе с Марчеллой Эмбрих поет все кругом, весь мир, ты забываешь, существует ли вообще мир, кроме этих небесных звуков. Вот именно так поет Марчелла Эмбрих!

В то утро я была как в чадy, как во сне, в другом мире. После нее вновь выступил паренек с пухлыми щечками и круглым лицом. Когда он повел смычком, то казалось: он — чародей, который околдовал весь театр. Нет,

я не в состоянии пересказать тебе и десятую долю того, что я пережила в то утро. Какой это был концерт! Трудно определить, кто лучше был принят публикой. Гриша Стельмах или Марчелла Эмбрих. Зал не пожалел аплодисментов и в обилии наградил ими обоих. Мне кажется, что все-таки его теплее приняли. По окончании его последнего номера публика словно рехнулась, она долго, громко ему аплодировала. Диву даешься, как можно так боготворить человека. Правда, то, что он сыграл на бис, было небесной вещью, нет, больше чем небесной.

## Шестое письмо

Любимейший друг.

В предыдущем письме я начала тебе рассказывать о моем знакомстве с знаменитой Марчеллой Эмбрих и слишком много говорила о концерте. Это был первый серьезный концерт, который я услышала в своей жизни. Впоследствии я посетила много больших концертов. Этот же я никогда, никогда не забуду, скорее всего потому, что он меня совсем переродил, изменил мою жизнь, о чем ты после узнаешь...

Вновь рожденная, полная новыми мыслями и новыми надеждами, я вышла вместе с публикой из театра. В моих ушах все еще звучали сладкие звуки, святые аккорды, небесное пение. Я никого не видела перед глазами, кроме этих двух: Марчеллу Эмбрих и Гришу Стельмаха. Я ничего не слышала, кроме ее пения и его игры. Много народу осталось на улице, у театра, ожидая, очевидно, их выхода. Я тоже осталась ждать. Подъехал автомобиль, и в нем заняли места три человека: Марчелла Эмбрих, Гриша Стельмах и немец. Отец Гриши, Мейер Стельмах, стоял возле них, гнул в три погибели и улыбался во весь рот. Публика оглушительно аплодировала им даже на улице. Я стояла как во сне и, замороженная, смотрела туда, куда эти два счастливец исчезли... Признаюсь, в эту минуту возникла во мне наивная мысль: «Буду ли я когда-нибудь такой Марчеллой Эмбрих? Будут ли меня провожать аплодисментами?.. Я должна познакомиться с этой Эмбрих, пусть мир перевернется! Я хочу, чтобы она меня послушала — она мне, может быть, скажет, что мне делать, чтобы стать Марчеллой Эмбрих?..»

Вдруг подходит мой покровитель — Шолем-Мейер Муравчик. «Идем, — говорит он, — все вместе обедать». — «Кто эти все?» Я и он, директор Щупак, старик Стельмах

тоже идет с нами. Щупак пригласил его в еврейский ресторан на фаршированную рыбу с хреном.

«Любитель еврейского театра» любит еврейскую рыбу, особенно — если кто-то платит за нее!.. «Кошерный горшок с кошерной ложкой, — думаю я. — Надо попросить любителя еврейского театра познакомить меня с Эмбрих. Но как это сделать, чтобы мой директор об этом не знал?..»

Понятно, что, хотя «любитель еврейского театра и еврейских блюд» был так увлечен рыбой с хреном, что даже вспотел, он не прекращал все-таки рассказывать чудеса о своем Грише и Марчелле Эмбрих! Она единственная певица, которая поет перед королем Францем-Иосифом \*. С другими она не будет давать концерты за миллион даже, но к его Грише она привязалась. И опять пошла песенка: «Гриша, Гриша! Гриша!..» Можно сказать, что он опьянен или ума лишился, его «пунктик» — это Гриша!

Я улучила минуту. Когда директор и Хриплый были заняты расчетом за обед, мы с Стельмахом поднялись из-за стола к выходу. На ходу он не переставая пел: «Гриша — Эмбрих, Эмбрих — Гриша». Вдруг я прервала его и спросила: «Господин Стельмах, у меня к вам просьба». Услыхав слово «просьба», Стельмах побледнел и позеленел, исчезла улыбка, глаза стали холодными и стеклянными. Жалко было смотреть на него. «Маленькая просьба, совсем маленькая: я хочу, чтобы вы меня познакомили с этой Эмбрих, чтобы она послушала, как я пою». Услыхав эти слова, Стельмах повеселел. Лицо его опять изменилось. Вновь появилась улыбочка. Желтизна с лица исчезла, а щечки покраснели. «Ах, — говорит он мне, вздохнув, — почему же нет? С превеликим удовольствием!..»

«Только одно, — говорю я ему тихо, — это секрет. Мои не должны ничего знать. Понимаете?..» — «Я понимаю, душенька, чего же тут не понять? Я хорошо понимаю...» Только, говорит он, как кошка переберется через речку? Он минутку подумал и ударил себе по лбу. Ша! Придумал: завтра, с божьей помощью, с утра, часов в одиннадцать, прийти к нему в гостиницу, и будет все в порядке. Птичка и та не узнает...

Прийти к Стельмаху в гостиницу и чтобы мой директор об этом не узнал, — трудная задача. Разве Щупак спускает с меня глаза? А его правая рука, Хриплый — он охраняет меня, как преданный пес... И тут я подумала: если нужен вор, вынимают его из петли. Сам Муравчик меня когда-то просил, если мне что-нибудь понадо-

биться, обращаться к нему, и только к нему, а он поможет мне во всем... Я подумала и решила перед ним открыться, сказав, я хочу только одного — услышать, что скажет знаменитая певица о моем голосе. И мне повезло: «Кощечка! — сказал он мне на своем жаргоне. — Разве есть, — говорит он, — что-нибудь на свете, что бы мне было трудно для тебя сделать? В огонь и в воду! Дай мне бог, говорит он, счастья и добра».

Странный человек этот Хриплый! Хозяину он предан, как верная собака. За него готов отдать и руки и пальцы, но ради меня он может его купить и продать трижды на день. Странный человек!

После концерта на следующее утро, около одиннадцати, как мы договорились с поклонником еврейского театра, мой покровитель Муравчик сказал Щупаку, что ему надо пойти со мной купить какие-то мелочи. «Что это вдруг, какие-то мелочи?» — удивился Щупак и посмотрел на меня маленькими красными безбровыми глазами. «Что-нибудь, — отвечает ему Хриплый, — мелочишки, глупости, вчерашний день». Щупак не поленился и переспросил: «Что это за глупости, мелочишки, вчерашний день? Вдруг ни с того ни с сего?» — «Пристал, зануда, — отвечает ему, повысив голос, Муравчик, — говорят тебе надо, значит, надо, какое твое дело?..»

Странные они — эти люди. Директор проклинает Муравчика и распоряжается им как прислугой. Но стоит Хриплому чуть повысить голос, так Щупак тут же захлопывает свой рот и молчит. Но бывает и так. Муравчик все утро проклинает его, громко обзывает идиотом. Да так громко, что окна звенят.

Словом, мы поднялись, я и Хриплый, и ушли к «любителю еврейского театра».

Встретил нас Стельмах очень радушно, просил сесть и начал рассказывать, естественно, о своем Грише, о себе, всю свою биографию — историю тысячи и одной ночи. Хриплый пришел мне на помощь, прервал Стельмаха и сказал, что мы ограничены во времени. Мы хотели бы повидаться с Эмбрих... Стельмах поднялся и странно стал вертеться вокруг себя на одном месте и болтать: «Как же это сделать? Как быть? Как раз сейчас у нее немец, и Гриша тоже там...» Стельмах не может сейчас туда войти... Он хочет, но не может...

«Любитель еврейского театра» выглядел таким ничтожным, что Хриплый не сдержался и сказал: «Не знаете, что делать? Отдают богу душу, тут же, не сходя с места...»

Эти слова Хриплого Стельмах принял за шутку, он схватился за бока и начал хохотать до упаду. Но мой покровитель не дал ему долго смеяться. «Пане Стельмах,— сказал он ему,— слушайте, что я вам скажу. Бросьте эти штучки. Скажите нам «да» или «нет». О Грише не беспокойтесь. Мы его, упаси бог, не укусим. А вашего немца из Бердичева пошлите ко всем чертям. Пропади он пропадом. Если вы хотите с нами зайти — хорошо, а если нет, мы сами зайдем к этой фифочке, и немедля, сию секунду, дай мне бог радости и удачи...»

После этих слов «любитель еврейского театра» изменился в лице. Губы у него пересохли. Присел, встал, застегнулся на все пуговицы, намеревался улыбнуться, но улыбка не получилась, и мы все втроем вошли в красиво меблированный салон, устланный коврами. Там «сладенький» Стельмах просил подождать, а сам на цыпочках подошел к двери другой комнаты, сначала приложил ухо, а потом короткими толстыми пальцами постучал: «Это я, я, Стельмах...»

Здесь опять повествование прерывается. Письмо не закончено. К сожалению, исчерпывается связка бумаг, которая попала в руки мистера Кламера, и мы не знаем, как знаменитая певица Марчелла Эмбрих приняла нашу героиню.

Мы вообще очень мало знаем о том, что с ней происходило со времени отъезда из Голонешти. Имя «Роза Спивак» вместе с именем «Гриша Стельмах» встретили мы через некоторое время в шумном Лондоне на больших афишах, развешанных на улицах города.

Это было в аристократическом квартале Лондона, который называется «Вест-Энд», а в Уайтчепеле в то же время красовались безобразные афиши с громадными буквами, оповещающими, что в еврейском «Павильон-театре» впервые в Лондоне выступят приглашенные артисты с континента — знаменитый Лео Рафалеско из Бухареста и красавица примадонна Генриетта Швалб из Буэнос-Айреса.

Это было, следует сказать, первый раз, когда наши молодые скитальцы, сын богача и дочь кантора, встретились в одном городе. Впервые с того дня, когда они покинули свой родной городок Голонешти и начали путешествовать, как блуждающие звезды, по миру, мужественно перенося все «прелести» жизни странствующих актеров.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  
В роковой час

В недобрый час наша странствующая труппа «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>» прибыла в Лондон. Директор театра Бернард Голцман почувствовал, что попал в темную яму или в кипящий котел, откуда не так-то просто выкарабкаться. Все, на его взгляд, выглядело грозно и мрачно, дико и безобразно. Люди и их речи казались ему сумасшедшими. Суতোлка, шум и гам угнетали его ум. С первой минуты, как ступила его нога на английскую территорию и он учуял запахи Уайтчепеля, он возненавидел городской рев, хмурое небо и всю Британскую империю.

В Лондон они прибыли среди бела дня, но попали в такую густую тьму, что ее можно было пощупать руками. Мало того, что город был проклят богом, Голцман добавил свои проклятия: утонуть бы ему в воде, стать бы ему глыбой соли, какой стала жена Лота \*, проглотило бы его, как сказано у Гейне, море, а затем выплюнуло бы его обратно на берег.

Нет, наш Голцман почувствовал себя в Лондоне прескверно, гораздо хуже, чем, не приведи господь, в Голонешти. Не зря он горевал, когда компания собралась покинуть Черновцы.

Уже первая встреча оказалась неудачной. Труппу встречали брат Изака Швабла, Нисл, и еще какой-то тип. Представляя его труппе, Нисл Швалб назвал его «мистер Хечкинс», беззвучно добавив по-еврейски, что он христианин, и хотя он христианин, все же он хозяин и «менеджер» большого еврейского «Павильон-театра» в Лондоне. Голцману он показался человеком, который во время антрактов торгует апельсинами или мороженым. «Какой-то буланый жеребец со стриженным затылком и гладко выбритой мордой»,— так охарактеризовал его Голцман.

Менеджер был в странном пиджаке в талию, сшитом навыворот, в клетчатых брюках, сверху широких и узких книзу, в лакированных туфлях на высоком каблуке. Его багровую худую шею украшал кадык, который нельзя было скрыть ни широким галстуком, ни бриллиантовой булавкой. При первом знакомстве мистер Хечкинс протянул актерам два пальца, показал три золотых зуба, сонно выговорил одно слово: «Ол райт!» Затем повернулся спиной к труппе, махнул пальцем, и, к удивлению актеров,

появился автомобиль. И этот тип по имени мистер Хечкинс сел в машину и исчез в густом, сером и тяжелом лондонском тумане.

Совсем другое дело брат компаньона Голцмана — Нисл Швалб. Он вел себя товарищески, но более солидно, чем исчезнувший хозяин, мистер Хечкинс. Нисл Швалб выглядел как городской голова, которому принадлежит не только театр и весь Лондон, но и все, что его окружает.

Широкий в кости, круглый как бочка, в два раза выше своего брата, бритый, с постоянной сигарой во рту, в маленьком котелке набекрень, довольный собой и всем миром, он громко командовал гостями, будто они приехали к нему, а не в театр.

Прежде всего он всех в отдельности обнял, поцеловал, словно он с каждым был давно знаком и дружен. Затем сам стал выгружать багаж, нанял «керидж»<sup>1</sup> и распорядился:

— Ты, Изак, садись вместе с Рафалеско на видном месте, Генриетту втисни между собой, а мы с твоим компаньоном бухнемся напротив.

Он дружески похлопал Голцмана по спине и положил на его узкие острые плечи свою толстую, крупную, потную руку. И наш директор одним глазом разглядывал брата компаньона; а другим его руку. «Ну, и ручища, отсохнуть бы ей! Сегодня в четверг вечером... Какой он мне здесь командир? Одного сажает туда, другого сюда, а Генриетту приказал втиснуть... А где я? Компаньону скажу, что такие штучки мне не нравятся. С самого начала надо подрезать крылья этому чудищу, свинье надо немедленно дать по харе...»

Так думал и это хотел сказать Голцман, но вслух произнес:

— Слышишь, Ицикл, твой брат, не сглазить, раздался в длину и ширину.

— Кхе, говоришь, раздался. У нас все такие крупные.

При этом лицо его лоснилось, как жирный пудинг.

— Это видно,— сказал Голцман. А про себя добавил: «Посмотрел бы я на вас во время большой холеры».

Как бес уносит святого, так карета захватила всех гостей и помчалась по шумным улицам Лондона.

Директор Голцман чувствовал себя неуютно. Невоз-

---

<sup>1</sup> Керидж — фаэтон, карета (англ.).

можно было дух перевести рядом с этим «морским буйволом» — так назвал он брата своего компаньона, который и позже, когда прибыли в Уайтчепель, не переставал командовать. Здесь Нисл Швалб каждого актера по очереди высадил из кареты, смеясь и восклицая «хопля», что очень раздражало Голцмана.

Нет, не в добрый час состоялся первый визит Голцмана в Лондон. Предчувствовал он, что на узком горизонте лондонского серого неба зайдет его звезда, которая до этой поры ему улыбалась... Всю горечь свою он, как всегда, обрушил на голову старой матери, Соре-Брохе, и на невинную сестричку Златку и уже вовсе невинных актеров и актрис. Злился. Ругал всех, проклинал. Будь у него время, он смог бы из проклятий составить целый словарь.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

##### Душа-человек

Люди — как и яства (просим читателей извинить за такое сравнение): одному нравятся, другому не нравятся. Нисл Швалб решительно не понравился директору Голцману, но вызвал симпатии Рафалеско. Было приятно, что Нисл Швалб очень общителен, непрерывно тараторит, громко смеется, похлопывает каждого по плечу и со всеми на короткой ноге. Одним словом, душа-человек.

Наш молодой герой любил веселых, потешных людей. Сам Голцман, когда жил в Голонешти, служил у Щупака и назывался Гоцмахом, был человеком неунывающим. Это теперь, с тех пор как он директор собственной труппы, он стал брюзгой, мир видит только в мрачных красках, постоянно тревожится о настроениях Рафалеско, сторожит, не собирается ли кто его переманить и разорить Голцмана.

Здесь, в шумном Лондоне, его страхи и подозрения увеличились. И не без основания, как мы об этом позже узнаем. В глазах Рафалеско мучения и переживания Голцмана унижали его. Чем чаще Голцман высмеивал и проклинал брата компаньона, тем больше Рафалеско тянулся к нему и назло Голцману, наконец, подружился с ним.

С первой минуты их знакомства Нисл понравился Рафалеско поступками и нравом, даже необычной речью.

Когда Нисл Швалб говорит, его трудно понять, так как одно слово налетает на другое. По натуре он лжец (Нисл агент какого-то общества, а большинство агентов, да простят они нас, большие лгуны), потому он постоянно клянется странными клятвами: «Увидеть бы вам меня плавающим!», или «Иметь бы мне богатства всего мира!», «Если я лгу, подавиться мне столом!». Вот такие клятвы он произносит быстро-быстро, на одном дыхании, и у вас не остается и секунды, чтобы осмыслить его речи.

В первый же день Нисл Швалб взял на себя труд показать нашему юному герою Лондон и обещал это сделать в течение одного дня.

Правда, осмотреть Лондон за один день несколько затруднительно. Так что! А завтра разве не день? А послезавтра? Главное, что Нисл Швалб знает Лондон как свои пять пальцев и с ним не соскучишься. Рот у него ни на миг не закрывается. О каждой улице, о каждом почти доме он рассказывает историю, простую или скандальную, но совершенно достоверную, которая приключилась с ним или на его глазах,— «увидеть бы вам меня плавающим» и «иметь бы мне богатства всего мира!».

Когда Нисл Швалб повествует о чем-нибудь, то он вас приковывает к себе, удерживая за руку или за лацкан пиджака, смотрит вам в глаза и тычет пальцем прямо вам в грудь.

Вот, к примеру, послушайте: однажды он в Гайдпарке встретил очень важную персону, чуть не лорда, и они разговорились,— слово за слово... И хотя вы глубоко убеждены, что вся эта история сплошной вымысел, но Нисл Швалб так горячится и так громко смеется, что вы нехотя начинаете думать: «Черт его знает, может быть, и правда?»

Вот этот-то гусь и обворожил нашего юного героя, они буквально срослись и облазали вместе все мышинные дыры, а главное, побывали во всех театрах, опереттах, на концертах. Свободного времени было много, так как труппа «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>» давала в «Павильон-театре» всего два представления в неделю.

Рафалеско со своим новым другом почувствовал себя в Лондоне как рыба в воде. Он чувствовал бы себя еще лучше, если бы Нисл Швалб не брал с собой сестрицу, Генриетту. Но Нисл Швалб хотел, чтобы и сестра его увидела мир, услышала музыку: «Ничего, это ей пригодится»,— сказал Нисл, но имел он в виду другое. Брат Изаак Швалб в первый же день сказал, что нужно парня

женить на их сестре, на Генриетте, в противном случае «астматический заяц» (то есть Голцман) женит его на своей сестричке.

— На ком? На этой кислице? — вскрикнул Нисл и быстро зашагал по комнате.

— Кислица, говоришь? Яблочко! — возразил Изак и в упор взглянул на брата.

— Жуи и плюй! — ответил Нисл и продолжал широко шагать.

Стало ясно, что в голове Нисла зреет какой-то план, комбинация.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Комбинатор

Нисл Швалб — комбинатор. Основная его профессия — агент, но только одним этим в Лондоне не проживешь. Надо комбинировать как только возможно. А по правде говоря, хоть и заглазно, но надо Нисла Швалба похвалить. Поначалу его комбинации кажутся чрезвычайно дикими, сумасбродными, а потом оказываются ловкими, гладкими, глаже быть не может. А если иногда случается, что и не так гладко, — так он же не более чем человек, а человеку свойственно ошибаться.

Сам Нисл рассказывает, что своими комбинациями он не одной фирме вскружил голову и не одну довел до банкротства. Но он в этом не виноват. Факт — если бы его всегда слушались, все было бы иначе. Плохо то, что его не слушаются, а это потому, что его не понимают. Люди просто скоты, говорит он, буйволы, лошади, ослы, никто так, как он, в делах не понимает, и никто, говорит он, не знает, что такое комбинация...

Что еврейский «Павильон-театр» попал в руки нееврея — это была комбинация Нисла Швалба. И единственная еврейская газета в Лондоне «Еврейский курьер» тоже издавалась неевреем. В чем же соль? Так захотел Нисл Швалб, и так это было.

Правда, «Еврейский курьер» имел вид кухонной тряпки, а издатель, к сожалению, прогорел. Он потерял ровно столько фунтов стерлингов, сколько имел. Будь у него больше, он потерял бы больше. Но кто виновен? Тупая голова! Не хотел принять предложение Нисла печатать «Еврейский курьер» два раза в день, как английские газеты. Проблема в том, что лондонские евреи не хотят покупать

еврейскую газету один раз в день, а два раза в день тем более не купят. Но вот ответ: два раза в день ее будут покупать, потому что захотят узнать, что, к примеру, еврейская газета может печатать два раза в день.

История о том, как «Павильон-театр» попал в руки нееврея, так интересна, что мы ее хотя бы вкратце расскажем читателю.

Нисл Швалб, так же как его брат Изак Швалб, большой любитель театра, очевидно, у них это семейное. К тому же он сам когда-то имел отношение к еврейскому театру, как мы в дальнейшем узнаем. Потому он всегда был частым гостем, можно сказать, постоянным посетителем «Павильон-театра». Но в то время, когда лондонская еврейская публика сидела в театре и выслушивала все глупости, от которых с души воротит, и слушала песни, от которых можно упасть в обморок, голова Нисла кипела идеями. «Почему, например,— думал он,— лондонской еврейской публике не иметь настоящий еврейский театр, и не один театр, а целых три: отдельно драматический, оперетту и оперу? Такими тремя театрами мы завоюем свет! В такой театр уже может прийти и аристократ, и сам Ротшильд. Главное — красивое помещение и хорошие артисты. Помещения лучшего, чем «Павильон-театр», не надо. Немного освежить — и станет раем. А артисты? Сложно с артистами. А на что же Америка? Мало что ли «звезд» в Америке? За деньги можно привезти не только Адлера \* из Нью-Йорка, но даже Сарру Бернар \* из Парижа. А в случае нужды обойдемся артистами из Лондона, к ним в придачу его сестру, примадонну из труппы «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>» и молодого артиста Лео Рафалеско из Бухареста, слава которого гремит по свету».

Это было в то время, когда оба брата вели переписку по поводу гастролей. Нисл отложил все свои дела и занялся только театрами. Письма летели в Австрию к брату, в Америку, в Россию, даже в Иоганнесбург и Буэнос-Айрес не забыл послать. Он не пропустил ни одного еврейского театра, ни одной знаменитости. И отовсюду приходили удовлетворительные известия. Что-то намечалось. Одно только оставалось пробить, пустяк,— деньги...

Наш комбинатор не таков, чтобы остановиться на полпути. Нисл Швалб человек, который идет напролом и ничем не брезгует, к тому же он везучий. Вот вы увидите.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

На все надо иметь счастье

Однажды в пасмурный день, какой бывает только в Лондоне, когда весь город был погружен в тьму кромешную, так что даже зажженные фонари не в состоянии были освещать дорогу, чтобы люди не столкнулись лбами, наш гениальный комбинатор Нисл Швалб вошел в контору «Хечкинс Брос Милитед», которая располагается в Сити. Здесь, в Сити, Нисл Швалб — старший агент по продаже швейных машин, велосипедов, автомобилей и тому подобное.

Торговый дом «Хечкинс Брос Милитед» принадлежит двум богатым англичанам, братьям Хечкинс, из которых один, старший, проводит почти всю жизнь в Швейцарии, взбирается на самые высокие Альпийские горы и пока еще не сломал себе шею, а младший — это тот, которого мы встретили на вокзале, он и ведает делами.

Застал его Нисл Швалб за высоким письменным столом. Он разбирал почту. Сразу после первого «доброе утра» Швалб попросил его отложить все дела и выслушать: он предлагает фирме такой чудесный бизнес, который бывает раз в семьсот лет.

Молодой Хечкинс отложил почту, сел со своим агентом визави, закинул ногу на ногу, засучив широкие клетчатые брюки выше тонких щиколоток, и холодно, без слов, показал, что он готов выслушать; что это за чудесный бизнес, который встречается только раз в семьсот лет.

В длинной речи, но очень ясным языком и красочно Нисл Швалб обрисовал ему участь еврейского театра вообще и лондонского «Павильон-театра» — в частности. Потом предложил план работы трех театров: для серьезных опер, для оперетт и драм. При этом Нисл Швалб обнаружил большое познание в делах театра, искусства и музыки. Затем он выложил ему целый ворох писем и телеграмм от артистов со всего мира и вырезки из газет. Все это он перевел ему с еврейского на английский язык и в заключение показал Хечкинсу исчерпывающую калькуляцию: сколько фунтов стерлингов надо вложить и сколько фунтов стерлингов это принесет.

По точному расчету выходило, что через пару лет можно выкупить не только «Павильон-театр», но этот дом, и тот дом, и еще три дома в Сити.

Пока Нисл Швалб говорил, мистер Хечкинс сидел и размышлял, какое отношение, к примеру, может иметь

«Хечкинс Брос Милитед» к этому разговору. Швейные машины театру, кажется, не нужны. Велосипеды — тоже нет! Единственно, автомобиль. Так из-за одного автомобиля столько шуму?!

Мистер Хечкинс все время смотрел из окна на улицу, хотя там ничего не было видно, и постукивал пальцем по своим трем золотым зубам. Он все ждал, когда агент кончит свою речь. И как только тот вдоволь наговорился, мистер Хечкинс повернулся к нему лицом и посмотрел ему в глаза, как бы говоря: «Чего вы, собственно, хотите?..»

Нисл Швалб, очевидно, понял его взгляд и коротко и ясно объяснил суть дела.

Он хочет, понимаете ли, чтобы Хечкинс согласился на эту комбинацию. Нисл Швалб смотрел ему в лицо, чтобы узнать, какое впечатление произвела на него эта комбинация.

На холодном лице англичанина нельзя было прочесть, так сказать, ни одной буквы. Холодно там было, как на вершине Монблана, и спокойно, как в Мертвом море. Мистер Хечкинс только вздохнул, почесался одним пальцем в голове, сидящей на багровой шее, и сонно произнес: «Ол райт», — протянул агенту два пальца правой руки и велел прийти за ответом завтра без четверти двенадцать.

Какой ответ мистер Хечкинс дал, нет необходимости рассказывать. Только Нисл Швалб мог так удачно пробить эту невероятную комбинацию.

Не надо ума, друзья читатели, не нужно знаний — нужно только, чтоб привалило счастье.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### Музыкальная семья

— Сегодня вечером мы идем к кантору, — сказал однажды Нисл Швалб своему новому юному другу Рафалеско.

Услыхав слово «кантор», Рафалеско задохнулся и сорвался с места. Его ребе Исроле, кантор из Голонешти, вдруг возник перед глазами, и он спросил трепеща:

— Какой кантор?

— Ломжинский кантор, тот, который был со своей ватагой в театре, ты уже забыл? (Нисл Швалб со своим новым другом давно на «ты».)

— А-а-а... — протянул Рафалеско, вспомнив, что как-то в «Павильон-театре» во время антракта Нисл Швалб привел за кулисы рыжего человека с ватой в ушах. За ним плелся целый выводок детей — девочек и мальчиков. Сколько их было, он не помнил. Помнит только, что там было больше рыжих, чем черных, и все с улыбающимися лицами и шельмоватыми глазками.

Представляя эту семейку, Нисл Швалб хвалил ее до небес, рассказывал всякие были и небылицы, быстро-быстро, слово за слово, с азартом и клятвами, как ему свойственно. Но все эти истории Рафалеско в театральном шуме и гаме пропустил мимо ушей. Рафалеско уже привык, что у Нисла Швалба о каждом человеке имеется история, которая всегда кончается скандалом.

Теперь, направляясь с визитом к кантору, Нисл рассказал ему, что это за удивительно музыкальная семья: состоит из одних певцов и музыкантов. Начиная с отца и кончая самым младшим, которому еще четырех лет нет, все поют и играют на всех инструментах.

— Ты, может, думаешь, что кто-то их обучал? Ха-ха! У этой канторши они уже в утробе музыканты — клянись, быть бы мне счастливым!

Так кончает Нисл Швалб и заводит Рафалеско в еврейскую лавчонку и просит завернуть хлеба, варшавских колбасок, солений и «еще чего-нибудь». Нисл, глядя на эти соленья, облизывается.

— К чему это вдруг? — удивленно спрашивает Рафалеско.

— Угощение, — отвечает серьезно Нисл Швалб. — Надо же им иметь, чем нас принять, и они сами тоже поедят, бедняки, ха-ха, еще какие! Если бы их не поддерживали, они бы в этом Лондоне с голоду поумирали! Шуточка! Этакая семейка! Едоков много, а кормильцев, слава богу, ни одного. Это пока, пока дети малы. Как только станут на ноги, они заполнят этот дом золотом, увидеть бы тебе меня плавающим... Осторожно, ступай осторожно, здесь темно и скользко. Не дай бог, шею свернешь.

Так напутствовал Нисл Швалб юного Рафалеско; зажигая спичку за спичкой, они осторожно спустились в подвал, или просто в яму, и попали в такие апартаменты, что трудно представить себе, где ты находишься. Кухня — не кухня, чулан — не чулан. Только широкая и длинная дыра и кроваток — как в больнице. На стенах висят разные инструменты. Посредине стоит большой

старый открытый рояль, и маленькая рыжая девочка лет шести-семи, а может, восьми (Нисл Швалб говорит, что ей еще нет четырех! Сделаем ему одолжение и поверим ему на сей раз) сидит у рояля и играет. Раздаются ужасные звуки, совсем не те, которые девочка хотела бы извлечь. Но простим этому старому роялю, он свое уже отыграл. Другой в его возрасте давным-давно уже пылился бы где-нибудь на чердаке...

Увидев пришедших, шести-, семи-, восьмилетняя девочка, которой нет еще четырех лет, оставляет старый рояль и бросается на руки к Нислу Швалбу с криком:

— Дядя Нисл пришел! Дядя Нисл!!

Как на сцене театра, появляются один за другим, из каких-то дверей, мальчики и девочки, больше рыжих, чем черных. Сколько — неизвестно. Именно те, которых Рафалеско видел у себя за кулисами, все со смеющимися лицами и шельмоватыми глазками. После них выходит отец, кантор из Ломжи, рыжий, но уже седеющий человек. Еще годика два-три — и от рыжих волос не останется и следа. Все-таки он подтянут и опрятно одет. Глаза блестят, руки дрожат, как у голодного человека. Но по лицу не заметно, что творится в утробе...

— Прежде всего закусим, — говорит Нисл Швалб, потирая руки и облизываясь. — Я смертельно голоден, увидеть бы вам меня плавающим.

Разговаривая, он развязывает покупки и первый берется за работу с таким аппетитом, как после долгого поста.

— Чего вы сидите, как кумовья на чужой свадьбе? — раскричался он на музыкальную семейку. Первым встал ломжинский кантор с голодными глазами и трясущимися руками и подошел как будто просто так, а после него — вся ватага детей, и, видно, аппетит у них неплохой. Понемногу все оживляются и жуют так смачно, что и у Рафалеско разгорелся аппетит.

— Садись, бери, ломай, режь, жуй, не стесняйся! Ты среди своих, — подбивает его Нисл Швалб, а семейка смотрит на молодого актера такими доброжелательно-любопытными глазами, что он начинает чувствовать себя среди своих.

Почему ему здесь так тепло и свободно и так легко? Странная, странная семейка.

За едой Нисл Швалб не переставая говорил и шутил. Для каждого у него поговорка и прозвище. Нисл Швалб говорит, а компания без устали смеется. Но отец, ломжин-

ский кантор, серьезен, то и дело вытирает губы и без усталости жует. Нет, с тех пор, что наш молодой герой скитается, он нигде себя так хорошо не чувствовал, как в этой семье. Так хорошо, и уютно, и свободно, и весело.

Поев, Нисл Швалб подмигнул кантору, и ломжинский кантор в последний раз вытер губы, поправил вату в ушах, скомандовал своему выводку взяться за инструменты и дать в честь гостей какой-нибудь концерт.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### Сыграй жениху грустное

Маленький концерт, сыгранный музыкальной семейной командой, был полноценным удивительным концертом. Один из тех концертов, который никогда не забудешь. В нем участвовали скрипка, флейта, виолончель, рояль, бас, цимбалы, арфа и барабан. И исполнение было великолепно, их можно было сравнить с игрой лучших ансамблей, а выступали в концерте босые, полуголые дети. Рафалеско был тронут до слез. Слушая эту божественную капеллу нищих, наш юный герой раздумывал о превратностях судьбы. За годы скитаний он видел много талантов, валявшихся в грязи. Никто ими не интересовался, никто ими не занимался, «нет у нас меценатов». Вот о чем думал Рафалеско, вспомнив, кстати, львовского мецената Левиуса-Левиафана, который имеет, наверное, полмиллиона. Доктор прикинулся любителем искусства и меценатом. Но когда коснулось дела, о чем Голцман открыто с ним заговорил, доктор переменялся в лице, обещал навестить их в театре, но обещанием все и закончилось...

«Если я стану на ноги и буду зарабатывать,— размышлял Рафалеско,— возьму такую семью, вытащу ее из болота и покажу ей мир».

Рафалеско, как всегда, фантазирует. Золотые сны. А оркестр продолжает свой концерт и творит чудеса. В то время как Рафалеско фантазирует, Нисл Швалб сидит себе в уголочке рядом с матерью этих благословенных детей — с женщиной в парике, потому он никогда и не бывает седым — и тараторит, рассказывает и клянется: «Увидеть бы вам меня плавающим» и «иметь бы мне все богатства мира»...

Была уже поздняя ночь, когда Нисл Швалб с другом возвращались домой. В Уайтчепеле были зажжены все фо-

нари. Кроме высокого полисмена, они никого не встретили на своем пути. Наш молодой герой, обыкновенно замкнутый и молчаливый, был теперь так взволнован, что заговорил. Размахивая руками, он обратился к Нислу Швалбу:

— Где это слыхано! Такие благословенные дети валяются в болоте, живут в яме! Как это возможно, чтобы в таком большом городе, как Лондон, не нашелся бы среди евреев хоть один меценат, который помог бы талантливой семье!

— О чем ты, дитя, говоришь? Меценат? — отвечает Нисл, и его громкий голос разносится в эту ночь по всему Уайтчепелю.— Вот я тебе расскажу историю, с ума сойдешь! У нас есть один — ты бы его меценатом назвал — русский еврей. Был гол как сокол, нищий из нищих. Сегодня он миллионер, про нас будь сказано. Фамилия этого мецената Стельмах.

— Стельмах.

Рафалеско остановился. Показалось, что фамилия Стельмах ему знакома. Она имеет отношение к Рейзл, но какое именно, он точно не помнит. Кто?.. Где?.. Когда?..

— Смотри, я только начал рассказывать, а он уже вне себя. Слушай, что было дальше. С этим Стельмахом я познакомился совсем недавно в «Павильон-театре». Он часто посещает этот театр, он любитель еврейского театра и хорошо разбирается в музыке, потому что его сынок, Гриша Стельмах,— знаменитый скрипач, вундеркинд, он уже много раз выступал в королевском дворце. И благодаря сыну он стал богачом.

Рафалеско уже вспомнил, кто этот Стельмах и какое отношение его сын имеет к Рейзл. И этот меценат, о котором ведет речь Нисл Швалб, вызвал у Рафалеско, конечно, особый интерес. Он обратился с вопросом:

— Итак, где же находится тот... я имею в виду знаменитого скрипача?

— Не торопись,— отвечает ему Нисл,— я еще до сына не дошел, я пока говорю об отце, о меценате, как мы с ним познакомились. Познакомились мы с этим типчиком в буфете во время антракта. Вижу, вертится какой-то еврей вокруг меня и заглядывает в глаза. Я на него смотрю, он на меня. Слово за слово. «Вы мне,— говорю я,— знакомы». — «Я Стельмах»,— сказал он мне. «Ой,— говорю я,— вы таки и есть Стельмах? Скажите мне,— говорю я,— мистер Стельмах, из каких же вы Стельмахов?»

Смотрит на меня как на полоумного и с улыбкой отвечает: «Что значит из каких Стельмахов? Вы,— говорит он,— никогда не слышали имя «Гриша Стельмах»? Ха-ха, еврей, проживающий в Лондоне, не знает, что существует Гриша Стельмах, который много раз играл в королевском дворце»...

А я ему в ответ:

«О том, что существует Гриша Стельмах на свете и что он много раз играл перед королем,— это я знаю, хотя дворец я посещаю нечасто, но какое к вам отношение имеет Гриша Стельмах?»

Засмеялся он еще сильнее и сказал с гордостью:

«Какое он имеет ко мне отношение? Ха-ха, я его отец».

«Поздравляю,— сказал я,— как хорошо тому сыну, который имеет такого отца, как вы».

Вот таким образом мы и разговорились. Собственно, говорил он, этот шут гороховый, он любит сам поговорить, он не любит, когда другой говорит, а в разговоре о Грише остановить его нельзя даже десятью лошадьми. Тараторит и тараторит, Гриша — король — концерт — музыка... История без конца.

Перебил я его и говорю:

«Вижу, вы понимаете музыку и любите ее. Если хотите послушать настоящую музыку, то я вас поведу в такое местечко и совсем бесплатно, и вы там узнаете, какая бывает музыка на белом свете».

А он в ответ:

«О, с превеликим удовольствием, для меня еврейский театр и музыка огромное наслаждение, и ради них я готов пещком три мили пройти!»

«Прекрасно,— подумал я,— сам бог послал мне этого пузана. Быть может, суждено, чтобы он был небесным посланцем во имя спасения бедной семьи».

Короче, мы договорились о дне встречи, пошли к кантору из Ломжи — один раз, второй, третий. Стельмах вне себя. Думал, кондрашка его схватит. Всегда, когда приходил, он не переставая говорил о Грише, о чуде из чудес, превозносил до небес. И я решил сказать ему: раз ты такой добренький, то, мистер Стельмах, подумай об этой семье. Нужно, намекнул я, устроить этих благословенных детей в консерваторию и вывести в люди.

Смотрит он на меня как очумелый, моргает глазами, беденький, не понял, чего я хочу. Тогда я обратился к нему запросто: «Мистер Стельмах,— говорю я,— нужны деньги». Услыхав «деньги», Стельмах, ха-ха, побледнел,

краше в гроб кладут, увидеть бы тебе меня плавающим! Что тебе сказать? Он быстро распрощался, и с тех пор поминай как звали. Жду его в театре один вечер, второй, третий, Стельмаха след простыл. Не стало птицы. Но из рук Нисла, подумал я, ты так скоро не вырвешься. И я, конечно, узнал, где он проживает, и прямо к нему домой. Постучал в дверь, услышал голос, его голос я сразу узнал. И он кому-то говорит: «Если стучит высокий и полный, то скажи ему, что меня нет дома». Вот такими словами, ха-ха, увидеть бы тебе меня плавающим! Услыхав такую историю, я подумал: ты хочешь уйти от меня — это тебе дорого обойдется.

Так рассказывал Нисл и плел интригу со скандалом, с двумя скандалами, тремя скандалами, держа молодого друга за руку, горячась, пылая огнем, и кончил, как это ему свойственно, громким смехом и клятвой: «Ха-ха, иметь бы мне все богатства мира».

Из приличия Рафалеско делал вид, будто все сказанное он принял всерьез. В самом деле он услышал конец: «Ха-ха, иметь бы мне все богатства мира». Голова Рафалеско была занята другим. Имя «Гриша Стельмах» буравило его мозг. Этот Гриша Стельмах — жених Рейзл. Если так, то он на верном пути. Осталось одно: познакомиться с Гришей Стельмахом.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Они едут в Америку

Великолепная комбинация из трех театров в Лондоне, предложенная гениальным комбинатором Нислом, совсем не удалась.

Не только трех еврейских театров, но дела даже одного «Павильон-театра» шли не лучшим образом. Лондонская публика ходила смотреть на знаменитого актера Лео Рафалеско из Бухареста и знаменитую примадонну Генриетту Швалб из Буэнос-Айреса как на чудо, и театр был переполнен, яблоку негде было упасть. Но беда заключалась в том, что публика была та же, те же бедные обитатели Уайтчепеля. Те же беременные женщины с теми же грудными младенцами, оглушающими театр своими воплями и плачем, те же юноши и девушки, которые перебрасываются апельсиновыми корками и так громко разговаривают, смеются и орут, словно они у себя дома, и «Павильон-театр» скорее напоминал синагогальный двор

маленького местечка в теплый летний день, чем театр. Евреи из Вест-Энда, лондонские еврейские аристократы во главе с лордом Ротшильдом, на которых Нисл Швалб рассчитывал, как на четыре туза, даже носа не показывали в Уайтчепель, как было, так и будет до времен пришествия мессии. Скорее английский ортодоксальный раввин примет христианство, а раввин реформированной синагоги научится читать молитвы по-древнееврейски, чем евреи из аристократического квартала снизойдут до жителей Уайтчепеля, попрошаек-актеров, которые говорят на идиш, играют на идиш и танцуют по-еврейски.

Одним словом, дело шло не лучшим образом. Все накопления поглотила труппа «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>», а актеров «Павильон-театра» не на что было содержать. Капиталист — мистер Хечкинс-младший — исчерпал последний фунт стерлингов из денег, выделенных им для театра, и принял решение закрыть его в самый разгар сезона.

Разумеется, это задело Нисла, но англичанин остается англичанином, он не понял теории Нисла: «Чем больше голова, тем шире шапка, чем больше горшок, тем больше огня».

Лишних слов мистер Хечкинс не тратил и не нашел нужным спорить с агентом. Он выслушал его до конца, постучал ногтем по трем своим золотым зубам, посмотрел в окно, а когда Нисл кончил, со вздохом встал и холодно произнес: «Ол райт, больше ни одного шиллинга».

Что было делать Нислу? Свою голову не поставишь на плечи мистера Хечкинса. Покончить с собой бессмысленно. Небо не упало на землю. Бог есть бог, а Лондон есть Лондон. Подумаешь, Хечкинс, другой найдется. Так рассуждал Нисл, его гениальная голова не успокоилась, пока он не придумал новую комбинацию.

Эта комбинация состояла из одного слова, которое обладает притягательной силой. Чудодейственное слово, не успеешь его произнести — и сонный становится бодрым, лентяй — трудоспособным и величайший скептик преисполнится веры и надежды.

«Америка» — это слово.

Если я оперировал бы сравнениями, то сказал бы, что Америка — это большое море, куда стекаются все реки. Счастливый сон, который редко осуществляется, самый отдаленный край земли, дальше которого ехать некуда, самое сильное лекарство. Если оно не помогает, то уже никакие врачи, никакие знахари не спасут...

Нашему пылкому комбинатору давно мерещилась «золотая страна». С детства он мечтал о том, как стать богатым, а богатым можно стать только там, в стране доллара. Было время, когда он откладывал деньги на приобретение шифскарты. Но различные комбинации его удержали. А после того, как комбинации лопались как мыльные пузыри, он собирался удрать первым кораблем в Нью-Йорк. Однако появлялась новая комбинация, и он оставался, так несколько раз.

Но теперь он твердо решил, если даже камни будут с неба падать, отплыть в Нью-Йорк.

Золотой план о поездке в «золотую страну» зародился у Нисла в подвале, где проживала музыкальная семья. Ломжинский кантор получил на днях письмо из Америки, чтобы он непременно приехал со всеми своими детьми, их озолотят. «Пение и музыка,— сказано в письме,— высоко ценятся, Америка сама не располагает музыкантами, и она их выписывает из Европы. Самый обыкновенный музыкант,— написано дальше в письме,— который дома, простите, ходит в рваных штанах и в сапогах, прибыв в Америку, через две недели приобретает звание профессора...»

Когда ломжинский кантор познакомил Нисла с этим письмом, тот запрыгал как ошпаренный, похлопал кантора по плечу и сказал:

— Едем в Америку! Иметь бы мне все богатства мира, как мы уедем в Америку! Я имею, скажу вам, комбинацию, дорогую, редчайшую комбинацию! Завтра или послезавтра мы увидимся. Будет хорошо! Гуд бай!

Не прошло и минуты, а Нисл Швалб, радостный, счастливый, широко шагал по Уайтчепелю. Надев котелок набекрень, насвистывая какой-то мотив, он широкими плечами прокладывал себе дорогу среди лондонской публики, которая бесконечным потоком неслась по тротуарам.

«Какой это город! — думал Нисл Швалб, насвистывая.— Хорошо, сладко жить на белом свете, иметь бы мне все богатства мира...»

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### И кошка может навредить

Читатель, очевидно, помнит, как плохо поступил наш директор Голцман с бедной Брайнделе Козак. Она дала себе слово, поклялась богом, что она еще долго будет жить и отомстит, с позволения сказать, директору,

который высоко нос задрал. Он совсем забыл, этот пес, что звали его «Гоцмахом» и что он чистил у каналии Шупака сапоги. Но что она могла ему сделать, бедная, старая скиталица, созданная для того, чтобы ее использовать, а потом обидеть... Она так долго скиталась по свету, получала пощечины от «лживых мужчин»... и, наконец, добралась до Америки. И слава богу, не жалеет. Ее больше не зовут «Брайнделе Козак», она обрела свое старое имя «мадам Черняк». У нее очень хорошая должность, пишет она Генриетте в письме полукруглыми большими буквами, имеющими форму бубликов. Правда, она уже не актриса, ибо здесь, в благословенной стране Колумба, пишет она, принято, что каждая профессия имеет свой «юнион».

Еврейские актеры тоже имеют свой «юнион» и не допускают чужих актеров на сцену. Зато у нее сейчас другой «джаб», то есть другая должность, тоже достойная и тоже в еврейском театре...

Какой «джаб», об этом в письме не сказано. Она пишет, что имеет, слава богу, хороший заработок и очень довольна, отказывается от мысли изменить свой образ жизни. Кончается письмо благословением: «Пусть смерть поразит всех мужчин, и прежде всего астматического директора, он жив еще?..»

«Вы себе представить не можете мою радость,— пишет мадам Черняк,— когда я узнала, что вы в Лондоне, на последней станции по пути из Европы в Америку. Ах, как хорошо было бы, подумала я, если бы вы приехали в Америку! Здесь вы были бы на своем месте. Я даже позволила себе поговорить о вас с несколькими менеджерами местных еврейских театров, они очень заинтересовались вашей фотографией, чуть с ума не сошли. Просили меня, умоляли дать ваш адрес. Они, вероятно, вам напишут или уже написали, вероятно, ангажировали на роли примадонны. Мой совет: не ставьте никаких условий и не отвечайте им, а безотлагательно, тут же приезжайте. Сколько можно скитаться? О других актерах я вам ничего не скажу. Трудно из-за «юниона». Но такие «стар», то есть звезды, как вы, или, например, как Рафалеско, это другое дело, если вы приедете, я более чем уверена, что вас будут на руках носить. Но что же? Все должно быть по секрету. Кроме вашего брата и Рафалеско, ни одна душа знать не должна... в особенности — этот чахоточный директор, который закрутит вам голову, и вы вечно от него не отвяжетесь... Помните, бога ради,

никому не писать и ни с кем не вступать в разговоры, приезжайте сюда. Я уже кое-кому сказала, что вы собираетесь приехать, и они не поленились и оповестили в газетах, поместили ваш портрет. Я посылаю вам эту газету, и знайте, что у вас здесь, за океаном, имеется преданный друг, имя которой

*Брайне Черняк».*

Так потихоньку Брайнделе Козак начала подкапываться под своего кровного врага Голцмана. Только одним ударом она не удовлетворилась. Забрать у него примадонну, думала она, мало. Надо вырвать из его рук самое лучшее, чем он владеет. Единственное, что дает ему возможность увидеть свет. Золотую курочку, которая несет ему золотые яички. Одним словом, надо у него забрать Рафалеско. Из-под носа увести. Точно так, как он когда-то переманил у директора Гецла бен-Гецла примадонну. Точно так, как забрали у ее второго врага, у Щупака, золотую курочку, Розу Спивак.

Так решила про себя Брайнделе Козак, и сам бог пришел ей на помощь.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### Двойной выстрел

Брайнделе Козак за всю свою жизнь дома не прочла и десятой доли того, что она прочла с тех пор, как поселилась «в благословенной стране Колумба». Там, на старой родине, она тоже иногда обращалась к печатному слову, доставала сверхзанимательный роман и прочитывала от корки до корки, и, читая, проливали слезы, но так, чтобы никто не видел. Здесь, «в благословенной стране Колумба», никаких книг не нужно. Выходишь на улицу, и тебе предлагают «пайпер», еще «пайпер» и еще «пайпер». И каждый «пайпер» величиною в простыню. И чего там нет, все есть, даже птичье молоко. Самые последние новости со старой родины и со всего мира, броские заголовки, за версту видно. А какие романы печатаются! Из года в год в каждой газете одновременно публикуются два романа. Один лучше другого. Суший рай!

В газете под рубрикой «Драма, искусство, музыка» Брайнделе Козак прочла, что в аристократическом квартале Нью-Йорка ожидается приезд из Парижа двух звезд:

знаменитого королевского скрипача Гриши Стельмаха и известной всему миру певицы Розалии Спивак.

— Розалия Спивак,— вскрикнула Брайнделе Козак и хлопнула себя по бокам,— ведь это Роза, Роза Спивак.

Мадам Черняк была на седьмом небе: Роза, Роза Спивак приезжает! И голова ее загудела, завертелась от всяких мыслей и фантазий. Как обрадуется Роза, увидев ее! Они обнимутся, расцелуются, затем Роза спросит ее, как она поживает, давно ли в Америке, в каком театре служит, какие роли играет. Здесь, «в благословенной стране Колумба», имеется «юнион», для каждой профессии свой «юнион», и он не допускает к работе чужих актеров... И вот Брайнделе Козак служит в еврейском театре, но не на сцене. У нее другое занятие, она гримирует и одевает примадонну. А какое это имеет значение! Важно заработать на хлеб. Не так ли? Так, конечно, так, ответит ей Роза и посмотрит на нее своими жгучими цыганскими глазами. Мадам Черняк понимает ее взгляды. Она очень хорошо знает девушку. «Она, конечно, думает, почему бы мадам Черняк не быть с нею?..» Конечно, зачем ей служить чужим, когда она может иметь дело с другом, который когда-то жил с нею душа в душу, словно сестра?

Так провела ночь Брайнделе Козак в трепетных, счастливых мечтаниях. Она с трудом дождалась наступления утра, набросила халат и села писать письмо Лео Рафалеско в «Павильон-театр» в Лондон, в Уайтчепель. Писала крупными буквами:

«Мой дорогой Лео Рафалеско!

Несомненно, вы не забыли вашего преданного друга Черняк, которая вместе с вами скиталась по свету, служила с вами в одной труппе, вместе с вами делила радости и горе! Ах, какое это было счастливое время! Хотя каждый из нас терпел много мук и у каждого из нас была своя «сума»... Но не станем вспоминать то, что было, лучше поговорим о сегодняшнем дне... Из газет я узнала, что ваша труппа находится сейчас в Лондоне и вы пользуетесь огромным успехом. Вы можете себе представить, какая радость меня охватила, и я тут же села писать вам письмо, чтобы передать самые теплые приветы из страны, в которой я теперь проживаю. Не жалею, что покинула Голцмана и его компанию. Уповаю на бога и думаю, что и впредь сожалеть не стану. Америка — страна, где процветает еврейский театр. Полагаю, если бы вы приехали сюда, то вас не знали бы куда посадить. Правда, не любого актера здесь принимают, а для каждой профессии

существует «юнион», и актеры имеют свой «юнион», не допускающий чужих актеров на сцену. Но когда сюда приезжает «стар», как вы, к примеру, то никаких разговоров о «юнион» не может быть... Я могу это утверждать. Как-то я спросила у театральных менеджеров, как бы они поступили, если бы на гастроли сюда приехал Рафалеско. Они меня высмеяли: «Стоит ему только приехать, и его озолотят». Я передаю вам их слова в точности и нахожу, что ваше место не в Лондоне. Ваше место в золотой стране, где вы были бы не гостем, а одной из величайших «звезд» навсегда, навечно и заимели бы огромное число почитателей, среди которых я была бы первой.

Преданный друг *Брайна Черняк*.

Да, хорошо, что вспомнила: весьма возможно, что на днях из Парижа приедет мой давний друг Спивак — вы еще не забыли ее... В здешних газетах, где напечатана ее фотография, ее больше не называют Роза Спивак, но мисс Розалия Спивак. Она гораздо красивее, чем была. Посылаю вам вырезку из газеты с ее фото. Само собой разумеется, что мое письмо к вам надо держать в секрете. Птица небесная знать не должна. Только вы да бог. Если захотите мне ответить, посылаю вам свой адрес.

*Брайна Черняк*».

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### Что происходит с парнем

Брайнделе Козак хорошо целилась и неплохо попадала. К тому же ей еще повезло. Ее письма к Генриетте Швалб и Рафалеско пришли как раз в то время, когда лондонский «Павильон-театр» был накануне закрытия, а компания «Голцман, Швалб и К<sup>0</sup>» на грани развала.

Кроме того, ее письмо к Рафалеско просто открыло ему глаза.

За несколько дней до этого Рафалеско, гуляя по Лондону с суфлером Беней Горглом, увидел на одной из фешенебельных улиц аристократического квартала большую афишу с огромными буквами «Розалия Спивак» и просто «Спейвак», а рядом с этим именем — «Гриша Стельмах». Взглянув, он остановился и схватился за сердце.

— Что случилось, бог с тобой! — спросил его суфлер.— Что ты здесь такого увидел? Старая афиша, времен Хмельницкого!

— Постой минуту, прочтем, что здесь написано,— ответил ему Рафалеско. Оказалось, что месяца два-три назад в одном из самых больших лондонских залов состоялся концерт двух знаменитостей: Розалии Спейвак и Гриши Стельмаха...

Буря поднялась в душе нашего молодого героя: как так, в то самое время он, Рафалеско, уже был в Лондоне, как же он мог упустить возможность встретиться с Рейзл. Быть с Рейзл в одном городе и не увидеть ее?! И кто знает, возможно, она еще и сейчас в Лондоне?..

И пошли расспросы, кто может знать, где сейчас Рейзл.

Первый, к кому он обратился, был его новый приятель и гид по Лондону Нисл Швалб. Понятно, Лейбл был очень осторожен и начал издалека. Он просил Нисла перечислить всех знаменитых музыкантов, певцов и певиц, которых тот слышал в своей жизни.

Нисл Швалб, как настоящий театрал, недолго заставлял себя упрашивать и тут же стал перечислять по пальцам имена, но их было такое количество, что это вызывало удивление.

Правда, среди этих имен было много «из сказок тысячи и одной ночи», то есть таких, которые существовали только в фантазиях Нисла Швалба и родились сию минуту. Оказалось, со многими знаменитостями Нисл Швалб был знаком, близко знаком, кровно связан, например, с Патти...

— Патти оставь в покое! — прервал его Рафалеско.— Скажи мне лучше, слышал ли ты когда-нибудь имя Спивак?

— Какой Спивак? Есть два Спивака.

— Два Спивака? — К такой выдумке Рафалеско не был готов, пришлось говорить прямо: — Ее имя Роза, или Розалия Спивак.

— Ха-ха-ха! — раскатисто рассмеялся Швалб, что означало, что он знаком с этой Розой Спивак, но интересоваться ею не стоит.

Когда Нисл Швалб кончил смеяться, он поведал длинную историю о Патти: как он с ней познакомился и как чуть не возник скандал с внучкой Патти.

— С внучкой Патти?

— Да у нее уже есть правнучка и праправнуки!..

А Рафалеско в тот день не находил себе места. Минуты не мог сидеть дома. Его все время тянуло на улицу. Он почти не слышал, о чем с ним говорят.

— Что случилось с парнем? — спросил Голцман у компаньона Изака Швалба.

— Это ведь он твой парень, чего ты меня спрашиваешь?

Голцман не стал его допытывать вопросами и пошел к матери.

— Что с парнем?

Соре-Броха собиралась на кухню готовить обед и оборвала его:

— Оставь меня в покое с парнем. Мне надо идти в «кичн» ощипать две «чикенс» и поставить «динер», а он допытывает меня парнем. (Между прочим: старая Соре-Броха, хоть и ненавидела противный Лондон, все-таки усвоила несколько английских слов.)

Голцман плюнул.

— Ты уже тоже разговариваешь на языке английской королевы? — И обратился к сестричке. — Что с парнем? — спросил он у сестры.

Златка так испугалась, что Голцману было уже не до парня. Отчего она вдруг побледнела?.. Он прикрыл дверь, взял сестру за руку и посмотрел ей в глаза.

— Златка, что с тобой?

— Ничего, — ответила ему бедная Златка и припала лицом к столу, расплакалась, как маленький ребенок, тихими, теплыми слезами.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### Новая компания

Представитель лондонской фирмы «Хечкинс Брос Милитед», который дал согласие «на комбинацию» агента Нисла Швалба и содержал еврейский «Павильон-театр», как истый англичанин, сдержал слово. Он подвел баланс, выяснил, на сколько фунтов стерлингов прогорел, связавшись с этим «бизнесом», и угостил агента холодным безразличным: «Ол райт». И даже не протянул ему, как это у него было принято прежде, два холодных пальца, повернулся к нему, извините, задом, вскочил в автомобиль и умчался.

Возможно, в другое бы время Нисл Швалб огорчился. На сей раз он остался спокойным. Он был слишком занят

своей новой комбинацией. Что было ему огорчаться, если чопорный англичанин заупрямился и дальше ни шагу! Нет, англичанин — не еврей. Если бы еврей влип в такое дело, он полез бы дальше: «Пан или пропал». Кто это придумал, что англичане смыслят в делах? Ничего не смыслят. Вы думаете, Нисл ему этого прямо в глаза не сказал? Сказал, увидеть бы вам меня плавающим!

— Мистер Хечкинс! — сказал я ему, — мне бы такая удача, как в моем левом башмаке больше понимания, чем у вас под шляпой... — Вот этими словами, ха-ха-ха, иметь бы ему все богатства мира... — так Нисл Швалб хвастался перед своими друзьями, а затем изложил свою новую фантастическую комбинацию: он приезжает в Америку с компанией, в ней каждой твари по паре: лучшие актеры (имеется в виду Рафалеско), лучшие музыканты (ломжинский кантор с семейкой), лучшие певцы (его сестра, примадонна). А где он, сам Швалб? Вы думаете, что у него ничего общего с театром? Ого! Еще как! Оказывается, Нисл Швалб когда-то, не будь помянуто, был в лондонском «Павильон-театре» «ошером». И Нисл Швалб объясняет, что такое «ошер»: — У вас это зовется «билетер», а у нас «ошер». Его работа больше вне театра, чем внутри, понимаете ли. Но без него обойтись нельзя. «Билетер», или «ошер», находится у самого входа в театр, проверяет билеты, указывает места, следит за порядком, одним словом, на «ошере» держится весь театр, так же, как, к примеру, на полисмене весь Лондон. Попробуйте убрать из Лондона полисмена — прости-прощай Лондон...

Так объяснил Нисл Швалб и продолжил:

— А я, должны вы знать, был «ошером» из «ошеров». Один «ошер» на весь «Павильон-театр», увидеть бы вам меня плавающим! Ого! У меня апельсиновыми корками из лож не перебрасывались, и грудные дети в партере не плакали. Чуть что-нибудь, хватал за шиворот, раз-два-три, и марш на улицу! Однажды произошел скандал...

И Нисл Швалб засучил рукава и рассказал со свойственным ему жаром, какой скандал произошел. История могла бы показаться очень красивой, но суть в том, что в ней было мало правды. Нисл Швалб только что придумал ее от начала до конца и при этом поклялся: «ему бы иметь все богатства мира» — или — «подавиться ему этим столом!...».

Сразу после «скандала» Нисл вновь переходит к своим планам в золотой стране и рисует счастье в Америке в самых радужных красках, жизнь ему там представляется

раем. Шутка ли, компания на все руки! (Он вновь пересчитывает по пальцам весь список.)

— Чего стоит театр, скажите сами, у которого собственный оркестр, свои артисты, свои музыканты и свой «ошер»,— все, все решительно свое собственное! Сколько зарабатывают — делят поровну. Одному больше, другому меньше, вроде коммуны. Что? Не так?

Поскольку эта беседа происходила в подвале у музыкальной семейки, первым высказался ломжинский кантор. Он готов подписать сию минуту контракт на сколько угодно лет, даже навеки. В контракте, сказал он, может быть написано, что его дети обязаны играть когда им прикажут, где прикажут и сколько прикажут, а прибыль обязаны делить пополам...

Тут выступил с протестом Изак Швалб. Он говорил — при этом его красное лицо сильно потело, — что план не совсем правильный. Как можно сравнить, например, Рафалеско или его сестру-примадонну с кем-нибудь?.. Все должно иметь меру и границы...

Выскочил брат Нисл и отругал его:

— Ты несчастный раб! Раб ты! Ты, как я вижу, совсем закабален этими милыми антрепренерами, понимаешь ли, как Гецл бен-Гецл, Бернард Голцман и подобные. Я не Гецл бен-Гецл и не Бернард Голцман, которые едут верхом на чужой спине. У меня прежде всего совесть, справедливость и человечность. Я готов, увидеть бы вам меня плавающим, работать в Америке год, два, три, четыре, пять и шесть только ради других, иметь бы мне все добро мира!

Разумеется, Нисл Швалб настоял на своем. Идея коммуны была принята большинством, и образовалась новая компания служителей искусства, музыки и театра.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### Капиталист

Теперь осталось решить только один вопрос: где взять денег на проезд в Америку. Этот вопрос решился быстрее и легче, чем можно было себе представить.

Читатель, который уже немного знаком с нашим гениальным комбинатором Нислом Швалбом, знает, что деньги для него никогда не проблема, главное — была бы настоящая комбинация. Деньги, говорит он, — последняя забота. Он никогда не искал их, говорит он. Деньги его

ищут. И на сей раз деньги пришли ему самым чудесным образом.

Это было в «Кафе Националь» у нашего доброго знакомого мистера Кламера.

Мистер Кламер, как известно, доброжелателен и человеколюбив, как он сам о себе говорит. Но с Нислом Швалбом у него долготелняя дружба. Старая любовь, можно сказать. У Нисла Швалба нет никаких секретов от мистера Кламера. Все свои комбинации доверяет он прежде всего другу Кламеру, а потом уж всему миру.

За кружкой пива Нисл Швалб поведал ему свой блестящий план новой комбинации «каждой твари по паре»; компания готова уехать в Америку даже завтра, только одна мелочь ее задерживает, еще нет денег на шифскарты, на дорожные и другие расходы. Шутка ли, не взглянуть бы, такая огромная компания.

Во время рассказа Нисла мистер Кламер сидел с закрытыми глазами и оглаживал свою бороду. А когда Нисл Швалб кончил, мистер Кламер хладнокровно обратился к нему:

— Ол райт. Скажите мне, мистер Швалб, вы хотите еще что-либо сказать или это все? Если это все, то хочу вам задать только один вопрос: если бы я дал вам, например, финансиста, вы согласились бы поделить с ним пополам все заработки?

По природе Нисл Швалб человек, не любящий долго думать, он придерживается того взгляда, что, если поймал зайца в лесу, не надо раздумывать, с какой стороны в него стрелять. Пиф-паф — и готово. Все-таки он для вида задумался, потер лоб, как человек, от которого зависит финансовая сторона дела. После двух-трех секунд раздумий он твердо заявил:

— С большим удовольствием, со всеми почестями и с благодарностью.

— Ол райт. Дайте же мне вашу руку, в добрый и счастливый час. Ваш финансист — я.

При этом мистер Кламер указал рукой на себя и одарил друга сладчайшей и великолепнейшей улыбкой. И все это он высказал с таким достоинством, что сам лорд Ротшильд на его месте не мог бы быть приятнее, обворожительнее и величественнее.

Нисл Швалб был так потрясен, что забыл протянуть руку в знак согласия. Он знал мистера Кламера не первый год и знал, что он сионист и территориалист, и общественный деятель, и добрый малый, и содержатель гостини-

цы, и советчик, и все что угодно. Но то, что мистер Кламер капиталист,— это для него неожиданная новость, почти невероятная новость. Мистер Кламер понял Швалба и с той же великолепной улыбкой сказал:

— Пусть вас не удивляет мое согласие на это дело, как говорится, на «темную лошадку». Я тоже не такой «зеленый», как вы думаете. Я не весь свой капитал вложу в дело. Гостиницу оставлю своей миссис. Мне давно надоело продавать лапшу. Каждый должен знать свое место, то, к чему он способен, как говорит англичанин: «Каждый знай свое место»... Мистер Швалб, подайте вашу руку, пока я не передумал. У меня принцип: взялся за дело, его надо довести до конца, или, как говорит англичанин: «Если хотите что-нибудь сделать...»

В тот самый вечер в подвале у ломжинского кантора было такое веселье, что соседи, которые вроде уже привыкли к постоянной музыке, крику и ору этой музыкальной семьи, сбежались посмотреть через незавешенные окна, что происходит в подвале, и увидели у кантора множество гостей за столом, ели-пили, а один, высокий и толстый, держал стакан в руке и говорил. Затем семейка взялась за инструменты, а полный, высокий сбросил пиджак и пустился в пляс с таким жаром, с каким только может танцевать счастливый отец на свадьбе своей младшей дочери.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### Собака достойна палки

Известие о закрытии «Павильон-театра» сразило нашего Голцмана, словно пуля пробила самое сердце, и он напал на своего компаньона, Изака Швалба, за то, что он завел в болото и оставил, как говорят, на мели, ни туда и ни сюда. Он обрушил на его голову все известные ему проклятия.

Но у Изака прекрасный характер: когда его ругают, он молчит. Вы можете ему говорить все что угодно, он и языком не шевельнет. Он смотрит вам в глаза, как грешник, и потеет. Но на сей раз он не мог смолчать. Задели честь его брата Нисла: Голцман назвал его скверным именем, а за брата Нисла он готов драться до крови.

Взволнованный плохими делами в Лондоне, раздраженный сутолокой и шумом большого города, его густыми

туманами, серыми холодными домами и равнодушными людьми, особенно встревоженный кашлем, который здесь в Лондоне донимал его больше, чем всюду, наш бедный директор не переставал пилить своего компаньона.

Сыпал проклятья и душу отводил.

— Провалиться бы сквозь землю этому Лондону с вами вместе, прежде чем я приехал сюда! Лучше бы я ногу сломал или обе ноги да шею в придачу! Мало одного компаньона, так на мою голову свалились целых два.

— Ты меня попрекаешь компаньонами? — спросил Швалб.

— А как же? Если театр уже не театр, так нашей компании конец. Зачем мне таких два дармоеда, как ты и твой брат?

— Вот как! Ладно,— сказал Иzaak, поднимаясь с места,— мы все равно едем в Америку.

— В Америку едешь? — Голцман посмотрел ему в глаза.— На здоровье! Хоть на тот свет.

Иzaak Швалб направился к выходу, но вдруг остановился, повернул багровое лицо к Голцману и произнес:

— Сестра тоже едет с нами...

Голцман всплеснул руками, схватился за голову и состроил гримасу.

— У-ва! Сейчас разорву одежду и сяду посреди Уайт-чепеля оплакивать свою горькую участь.

Швалб ответил ему уже у двери:

— Знай-таки, ты таки заплачешь, даже завоешь, с нами едет еще кое-кто...

Тут Голцман вышел из себя, засверкал своими колючими глазами.

— Не дожить до этого твоему брату, буйволу этакому!

Кажется, что обидного в этом слове «буйвол»? Не называет ли Голцман Нисла каждый раз «бегемотом» или «быком»? Чем «бегемот» или «бык» лучше «буйвола»? Но не дай бог иметь дело с таким субъектом, как Иzaak Швалб. Услыхав слово «буйвол», он вспыхнул. Обычно багровое лицо позеленело. Иzaak подошел к Голцману вплотную и со злостью сказал тихо, но твердо:

— Слушай, ты, холера! Если ты еще раз назовешь моего брата этим прозвищем, обещаю, из моих рук ты выйдешь только мертвым!

Но Голцман, очевидно, не испугался угроз своего компаньона. Он громко захохотал и закашлялся:

— Я? Из твоих рук мертвецом? Ха-ха! Хе-хе-хе! Скотина!.. Пока ты, медведь неповоротливый, сделаешь одно

движение, я расквашу твою красную харю, яичницу из тебя сделаю!

Несомненно, что значительная часть этих «обещаний» была бы выполнена, так как оба были на это способны, но вдруг выросла между ними старая костлявая широкоплечая Соре-Броха и решила спор: сына увела, а компаньона вытолкнула из комнаты, заперев дверь.

Перед Голцманом раскрылся настоящий ад. Глубоко в душу запали слова компаньона: «Знай, ты таки заплачешь, даже завоюешь, с нами едет еще кое-кто...» Ясные слова. Точные слова... Требуют ли они разъяснения?

Теперь ему ясно, почему парень ходит сам не свой... Братя Швалб сбили его с пути истинного. Их сестра ему голову вскружила. Ясно как божий день. Возможно, Рафалеско и сам не рад, поэтому и места себе не находит. Разве не видно? О! Даже очень заметно.

— Голцман, сгореть бы тебе! Где были твои глаза?

Так Голцман обвиняет сам себя, не жалея проклятий. Но этого недостаточно. Если бы он мог высечь себя или кто-нибудь другой переломал бы ему кости...

— Гоцмах, ты это заслужил! — говорит Голцман, расхаживая взад и вперед по комнате, как разъяренный зверь, блестя жгучими острыми глазами, — так тебе и надо! Собака достойна палки!

От сердечной боли и злости на самого себя он поддал ногой стул, невинно стоявший у стены. На шум прибежала из кухни мать Соре-Броха, ни жива ни мертва:

— Что опять? Что так стукнуло, я услышала в «кичне»?

Соре-Броха прибежала не одна. В руках у нее был «чикн», почти ощипанная курица. Курица опустила бледную мертвую головку с надрезанной шеей и смотрела мутными остекленелыми глазами, как показалось Голцману, прямо на него. Все на него! Все на него!

Он так рассердился, что почувствовал, как сердце у него разрывается на части, и он напал на старую мать, крича не своим голосом:

— В «кичн»! В «кичн»! В «кичн»!

Старая Соре-Броха постояла минуту, сплюнула и бросилась с почти ощипанной курицей на кухню.

— Поделом! — еще раз сказал себе Голцман. — Собака заслужила палки!

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### Близкая катастрофа

Что в этом проклятом городе вечных туманов надвигается на него туча — это Голцман давно почувствовал, с первой минуты приезда. Он не знал только, с какой стороны катастрофа придет. Ему сразу же не по душе была дружба буйвола Нисла Швалба с Рафалеско. Но что он мог поделаться? Вырос и очень повзрослел парень — не узнать его. Кто мог подумать, что эта наивная овечка, которая, кажется, и двух фунтов не в состоянии сосчитать и не знает, как деньги выглядят, станет человеком с запросами, с характером и своими поступками, со стремлением познавать науки, языки, мир?

А кто в этом виноват, как не сам он, Голцман? Черт его попутал тогда сманить во Львове у директора Гецла бен-Гецла одновременно с примадонной двух ублюдков: Брайнделе Козак и суфлера Беню Горгла, или, как его актеры называют, «человека с образованием». С Брайнделе Козак он быстро справился. Как только он узнал, что она оказывает влияние на «парня», что она шушукается с ним, он ее запросто выставил за дверь, одной кикиморой меньше стало.

Не так дело обстояло с суфлером, «человеком с образованием», единственным доверенным лицом Рафалеско. Бенья Горгл внес сумятицу и разорил его. Трудно себе представить, какой ущерб он принес. Суфлер передал все свои знания парню. Вот и зарезали Голцмана без ножа. Что теперь Голцман в глазах «парня», когда он знает языки, читает книги, по памяти декламирует Шекспира и мечтает о свободном мире, о новых, говорит он, небесах? Какие небеса? О чем-то непонятном говорит он. О самостоятельности, о новом театре, новом репертуаре, о новых пьесах, о новом, новом... Мечтает «парень». А со старым что прикажешь делать? А кто сотворит новое? Странные разговоры. И это он наслушался суфлера, холера бы его схватила с «буйволом» в придачу, боже милостивый!

Так Голцман завершил свои рассуждения и задумался, и его мрачные и печальные мысли унесли его к сестричке Златке.

Сестричка! Сестричка! Она сильно огорчает его. Он видит, как она чахнет в тиши, тает как свеча. И кто в этом

виновен? Опять он сам. Кто ее вызвал вместе со старой матерью? Кто, если не он? Кто ее оторвал от родины, от работы, сделал актрисой, обрек на скитания и пообещал ей золотые горы? Напрасны были его труды, хотел их сблизить... ее с Рафалеско. Полагал, будет хорошая партия. А чем все кончилось? Что в самом деле станет с сестрой, если в одно прекрасное утро «парень» уедет с Швалбом в Америку?..

Голцман страдал, предчувствуя самый плохой исход... Но успокоившись, подумал: «Э, глупости!» Разве это возможно? Разве возможно, чтобы Рафалеско оставил их и укатил в Америку? Глупости! Глупости! У «парня» доброе сердце, мягкий характер, честная душа. Нет, он поедет со всеми вместе, как иначе...

Так Голцман утешает самого себя, но его настроение меняется быстро, снова мрачнеют его мысли: «Кашель, холера бы его взяла с буйволом заодно!..»

Болезнь Голцмана в Лондоне обострилась настолько, что одному богу известно, сумеет ли он выдержать такую дальнюю поездку. Врачи ему советуют вернуться домой, если возможно, в Швейцарию, Италию... Чистый воздух, говорят они, теплое солнце... ха-ха. Вот глупцы! Дураки! Идиоты! Настоящие идиоты! К чему Голцману чистый воздух и теплое солнце без театра, без сцены. Ха-ха-ха!

По-видимому, от сильных переживаний Голцман закашлялся так сильно, что Соре-Броха с закатанными рукавами прибежала из кухни. На сей раз без курицы, но с большим половником в руках: «Опять этот хороший кашель?»

От Соре-Брохи несет луком и перцем — это просто душист Голцмана, усиливает его кашель. Но он пытается преодолеть удушье и кричит: «Уходи на кухню, к своему луку и перцу». Голцман искривил рот, сплюнул в платок и засунул его в карман, чтобы старуха не увидела крови. Но не тут-то было. Соре-Броху не обманешь. Глаза матери все видят, понимают. Ломая руки: «Муки настигли бы меня», — она с трудом укладывает сына в постель и посылает Златку за врачом.

Напуганная, озабоченная, бледная и заплаканная, убежала Златка за врачом.

Шагая по шумным улицам Лондона, Златка думает: «Сущий ад, столько лошадей, трамваев, автомобилей несетя по улицам, и хоть бы кто смилостивился и раздавил бы меня! Насмерть!»

На семью Голцмана надвигается туча. Черные, густые облака висят над головою. Катастрофа неминуема. Катастрофа приближается.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### Счастливые пассажиры

Огромным зверем выглядел издали большой белый корабль «Атлантик», который с невероятным упорством несся над бездною вод, напрягая силы, боролся с бурей, пробивался через Атлантический океан, из Саутгемптона к Нью-Йорку.

Измученные пассажиры, которые в первые дни были в высшей степени очарованы плаванием, и не могли оторваться от красот божественной природы, и не переставая восхищались океаном, мало-помалу почувствовали головокружение и перестали смотреть в бесконечные глубины неба и воды, воды и неба без конца и края.

Пассажиры, поодиночке покидая палубу, расходились по каютам со своими невеселыми, мрачными думами.

Очень немногие еще разгуливали по палубе или собирались в группы, пили пиво из больших кружек и курили толстые сигары, громко разговаривая и смеясь, рассказывали истории, анекдоты, небылицы. Казалось, морская качка им нипочем.

Среди немногих счастливых пассажиров были наши знакомые друзья: мистер Кламер из Лондона и его компаньон Нисл Швалб, бывший агент, а теперь хозяин, менеджер, антрепренер, режиссер и кассир нового театра: «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>».

Да, друг-читатель, больше не существует «Голцмана, Швалба и К<sup>0</sup>», теперь вставили имя «Кламер», это не коснулось никого, кроме Голцмана. И мы не должны удивляться: мир — это армия, направляющаяся на войну. Целая армия не прервет своего движения из-за того, что один солдат упал посреди дороги.

Упавший поднимется сам, встанет своими силами — хорошо, нет — пропадет. Его будут топтать сапогами, калошами, топтать, пока не раздавят. Даже и петух не закричит. Да, это печально, но кто виноват, если Голцман так запустил свою болезнь, что врачи уложили его в постель, проверяют температуру, щупают пульс и запретили разговаривать. Хорошенькое дело: не разговари-

вать. Чем тогда человек отличается от животного? Нечего философствовать! Нам придется на время оставить Голцмана, пожелать ему скорейшего выздоровления и отбыть вместе с новой компанией, которая отплыла из Лондона в страну, которая притягивает взоры всего мира уже свыше четырехсот лет с той поры, когда она была открыта Колумбом.

Упомянутые мистер Кламер и Нисл Швалб сидели смиренно, как голуби; за столиком, пили пиво, курили сигары и вели разговоры, разговоры, разговоры. Рот у них не закрывался ни на секунду. О чем они говорили? Ни о чем. Очевидно, задумали перещеголять друг друга в рассказных всяческих небылиц.

Мистер Кламер повествовал о своем «Кафе Националь», о русских нищих и лондонских благотворительных обществах, в которых он, Кламер, издавна был почетным членом. Кроме этого, Кламер вспоминал анекдоты, притчи и разные смешные рассказы.

Для Нисла Швалба эти анекдоты не были чем-то неизвестным. Напротив, на каждый анекдот он так реагировал: «А я это давно знаю. И не только знаю, но при этом присутствовал, доказательством может служить скандал...»

И Нисл Швалб рассказывал, какой скандал из-за анекдота разыгрался. Рассказывал он, как всегда, с жаром, приговаривая: «Увидеть бы вам меня плавающим!» и «Иметь бы мне все богатства мира».

А волны океана, которые бьются, как дикие звери, по обе стороны корабля, взмывают все выше и выше, стремясь накрыть палубу и проглотить корабль вместе с теми, кто на нем находится. Только двум друзьям все нипочем: они пьют пиво, курят сигары и говорят, говорят без конца.

Счастливые пассажиры!

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### Между небом и водой

И еще один пассажир остался сидеть на палубе корабля «Атлантик». Он не пил пива и не курил сигар, сидел, или, вернее, лежал, один-одинешенек в кресле, укутанный в теплый плед и накрытый красным байковым одеялом. Это был молодой человек с симпатичным бледным лицом.

Громадные волны, бьющиеся по обе стороны корабля, росли и бушевали все яростнее и ожесточеннее. Казалось, если не эта волна, то другая, примчавшаяся издалека, обязательно разобьет и опрокинет корабль с его обитателями.

Судя по бледному лицу молодого пассажира, он страдал морской болезнью; лежит с полуоткрытыми глазами и поддерживает обеими руками очумевшую голову, вглядывается в небо, которое так слилось с водами океана, что трудно определить, где кончается небо и где начинается вода. Небо чистое, без единой тучи и ветра, солнце светит, почему же бушует океан? Почему старик так злится, почему он бросается из стороны в сторону, вверх и вниз? А может, это молодому человеку лишь кажется? Почему же он голову поднять не в состоянии? Пальцем к ней не может прикоснуться. Почему ему дурно? С души воротит, вот сейчас упадет в обморок. Обморок? Нет, смерть, смерть!

Он напрягает волю и пытается вспомнить, сколько же дней находится между небом и водой. Но напрасно. Он даже не в состоянии вспомнить, откуда и куда плывет. Более того, он даже забыл свое имя. Что фамилия его Рафалеско, он помнит, а имя? Хоть руби ему голову... ой, голову, голову!

— Ты себя плохо чувствуешь! Может, ляжешь в каюте? Пойдем!

Это Нисл Швалб, наклонившись, глядит на него добрыми глазами. Но Рафалеско отвечает ему отсутствующим взглядом, словно не узнаёт его. Кто это говорит? Хотел приподняться, но не смог.

Он напряг все силы, память! Боже, что со мной происходит? Где я? Почему я не могу вспомнить свое имя? То имя, с которым к нему обращались товарищи из хедера, братья и сестры, отец, мать... мать, где они сейчас?

— Рюмочку коньяка. Послушай меня, пригуби, и тебе легче станет.

Рафалеско не понимает, кто стоит около него, кто смотрит ему в глаза. Кажется, знакомое лицо. Знакомые глаза... Кто же этот человек?.. Почему такая тяжелая голова? Кто так кряхтит? Корабль? Кто так свистит? Ветер? А волны гоняются одна за другой. Вот они поднимаются выше домов, а вот рассыпаются как песок на мелкие брызги. Вдруг грянул гром и сверкнула молния. Иллюзия. Гром не гром. Это рокот океана, шумят волны, которые то вздымаются, то низвергаются. Молния

тоже не молния. Это сверкают лучи солнца, отражаясь в каскадах брызг.

— Послушай меня, пососи кусочек лимона, сердце успокоится...

Ага! Он уже знает, кто это. Это Голцман! Бернارد Голцман! Почему же у него такое спокойное и ясное лицо? В одной руке он держит бутылку коньяка, в другой лимон и просит Рафалеско отведать что-нибудь.

— Послушай меня, возьми кусочек лимона в рот. Или дай руку, обопрись на меня, я тебя вниз провожу, в твою каюту... Э, мистер Кламер!

Это крикнул Нисл Швалб, повернув голову к своему компаньону. Но кто? Что? Ищи вчерашний день. Мистер Кламер уже там, где брат Нисла Изаак, где сестра Генриетта и где ломжинский кантор со своей музыкальной семейкой. Все лежат, каждый у себя, на своей кровати, мучаются и видят перед собой ангела смерти. И только он один, Нисл Швалб, держится на ногах. Нисл Швалб единственный из всей компании, из новой странствующей труппы, которая плывет в Америку, он, единственно живой человек, бодро держится на ногах.

А океан бурлит. И волны шумят. Надвигается буря с дождем и снегом. Ветер хлещет в лицо и прогоняет народ с палубы, всех, кроме стюардесс и матросов, привыкших к этой обстановке, и кроме капитана, который держит во рту трубку и насмешливо смотрит на разгневанный океан, как на озорное дитя.

И несется этот белый титан по имени «Атлантик», несется с удивительным упорством все дальше и дальше, по глубокой и широкой бесконечности, состоящей из неба и воды, воды и неба, без начала и конца.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

### Женская рука

Постепенно вернулось к нему сознание, и голова стала проясняться. Он скорее почувствовал, чем увидел, что лежит раздетый на кровати у себя в каюте, и чью-то руку он почувствовал на своем лбу, нежную, теплую женскую руку. Но чья это рука и кто эта женщина — этого он не знал.

Что он на воде, он понял по запаху воды, по шуму волн, которые играли как дикие звери в лучах ясного солнца. Океан все еще бушует, вздымает корабль выше

домов, стучит Рафалеско в окошечко, чтобы он встал, вышел на палубу посмотреть божье чудо: «Хватит, хватит лежать». Так, казалось, говорят ему морские волны, и он собрал последние силы, напряг свою память и подумал: «Как я сюда попал? Кажется, совсем недавно был на палубе, сидел так удобно в кресле, наблюдая божественную природу, грелся на ласковом солнце, которое отражалось в пене играющих волн, вглядывался в глубокую и широкую бесконечность неба и воды, воды и неба, без начала и без конца...» Он пытался сесть, но боится опять упасть. Совсем раскрыть глаза он тоже боится, а вдруг снова закружится голова, корабль, океан, небо и весь мир. И он тяжело вздыхает: «Ой голова! голова!»

— Все еще голова?..— слышит он женский голос, знакомый голос, но он не узнает, кто это. И чувствует на себе руку, нежную, теплую женскую руку, которая гладит его лоб, подымает растрепанные волосы кверху. Кто бы это мог быть?.. Чья рука?.. Он вспоминает, что недавно — не помнит когда — он точно так же, как сейчас, почувствовал женскую руку, которая точно так же гладила его лоб и зачесывала его волосы вверх.

Тогда это была сестра Голцмана Златка...

Случилось это однажды под вечер. Рафалеско лежал у себя в комнате на кушетке и витал в своих сладких золотых снах. В этих сладких, золотых снах всегда была дочь кантора — Рейзл.

Никого тогда в доме не было, помнит он, только он и Златка. Ему никогда не было так тяжело, как в тот вечер. Странная тоска, помнит он, вкралась тогда в его душу и сжимала и давила, как клещами. Ему хотелось плакать.

Плакал ли он? Этого он не помнит. Он только помнит, что Златка возникла рядом с ним, кажется, он сам позвал ее, сидела возле него и гладила его лоб, точно так, как гладят ему сейчас, сию минуту, и зачесывала растрепанные волосы вверх; точно как сейчас, в эту минуту. И странная теплота разлилась по всему его телу. Он чувствовал, так он помнит, теплую руку преданной сестры, он был ей бесконечно благодарен. Он обнял ее, помнит он, рукой притянул к себе, спрятал голову в ее подол и заплакал, долго плакал, выплакал свою душевную горечь, открыл перед ней святую тайну. Он рассказал ей, что есть на свете та, которую он любит всей душой, что он готов за нее жизнь отдать, что не может забыть

ее ни во сне, ни наяву... «Как ее зовут? И где она?» Так его Златка тихо спросила, и голос, помнит он, у нее дрожал, и сама она в это время дрожала. Как ее зовут — он не хотел сказать. Где она? Эхе-хе! Если бы он знал, где она! Если бы он знал, его давно не было бы в странствующей труппе. Он, возможно, давно не был бы скитальцем, он улетел бы туда, к ней, все бросил бы и уехал к ней, ибо они давно, еще в детстве дали клятву, где бы они ни были и что бы с ними ни случилось, они всегда будут вместе, всегда и навеки!..

Нет, он не знает, где она, но известно, что она знаменита, богата и пение ее славится в мире. «Имя Патти ты слышала? Она знаменитее Патти». — «Знаменитее Патти?..» — «Несравненно!»

Так, помнит он, хвалил он Рейзл перед Златкой. Вознес ее до небес, не жалея светлых красок. Сотворил ангела небесного!.. И он обрадовался, что было перед кем похвалить и похвастать. Кто еще захочет его выслушать, кроме этой Златки? Разве он не видит, что каждое слово его свято для нее? Он разве не чувствует, что она в его руках трепещет, как птичка?..

Рафалеско не знает, что в это время пережила бедная Златка. Какое ему дело? Лишь бы ему излить свою душу. Лишь бы ему поведать кому-то свою тайну. Стало легче на душе.

Открыл он тогда перед Златкой свою святую тайну и доверил ей все потаенные планы, как он однажды найдет свою знаменитую возлюбленную и никогда уже с нею не расстанется. Никогда! Никогда!.. Он обнял Златку, помнит, обеими руками, крепко-крепко прижал к груди и взял с нее слово, когда он сойдется со своей Рейзл (у него вырвалось ее имя, ничего не поделаешь), он возьмет к себе ее, Златку, ибо он чувствует, что Златка ему предана, как сестра, как родная сестра.

— Верно, ты мне предана как сестра? — воскликнул он и обнял ее тепло, намного теплее, чем брат обнимает сестру... Но Златка молчала. Рафалеско не понял, почему Златка молчит. Он обнял ее еще крепче и спросил, почему она ему не отвечает. Неужели он ошибается? Неужели она его не любит?

— Не люблю?! — И Златка бросилась к нему, обняла и целовала, целовала, и слезы лились, лились из глаз ее.

— Чего ты плачешь, дурочка? Чего ты плачешь? Чего ты плачешь?..

С тех пор, помнит Рафалеско, ему часто хотелось остаться с Златкой, немного поговорить с ней о Рейзл. И это было ему нетрудно. Ибо Голцман, так ему казалось, приложил много усилий, чтобы его оставляли с Златкой почаще. Так ему казалось, а может быть, он ошибался? Нет. Нет. Он не ошибается. Почему же Голцман вдруг уходил, оставляя его одного с сестрой, возвращался, проверял, сидят ли они вместе, и опять уходил?.. Ах, Голцман! Голцман! Как трудно было ему проститься с Голцманом, как трудно!..

— Пора вставать, дорогой! Уже виден берег... Мы уже скоро будем в Америке, дорогой мой, красивый мой!..

Знакомый голос. Женский голос... Кто это говорит с ним?.. Кто его называет красивым, дорогим?.. Он все еще боится подняться, чтобы опять не упасть. Он все еще боится открыть глаза, чтобы опять не закружилась голова, корабль, океан, небо и весь мир... И он погружается в свои мрачные, печальные мысли. Он вновь переживает тяжелые минуты прощания с Голцманом. Он вспоминает и кается.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Будь здоров, Берnard!

Холодное утро, дождливые тучи обволокли Лондон.

Рафалеско уложил свои вещи и был готов к отъезду. Позавтракал, принарядился, закурил гаванскую сигару, заказал кеб и на минутку забежал к Голцману проститься.

— Прощай, Голцман!

— Поезжай на здоровье,— ответил ему Голцман глазами, так как разговаривать ему врачи запретили.

Эх, если Голцман мог бы хоть слово произнести, он сказал бы ему что-то злое, острое, выругался, как тот этого заслужил. И Рафалеско стало бы легче на душе. Но нет. Голцман вылупил на него свои острые колючие глаза... и сколько было в них печали! Голцман протянул ему костлявую и, как показалось Рафалеско, слишком горячую руку.

Никогда так не хотелось Рафалеско быстро уйти от Голцмана, как на этот раз. У него была такая возможность: сесть в кеб, и будь здоров... Но вместо того чтобы повернуться к двери, он, уже попрощавшись, сел на стул возле кровати, на которой лежал в жару Голцман, накры-

тый достопримечательной «тендеверендой». Острый запах лекарств стоял в воздухе, запах аптеки, страдающего тела...

Рафалеско никогда не видел Голцмана в таком безнадежном положении. Смерть оставила свой след на губах, в его взгляде и даже, казалось, тронула его бледные, омертвевшие уши, она витала по всей комнате. Рафалеско представилось, как Голцман будет лежать на полу ногами к двери, накрытый с головы до ног «тендеверендой». Мертвого лица не будет видно, только кончики ног будут торчать, а у изголовья зажгут свечи и по обе стороны мертвого тела будут сидеть Соре-Броха и Златка. Они будут оплакивать его, ломать себе руки и причитать: «Дорогой сын! Дорогой брат! Любимый, на кого ты нас оставил, оста...авил?..»

Эти причитания ему помнились по Голонешти, когда канторша Лея оплакивала свою умершую мать, которой было немного больше семидесяти. И ему казалось, что он чувствует наступление своей смерти, запах лекарств, аптеки и трупа. И захотелось ему бежать, бежать куда глаза глядят.

Но вместо этого он остается около Голцмана, нагибается и шепчет ему нежные, дружеские слова, утешает его и обещает, что, как только приедет в Америку, напишет ему — он каждый день будет писать ему письма — и как только Голцман поднимется с кровати — а поднимется он очень скоро — он вместе с сестрой и мамой приедет в Нью-Йорк прямо к нему...

Рафалеско смотрит на кончики своих ботинок, лицо его пылает от стыда, потому что он говорит неправду. Голцман не выздоровеет. Никогда. И в Америку он не приедет. Никогда! И если он даже выздоровел бы, то новая компания его не примет, ни его и ни его сестру. Все, что он говорит, — неправда, ложь. Но Рафалеско не может себя остановить. «Конечно, было бы хорошо, — говорит он, — если бы сестра поехала со всей компанией, но она не может, нельзя оставлять брата в Лондоне!»

Голцман схватывает руку Рафалеско, сверлящие глаза его загораются, и он еле-еле хрипит: «Сиротка, бедная сиротка». Больше ничего он не смог сказать, его душили слезы.

— Прощай, Бернард! — говорит ему Рафалеско еще раз, в последний раз, и доволен, что он уже по ту сторону двери и не видит полумертвого Голцмана, не слышит запаха лекарств, аптеки, трупа... Он оглядывается и благо-

дарит бога, что в минуты прощания с Голцманом не видел ни Златку, ни старуху Соре-Броху... Где они? Подождать их? Нет, уйдет... Он хочет бежать, но сдерживает себя, не спеша выходит, не торопясь садится в кеб, который стремительно увозит его на вокзал. Здесь уже вся компания: два брата Швалб, их сестра-примадонна и ломжинский кантор с семьей... «Почему так поздно, могли опоздать на корабль».

Лишь на палубе «Атлантика» он легко вздохнул.

А корабль плавно отчалил от берега, торжественно и гордо, показав свою величавость и красоту.

И погода выдалась на славу: нет лондонских густых туманов и холодных туч. Ярко светит солнце, и воды океана спокойны и гладки, как зеркало...

Корабль плавно скользит по воде, еле касаясь волн, которые начинают класть поклоны, поднимаются и спускаются, передавая приветы от существующего вечно океана.

Теплотой пронизано тело Рафалеско, он чувствует себя свободным, он едет туда, где его любовь, его единственная любовь...

Но неожиданно появляется около него Генриетта Швалб, как всегда разодетая и увешанная настоящими и фальшивыми бриллиантами. Под руку они разгуливают по палубе. Генриетта повисает на его руке, заглядывает ему в глаза и громко смеется, демонстрируя свои прекрасные зубы. И все разглядывают эту парочку и хотят понять, кто это: брат и сестра, жених и невеста? А быть может, муж и жена?..

Так простился наш герой со своим другом, с Голцманом, который был ему предан, как брат, и с Златкой, которая была ему предана, как сестра, и больше, чем сестра...

— Прощай, Бернард, — вот все, что Рафалеско мог ему сказать.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### Роковой поцелуй

С Златкой Рафалеско вел себя как брат родной. Не то с примадонной Генриеттой Швалб. Он не знал, как с ней держаться. Генриетта вертелась, кружилась вокруг него, кокетничала с ним, иногда изображала обиду, хотя, верно, чувствовала, что она ему безразлична, что он

холоден к ней, как лед. Но в присутствии людей Генриетта вела себя так, будто он ее страстно любит и она пока что неофициальная его невеста.

Об этом все знали, и велись уже разговоры о помолвке. Но как это устроить? Есть серьезное препятствие — Голцман. Братья Швалб понимали, что до тех пор, пока Рафалеско дружит с импресарио, Голцман не допустит, чтобы парень попал в объятия их сестры. И начались поиски способов освободиться от «чахоточного заморыша» Голцмана. И бог им помог больше, чем они рассчитывали. Им не надо было уговаривать Рафалеско укатить с ними в «золотую страну», он сам, едва услышав, что они собираются в Америку, почти напросился в спутники. Братья Швалб были на седьмом небе: «Парень, видимо, всерьез влюбился в нашу дуреху». Так решили они. Глупцы! Они не подозревали, кому должны быть благодарны. Они не знали, что та самая Брайнделе Козак, пригласившая в Нью-Йорк сестру-примадонну, одновременно звала туда и Рафалеско, поскольку там находится его возлюбленная, дочь кантора из Голонешти. Братья Швалб условились, что в Америке нужно немедленно поженить Генриетту с Рафалеско: под венец — и гора с плеч. Но пока это тайна, и не должна об этом знать и птица небесная.

Разумеется, для кого тайна, а для кого совсем нет. К примеру, от мистера Кламера у Нисла Швалба нет тайн. Мистер Кламер — первый, кому доверил Нисл блестящий замысел. Мистер Кламер выслушал, по обыкновению, с закрытыми глазами и поглаживая пышную бороду а-ля Герцль. Когда Нисл Швалб кончил, мистер Кламер сказал: для кого-то это, может, и новость, а ему это давно известно, и он ничего не имеет против. Только не следует откладывать в долгий ящик: раз, два, три — и готово! Как говорят англичане: «Кто медленно начинает, тот быстро кончает»... Надо побыстрее устроить помолвку, а затем и свадьбу. Ол райт! Нельзя забывать, что свистуны (он имеет в виду актеров) такой народ, фи-фу-фа, и улетели!

Мистер Кламер вытащил пальцы из бороды и потряс ими три раза в воздухе, чтобы показать, кто они, эти свистуны.

Того же мнения был ломжинский кантор, которому Нисл Швалб в подвале при закрытой двери под строгим секретом рассказал о задуманном изумительном плане — о предполагаемой свадьбе молодых людей. Закрытая комната в подвале — это кухня, а в ней находилась жена кантора, и, следовательно, «план» Швалбов для нее уже

не был секретом, а значит, и для всей музыкальной семейки. И вот все с трепетом ожидали часа помолвки, а затем и свадьбы...

Единственным человеком, который ничего не знал, был Рафалеско. Ему и в голову не приходило, что «секреты» имеют отношение к нему, его мысли и чувства были там, где находилась дочь кантора, ныне знаменитая певица Розалия Спивак, которую он видел во сне и наяву, к которой он стремился всей душой, ради которой забросил своего старого друга Голцмана и его сестру, таявшую как свеча и не сумевшую даже попрощаться с ним. Сколько бессовестных поступков он совершил, простить невозможно.

Теперь наедине с самим собою в каюте, где он лежит, разум его просветляется, он думает: как мог он так низко пасть, так подло поступить с самыми лучшими друзьями, с простыми невинными людьми?..

Как в калейдоскопе, сменяются разные картины, одна мрачнее другой, проходит вся прошлая его жизнь, и в ней ни одного светлого луча, светлой точки, сплошная тьма, сплошная низость, сплошная преступность: отца обворовал... из дома сбежал... маму убил... Голцману лгал, Златку обманул, подло обманул, выдавая себя за брата, обещал любить, разбил молодое нежное сердце... а теперь навеки уезжает в далекую неведомую страну, навеки! Нет, он подлец из подлецов. Он заслужил презрение и возненавидел себя в эти минуты раскаяния. Стыд! Позор... Ой, голова, голова!

— Все еще голова?

Это спрашивает знакомый голос, голос женщины, сидящей около его кровати, она касается его лба рукой, гладит и зачесывает его разбросанные на подушке волосы, смотрит на него теплыми, дружескими и влюбленными глазами. Кто она? Он чувствует запах пудры и духов, знакомый запах, он может поклясться, что это Генриетта Швалб. Открыл один глаз, другой и увидел вблизи знакомое бледное, напудренное лицо, накрашенные губы. Да, это Генриетта Швалб. Ее лицо очень близко от его лица. Ее глаза глубоко вглядываются в его глаза и ярко накрашенные губы тихо шепчут: «Дорогой, красивый, милый!»

В эту минуту он все забыл. Забыл, что он только что каялся, забыл даже, ради кого и куда он едет, даже где он. Он прислушивается к ласке руки, к ласке глаз, шепоту: «Красивый, милый!» Еще секунда — и он обнял ее, и ее

ярко-красные губы приблизились к его губам и замерли в долгом-долгом поцелуе.

Можно не сомневаться, этот поцелуй ему дорого обойдется. Если этот поцелуй не был рассчитанным поцелуем, то все же свидетели были кстати: в эту минуту в дверях каюты показались Нисл Швалб, мистер Кламер и ломжинский кантор...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ Америка! Америка!

Из всех пассажиров, прибывших в этот день в Нью-Йорк на корабле «Атлантик», никто так не спешил к выходу, никто так не огорчился, не нервничал, не толкался, как наши братья евреи. Это вполне понятно: большая часть еврейских пассажиров — эмигранты. Эти люди приехали в Америку искать новую родину, взамен той, которая так бессердечно с ними обходилась и наконец вытурила их... И они верили в Новый Свет, как в мессию. И вот они собираются вместе, как овцы. Сердце бьется. Пульс сто двадцать ударов. Господи, боже милостивый! Что ждет их здесь, в этой «благословенной стране»?..

Очень редко у кого из них здесь в Нью-Йорке нет сына или дочери, мужа или жены, родственника, ожидающего у берега и готового снять их с корабля и облегчить их муки, предстоящие на первой же остановке, которая называется «красиво»: «Остров слёз».

Для еврейских эмигрантов — это посмертные муки, чистилище, где грешники должны очистить свои души, чтобы потом вступить в рай. Когда-то это чистилище называлось «Кесел-Гарден». Сейчас оно зовется «Элис-Эйланд». Место переименовали, но муки и горести, слезы и вздохи, обиды и переживания остались те же и останутся, вероятно, с божьей помощью, теми же, пока люди будут властвовать над людьми, пока люди время от времени будут проявлять свои звериные повадки.

\* \* \*

Среди всех прочих пассажиров, поднявшихся на палубу, чтобы издали осмотреть золотую страну, были и кочующие артисты из нашей странствующей труппы «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>». Приятно было взглянуть на эту группу веселых эмигрантов, которые нарядились, каждый по свое-

му вкусу и возможностям, приготовились приветствовать «золотое государство Колумба», как полагается, весело и празднично.

Братья Швалб надели лучшие праздничные наряды, прежде всего чисто выбрились, не оставив никакого признака растительности на лице. Где уж там борода? Что еще за усы? Гладко и чисто, как тарелка. И все-таки у братьев были разные лица. Один (Нисл) выглядел, как немецкий колбасник в святое воскресенье, а другой (Изак) был больше похож на русского капрала, который только что вышел из кабака, дав себе слово больше не пить водки, только пиво.

Зато мистер Кламер перещеголял их обоих. Он расчесал свою герцлевскую бороду слева и справа, совсем а-ля Скобелев. Белоснежная рубаша с белым галстуком в большом вырезе смокинга должны были придать ему обаяние настоящего джентльмена, исключая его сходство с обер-кельнером шикарного ресторана. Проходя зеркальную столовую, он посмотрел на себя и чуть задержался, очевидно вполне довольный. Он был уверен, что на этом корабле он самый красивый мужчина! Посмотрим, что скажет Нью-Йорк. Возможно, в Америке есть красивее его, а может, нет?.. Мистер Кламер не мог сдержаться, чтобы самому себе не сказать с приятной улыбкой:

— Мистер Кламер! Вы ол райт...

Совсем по-другому было с четвертым компаньоном. Мы говорим о ломжинском канторе. Хотя ломжинский кантор давно из Польши и нет у него признаков пейсов, а если вы мне обещаете, что это останется между нами, я вам скажу по секрету, что, видимо, там, где начинается у него борода... но зачем нам злословить? Короче, он вытащил свое старое канторское облачение, обшитое шелковым шнуром. Жилет застегнул доверху, а лицо он сделал таким святым, что оба Швалба с мистером Кламером не сдержались и одновременно вскрикнули:

— Что это?

— Америка! — ответил им ломжинский кантор только одним словом, не раскрывая смысла этого слова.— Америка, понимаете ли, не Европа, а Нью-Йорк не Лондон. Америка страна во всем однозначная: если ты артист — ты артист, если ты кантор — ты кантор. Раскусили?

Раскусили они или нет — это неизвестно. Но ломжинский кантор решил: пока его дети начнут зарабатывать деньги в Америке и эти артисты начнут загребать золото в этой золотой стране, пока суд да дело — он будет мо-

литься у амвона (скоро осенние праздники) за своих соотечественников, ломжинских евреев, которые вызвали его сюда с музыкальной семьей. Слава богу, он еще в силах. В пути ничего не потерял, наоборот, поездка на корабле, чувствует он, пожалуй, прочистила его голос. И клокочет у него в горле, и поется ему все утро, с тех пор, как издали стал вырисовываться берег. Одним словом, ломжинский кантор почувствовал себя кантором и стал создавать образ кантора, каким полагается ему быть в праздничные дни.

Канторша также нарядилась по-праздничному. Поверх рыжего парика набросила шелковый платок, завязав его двумя узлами, обнажила уши, чтобы видны были, во-первых, позолоченные серьги, которые были спрятаны со дня свадьбы; во-вторых, почему бы ей не показать ее собственные светлые волосы? Разве она знает, что это за страна Америка? Кто знает, что здесь важнее: скромность или фривольность? Может, нужно и то и другое?

Кто его знает?

Зато дети, музыкальная семейка, были одеты вполне по-европейски. Все, от мала до велика, были в коротких штанишках, в коротких курточках и маленьких шляпках на длинных волосах. Короткие штанишки и длинные волосы так долго носят все знаменитые «вундеркинды»: Губерман, Фидельман и Гриша Стельмах, — пока можно скрыть усики и бородку, которая, как известно, к определенному времени начинает пробиваться и расти, хоть брей ее, хоть делай что угодно!

Кто-кто, а музыкальная семейка была довольна этой поездкой больше всех. Она ожидала в золотой стране то, до чего никто не мог бы и додуматься. Когда сообщили добрую весть, что берег уже виден, они вышли на палубу, взялись за руки и, заранее договорившись, все вместе затянули американскую песенку в такт волн, бившихся спокойно и мягко в борт корабля.

Америка! Америка!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### Спокойный океан

Спокоен был океан у берегов Америки. Вблизи Нью-Йорка он не затих, но успокоился.

Когда успокаивается разбушевавшийся океан, он вздыхает, как изможденный гигантский зверь. Океан велик,

когда он разыгрывается и вздымает волны. Океан красив, когда он затихает, величественно красив естественной красотой.

Множество красок, все цвета, которыми владеет природа, отражает его поверхность, чтобы радовать взгляд оживших вновь пассажиров, наградить их за мучения, которые он причинил им в тяжелые дни плавания. Люди проникались чувством благодарности и восхищения вечной силой, создавшей такой большой, такой красивый, такой добрый мир. Они прощали океану, прощали от всего сердца, и поднялись все на палубу, чтобы вновь увидеть это фантастическое божье творение, и радовались так, будто ничего не было.

Всех пассажиров радовало скорое прибытие к берегам Нью-Йорка, и молодая пара, которая стояла держась за руки, была чуть ли не самой счастливой парой на корабле. Во всяком случае, так казалось. И красива была эта пара: красивые и молодые, свежие и здоровые люди. Множество глаз смотрело на них и завидовало. Ах, какая счастливая пара!

Кто эти молодые люди? Понятно, примадонна Швалб и ее возлюбленный Лео Рафалеско. Был ли счастлив Рафалеско, мы не знаем, но что Генриетта была на седьмом небе — несомненно.

О, Генриетта; она дождалась! Сколько времени была «в охоте», преследовала этого красивого парня с первого дня встречи во Львове до последнего дня в Лондоне. И только здесь, на корабле, ей удалось его поймать, и он побежден, побежден!..

Какая это победа — знает только она. В ее глазах светилась победа, а на лице счастье. Все в ней кричало: «Вы видите этого прекрасного парня с нежными глазами, русыми локонами, не сглазьте его, он мой! мой! мой!..»

И она еще сильнее опирается на его руку, и льнет к нему, и глубоко-глубоко вглядывается в его глаза, чтобы увидеть огонек, загоревшийся в них, и понять, о ком он думает сейчас. О ком? Ха-ха, о ней, вероятно, о ком же еще! Ну, будьте любезны, пройдитесь по палубе и отыщите другую такую красавицу, как Генриетта Швалб, с таким белым лицом, с такими вишневыми губами, с такими веселыми глазами, которые так мило щурятся, будто близоруки, и такими жемчужными зубами. Когда она смеется, все мужчины сходят с ума! А ну, найдите еще кого-нибудь, на ком так элегантно сидит платье, и волосы так прекрасно уложены, и шляпка так идет к волосам, и воротничок

так обнимает шейку, а перчатка так охватывает ручку?! А у кого есть такие драгоценности!

Ах, конечно, на корабле у некоторых дам очень дорогие украшения. Например, у той высокой сухопарой англичанки с золотыми зубами такие драгоценности, что Генриетта могла бы себе пожелать хотя бы половину: на шее — жемчуг, в ушах — изумруды, медальон с изумрудами, на всех пальцах бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды, изумруды! Но как все это выглядит? Смешно. Если бы Генриетта надела бы эти изумруды? О! У нее будут изумруды. Добраться бы уже до Америки и осмотреться. Пусть только Рафалеско попадет на сцену... Пусть только сыграет две-три хорошие роли. Пусть только публика увидит, какое это сокровище, тогда будут бриллианты и жемчуг, изумруды и рубины...

— Нравятся тебе эти изумруды?

Генриетта льнет к Рафалеско, а глаз не спускает с англичанки.

— Какие изумруды? — спрашивает Рафалеско.

— Слепой цыпленок! Ха-ха, разве не видишь?

Нет, он не видит. Ни англичанку, ни изумруды. Он совсем не туда смотрит, куда она ему указала. Рассеянный ангел, ха-ха!

Генриетта рассмеялась... Не потому, что ей стало смешно, а чтобы лишний раз показать свои жемчужные зубки. И посмотрела на Рафалеско тем новым взглядом, который недавно отрепетировала перед зеркалом.

Этот взгляд она переняла в последнее время в Лондоне у близорукой дамы с лорнетом. Дама ей показалась очень пикантной, когда близоруко смотрела через лорнет полузакрытыми глазами и близко сдвигала брови. Вот с тех пор и пошло.

— Ентл, что с тобой? — спросил Иzaak однажды, когда они были наедине.

— Что такое, Ицик?

— Что ты вытворяешь глазами?

Генриетта покраснела, послала брата в тартарары, но иначе смотреть уже не смогла.

Было время, и не так давно, когда Рафалеско еще не мог считаться ее возлюбленным. На ее пути стояла Златка. Вот эта ничтожная остроносая девчонка. Генриетта ничего не замечала, но братья открыли ей глаза... У той глаза загораются, когда завидит парня. Краснеют щеки, когда он смотрит на нее. И слишком часто остаются они вдвоем. На это обратил ее внимание брат Иzaak. Однажды

он сказал ей: «Пошли, дубина, я тебе что-то покажу...» Он взял Генриетту за руку, привел к двери и велел смотреть в замочную скважину. То, что она увидела, было не совсем то, чего ожидал брат. Она увидела Рафалеско, который расхаживал по комнате взад и вперед с опущенной головой, а эта никчемная девчонка сидела на стуле и плакала... «Ее брат,— потом сказал он им,— опасно болен. Врач говорит, что жизнь Голцмана в опасности»... «Оправдание для дурачков,— решил Иzaak Швалб, который следил за ними, как настоящий шпик.— Разве если брат в опасности, сестра должна сидеть и плакать на коленях у чужого парня?..»

— Бреешь как собака! — крикнула тогда Генриетта и стукнула дверью. Все-таки червь сомнения вполз ей в душу и точил, и точил потихоньку. Огонь зажегся в сердце и не затухал... Слава богу, избежала ада. Сейчас она с ним. Сейчас никто не стоит у нее на пути, никто, никто!..

Обязательно, как только доберутся до Нью-Йорка,— так решила для себя Генриетта,— они с Лейблом сфотографируются в разных видах. Номер один: оба на прогулке под руку, он в своем элегантном сером пальто, она в боа и в шляпке набекрень...

Номер два: сидят за круглым столиком, он держит ее руку в своей и смотрит на нее, а у нее глаза полукрываются и брови сдвинуты точно так, как у той близорукой дамы с лорнетом.

Номер три: две головки на светлом фоне, его голова и ее прижаты друг к другу. Здесь ее глаза должны быть широко раскрыты и обращены вверх, как у святой мадонны...

Номер четыре...

Но как дожить до этой Америки, дожить до приезда?  
— Еще далеко до Америки?

Он, Рафалеско, не слышит, не слышит Генриетту, и она снова возвращается к своим планам фотографирования, как только они приедут в Нью-Йорк. Ее брат Нисл говорит даже, что в первые же дни в Нью-Йорке будет их свадьба. Если б не было неловко, он здесь на корабле женил бы их немедленно, иметь бы ему богатства всего мира... Генриетта думает иначе. Генриетте хочется побыть невестой, хоть несколько недель побыть невестой. Куда ей торопиться? Она так долго ждала, почему же не растянуть это удовольствие?..

— Еще далеко до Америки? — во второй раз спрашивает она, но Рафалеско ее не слышит, он как будто совсем

в другом мире. Да, в другом мире. Сейчас он там, далеко отсюда, там, куда стремится давно, кажется — всю свою жизнь. В этом далеке он видит ту, которую не забывал ни на минуту. Какой будет их первая встреча в этой стране после стольких лет? Узнает ли она его? Он ее узнает, у него есть ее фотография, здесь, во внутреннем кармане, присланная недавно мадам Черняк. Генриетта уверена, что он о ней думает, о ком же еще?.. И она прильнула к нему и заглядывает в его глаза, ласкаясь как кошечка:

— Скоро мы будем в Америке, как ты думаешь? — спрашивает Генриетта в третий раз и, легонько ударив пальцем его по носу, хохочет.

Рафалеско удивленно уставился на нее, он не понимает ее смеха. Его отвлекли от мечты, которую он лелеял... В эту минуту он совсем забыл о девушке, повисшей на его руке. Он оглядывает ее сверху донизу и думает: «Зачем этот флирт?.. Теперь уже все поздно... Из одной беды в другую, стоит ли?»

И тут же вспомнилась ему Златка с ее постоянно меланхолическим видом и опухшими от слез глазами. И вспоминает он Голцмана, его последние, еле слышно сказанные слова прощания: «Сиротка... жалкая сиротка...» Он хотел бы забыть их, но не может. Он был бы рад, если бы все прошлые годы скитаний по свету остались бы по ту сторону океана, в старом мире, а он явился бы в новую страну чистым и невинным, каким был когда-то, в наивные детские годы... Но ничто не забывается, и в голову лезут самые горькие, самые мрачные мысли.

И чтобы отогнать от себя эти мысли, он смотрит на океан и не может от него глаз оторвать. Пассажиры все на палубе. Опять не могут досыта налюбоваться его величием и блеском. Нет равного его величию, когда он буйствует, нет равного его красоте, когда он успокаивается.

Спокоен океан у берегов Нью-Йорка. Не тих, но спокоен.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### Ломжинский кантор в беде

Известно, раньше чем попасть в рай, надо пройти через семь кругов ада. Как в небесах, на том свете, так и здесь, в земном раю, называемом Америкой. Не для всех врата рая открыты и не всем так просто в него войти.

Кому это известно? Редко кто этого не знает, и потому люди запасаются всем необходимым на родине. И все же за несколько миль до Нью-Йорка у них начинает тревожно биться сердце, их бросает в жар и холод, зуб на зуб не попадает, нервно зевают, потягиваются, осматривают друг друга, все ли у них в порядке, и просят бога, чтобы все обошлось во время допроса и удалось без помех пройти через семь кругов ада, через «Остров слёз» и вступить через врата рая на землю, называемую «золотой страной».

Наши блуждающие актеры скитающейся труппы «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>» на смех подняли все эти тревоги. Подумаешь, эка важность — Америка. Они могут, говорила компания, три раза войти и столько же раз выйти из Америки. Дураки, говорят они, выдумали какие-то трудности. Главное — быть веселым, здоровым, хорошо одетым, иметь немного долларов и назвать нескольких знакомых, проживающих в Америке, на остальное наплевать.

Что Америка такому джентльмену, как мистер Кламер, в его элегантном смокинге, если родной язык его английский? Или такому великану, как Нисл Швалб, чего ему бояться? Или Изаку Швалбу? Дай бог всем эмигрантам быть не хуже его!

Об актерской парочке Рафалеско и Генриетте и говорить нечего. Для таких молодых, красивых, здоровых и элегантно одетых людей распахнуты все двери и ворота. Вот с ломжинским кантором и с его семейкой дело обстоит плохо.

Суждены человеку муки! Кажется, все его дети здоровы, с хорошим аппетитом, только подавай. Но случилась беда, и сам кантор в этом повинен. Он должен был знать, что со столькими детьми, не сглазить бы, необходимо иметь в кармане доллары, которые можно предъявить на таможне, если спросят...

Он оправдывается, не знал, думал, что Америка — это Америка. А на поверку оказалось, что она хуже Ломжи. Сколько нищих приходят в Ломжу, и кто их спрашивает, откуда они, имеют ли они наличные или не имеют. Кого это интересует!

Ломжинский кантор хорошо попотел, больше, чем у амвона. Представьте себе, что поймали еврея и спрашивают у него «мани», покажи «мани», то есть доллары, американские доллары, английские фунты тоже годятся, даже русские рубли, говорят они, тоже деньги. Лишь бы

деньги... Так ему разъяснили, да слишком поздно, он должен иметь денежки, чтобы не быть зависимым от чужих. От чужих? Не приведи господь! Кантор пытается объяснить на смеси английского и немецкого. Он, втолковывал кантор, не один, не сглазить бы, с большой семьей... Раз так, говорят ему, пусть докажет, что он сможет кормить большую семью.

Словом, кантор влип. Дело дошло до того, что его хотели вернуть назад. Не помогло его бормотание на полуанглийском-полунемецком языке, не помогла его жестикуляция и мольба в глазах, обращенная к мистеру Кламеру, который так хорошо знает английский.

Мистер Кламер прикинулся непонимающим. Он умел давать советы в Уайтчепеле, у себя в «Кафе Националь», но не здесь, сходя с борта корабля, на американской земле, где стоит шум и гам «проклятых русских попрошаек», они чуть с ума не сводят! Наш мистер Кламер неторопливо отвернулся, оправил смокинг, расправил четыремя пальцами свою пышную бороду и смылся. Как говорят англичане: «Ай дисавав ит бег энд бегдол», то есть «моя хата с краю».

К счастью, на корабле находился второй компаньон, Нисл Швалб, великий комбинатор. Учувя, что ломжинский кантор попал в беду, он отозвал в сторону канторшу, подмигнул ей, тихо что-то прошептал и сунул ей что-то за пазуху, затем приказал ей и детям: «Пошли».

В другое время канторша учинила бы страшный скандал великому комбинатору за его вольное обращение, она ведь не какая-нибудь артистка или хористка, танцовщица или певица и даже не примадонна (это она имеет в виду его сестру Генриетту), которая целуется с чужим парнем (это она имеет в виду Рафалеско), и еще неизвестно, жених он или пустомеля... Она законная жена ломжинского кантора, и Нисл Швалб должен знать свое место... Но теперь, когда ее муж в беде, она даже не успела оглянуться, как Нисл Швалб взял ее под руку и, как человек хорошо говорящий по-английски, сказал в защиту кантора и его семейки (мы передаем его речь в переводе с английского):

— Господа, я уполномочен представить вам жену этого господина, они по-английски не понимают ни единого слова. Видите вот эту ватагу — это их дети, они талантливые музыканты, все — от отца до самого младшего ребенка. Они зарабатывают себе на хлеб, более того, они, можно сказать, загребают золото лопатами. Единственный,

кто не зарабатывает, вот эта женщина. Она преданная мужу жена и мать своих детей, хозяйка дома и кассир. Касса у нее надежно запрятана... Получить у нее цент — все равно что сдвинуть дом!

Вот слова, которые были произнесены по-английски, а канторше Нисл Швалб сказал на родном языке: «Милейшая, будьте любезны, расстегните блузку и покажите им наличные».

\* \* \*

Когда уже все оказались на американском берегу, тогда только поняли, в какую беду попал кантор и каким чудом Нисл Швалб вызволил его из беды. Кантор горячо обнял его, а он с трудом вырвался из его рук. Кантор снова обнял своего спасителя Нисла (насколько можно обнять такого толстяка), стал его целовать, благодарить, причитая:

— Отец, родимый, вы же умница, Соломон мудрый, ангел божий... сам не знаю, кто вы.

— Хватит, хватит,— Нисл Швалб пытался вырваться из его объятий,— что вы хотите от меня, вы меня задушите на американской земле, иметь бы мне все богатства мира!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

### Благословенная страна

В ту самую минуту, когда ломжинский кантор обнимал и целовал своего спасителя, а он с трудом вырвался из его рук, Нисл Швалб увидел чудище: странную женскую фигуру в красной ротонде с круглым, как луна, лицом, с широкой улыбкой, обнажавшей большие белые зубы.

Сначала чудище бросилось к его сестре Генриетте, затем оно крепко расцеловало Изака, а потом напало на Рафалеско, обняло его своими толстыми короткими руками и начало его целовать и ласкать, как преданнейшая мать.

— Что это за зверь? — обратился Нисл Швалб к кантору, потом к канторше, но они сами оказались в объятиях ломжинских мужчин и женщин, набросившихся на них, а потом и на ватагу детей, обнимая и целуя их.

Во встречавшей толпе были женщины и мужчины, давно покинувшие Ломжу и живущие в Америке, но были и недавно прибывшие в эту страну и считавшиеся «зелеными».

Было много разных женщин: таких, которые звались миссис и леди, в широкополых шляпах, с золотыми зубами, и таких, что не расставались с париками и были одеты как благочестивые еврейки в родной Ломже.

Все женщины, миссис и «зеленые» радовались приезду своих, ломжинского кантора с семьей. Все кричали, шумели, жестикулировали, будто это не в Нью-Йорке, но в Ломже на еврейской улице.

Ломжинские евреи и еврейки буквально набросились на своих земляков и приглашали — кто на завтрак, кто на обед, кто на ужин: «Ко мне, ко мне без отговорок».

Ломжинский кантор и его семья были очарованы. Словно видели прекрасный сон. Ведь с той поры, как они выехали из Ломжи, скитались по миру, коротали дни в Уайтчепеле, они и не мечтали о такой встрече, как здесь, на американской земле. Более того, в самой Ломже их никто так не принимал, как в стране Колумба. Там, на старой родине, их все попрекали и в дороге им дали ясно понять, что их слишком много. Даже мистер Кламер, который, кажется, свой человек, компаньон, можно сказать, несколько раз во время плавания сказал с усмешкой, что зря они тащат весь домашний скарб и не оставили нескольких детей на память в Ломже... А здесь — вот тебе на! Их неожиданно принимают как важных гостей и рвут на части. Да будет благословенна эта страна, да будь она благословенна!

И кантор с канторшей переглядываются, суетятся, веселятся, не знают, кому раньше ответить. С божьей помощью они у всех будут. А как иначе? Одному человеку не справиться, но такая семейка, не сглазить, ответит на все приглашения.

Нисл Швалб наблюдает эту сцену, и сердце его радуется. Кто еще, кроме него, знает, как трудно жилось этой семье в Лондоне! Вдруг нашлось столько друзей, добрых друзей! Что же, он разве раньше не знал, что именно так и будет? Знал, иметь бы ему все богатства мира! На то это Америка. Да будь благословенна страна Колумба! Жаль, что Нисл Швалб очень занят, а то пошел бы к этим гостеприимным людям, поблагодарил бы их за оказанный ломжинскому кантору и его семье прием, поболтал бы с ними об Америке, о янках в стране Колумба.

Жаль!.. Голова Нисла Швалба в эти минуты занята черт-те чем — чудищем в красной ротонде, которое сначала напало на сестру, затем на брата, потом на Рафалеско, и вот целует его сначала в щеки, затем в губы, и снова в щеки, и снова в губы. История без конца!

Нет, Нисл Швалб дольше терпеть не может, он подошел к красной ротонде и оторвал ее от Рафалеско.

— Что это за зверь?

Очевидно, сам Рафалеско рад освобождению. Он поправил растрепанные волосы, помятую шляпу и представил:

— Мой друг Швалб... моя старая знакомая Брай...  
Мадам Черняк.

Чуть не сорвалось с языка «Брайнделе Козак».

Да, то была она.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

При звуках труб и рога \*

Время, избранное для приезда в Америку кочующей музыкально-драматической труппы «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>», было самым подходящим. Была, сказал бы я, страдная пора в еврейском квартале Нью-Йорка, вечно шумного, светливого, охваченного лихорадкой бизнеса.

Это был месяц, когда после затишья в деловом мире, после летних каникул жизнь начинает как бы просыпаться ото сна. Появляется много еврейских газет с кричащими анонсами и огромными рекламами. Анонсы заывают в синагоги, извещают, где и какие канторы будут петь, где продаются синагогальная утварь, открытки с новогодними поздравлениями, свечи и другие необходимые для молитвы вещи. Одним словом, это было время осенних праздников, которые памятли всем иудеям, как дни звучания труб и рога.

Точно так, как на старой родине, здесь, за океаном, это время — переходное от старого года к новому, от лета к зиме, время, когда выбрасывают ненужное старье и чистят и латают поблекшие, но нужные вещи, нужную одежду и обувь, время поиска учителей и хедеров, переезда с одной квартиры на другую. Словом, традиции везде и всюду одинаковы...

Это время называют «сезон».

«Сезон» хорошее слово, дорогое слово. Самое приятное слово в этой стране труда: для того, кто предлагает свои

руки, и для того, кто ищет рук, для того, кто обливается потом, и для того, кто заставляет людей обливаться потом и кровью, для того, для кого цент — сумма, и для того, для кого доллар пустяк, для того, кто ищет кусок хлеба, и для того, кто ищет наслаждений, для того, кто живет в подвалах и подышает вместе с женой и детьми от голода, и для того, кто живет на верхних этажах, для того, кто живет в домах без света и воздуха, и для того, кто лето проводит на дачах, играет днем и ночью в покер или в такую игру, которую называют «флирт», для того, кто тайно прелюбодействует или открыто меняется женами, но все трин-трава...

«Сезон» — это переходное время, время обновления и возобновления работы театра вообще, еврейского в частности, который после прессы занимает самое видное место в еврейском квартале Нью-Йорка. Еврейская пресса становится тогда активной и ей есть что делать.

Прежде всего появляются коротенькие сообщения под рубрикой «Новости еврейской жизни». Как правило, это мимолетные вести, схваченные на лету, невинная ложь и сочиненные небылицы ни к селу ни к городу. Так, к примеру, оповещают, что известный музыкальный менеджер вчера привез из Европы лучших певиц парижской оперы, что тот или иной менеджер снял такой-то и такой-то театр, что некий менеджер переманил у другого «стар», что такая-то знаменитая примадонна покинула еврейскую сцену и поступила в американский театр, что всем известный автор, который обессмертил себя музыкально-реалистическими произведениями, написал для «сезона» три музыкально-реалистические пьесы, превосходящие все то, что до сих пор было создано в этой гигантской стране. То восхваляют какую-то «стар», расшаркиваются перед какой-то примадонной, дружески похлопывают по плечу какого-то менеджера и улыбаются какому-то автору. Одним словом, это пустое славословие, которое «пресса» припасает к «сезону».

Совсем иначе обстоит дело с прессой, когда театральный сезон уже начался. Открывая тогда еврейскую газету, вы сразу замечаете огромные крикливые объявления: целые полосы большими буквами сверху донизу трубят о том, что приготовил для зрителя тот или иной менеджер, в какой рай вы попадете, если посетите тот или иной театр. И все это сделано так хитро и умело, что наивный читатель от удивления раскрывает рот и не знает, правду ли говорят объявления, или это пустая выдумка редактора

газеты, или ловкая критика самодовольного рецензента. Никому не приходит в голову, что это всего-навсего хорошо оплаченный анонс, а он может оповестить обо всем, что сердце менеджера желает, он шумит и кричит, звонит и свистит под фанфары и трубные звуки.

«Хочется вам увидеть возвышенное, нечто такое, что еще никогда не видели,— разливается соловьем автор статьи какой-то газеты,— хочется вам хоть час побыть в настоящем раю, получить небесное наслаждение, послушать настоящую еврейскую музыку, пролить обильные еврейские слезы, услышать естественный юмор и еврейскую шутку, от души посмеяться, наполнить уши патриотическим пением и увидеть исключительно красивое оформление сцены, увидеть чудесных танцовщиц,— приходите каждый вечер в самую красивую еврейскую трагикомическую, мелодраматическую оперетту».

\* \* \*

Другой менеджер объявляет: «Среди всех пьес всех еврейских театров постановка «Менора» выделяется таким мягким светом, что все остальные спектакли, приуроченные к праздникам, бесцветны... «Менора»,— пишет он дальше с апломбом,— это гигант среди карликов. В этой огромной стране уже на сцене выплакали все слезы о вдовах и сиротах, о детях, потерявших своих родителей, о несчастных еврейских дочерях, изнасилованных во время кровавых погромов. Уже зритель слышал все еврейские анекдоты и смеялся, слышал песни знаменитых примадонн, видел прекрасные танцы лучших танцовщиц мира. Но теперь ему предлагают возвышенное, поражающее ум и сердце представление, которое в Нью-Йорке никогда еще не было показано».

\* \* \*

Менеджер третьего театра распоряжается газетой, словно он хозяин, и рассказывает, как он проводил каникулы в Европе, побывал во всех больших городах, посетил все театры, прислушался и присмотрелся и, как пчела, отовсюду взял все ценное, чтобы показать это на нью-йоркской сцене еврейской публике, показать праздничный спектакль, который очарует зрителя национальными

костюмами, обрадует его патриотизмом и человеческим достоинством. Пьеса, которую он приготовил, покажет старые, ушедшие из жизни еврейские типы и новых людей двадцатого века. Пьеса пронизана библейскими мотивами, национальными мелодиями, патриотическими песнями и новейшими танцами парижского балета. «Это все слито воедино, — пишет менеджер-драматург, — и на это потрачена уйма денег. Когда пьеса уже была написана, я недоумевал, как же ее назвать. Представьте себе, что самое трудное — найти точное название для музыкально-драматического произведения, ибо здесь не музыка и не драма, не обычные типы и не обычное сценическое оформление. Музыкально-драматическое произведение должно иметь свое имя, которое гремело бы как колокол, звучало бы как скрипка и пело как примадонна. И бог помог мне. Я нашел абсолютно верное имя. Музыкально-драматическая и национально-патриотическая трагикомедия названа «Мойше», и никак не иначе».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ «Мойше»

Имя «Мойше» очень популярно в американском еврейском театре.

«Мойше» — так именуют почти всю еврейскую публику.

«Мойше» — это символ наивности, простоты и невежества.

«Мойше» — это тип простачка, с которым не следует церемониться. Ему можно преподнести солону, ничего — у «Мойше» хороший желудок, сварит.

Полагают, и это достоверно, что имя «Мойше» придумал, да простит он меня, отец еврейского театра, ныне покойный, Гольдфаден.

Я говорю «простит он мне» потому, что к слову «Мойше» добавляют нецензурное словечко *жопя*.

Правда, нашлись и такие, кто в одно прекрасное утро неожиданно выступили в «прессе» со страстным протестом, что прозвище «Мойше» приписывают самому святому имени, какое мы имеем. Протест не помог, прочитали, посмеялись, а имя «Мойше» по сей день имеет хождение в стране Колумба. «Мойше» перекочевал сюда со старой родины, и когда говорят «Мойше», то все еврейские актеры знают, кого подразумевают...

Одним словом, сочинитель национальной праздничной музыкально-драматической и патриотической пьесы «Мойше» верно прицелился и точно попал. Для примадонны там имеется патриотическая песенка, которая приводит публику в неистовый восторг. Примадонна исполняет эту песенку так обаятельно, мелодия такая сладкая, что зрители по окончании награждают исполнительницу громом аплодисментов. И песенку поет не одна примадонна, а весь театр: все артисты и вся публика им помогает.

«Мойше» — название песенки, и исполняется она так. Выходит примадонна, меццо-сопрано, очень красивая женщина в офицерском мундире, и поет:

Где же это Мойше?!  
Мойше, мой Мойше!  
Делов не натворил бы он здесь и там...  
Если повстречается, шлимазеле <sup>1</sup>, вам —  
Скажите ему, чтобы шел домой поскорее:  
Срам один мне с Мойше моим, евреи!..

Здесь взгляды публики обращаются к примадонне из партера, из лож, из галерки, и голос громко заявляет:  
— Я — Мойше.

А примадонна очень мило отвечает:  
— Нет, ты не Мойше.

Тогда еще кто-то говорит:  
— Меня зовут Мойше.

Тогда примадонна поет, а хор и публика ее поддерживают:

Мойше здесь и Мойше там  
Затекает тарарам!

После двух-трех спектаклей песня «Мойше» становится самой популярной в девятом районе Нью-Йорка. Ее распевают дома и на улице, на кухне и в мастерской, во всех еврейских ресторанах, в магазинах и на фабриках — везде и всюду: «Мойше», «Мойше» и «Мойше». Успех пьесы превзошел все ожидания. Менеджер театра, где эта песня была исполнена, может быть уверен, что его «Мойше» не придется снимать из репертуара до тех

---

<sup>1</sup> Шлимазеле — иронически-сожалеющее, соответствует русскому «горе ты мое луковое» (*идиши*).

пор, пока не надоест петь «Мойше». Пусть критики обрушиваются сколько их душе угодно, пусть фельетонисты высмеивают эту пьесу как хотят и назовут ее бульварной, но менеджер лучше знает, что публике нужно, что надо играть «Мойше». А если упрекают, что такие пьесы портят вкус публики, так пусть они обратятся к еврейским газетам Америки и посмотрят, какие бульварные романы те публикуют на потребу «Мойше»...

И начинается страстная полемика на страницах газет, кровавая борьба между представителями двух самых мощных обществ: между еврейской прессой и еврейским театром, и все ради «Мойше». А «Мойше» читает то, что газеты печатают о нем, и не обращает никакого внимания: у него нет времени заниматься такими глупостями, пустой философией. Он устал от шума и забот, от суеты и сутолоки, весь ушел в бизнес и одержим деловым азартом, ему дожить бы до наступления вечера, чтобы прийти в театр, отдохнуть и услышать песню:

Гвалд, евреи, Мойше!  
Скажите мне, где Мойше?

А публика помогает:

Мойше здесь, Мойше там,  
Мойше всюду нужен нам.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ Коммуна распадается

Праздник шел к концу. «Бездумная неделя» с нелепыми праздничными пьесами уже заканчивалась. Нью-йоркские еврейские театры приступили к созданию репертуара серьезных литературных пьес. На больших афишах и анонсах на второй странице газет появились хорошо известные еврейские американские имена. Пресса заговорила о новых драмах, о старых пьесах, завезенных сюда из Европы и своеобразно переработанных на американский лад так, что их не узнать. Словом, «ол райт».

Критика вполне серьезно обсуждала эти новшества, хвалила авторов до небес, одного они считают новым Зудерманом \*, другого Гауптманом \*, третьего Ибсенем \*, а четвертого Шекспиром, еврейским Шекспиром, даже талантливее Шекспира...

Разумеется, не все рецензенты были одного мнения и рецензии были неодинаковыми. Как водится, рецензенты

разделились, одни хвалили пьесу, другие хулили. Одну и ту же пьесу одна газета превозносила до небес, другая низвергала ее в бездну, топтала ногами, уничтожала в пух и прах, доказывая, что с тех пор, как Колумб открыл Америку, еще такой бульварщины не появлялось на подмостках еврейского театра.

Словом, «сезон» накануне закрытия был еще в полном разгаре и «Мойше» все еще господствовал на еврейской улице. Менеджер того театра, где сыграли пьесу «Мойше», засунув руки в карманы, жаловался, что театр слишком мал, чтобы вместить всех желающих послушать его «Мойше». При этом он состроил гримасу, означающую, что он не знает, как ему поступить с миллиардами, падающими ему, как камни с неба.

Легко вообразить, как менеджеры других театров ему завидовали. Напрасно они бросались в разные стороны, вытаскивали из портфелей лучшую драматургию мира. Напрасно они писали, что только они могут считаться «настоящим домом еврейской драмы». «Мойше» всем заморочил голову и победил. Бедные хозяйчики театров оказались на мели, но по окончании «сезона» появился источник новых надежд и возрождения. Они открыли глаза, ожили, вернулись к жизни.

А новым источником оказалась наша коммуна «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>».

Кочующая компания в первые дни приезда в Нью-Йорк ничем не занялась, но присматривалась, что происходит с еврейским театром в стране Колумба.

Человека, который ставит ногу на новую почву, можно сравнить с пловцом в неведомых ему водах. Прежде ему надо оглядеться, на каком он свете, присмотреться к нравам, прислушаться к языку, акклиматизироваться.

Но долго сидеть без дела тоже не резон. Наши артисты из труппы «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>» могли прожить весь капитал, который мистер Кламер привез из Лондона. При обмене каждого фунта стерлингов на американские доллары мистер Кламер вздыхал, кряхтел и подстегивал компаньонов — пусть живет принимаются за работу, намекая, что деньги тают и скоро окажется, что их просто нет, как говорят англичане: «Ноу пай — ноу шоу», или как говорят у нас: «Если нечего жевать, то ложись спать».

Разумеется, компаньонам жалобы мистера Кламера были не очень приятны, особенно они не нравились Нислу Швалбу. Все внимание было приковано к великому комбинатору, что он думает и какая комбинация рождается

у него в голове. И Нисл Швалб свое имя и умение не опозорил. Он только просил несколько выждать и доказывал, как дважды два четыре, что совсем скоро они будут загребать золото и переплунут Джейкопа Шифа \*, заткнут за пояс трех Рокфеллеров, иметь бы ему все богатства мира! Нисл Швалб понял, что законы старого света не годны для нового и то, что в Европе было хорошо, здесь очень плохо. Он своими комбинаторскими мозгами вычислил, что выступление всей труппой, как он раньше думал, может окончиться провалом и страшным крахом. Гораздо лучше будет, если выступят поодиночке, это значит — компания сохраняется, коммуна остается коммуной, но она должна быть поделена, каждый из ее состава должен себя проявить так, чтобы это стало сенсацией. При этом Нисл Швалб оказался не только великим комбинатором, но и неплохим дельцом, или, как здесь говорят, бизнесменом: сначала он показывает плохой товар, а затем хороший. Нисл прежде всего взялся пристроить свою сестру, примадонну Генриетту, и брата Изака.

Что касается Изака, то ему не повезло, еврейский нью-йоркский театр не усмотрел в нем дарования трагика. Знаток утверждали, что ему пристало быть скорее мясником, чем актером, разносить мороженое на голове, но не играть в театре трагические роли. Помимо всего прочего здесь, в стране янки, существует «юнион», и он чужих актеров не принимает, хоть теши ему кол на голове. И у Изака Швалба не было другого выхода, как искать себе новое ремесло. Какое? Но сначала мы расскажем о его сестре Генриетте, знаменитой примадонне из Буэнос-Айреса.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

### Звезда из Буэнос-Айреса

Брайнделе Козак не преувеличивала в своих письмах к Генриетте, что в Америке она будет на расхват, что менеджеры еврейских театров будут за нее драться, как за сокровище. Достаточно было Нислу Швалбу появиться со своей сестрой Генриеттой сначала в одном театре, потом в другом, чтобы привлечь внимание. Генриетта в это время была, можно сказать, в самом цветении, в блеске своей красоты. К тому же она элегантно одета: ее шляпа была броской и модной, и ее камни,

хотя среди них было больше фальшивых, чем настоящих, придавали ей исключительное обаяние, и когда брат привел ее за кулисы и представил актерам, то уже все знали, что это знаменитая примадонна, новая звезда на небосклоне еврейской сцены. Кто она и откуда — никто пока толком не знал. Узнали позже, когда в газетах появились статьи, потом фанфарно-трубные анонсы, громадными буквами вещавшие о выступлении новой звезды из Буэнос-Айреса Генриетты Швалб, которая своим прекрасным лицом и превосходной фигурой затмит всех красавиц, которые когда-либо выступали не только на еврейской сцене, но на всех сценах этой страны и всего мира. А поскольку менеджер заговорил о красоте, он позволил себе добавить еще несколько слов: на конкурсе красавиц в Париже Генриетта Швалб завоевала первый приз.

И довольно. О других достоинствах не нужно и сообщать. Театр уже все равно ломился от публики, которая пришла приветствовать звезду из Буэнос-Айреса, знаменитую красавицу, получившую первый приз в Париже. Необходимо добавить, что почтенная публика, которая привыкла к тому, что ее вводят в заблуждение, то есть к рассказам и небылицам, на сей раз была подготовлена наилучшим образом и встретила звезду из Буэнос-Айреса такой бурей аплодисментов, какие только возможны в еврейском театре Нью-Йорка.

Легко представить себе, каким тоном Нисл Швалб разговаривал с менеджером театра, когда он пришел на второй спектакль поговорить об условиях и увидел аншлаг у кассы: «Билетов нет». Нисл Швалб совсем забыл, что историю с первым призом в Париже придумал сам менеджер, и начал рассказывать с жаром и вдохновением, что ему свойственно, чудеса в решете о том, как его сестра получила этот приз, как завидовали ей все остальные красавицы. Как дирекция конкурса была обескуражена, узнав, что она еврейка. Как чуть-чуть не лишили ее приза. Счастье, что он, Нисл Швалб, готов был учинить скандал. И не только собирался, но и учинил скандал. Он сказал им так...

Нисл Швалб вынужден был на этом прервать свой рассказ, потому что почувствовал, что кто-то наступил ему на ногу, и так сильно, словно гвардейский солдат. Оказывается, это была всего лишь ножка Брайнделе Козак. Она вмешалась, чтобы он не болтал лишнего. Как сюда попала Брайнделе Козак? Что значит «как», она

ведь была подругой Генриетты Швалб. Это она пригласила «Звезду из Буэнос-Айреса». Как же вести переговоры об условиях — без нее, без Козак! После Нисл Швалб не удивлялся, что он зашел так далеко в своих рассказах. Но он был поражен, что у женщины может быть такая тяжелая нога!

Счастливая Генриетта! С тех пор, что она на сцене, с тех пор как она примадонна, подобного приема, как здесь в Нью-Йорке, она нигде не имела. Таких бурных аплодисментов она не слышала, сколько живет на свете. Нет. Это не были хлопки рук человеческих. Разве человеческая рука способна издать такие громopodobные звуки? Так гроыхают, когда выбивают палками пыль из подушек, одеял или, по крайней мере, когда дают человеку две дощечки и говорят: «Бей! Жарь! Валяй на чем свет стоит!..»

Мы должны в конце концов признать и открыть секрет, что на галерке были-таки люди с этими «инструментами» и они при появлении звезды из Буэнос-Айреса или при уходе ее со сцены создавали этот громopodobный шум. Театр чуть не разнесло от такого грома. Публика в партере со страхом смотрела наверх, пытаясь понять, откуда это гроыхание, но сама во всем этом участвовала. Это уже в натуре публики, ей нужен только первый сигнал. Кому это надо знать, кто и откуда подаст сигнал? Кому это, например, придет в голову, что там где-то сидят люди «с инструментами» в руках, готовые содействовать успеху примадонны, и что среди них, этих «клакеров», был не кто иной, как наш знакомый трагик Изак Швалб — и это был его «джоб», который ему на первых порах в Америке доверил его брат Нисл.

«Сик транзит gloria мунди» — гласит латинская поговорка, что в свободном переводе на еврейский означает: «Вот так иногда трагик становится клакером».

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

### Ломжинский соловей

Нашей коммуне «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>» необычайно везло в Америке, хоть раскрой ворота. В то самое время, когда «звезда из Буэнос-Айреса» взошла на небосклоне еврейской сцены, из еврейской прессы стало известно о прекрасном «ломжинском соловье», и еврейские газеты раструбили славу о нем по всей Америке.

Все зависит от судьбы. В Лондоне кантор был загнан в угол, валялся в подвале, умирал, не теперь будь помянуто, со всей семьей трижды на день с голоду, вынужден был обращаться к лондонским благотворительным обществам и к таким добрым людям, как мистер Кламер. А здесь, в Нью-Йорке, он стал популярным, вознесся на недостижимую высоту, стал знаменитым, имя его гремело по всему городу.

Во всех газетах и на всех афишах большими буквами значилось:

«Приходите сегодня в наш театр послушать «Кол нидрей» \* ломжинского соловья в сопровождении собственной капеллы, удивившей короля Георга!»

Как очутился ломжинский кантор в театре? И откуда возник здесь ни в чем не повинный король Георг? Наши друзья читатели таких вопросов не должны задавать. Они обязаны только помнить, что мы с нашей коммуной не в Егупце, а в золотой стране Колумба, в свободной, доброй стране, которая называется Америка.

\* \* \*

Что угодно можно сказать о наших братьях в этой золотой стране: можно, к примеру, их упрекнуть в пристрастии к бизнесу, что бросаются без оглядки в американскую жизнь, жадно перенимают внешний облик американца, хотят быть более американцами, чем сами американцы. К тому же: что для одного является недостатком, для другого, наоборот, достоинство. Еще одна добрая черта внушена им мудростью древней Библии: «Возлюбите пришельца, ибо сами были пришельцами на чужой земле». Эти слова они никогда не забывают и не забудут, даже если перестанут быть «зелеными». Если бы был уверен, что меня не обвинят в преувеличении, я сказал бы, что в гостеприимстве американский еврей напоминает праотца Авраама. Гость — не только родственник, не просто соотечественник, а событие. Каждый американский еврей, познавший «прелести» эмиграции, как только устроится, не успокаивается, пока не привезет поодиночке остальных родичей. Если бы он только мог, он бы, кажется, переселил бы сюда всех обитателей местечка, с раввином, резником и кантором. Пусть они увидят, как он живет в этой золотой стране Колумба, а он будет рад, если и они здесь хорошо устроятся.

Не надо думать, однако, что мы собираемся петь дифирамбы и хвалебные гимны нашим американским братьям. Люди всегда и везде только люди. Когда приезжает земляк, его действительно принимают с распростертыми объятиями. Первое время не знают, куда его посадить, не нарадуются ему. Дают ему наилучшие советы и указывают самую правильную дорогу. Поддерживают его часто как только могут наличным долларом. Это все в горячую минуту. Но время не стоит. И у него такой закон: «Тайм из мани» — «время — деньги». Проходит горячая пора гостеприимства, и гостю говорят: «Теперь, мистер, за работу! Страна для тебя открыта, иди, браток, делай жизнь»...

И гость, отдохнув и осмотревшись, выходит на кипящую улицу и теряется.

В чем дело?

В этом клокочущем котле, в этом мире суеты и бешеных темпов, где все заняты с раннего утра до поздней ночи, приедем не дожидаясь, чтобы кто-нибудь остановил его на улице, поздоровался, угостил понюшкой табаку и спросил: «Как тебя зовут?»

Этого он не дожидается. Нет. В Америке каждый должен проявить самостоятельность. Здесь каждый сам себе хозяин. Эта страна живет по железному принципу: «Халп ю селф» — помоги себе сам. По-нашему это значит: «Дяденька, не стойте мне на дороге!», «Дяденька, роите землю носом!» или: «Дяденька, вы можете умирать, если вам нечего есть». Нет. В такой стране вы не должны ждать почестей и чудес, а должны просить и предлагать себя: «Сэр! Я такой-то, умею то-то и то-то, нужны ли вам руки?...» Главное — это руки. Людей нет, только руки. Руки, которые предлагают. Руки, которые говорят. Руки, которые кричат: «Есть руки! Руки!» И чем громче вы будете кричать «руки» — тем лучше для вас.

Но не надо быть наивным и думать, что нужно ходить по улице и кричать: «Руки! Руки!» Нет. Для этого существует пресса! Для этого созданы газеты, обслуживающие широкую публику, газеты, нашпигованные и утыканые объявлениями и широковещательными анонсами снизу доверху, которые трезвонят, орут, возвещают. Кто хочет в этой стране «сделать жизнь», кто хочет обеспечить себя заработком в свободной золотой Америке и не умереть с голоду, тот должен прибегнуть к помощи прессы, тот должен — хочет он или не хочет — обратиться к газетам, самого себя рекламировать, трубить о себе всюду и везде!

Это положение сразу понял наш руководитель коммуны. Он почуял нюхом и узрел глазами, что медлить нельзя. Надо взять вожжи и кнут в свои руки, и марш! К тому же повезло ему с ломжинским кантором, ибо это были праздничные дни, когда канторы в Америке — ходкий товар. И повезло ему еще потому, что как раз к их приезду какая-то нью-йоркская община осталась без кантора. Этого товара в Америке предостаточно, и на первый же анонс «ищем кантора на праздники» — посыпалось канторов со всего света, и нашему ломжинскому кантору пришлось выдержать большой конкурс. В этом ему помогли его ломжинские земляки, и наш ломжинский кантор стал «ол райт».

Это стало не более чем интермедией, прелюдией к карьере ломжинского соловья. Американской иудейской общине кантор нужен только на праздники Нового года и Судного дня. Но тут сказалась предприимчивость великого комбинатора, Нисла Швалба. Он снял холл, а в газетах поместил такой анонс:

«Человек — соловей, горло — кларнет, голос — скрипка. Это мировая знаменитость, ломжинский кантор с собственным хором. Он будет петь «Кол-нидрей» в Мюзик-холле в сопровождении собственной капеллы, играющей на всех инструментах, удостоившейся играть перед королем Георгием».

Первый концерт оказался не последним, потому что на завтра утром Нисл Швалб и его финансовый компаньон мистер Кламер сидели за кружкой пива и курили гаванскую сигару вместе с менеджером еврейского театра и заключили договор на тридцать спектаклей, в которых ломжинский кантор со своей капеллой будут каждый вечер петь «Кол-нидрей» в знаменитой оперетте, именуемой тоже «Кол-нидрей».

Как только договор был подписан и менеджер один экземпляр положил во внутренний карман, мистер Кламер начал жалеть о содеянной сделке и попрекал Нисла Швалба: зачем он такой золотой товар продал за полцены. И он оказался прав, потому что тот же менеджер после первых спектаклей заключил второй контракт еще на тридцать представлений и заплатил за каждое из них в три раза дороже. Упреки привели к тому, что Нисл Швалб впервые на американской земле поссорился с мистером Кламером, они обзывали друг друга такими словами, что мы не решаемся их воспроизвести, ибо они не к лицу таким важным джентльменам. Перепалка могла вызвать

страшный скандал. Один из джентльменов, Нисл Швалб, готов был пуститься в драку. Но кантор с канторшей вмешались в спор и умерили пыл спорящих. Они напомнили, что им предстоит большая работа по определению на работу Рафалеско.

Тем временем канторша устроила шикарный ужин для всей коммуны, пригласила мадам Черняк и нескольких ломжинских земляков, которые обещали прийти со своими миссис, чтобы провести вечер у ломжинского соловья, познакомиться с его компаньонами и покутить на славу.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### Странная биография

Устроить Рафалеско было не так просто, как полагали компаньоны: во-первых, с тех пор, как труппа «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>» прибыла в Нью-Йорк, его в глаза не видели. Целые дни он возился с мадам Черняк, кто знает, какие у него дела с этой зверюшкой. Во-вторых, вечерами его вообще не видно, он то на концертах, то в театрах аристократического квартала Нью-Йорка — «Аптаун», словно он прибыл сюда для американцев, а не для евреев, будто еврейский театр его не интересует, будто он не еврейский актер, не блуждающая звезда кочующего театра, не сын еврейского гетто.

Первое время компаньоны не очень задумывались — молодой человек, думали они, первый раз в чужой стране, пусть насмотрится. А потом начали на него косо поглядывать, расспрашивать, где бывает и что делает, почему он не интересуется тем, чем необходимо: не изучает еврейскую сцену еврейской части Нью-Йорка, именуемой Даунтаун, не учится у знаменитых американских еврейских звезд.

На эти нотации Рафалеско ответил, что ему не надо знакомиться с еврейской сценой, он и так хорошо ее знает, а если уж учиться, то на это существуют прекрасные американские театры.

Но это была лишь отговорка. Рафалеско был занят в Нью-Йорке своими делами, как мы об этом скоро узнаем. Компаньоны были недовольны, им хотелось поскорее представить Рафалеско еврейской публике и показать, кто он и на что он способен.

Разумеется, Нисл Швалб действовал. Прежде всего он познакомил всех репортеров еврейских театров с биогра-

фией Рафалеско. Он им сообщил (каждому по секрету), что Рафалеско из богатой бухарестской семьи, что отец его, Семуэл Рафалеско,— один из самых богатых банкиров Румынии, получивший права гражданства от самого короля. Правда, это обошлось в копеечку! Малыш Рафалеско уже в младенческом возрасте проявил огромные артистические способности и мечтал изучать искусство, но фанатики родители и слышать об этом не хотели. И юный Рафалеско однажды предстал перед румынской королевой, знаменитой драматической писательницей Кармен Сильва...

— Кармен Сильва — новеллистка,— прервал Нисла один из репортеров.

Но Нисла не сбить с толку пустяками, и он продолжал:

— Но драматургию она понимает? Итак, наш Лео представился ей и прочитал несколько монологов, королева чуть с ума не сошла и за свой счет устроила его учиться в самый большой румынский театр. Однако молодой Рафалеско тянулся к еврейской сцене. «Я сын еврейского народа,— сказал он,— и я обязан служить своему народу, родному языку, а не чужому». И вот он вступает в состав странствующей еврейской труппы, которая в ту пору из города в город скиталась по Румынии. Директором труппы был широко известный актер и высокообразованный драматург Голцман, знаменитый сочинитель знаменитой пьесы «Уриэль Акоста».

Здесь опять его прервал репортер:

— Извините, автор «Уриэля Акосты» не Голцман, а Карл Гуцков.

Нисл Швалб не из тех, которые теряются, и он ему ответил:

— Я знаю, что автором «Уриэля Акосты» является Карл Гуцков, я говорю о переводе на еврейский язык.

— Простите,— перебивает его еще раз репортер,— перевел на еврейский «Уриэля Акосту» не Голцман, а Иосиф Лернер\*.

Но Нисла Швалба не остановишь:

— Знаю, что Лернер. Но Голцману перевод не понравился, засел он на всю ночь и заново перевел «Уриэля Акосту» специально для Рафалеско. И очень удачно. Никто так славно не перевел «Уриэля Акосту», как Голцман, и никто так великолепно не сыграл эту роль, как Рафалеско. Оцените только факт! В Вене, когда Рафалеско играл эту роль, на спектакль пришел Зоненталь, великий Зоненталь, и плакал, плакал, как дитя, и сказал: «Все, больше я эту роль не играю». И что вы ду-

маете, он свое слово сдержал, не играл ее до самой смерти, иметь бы мне все богатства мира...

Американские репортеры — народ шустрый, они понимают, что такое блеф. Они раскусили Нисла, они кое-что добавили, кое-что убавили, и получилась биография на славу, удивительная биография.

На следующий день, когда Рафалеско раскрыл газеты, он прочел о себе статьи под разными заголовками:

«Новая звезда на еврейской сцене!»

«Кармен Сильва вне себя!»

«Королева превозносит молодую звезду!»

«Зоненталь обливается слезами!»

Наш герой разразился таким хохотом, что его с трудом уняли.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

### В «кибецарне»

«Кибец» — слово, образованное на американской почве в атмосфере еврейской прессы и еврейского театра.

Перевести это слово на наш язык нелегко, для этого необходимо прибегнуть к многим словам и понятиям. Скажем так:

«Кибец» означает — обмениваться колкостями; оклеветать кого-нибудь, что называется, не сходя с места; злословить, лезть в печенку, пронять до седьмого ребра, жужжать в самое ухо, попасть не в бровь, а в глаз, выматывать кишки, сдирать кожу, тянуть жилы, изводить до смерти, есть поедом, вымотать в поцелуе душу, посыпать свежую рану солью. О, наш язык богат, и все же все приведенные слова не выражают полностью содержание слова «кибец», которое могло вырасти только на американской почве. Теперь вы поймете, почему так трудно перевести слово «кибецарня».

Кибецарня — это своего рода клуб или кафе в девятом районе Нью-Йорка, где собирается особая категория интеллигентов, имеющих отношение к литературе, театру и политике.

В большинстве своем это люди противоборствующих лагерей и партий, конкуренты и заядлые враги, враги на всю жизнь, ненавидящие друг друга, не желающие ничего слышать друг о друге. Если кто-нибудь из них, не приведя господь, умирает, то сторонники противоположного лагеря готовы пуститься в пляс, ликовать у открытой могилы.

В определенные часы они собираются в кибецарне, занимают столики, окруженные своими поклонниками, просят кое-что из еды и закуривают сигары. Вот теперь кибецарня начинает работать, сначала пускает в ход комплименты, затем все перебрасываются колкостями, шутками и прибаутками, анекдотами и легкой ложью, рассказами. Затем перебивают косточки, злобно критикуют и наступают друг другу на больные места, с наслаждением наблюдают, как кто-то из них корчится от боли. И все это сопровождается улыбкой или громким смехом.

Кибецарня — это добровольный ад, где людей жарят на медленном огне, это парилка, где люди хлещут друга друга жгучими венниками. В кибецарне фабрикуются экспромты, репутации, определяются судьбы писателей, артистов и художников. Кибецарня высказывается остро и коротко во вред или на пользу. Кибецарня выносит свой приговор «пан или пропал», она ставит свою печать: «ол райт» или «ко всем чертям».

Теперь, когда вы знакомы с «кибецарней», войдем на секунду в ее апартаменты.

\* \* \*

Это было в туманный осенний день. Невидимое небо Нью-Йорка заслонено было громадными зданиями, именуемыми «небоскребами», и железными воздушными дорогами, известными здесь под названием «Элевейторов», и напоминали они закоптелый и слезливый лондонский день.

Это было в предобеденное время, в тот час, когда второй по величине город мира особенно оживлен: все в лихорадке несутся, ведут бойкую торговлю, занимаются бизнесом, все кипит, как в кипящем котле.

И несмотря на такой оживленный час бизнеса, «кибецарня» была набита людьми, все столики заняты, иголке негде упасть. Стоял густой голубой дым, хоть топор вешай. Здесь все шумно разговаривали, трескотня стояла невероятная — одним словом, «кибецарня» работала.

За одним столиком сидели трое, они пили пиво и так увлеченно разговаривали между собой, что даже не чувствовали, как кругом говорят о них и поносят их самым скверным образом. Но троица была занята своими делами: каждый из них хвастал и лгал на чем свет стоит. Из этих трех типов, перещеголявших друг друга во лжи, двое нам известны по Лондону. Это наши лучшие друзья

мистер Кламер и Нисл Швалб. Остается познакомиться с третьим субъектом. Он не из Лондона, а настоящий американец. Американца вы легко узнаете и на далеком расстоянии: у него особенная внешность, своя речь, свои повадки. Если англичанин — угрюмый меланхолик, то американец живой, веселый янки с умными острыми глазами, приятными манерами и обязательно золотыми зубами.

Персона, с которой мы собираемся вас познакомить, — еврейский театральный менеджер Никел.

Никел — самая популярная фигура в еврейском Нью-Йорке. Он один из тех, о которых в Америке говорят: «гуд бой», а в России: «рубаха-парень», «свой в доску», «душа нараспашку». На его молодом лице всегда играет дружеская улыбка, и всегда у него для каждого есть доброе слово. Если у него имеется, он готов одолжить вам немного долларов. Чаще бывает, что сам Никел ищет займа. Часто он сам бывает без денег, ибо всем верховодит его миссис. Она прямо мужик в юбке. Это все знают. Его враги и конкуренты злословят об этом в кибецарне как только могут. Вообразите, что они и от себя прибавляют, но ему наплевать на их выдумки. Если бы Никел все допустил близко к сердцу, где бы он теперь оказался?

Никел знает, что в Нью-Йорке его считают самым крупным аферистом.

Никел знает, что если кто-то где-то завирался, то в кибецарне уверены: «Кто это сказал? Никел!»

К примеру, рассказывают, как Никел хвастал, что однажды он на автомобиле переправился через Ниагарский водопад по льду в середине июля во время сильного мороза.

Мало ли что кибецарня может выдумать. Болтуны! Бездельники! Враги! Конкуренты! И нечему удивляться. А ну, пусть кто-нибудь из театральных менеджеров похвастается такими успехами, как он, Никел? А ну, пусть кто-нибудь попытается, как он, во время гастролей труппы по стране в течение одной недели дать двенадцать спектаклей в восьми городах, при этом два раза съездить из Филадельфии до Чикаго и обратно.

Так хвастался наш новый знакомый мистер Никел перед нашими старыми знакомыми, Нислом Швалбом и мистером Кламером, которые ответили ему собственными историями, высосанными из пальца, похлестче тех, о которых повествовал Никел.

Все трое вралей пытались перещеголять друг друга.

Блеф — это подлинно американское слово, которое не так просто перевести на наш язык. Блефовать не значит грубо лгать, выдумывать ярмарку на небесах, рассказывать небылицы без цели, — этого американцы не любят, они это называют ложью напрапалую.

Американец слишком умен, слишком разборчив и слишком бизнесмен. Американец сдвинет набок свой котелок, засунет толстые пальцы под жилетку — и солжет невинно, умело, только ради бизнеса.

Вышеназванные типы, сидевшие в кибецарне и бесовестно вравшие, — не какие-нибудь бездельники, как наши на старой родине, которые коротают дни в синагогах и занимаются пустословием ввиду отсутствия хоть какого-нибудь занятия. Нисл Швалб, мистер Кламер и Никел, встретившиеся в кибецарне, наострились на бизнес и потому «блефовали». Наши давнишние друзья в сердцах должны были признать, что в вопросах блефа Никел их превосходит. Никел со своими историями и хвастовством заговорил им зубы, задурил им головы и запудрил мозги. И им пришлось замолкнуть. А беседа имела серьезный характер: Никел приглашал в свой театр знаменитую звезду из Бухареста, ту, которую королева Румынии назвала величайшим трагиком мира.

Мистер Швалб и мистер Кламер, перебивая друг друга, расхваливали молодого артиста. Мистер Кламер рассказал о том, как Рафалеско поразил лондонскую публику, очаровал даже такого бывалого человека, каким является сам Кламер, хотя он ни разу не посетил спектакли гастролирующей труппы лондонского «Павильон-театра»... Нисл Швалб перебил его и сказал: «Чего вам еще — настоящие англичане говорили, что Ирвинг по сравнению с Рафалеско — ничто, иметь бы мне все богатства мира!»

Никел их не слушал. Когда они дуэтом «блефовали», он улыбался, обнажая свои золотые зубы, и сочинял новые небылицы о себе и своей труппе, утверждая, что его театр занимает первое место среди всех театров США. Пусть какая-нибудь другая еврейская труппа докажет, что ее сам президент Америки посетил, занял ложу, громко аплодировал и во весь голос кричал «браво!». Такое могло быть только с его труппой. Только он, Никел, удостоился чести представиться Рузвельту и пожать ему руку на виду у всех присутствующих, президент похло-

пал его по плечу и сказал «ол райт!». И на память подарил ему золотые часы с цепочкой. И Никел, вытащив из кармана стальные часы с дешевой цепочкой, оправдываясь, сказал, что золотые часы, подаренные президентом, он в будни никогда при себе не носит.

Так рассказывает директор Никел и не замечает того, что происходит за его спиной. А там высмеивают его и заодно с ним их птичку из Бухареста, хотя еще никто не видел Рафалеско на сцене. Его называли «Жар-птицей», «Румынским пастушком», «Станным парнишкой», «Хаим-Янклом» и многими подобными прозвищами. Чувствовалась особая заинтересованность кибецарни в судьбе Рафалеско.

Те, что издевались, были патриотами других театров, которым не удалось заполучить молодую звезду из Бухареста, или завистниками из прессы, которые не оказались среди первых, посвященных в тайны биографии восходящей звезды. А может быть, это были молодые актеры, которые бездельничают в ожидании решения «юниона» о приеме их в какой-нибудь еврейский театр. Они ждут, а тут появляется мальчишка-сокровище и получает самое лучшее приглашение. Можно ли такое выдержать?

Но нет, мало только злословить. Надо выступить организованно против такой несправедливости. Надо провалить зеленого свистуна уже на первом его спектакле. Провалить так, чтобы он немедленно убрался восвосяи, покинул страну Колумба и отправился на родину, в Бухарест.

О! Америка — благословенная страна, она все умеет. Здесь можно человека превознести до небес и низвергнуть в геенну огненную. Середины здесь нет.

Бедный Рафалеско! Он не знал, что готовит ему кибецарня и что ждет его в Америке. Но что ему кибецарня, когда голова его была занята Пятой авеню аристократического Нью-Йорка.

Там жила гремевшая на всю Америку знаменитая певица из французской оперы мисс Розалия Спивак.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Несколько слов о героине романа

Наша героиня, которая еще в юные годы, почти в детстве, скиталась со странствующей труппой Альберта Шупака и развлекала еврейскую публику песенками «Ой-ой-ой, Хава!» и «В пятницу вечером» и дру-

гими красивыми песнями, никак не ожидала, что ее имя займет почетное место среди знаменитейших певиц мира. Ей даже не снилось, что настанет время, когда она будет жить в фешенебельной гостинице на одной из богатейших улиц: на Пятой авеню самого крупного и самого богатого города мира, Нью-Йорка, — будет выезжать в собственном автомобиле с чернокожим шофером, а репортеры лучших газет мира будут часами ее осаждать, ждать с фотоаппаратами, искать возможности поговорить с ней хоть две-три минуты.

Как можно так вознестись? Этакое случается не вдруг. Знаменитостью за ночь не становятся.

Жизнь каждой мировой знаменитости: музыканта, певца, художника, скульптора, писателя или крупного миллионера — нам представляется каким-то восхождением на гору. Дорога длинная, далекая и трудная, и не всегда усеяна цветами, чаще шипами. Если можно было бы взвесить муки и огорчения, которые наша молодая героиня перенесла, тихие слезы, которые она пролила у себя в постели, когда никто не видит, возможно, они перевесили бы роскошь и теперешний успех, гром аплодисментов, которыми ее так охотно одаряет замечательная публика, благоуханные цветы, которыми забрасывают ее с головы до ног, и дорогие подарки, которые ей преподносят аристократы...

То, что мы сейчас вам здесь предложим, это выдержки из нескольких американских и еврейских газет. Читатель сам решит, что в них правда, а что сочинено рекламы ради:

«Родившись в маленьком местечке в Бессарабии у бедных и фанатичных родителей (отец был раввином и кантором), мисс Розалия Спейвак в детстве была похищена труппой странствующих, словно еврейские цыгане, актеров, которые блуждают в этой стране из города в город и промышляют тем, что крадут молодых девушек и готовят из них актрис. Чтобы их не схватили, они перебрались через границу и там заставили ее петь дешевые песенки сначала на улице, потом в кабаре, кафе-шантанах и мюзик-холлах. Возможно, карьера мисс Спейвак окончилась бы трагически, как у многих уличных певиц, если бы не счастливый случай, приведший к знаменитой, всемирно известной певице Марчелле Эмбрих, которая увлеклась ее задорными, похожими на цыганские, песнями, жгучими цыганскими глазами. Эта редкостная певица впоследствии вызвала большой интерес в австрий-

ском дворце, так что сам Франц-Иосиф удостоил ее стипендией для продолжения музыкального образования. В короткий срок блестяще закончив Венскую консерваторию, Спейвак на средства венгерского мецената была послана в Берлин, а оттуда в Париж на два года, где она познакомилась со знаменитым французским меценатом Жаком Ресико, который ввел ее в парижскую «Гранд-опера», где выступила в новой опере «Электра» под управлением Рихарда Штрауса с таким успехом, что сразу была приглашена на три месяца петь партию Электры с окладом полмиллиона франков. Чуть позже ее можно было уже услышать в Вене и Будапеште, где ее вечер стоил десять тысяч крон. Несколько позже Спейвак ангажировали в Лондон с двумястами фунтами за вечер, а сейчас в Нью-Йорке она получает две тысячи долларов за каждое выступление... Цену, которую платят только величайшей певице мира, знаменитой Мельбе».

Сейчас мы приведем два письма разных людей, написанных в разное время. Мы надеемся, что эти письма имеют близкое отношение к внутренней жизни нашей героини, и они нам расскажут гораздо больше всех биографий и газетных статей.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Марчелле Эмбрих от Розы Спивак

Дорогая мамочка Марчелла!

Я уже третью неделю на моей родине и ни одного письма вам не написала. Это несправедливо, и я заслуживаю наказания. Мое наказание будет: большое письмо. Я вам опишу, дорогая мамочка, все. И чистую, святую правду. Моя мамочка знает, от нее секретов у меня нет, как нет секретов от себя.

Я начинаю с самого начала — с моей родины.

Я свою родину нашла такой же, какой покинула. То же самое бедное, маленькое местечко. Сердце забилося, страшно забилося, когда глаза увидели давно знакомые, любимые места, когда ухо услышало любимое имя «Голонешти».

Го-ло-не-шти!.. Вы мне поверите, мамочка? Я готова была броситься целовать черную землю, серую пыль ее немощных улиц. Я бы это действительно сделала, если была бы одна, без сопровождающих, без моего маэстро Сальфонини и без моих подруг. Ах, зачем я их с собой

взяла? Зачем мне нужен был этот тарарам? Лучше бы я одна поехала! Я признаюсь вам, мамочка, как противно было, что я краснела перед ними, когда мой отец и мать меня обняли и поцеловали. Мама моя плакала и смеялась и непрестанно говорила — она любит поговорить, а отец мой был бледен как смерть и руки у него дрожали. Я не знаю, что со мной было, но я себе места не находила. Из-за того ли, что они одеты старомодно, как все в нашем маленьком местечке? Но факт, любимая мамочка! Я знаю, как это низко, но так было: мне было стыдно. Я стыдилась своих любимых, преданных родителей, которые из-за меня пережили столько позора, горя, мук и сердечной боли. Правда, я сейчас каюсь и всеми силами стараюсь исполнить свой долг перед ними. Но что это значит! Маленькое удовольствие, которое я могу им сейчас доставить, не в состоянии покрыть даже сотую долю боли, которую я им причинила моим бегством со странствующей труппой. Это преступление я никогда не смогу смыть, если бы я даже была к ним в десять раз внимательнее. Каждая сотня, каждая тысяча, что я трачу на них, слышу, кричит мне: «Слишком поздно! Слишком поздно!..» Я смотрю на моего больного, бедного отца, которого я так любила, и мне кажется, что его большие черные глаза спрашивают меня: «Где ты была, дочка, тогда, в темные длинные бессонные ночи, когда я глаз не мог сомкнуть и бога просил о смерти?.. Одно письмецо от тебя, одна твоя строчка, одно хорошее слово — и мир бы осветился»... И я вспоминаю, милая мамочка, вашу отповедь тогда, когда я хотела скрыть от вас, что у меня есть родители. Лицо мое до сих пор пылает от стыда, я уверена, что нет другой такой на свете грешницы. Теперь нет такой жертвы на земле, которую я не готова принести ради моих бедных, обиженных родителей. Я хотела бы забрать их к себе, но это невозможно: отец болен, а мама одного не оставит его ни на один день, даже если наполнят, говорит она, этот дом золотом и дадут ей, говорит она, корону английской королевы в придачу. Ну, сказала я себе, я обеспечу их на старости лет. Я куплю им дом. Здесь каждый бедняк мечтает иметь собственный дом. Но так получилось, что я это сделала больше для себя, чем для них, точно так же как мой приезд на родину был больше для себя, чем для них, меня тянуло сюда только одно, один человек...

Моя мамочка Марчелла знает, кого я имею в виду... Я не только не нашла его, но не смогла даже узнать,

куда он делся, найти его след. Вся семья разорена. Мать умерла, отец с ума сошел, братья и сестры расползлись.

Осталось только владение. Двор, который казался мне когда-то большим и красивым, дом, казавшийся мне таким богатым, светлым и праздничным. Тот дом, куда я когда-то вступила как в недостижимый рай. Тот дом, в котором было так весело и уютно. Маленьким, низеньким, убогим и скучным предстал он теперь перед моими глазами. Из всего, что там было, осталась лишь старая бабушка, которая не в своем уме, зять-идиот и старый пес, слепой на один глаз, которого зовут Теркуш.

И вот я сказала себе: этот двор я должна купить своим родителям. Не потому, что он мне очень понравился теперь. Зачем он мне! Когда я буду здесь жить? Нет. Это был каприз. Каприз такой цыганки, как я...

Когда я впервые в рваных ботинках переступила порог этого дома, я безумно позавидовала веселью, свету, богатству. Почему им, богачам, дано столько добра, а нам, беднякам, ничего? Так я тогда думала и дала себе слово: если мне когда-нибудь поможет бог, то этот дом и двор станут моими, нашими!.. А может быть, мне этот дом дорог, потому что здесь родился, воспитывался и вырос тот, который впервые зажег в моем сердце святой огонек?.. Тот, которого не могу, не в состоянии забыть?..

Я недолго торговалась и купила владение, несмотря на то что моя мама очень возражала: ей не к чему такое большое хозяйство. Конечно, я победила. Двор будет мой, мой! Так я сказала и уже почти забыла, что покупала родителям убежище в старости. Я наняла рабочих отремонтировать его, очистить двор, перекопать огород. И сейчас я уже жалею об этом. Разве не права была моя мама: «Кому нужна такая громадина?..» Сама не знаю, зачем это. Не случайно зовет меня мамочка Марчелла — цыганкой, я это имя вполне заслужила. Я живу, как цыганка. Я транжирю деньги, как цыганка. Я люблю тряпки, как цыганка. Я переезжаю с места на место, как цыганка. Время провожу здесь, как цыганка. И полна цыганскими фантазиями. Все местечко, отец и мать тоже, смотрят на меня как на сумасшедшую. По целым дням разъезжаю в автомобиле — я, мои подруги и мой маэстро, — и часто устраиваем пикники в ближайшем лесу. Мы распеваем цыганские песни и пляшем цыганские пляски. Мы такое творим, что местная полиция смотрит на нас с подозрением. Но кто считается с полицией? Днем на автомобиле, по вече-

рам на лодке. Ах, летние вечера в Бессарабии — что может с ними сравниться! Одна за другой, как яркие свечи, зажигаются звезды на широком небосклоне. По ту сторону леса выглядывает луна и серебрит речку, камыши и все местечко, которое спит так спокойно, так невинно, как могут спать только такие бедные, одинокие души, что довольствуются столь простым блюдом, как мамалыга... И только мы, башибузуки большого мира, цыгане с той стороны границы, сытые, переполненные удовольствиями и роскошью, мешаем святой тишине волшебной ночи плеском весел, эхо которых отзывается в ближайшем лесочке. Это время тишины. Вот когда приходит время взглянуться в небо и поискать знакомые и неизвестные звезды, блуждающие без цели и без смысла... Наступает время тоски по тому, кого встречаешь один раз в жизни... Тогда наступает время моему маэстро, сеньору Сальфонини объясняться мне в любви, сколько душе его угодно. Ах! Не двадцать первая ли это жертва любви ко мне! Я хочу надеяться, что и его, как и моих прежних двадцать жертв, не дай бог, утопленником в реке не найдут и что моему двадцать второму больше повезет.

Вот так живу я на тихой бедной родине, далеко от большого обманчивого мира.

Целую мою дорогую мамочку Марчеллу крепко-крепко!

Преданный вам друг

цыганка *Роза*.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Мейер Стельмах своему другу

Представляете ли вы мою радость и мое удовольствие, когда я получил ваше милое письмо? Во-первых, узнал, что вы живы, слава богу, я ведь так давно о вас ничего не слышал. С тех пор, что я в Лондоне, я от вас не имел ни слова. Во-вторых, читать ваши письма просто наслаждение. Мне кажется, что никто не пишет так приятно, так умно и сердечно, как вы. Хочется каждое слово расцеловать. Вы ведь знаете, что я всегда был любителем идиш, тем более если это исходит от друга, как вы, с которым мы вместе бедствовали, как говорят, царствовали в нищете, вместе ели селедку с хлебом, пили из одного стакана, спали на одной постели. Ой, годы! Годы! Вы хоть помните? Я это хорошо помню и при

любой возможности вспоминаю. Я не люблю, как другие, скрывать, кто они на самом деле. Вот такой я. Простой, обыкновенный человек. Мудрствовать не умею и лгать не люблю. Я всем рассказываю свою родословную. Когда ко мне приходят корреспонденты газет с вопросами: «кто Гриша», «что Гриша», «как Гриша стал Гришей», я говорю им: братцы, Гриша не Гриша, Гриша — это я. Если бы не я, не было бы Гриши на свете. Это значит, был бы Гершл, или Янкл, или Иосл, или Мотл, но не Гриша Стельмах, который так гремит, что сама «куин» (так здесь зовут королеву) пригласила его на концерт, пожимала ему руку и расспрашивала подробно, есть ли у него родители, братья и сестры и о других подобных вещах. Да, я могу похвалиться, что только я со своим простым пониманием и силой воли, до которой бог меня допустил, и маленьким везением, которым он меня одарил, только я мог довести до того, что города и страны дерутся из-за моего сына, что все в один голос кричат: «Гриша Стельмах! Гриша Стельмах!» Где это слыхано, чтобы в течение одной недели получить восемь приглашений со всех концов мира: из Парижа и Манчестера, Вены и Петербурга, из Антверпена и Нью-Йорка, из Лейпцига и Чикаго. Не знаем, кому раньше отвечать, хоть разорвись на части. И как назло, я теперь один. Я от своего прежнего компаньона, менеджера, о котором я вам когда-то писал, слава богу, избавился. Контракт кончился. У него была охота заключить контракт еще на пять лет. Я сказал: хватит! Довольно вы сосали мою кровь. Ему, полагаю, больше в жизни такой сон не приснится, ибо на свете существует только один Гриша Стельмах. Теперь я сам себе хозяин. Как говорится: моя свадьба, мои музыканты. Что хочу делать, то и делаю, что скажу, то сказано, так я поставил дело, понимаете ли: отец отцом, а ребенок ребенком. Сколько трудностей я перенес на собственном горбу, сколько настрадался, пока Гриша стал теперешним Гришей Стельмахом, не знаю, есть ли еще второй такой отец на свете. Другой на моем месте был бы уже давно... ха-ха! Холмик был бы, а на нем трава. Но об этом никто не знает и знать не хочет. Люди думают, что так просто вырастает такая звезда, как Гриша Стельмах, и мне все так завидуют, что трудно описать. Показывают на меня пальцами: «Посмотрите, как этот Стельмах золото загребает лопатами!» Есть и такие друзья, которые приходят с советами, добрыми словами, проявляют заботу о моем сыне, так как я не даю ему учиться. Доброжелатели,

где вы раньше были, когда мое семейство, не будь сейчас помянуто, пухло трижды на день с голоду, а сам я обливался кровью, потому что у Гриши не было целой пары сапожек? Почему вы тогда не заботились о моем сыне, когда я метался, голодный, убитый горем, по еврейской улице с моим «бриллиантом» и кричал: «Я Соломон мудрый! Евреи, я обладаю миллионом!» Кто меня тогда слушал? Могу похвастать, что я объездил весь мир, послушайте, нет второй нации на свете, как наши евреи, здоровья им! Пусть бог не покарает меня, столько богачей у нас, которые бросают деньги на ветер, тратят тысячи, сотни тысяч черт знает на что, подражая иноверцам, и нет никого среди нас, кто бы отозвался, когда к нему обращается талант. Это мог бы быть даже Моисей-пророк, но если у него рваные сапоги, дело плохо. Понятно, что сейчас перед нами все двери открыты. Сейчас богачи считают для себя честью, если сын мой удостоивает их взглядом. Самый большой магнат считал бы себя счастливым, если бы мой сын намекнул, что просит руки его дочери. Его озолотили бы с головы до ног, и мне насыпали бы полную шапку золота, если я бы только глазом моргнул. Но есть же бог на свете, слушайте, я вам откровенно расскажу, изолью душу другу, это целая история.

Помните, я вам когда-то рассказал о девушке-красавице, об актрисе из еврейского театра, по имени Роза Спивак? У Щупака я с ней познакомился. Он хвастал, что она его племянница из Варшавы. Я знаю! Он говорит, племянница из Варшавы, пусть будет племянница из Варшавы. Какая разница! Эта девушка понравилась мне с первой минуты. Что я вам скажу, очень понравилась! Во-первых, красивая девушка, красавица с горящими глазами. Черная, черная, как цыганка, но очень обаятельная! И неглупая девушка, можно сказать — умница, живая, огонь. Ну, а голос, а ее пение! Вы ведь знаете, что я любитель песен еврейского театра, и с тех пор, как это мой хлеб, я наслушался певцов и певиц досыта, настолько, что уже из горла прет. Но такого пения, как у этой Розы Спивак, я не слышал и не услышу. Ее голос льется прямо в душу! Что я вам скажу, эта девушка взяла меня за душу. По ее словам я сразу понял, что это не просто актрисочка и не племянница Щупака, а порядочное дитя. Оказывается, что вся история Щупака сплошная ложь. Девушка не его племянница, а чужая. И не из Варшавы, а из маленького местечка в Бессарабии, дочь кантора. Об этом я уже позже узнал. Щупак был там со своей

труппой и услышал ее пение, голос ему понравился, и он увел ее из дому, обещал золотые горы, обещал за границей обучать ее музыке. А потом за границей он сам стал ее обучать музыке, научил петь перед публикой «Хаве», «В пятницу вечером» и тому подобные красивые песни, и к тому же учил плясать... Бог знает, что из нее вышло бы, если бы я не поговорил с ней и не познакомил бы ее со знаменитой певицей Марчеллой Эмбрих, которая давала концерты вместе с моим Гришей. Суждено счастье девушке, нужно было ей со мной поговорить и попросить меня познакомить ее с этой Эмбрих. Когда та услышала пение девушки, то не захотела отпустить ее.

Первым долгом Эмбрих вырвала ее из лап Шупака и взяла к себе, определила учиться в Венскую консерваторию, наняла лучших профессоров и сделала из нее одну из лучших певиц в мире. Очевидно, она уже сейчас заткнет за пояс трех таких Эмбрих. Зачем мне вам долго рассказывать, вы и так можете понять все, если она выступает уже с моим Гришей и получает почти столько, сколько мой Гриша. И дерутся за нее, как за моего Гришу, и этим она обязана мне. Может быть, вы думаете, что она меня не благодарит? Еще как благодарит! Вы услышите историю с «любовью», красивую историю. Но до этого я должен прежде всего сказать несколько слов о моем сыне.

Я о своем Грише, кажется, не писал, что он за птица! Такая уж птица! Он велик так, как прост и тих. Он знает только скрипку и концерты, концерты и скрипку. Остальное его не касается. Спросите его, сколько денег дал ему концерт, какие у нас расходы, какие доходы? — это не его дело. Он знает только скрипку, и больше ничего. Вы, может быть, думаете, не дай бог, что он глупый ребенок? Мне бы такое счастье, какая он умница. Но все равно! В эти дела он не вмешивается. Он вообще с миром, как говорит литвак, «не свояк». А что ему? О делах, или о «бизнесе», как здесь говорят, есть кому позаботиться: на это есть отец; обо всем остальном позаботится мать. Главное — скрипка! И это все, но тут... Будь пророком и знай, что вмешается дочь кантора, Роза Спивак... «любовь»!

Когда я узнал об этой истории, а узнал я из ее же письма, которое, к счастью, попало ко мне в руки, то есть я его перехватил, — я был прямо ошеломлен и сгорал от ярости. Как так! Я тебя привел к Эмбрих, я тебе прорубил, как говорят, дверь в большой мир, и благодаря мне

ты стала знаменитостью! А ты так со мной поступаешь?! Заводишь с моим сыном «любовь»?! Я не поленился, засел и написал ей письмо на идиш: так и так, и как это, и еще раз как это, и десять раз — как это: где совесть и где бог! Высказал все, что на душе накипело. Я не писатель, но отец, а когда отцу больно, то дюжине писателей его не переплюнуть. Угадайте, что мне отвечает эта девица? Если у вас будет восемнадцать голов на плечах — не угадаете. Прежде всего она выругала меня за то, что ее письмо попало в мои руки. Письмо, сказала она, не мне было адресовано. Если ей бы хотелось мне писать, говорит она, то она нашла бы мой адрес. Во-вторых, говорит она, кто вам внушил (внушил, вы слышите слово), что я имею виды на вашего сына? Все ваши мысли постоянно заняты только одним Гришей, но вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что Гриша — пуп земли и вокруг него все вертится. Есть, говорит она, такие люди, а им имя легион, которые помнят о нем, пока он на эстраде со скрипкой в руках. Но с той минуты, как он укладывает скрипку и сходит с эстрады, он для мира не более чем сон... Как вам нравится такая речь? И еще она пишет: откуда я знаю, что ее письмо не ответ на его, Гришино письмо? И уверен ли я, что оно первое и единственное? Все дело в том, что письма моего сына приходят прямо к ней, а ее письма к нему, выходит, проходят цензуру... Если так, то она заверяет меня, что примет все меры, чтобы впредь письма доходили до адресата без помех. Она это сделает, говорит она, не столько потому, что переписка с моим сыном ей очень важна, а потому, что хоть она и всего лишь простая девушка из Бессарабии, она докажет, что я деспот, деспотизм которого, конечно, продиктован преданностью сыну, но не страшен, ибо всему на свете есть конец. Ну, что вы скажете о такой наглой девчонке? Нет, послушайте, что она пишет дальше. Если бы она питала такие чувства к Грише, какие он к ней, то они бы мне доказали, что не следует проявлять заботу о них. Все было бы ол райт.

Что вы скажете, она уже заговорила со мной по-английски. Я ей на ее письмо ответил, и она — на мое, и завязалась у нас переписка. В итоге мы стали друзьями. И еще какими! Когда она приехала на концерт в Лондон, приехала вместе с Гришей, то я и моя жена на коленях умоляли прийти к нам с визитом. На что родители не готовы ради детей? Разве, если мы будем возражать, будет лучше? Раз любовь...

С тех пор девушка очень часто бывала у нас дома, словно родное дитя, и мы ее полюбили и лелеяли мечту о свадьбе. Так нет же! Современные дети! Говорить с ними невозможно. Они же не просто жених и невеста, они не просто дети, а две звезды, каких немного. Говорить с ними о свадьбе — упаси боже! «Жених и невеста» произнести нельзя ни в коем случае. Надо выжидать, а что поделаешь! Но моя жена, да продлит господь ее дни, твердит: хотелось бы дожить до радостного часа. «Не торопись», — отвечаю я ей... А сам чувствую, как терпение иссякает. Дожить до радостей, ох, отчего же нет... Но меня беспокоит другое. Что вам сказать? Мой сын — артист, колоссальный артист, при этом он еще ребенок, невинная овечка, а любовь его такая страстная... А она красивая, умная и смелая девушка, слишком умная и заносчивая. Теперь они вдвоем носятся по Лондону, нет, не пешком, упаси бог, в автомобиле, и покупают, покупают и покупают... Для них деньги трын-трава. Счастье, что я рядом и не позволяю, чтобы они бросались тысячами! Это они готовятся в путь, они скоро уезжают в Америку. Они туда приглашены на целый сезон, и на таких, слава богу, условиях, что пожелаешь всем нашим друзьям. Только здоровья и везения, как было до сих пор. И дожить бы нам до радостей, которые выпадут на их долю. Можете мне поверить, она мне дорога, как родное дитя. Хотя со мной она и теперь несколько в натянутых отношениях. Видимо, то первое письмо...

Я к ней по-хорошему, а она, напротив, попрекает меня, что я все время говорю о деньгах, деньгах и деньгах. Мы иногда перебрасываемся колкостями, сын от этого страдает, и мне это неприятно. Надеюсь, со временем все наладится. Все дети такие, им кажется, что хуже их родителей не найти на белом свете... Разве может быть кто-либо хуже родителей!

Кажется, я много написал, открыл вам душу свою, и легче стало. Разумеется, другому я ничего не рассказал бы, но вам — другое дело. Вы способны сохранить тайну, потому все остается между нами.

Оставайтесь здоровым и с хорошим бизнесом, пишите часто.

От вашего старого друга Мейера Стельмаха.

Главное забыл: моя жена просит передать вам ее приветы. И сын спрашивает, берете ли вы еще скрипку в руки.

*Мейер Стельмах.*

Моей любимой и уважаемой Розе Спивак, живите счастливо! Чем объяснить, что я настолько стал вам чужим, что вы не хотите отвечать на мои письма. Чем я провинился? Мне кажется, что, напротив, я столько выстрадал из-за вас, что вы должны мне быть благодарны, ибо если бы не я, вы бы и теперь были у Щупака, погибель на него, он ведь не хотел заплатить мне все, что полагается, из-за вас, потому что если бы не я, говорит он, вы бы не знали никакой Эмбрих. Он клянется, что из-за вас разорился, так он утверждает в письмах и обливается морем слез. Я ему верю, как собаке. Но кто знает, может быть, он и прав, во всяком случае, он сейчас имеет болячки, а не медальон и бриллианты, лишился он и золотых часов — и все из-за вас. Он сшил себе большой карман, ибо этот идиот думал, что бог ему помогает, он освободится от своих жен и тогда своими бриллиантами вскружит вам голову — и все будет хорошо. А чем это все кончилось? Ударом. Он сел на мель и обвиняет меня, а я сам как на воде без лодки, того немногого, что первое время получал, хватило на один зуб, и к тому же я вынужден был отправить бедную сестру в Америку. Я долго болел, видел уже ангела смерти, если бы не ваша помощь, я оказался бы там, откуда письма не приходят. Спасибо вам. Но почему вы не хотите сделать мне одолжение и написать пару слов, кажется, я это заслужил у вас. Разве я заслужил быть собачкой и бегать за вами из Парижа в Лондон, из Лондона в Париж, а оттуда в Антверпен. Вы даже не хотите меня принять, а видит бог, как я вас защищал, помогал во всем. Когда вы мне говорили «Муравчик», я не только был рядом с вами, но и бегал, куда вам было угодно. Так было при Щупаке и после него.

Помните, вы хотели быть в Ниталии<sup>1</sup>, а я вам помогал, не жалел своих трудов. А этот дурень, который хотел застрелиться! Кто его утихомирил? Муравчик. А вы все забыли — и я к вам не могу попасть. В ожидании я в вашем салоне провел три часа, слышал, как вы разговариваете с каким-то французом, а тем временем говорят, что вас нет дома. У меня потемнело в глазах, я с трудом нашел дверь. Горе тебе, Муравчик, сказал я себе...

<sup>1</sup> Искаженное «Италия».

Если человеку повезло в жизни, так он должен зазнаваться? Где же ваши слова о том, что вы меня никогда не бросите? А в итоге я бегал за автомобилем, в котором сидели вы с сыном Стельмаха, вы стащили с его головы шапку и прикрылись ею, чтобы я вас не видел... Я писал раз, и два, и три, а вы не отвечаете. Но у меня к вам дело: у одного человека есть пачка писем, он может их передать мне, но просит денег, в письмах есть кое-что и о вас, а вы, думает этот человек, захотите знать, что там о вас написано, а так как вы на коне, то вы не откажетесь от платы. Потому прошу вас, моя дорогая и уважаемая Роза, немедленно мне ответить, хотите ли вы получить пакет с документами. Если хотите, то я свяжусь с этим человеком, письмо шлите Ваксману, директору парижского еврейского театра, для меня, и напишите, какую сумму могу обещать человеку, холера на его голову, в руках которого находятся ваши документы.

Ваш преданный слуга, который желает вам счастья и успехов, с уважением *Шолем-Мейер Муравчик*.

#### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Роза Спивак Марчелле Эмбрих

Дорогая и любимая мамочка Марчелла Эмбрих! Сегодня я больше времени займу у вас, чем обычно. Это потому, что я давно вам не писала, а у меня накопилось так много новостей, что и не знаю, с чего бы начать. Во-первых, как видите, я уже не в Париже. Конечно с Парижем, конечно с «Гранд-опера», снова вольная птица, вновь цыганка, странница по белу свету, свободному и огромному. И как видите из приложенных газетных сообщений, гастролирую успешно, и не одна, а вдвоем, с нашим когда-то знаменитым вундеркиндом, а теперь виртуозом Стельмахом, с которым я впервые познакомилась на вашем концерте, на том незабываемом концерте, который перевернул всю мою жизнь. Ах, это целый роман! Я его вам опишу как можно короче. Во-первых, потому, что мне не хочется занимать ваше время, во-вторых, пишу это письмо на корабле, который везет меня в Америку, послезавтра мы должны быть в Нью-Йорке.

Мы — означает, что я не одна, нас двое, как я хотела, как стремилась. И вот моя победа и мой триумф. Ах, как мне хочется обнять вас и прижать к своей груди, рас-

целовать вас, моя дорогая и любимая мамочка! Вы полагаете, что я пьяна? Да, верно, я опьянена, но не любовью. Называйте меня цыганкой, эгоисткой, авантюристкой, называйте как хотите, но выслушайте меня — и вы меня поймете. Только вы можете меня понять. То, о чем я собираюсь вам сейчас рассказать, — это эпизод моей жизни, о котором я еще вам никогда не рассказывала. Это потому, что в нем вы занимаете главное место. Случилось это в то прекрасное утро вашего концерта, который никогда, никогда не забуду. Это самое счастливое утро в моей жизни, начало моей карьеры.

Взбудораженная, разгоряченная, растерянная и околдованная вашим пением и его игрой, я чуть не вынесена была толпой из зала и стала у дверей в ожидании двух героев этого часа: знаменитой Марчеллы Эмбрих и знаменитого Гриши Стельмаха.

Сколько длилось ожидание — минуту, час, день, — этого я не помню, так как я тогда была в мире небесных звуков и неземных мелодий. Неожиданно раздался гром аплодисментов, толпа зашевелилась. Подняв глаза, я увидела шикарный автомобиль, и как молния, сверкнули раньше вы, потом он, и еще какой-то третий с вами сел в автомобиль, и, сопровождаемые грохотом аплодисментов, вы исчезли.

А в мою душу эта картина крепко запала. Стоило мне на секунду закрыть глаза, и я уже видела этот невероятный сон, в котором вы царица, а он принц, а мы люди, суесящиеся на земле, ваши рабы, вы владеете нами.

Публика исчезла, как автомобильная гарь. Остались немногие, а я все еще стояла очарованная, задумчивая, полная фантазий, которые подхватили меня и на крыльях несли туда, где вы королева и с вами молодой, красивый принц. Но вдруг я, маленькая, одинокая, бедная Роза, увидела свой собственный триумф и услышала свое имя вместе с именем Гриши Стельмаха. Я обомлела, буря пронеслась в моей голове, и огонь зажегся в груди, и я сказала себе: «Мой сон должен оказаться вещим».

И как видите, он в самом деле был вещим. Он осуществился. Я не только добилась триумфа. Я дожила до большего: молодой принц вырос, он уже большой художник, и он, этот художник, теперь мой, весь мой!..

Теперь вы хотите знать, счастлива ли я? Довольна ли я? Ах, дорогая, не спрашивайте. Я не заслужила любви, которой меня люди одаривают. Я недостойна и

десятой доли вашей любви ко мне. У меня дурное сердце, злая душа: я никого не люблю, никого! Я живу минутой, своими капризами. Чужие муки меня не трогают, чужая боль меня не касается. Бес вселился в меня, я ничем не довольна. Чем больше жизнь мне дает, тем больше я от нее требую, чем больше мне подыгрывает счастье, тем больше я капризничаю. Только минуты, минуты счастья бывают в моей жизни — когда мой принц на эстраде. Как он тогда прекрасен! Божественный красавец, нет ему равных. Ах, почему он не тот, не тот... вы знаете, кого я имею в виду...

Скажите мне, мамочка, что мне делать для того, чтобы быть спокойной? Научите меня, где найти свое счастье? И найду ли я счастье в новом мире, куда я еду? И вообще есть ли счастье на земле? Не права ли я, когда говорю себе: ты дурное существо, с окаменевшим сердцем.

Ваша огрубевшая, озорная и капризная цыганка

*Роза.*

#### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ Мейер Стельмах своему другу

Дорогой, наилучший друг!

Я не мог дожждаться вашего ответа и вновь пишу. Поверьте, я чувствую потребность в этом, как магнитом меня тянет поделиться с вами. Во-первых, потому что вы почти единственный на белом свете человек, понимающий меня. Вы недавно сказали мне, что отец такого сына — сам не простой человек, как об этом многие думают. Эти слова проникли в душу, приятно, что их произнес такой человек, как вы. Вы это понимаете! Во-вторых, я просто люблю с вами беседовать, потому что с вами можно быть откровенным и рассказывать все, как родному брату. Я вас считаю, как уже говорил вам, самым верным хранителем тайн на белом свете. Вы железная шкатулка, и я уверен, что, кроме вас, о моих письмах не знает даже птица небесная...

А теперь отгадайте, где я пишу вам это письмо? На корабле: Мы плывем в Америку. Мы — это я, Гриша, Роза и менеджер, американская птичка. Он принял на себя все расходы, снял каюты первого класса и организует турне по Америке. Гарантийный минимум — то есть не меньше определенной суммы, а если доходы будут больше

минимума, то их поделят пополам. Вы поняли? На нашем простом языке это значит, что он нас купил на некоторое время...

Принадлежать кому-либо, быть проданным — не сладкая участь, тем более что я научен немцем, провались он сквозь землю! Но что поделаешь? Минимум такой славный, а деньги так соблазнительны! Поначалу я и слышать не хотел — минимум-шминимум. И менеджер будет нами командовать? А где я? Я разве не знаю дело? Но американская птица так насела на меня, навязалась! Требовала, чтобы я назвал мой минимум! Что ему ответить? Почувствовав, что я не решаюсь, он сказал: вот вам двадцать четыре часа на раздумья. Конечно, я ночь не спал, прикидывал, держал совет с женой, поговорил с детьми. Но что знают дети? Если мой, как я вам писал, к этим делам не притрагивается. Вы думаете, что он в деньгах не разбирается? Нет, ошибаетесь, он знает: чем больше, тем лучше. Но он не вмешивается, надеется на отца. Он знает, понимаете ли, что отца вокруг пальца не обведешь. Зато она, Розу я имею в виду, практичнее моего сына, то есть деньги у нее тоже не знают счета: тратит не считая, и умеет это она гораздо лучше моего сына. Но она понимает дело, имеет, не сглазить, хороший аппетит к деньгам и может назначить такую цену, что в глазах потемнеет. А я с нею заодно. Считаю, что каждый человек должен знать себе цену. Откуда это в ней? Поговорите с нею, она скажет, что деньги люблю я...

Прошли двадцать четыре часа, и американская птица тут как тут, бритый, аккуратно одетый, застегнутый на все пуговицы. Стоит и ждет, какую сумму я назову. И я назвал минимум такой, что если бы вы его знали, то у вас глаза на лоб полезли бы. Думаете, он испугался? Не прошло полминуты, и менеджер протянул мне руку и сказал «ол райт». На нашем языке это означает: в добрый час. Мне стало не по себе: он меня обманул. Хотя бы для вида поежился, дескать, хотел бы чуток сбавить, так нет же, рукопожатием скрепил наш договор. И я решил сказать ему: хочу наличные, чтобы положить их в банк на мой счет. Вы думаете, это его удивило? Ничего подобного. «Ол райт», — снова сказал он и пошел давать телеграмму, чтобы ему выслали деньги. Вот так и был заключен контракт.

Роза, конечно, меня попрекала, почему я так мало запросил. У вас, сказала она, ничтожно малые запросы. Размаха нет у меня, сказала она. Ну, что вы скажете о

такой наглой девчонке? Мало того, что переживаю из-за минимума, так она еще сыплет соль на раны. Хотел ей сказать, откуда у меня быть большим запросам, я ведь не был в школе Щупака, но передумал: уступлю ей. Я не хотел, чтобы мой сын знал о Щупаке и ему подобных. И чем она виновата, если Щупак возил ее, как цыган медведя, и зарабатывал деньги. Но можно и так сказать, а почему этого надо стыдиться? Бедность не позор. Я сам, не про сегодня будь сказано, тоже был скитальцем, мы топали с Гришей без сапог по городам и весям за три гроша. Исполняли шесть песен и одну на бис и слышали, будто есть музыкант по имени Мойше-Нойах, так он исполняет «Волехл»<sup>1</sup> — в восторг придешь. Нет, милый друг, я не стыжусь того, что было. Рад, что, слава богу, я об этом могу рассказывать на радостях. Мне доставляет удовольствие, когда собирается вся семья и я рассказываю, что когда-то было, как наслаждались свежей булкой со стаканом сладкого чаю. А четверть курицы видели во сне. Только в праздники об этом можно было мечтать. За одно яблоко или две сливы Гриша играл лучшие песни!

Больше всех любила эти рассказы Роза. Глаза загорались, и она хорошела. И она рассказывает подобные истории со всеми подробностями. О Голонешти она так рассказывает — лопнуть можно. Она показывает евреек, торгующихся на базаре, или надевает лапсердак кантора и поет молитвы — театр не нужен. Смех слышен за три улицы. Беда в том, что редко она к этому расположена. Я, кажется, писал вам, что девушка она капризная. Как на нее находит: то бывает веселой, танцует и поет, а то становится мрачной и закрывается в своей комнате на целый день, то засядет за письмо и пишет, пишет. Кому она так много пишет? А иногда припадает к плечу Гриши и просит его сыграть что-нибудь. И Гриша может быть в ту минуту не расположен, но если Роза просит, разве ей откажешь. Даже если она проснется в полночь и попросит его играть, он ей не откажет. Любовь! Ничего не поделаешь. Достает он скрипку, она садится напротив, оперевшись на обе руки, и глаз с него не спускает. Посмотрели бы вы на нее: картина, ангел! А попросите ее спеть что-нибудь. Напротив, чем больше будете упрашивать, тем хуже. Но бывает и так, захочется ей — и она будет петь соловьем. Вы думаете — арии, концертные номера?

---

<sup>1</sup> Волехл — название танца.

Ничего подобного. Поет цыганские и еврейские песни. Послушали бы, как она исполняет «Хасидскую», пешком добрались бы. Вы же любитель еврейского пения: «Хасидская» бы вам очень понравилась, жаль, что нотами не располагаю, посылаю вам текст:

Из Хаславичей в Любавичи \* —  
Ой, что мне до вас?  
Из Любавичей в Хаславичи,—  
Наплевать на вас!

Взял я тефилн, талес, палку,—  
Ой, что мне до вас?  
И пошел, себя мне жалко,  
Пить прокисший квас.

Из Хаславичей в Любавичи,—  
Ой, что мне до вас?  
Из Любавичей в Хаславичи,—  
Наплевать на вас!

Еду к ребе я в Любавичи,—  
Ой, что мне до вас?  
Еду, еду из Хаславичей,—  
Ой, плевать на вас!

Семерых детей имею,—  
Ой, что мне до вас?  
И козу купить сумею.  
Бродит в пузе квас.

Из Хаславичей в Любавичи,—  
Ой, что мне до вас?  
Из Любавичей в Хаславичи,—  
Наплевать на вас!

У меня без крыши хата,—  
Ой, что мне до вас?  
Да зато ума палата —  
Будет про запас.

Из Хаславичей в Любавичи,—  
Ой, что мне до вас?  
Из Любавичей в Хаславичи,—  
Наплевать на вас!

Хоть судьба моя убога  
В профиль и анфас —  
Я — за пазухой у Бога.  
Ой, что мне до вас!

Дождь холодный хлещет в окна,—  
Ой, что мне до вас!  
Жизнь моя насквозь промокла.  
Ой, к чему вы мне?

Из Хаславичей в Любавичи,—  
Ой, что мне до вас?  
Из Любавичей в Хаславичи,—  
Наплевать на вас!

Боже, слышишь, там, на небе,—  
Ой, что мне до вас?  
Еду я сегодня к ребе.  
Вот и весь вам сказ.

Клянусь вам, дорогой друг, восемнадцать концертов и восемнадцать симфоний я отдам за одну ее еврейскую песню. Или послушали бы вы, к примеру, как она исполняет синагогальные мотивы Нисла Бельзера, Иерухимамалого, Пини Минковского и Сироты. Она может спеть вам такое, что пели и поют самые знаменитые канторы. А как она говорит по-немецки, по-французски, если хотите, и по-английски. Говорят, талантливая! И в самом деле очень одаренная. Ну, пойди не полюби такую. Правда, она злючка. Если что не так, она вспыхивает как спичка. Надо при ней держать язык за зубами, чтобы лишнего не сказать. Но, слава богу, что он нас одарил такой женой для Гриши. Но можно и иначе подумать, захотел бы Гриша, магнаты бы его золотом осыпали. Пропало! Видимо, так суждено. Пара! Пока еще ничего не произошло, только любовь...

Друже, жаль, что вы не рядом со мной, а то бы вам рассказывал и рассказывал об этой парочке. Это целый мир. Но письмо надо завершить, зовут обедать, а на корабле сильный аппетит разгорается, люди с трудом дожидаются обеденного звонка.

Обещаю вам, бог даст, доберемся до Нью-Йорка, я напишу вам подробнее. Будьте здоровы и пишите мне на нью-йоркский адрес.

От меня, вашего лучшего друга, Мейера Стельмаха.

Главное забыл: американская птица включила в контракт такой пункт, что из-за него чуть все дело не расстроилось. Послушайте, что американец надумал: мой сын Гриша и Роза не имеют права ни с кем общаться. Это значит, если они хотят куда-нибудь пойти или кого-нибудь принять — они должны ему об этом доложить. И даже о письмах, если они будут писать или получать, он должен

знать, кому они пишут и от кого получают. Как вам нравится такая блажь? Долго я с ним спорил, но в конце концов я подписал договор со всеми его пунктами. Но спорный пункт я скрыл от детей, если бы Роза узнала о нем, была бы головомойка... Прошу вас, пусть это все останется между нами, вам я доверяю.

*Мейер Стельмах*

#### ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Шолем-Мейер Муравчик своему другу Щупаку

Дорогой друг Альберт, пишу тебе, чтобы сообщить, что я сейчас нахожусь в Лондоне, это уже второй раз, а ты в Одессе, пишу потому тебе письмо в Одессу, чтобы ты знал, что плохо все идет, как говорят, маслом вниз, не везет, хоть разорвись. Я сожалею, черви меня точат, что не поехал с тобой домой. Но теперь это уже пропало, черт попутал. Суждены были муки, так я застрял в Вене, затем перебрался в Париж, оттуда в Лондон. И все из-за нашей красотки. Думал, получу куш, а получил холеру и кукиш под нос. С тех пор как она вернулась из Ниталии, подступиться к ней нельзя. Шутка ли, Роза Спивак! Ты думаешь, евреи ее превозносят? Нет, ее хвалят и неевреи, дал бы мне бог счастья и здоровья. Меня чуть удар не хватил, когда я услышал ее пение. Альберт, ни тебе и ни твоей бабушке и прабабушке такое во сне не снилось. А почет! А бриллианты на руках! Увидел бы ты, трижды бы умер. Кто виноват, что ты обошелся с ней как идиот, и только из-за тебя я очутился на мели, чуть не помер от голода. Счастье, что в Париже есть еврейский театр, его директор Ваксман, хитрый подлец, он собрал для меня немного денег и отправил в Лондон. Что же я узнаю? Она в Антверпене и в Брюсселе, выходит, надо мне туда ехать, а денег нет. Что делать? Заложил я свой саквояж одному типу по имени Кламер, но оказалось, что он уже в Америке. И в Америке же Роза и сын Стельмаха, и они вместе поют и играют, и денег у них уйма. Можем себе пожелать заработать столько за три месяца, сколько они зарабатывают за один вечер. То, что Кламер уехал, это для меня зарез. Бумаги в саквояже, должно быть, важные, я их не читал, но понимаю, что это именно так, ибо Роза Спивак пишет: доставьте мне эти бумаги за любые деньги. Должно же было так случиться, чтобы ее письмо три месяца валялось

у Ваксмана, холера бы напала на него, хотел было набить ему морду, но опасался сдачи. Ну, что ты скажешь на мои дела? Приезжаю в Лондон, а их не стало, растворились, как соль в воде. Спрашивается, что мне делать, к кому обратиться? Прошу тебя, дорогой Альберт, выслать мне сотню, именно сюда, в Лондон, на мой адрес, ты же его имеешь, для того чтобы я добрался до Америки, а там у меня никаких забот, найду этого Кламера, заберу у него бумаги... и ты тоже кое-что получишь. Высылай сотню, чем скорее, тем лучше. Я ничем тебе не докучал, но теперь прошу на дорогу. Моя сестра давно там живет, и поверь мне, я эти деньги тебе верну и спасибо скажу, дай мне бог счастья и успехов! Мне твоего не нужно, и напиши все подробно, каковы твои заработки, хорошая ли у тебя труппа и что показывают в Одессе, имеете ли вы разрешение играть по-еврейски и как поживают актеры. Говорят, Гоцмах в Лондоне со своей собственной труппой. Что скажешь, а? Говорят, он болен, я его ненавижу, как набожный еврей свинину, но черт с ним, проведать его нужно, ну, будь здоров, с уважением

*Шолем-Мейер Муравчик.*

## ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Альберт Щупак Шолем-Мейеру Муравчику

Глубокоуважаемый друг, Шолем-Мейер, то, что мне приснилось вчера и позавчера, пусть падет на твою голову, ты с ума спятил. Как это я живое поменяю на мертвое — выслать тебе сто рублей, ты что у меня, единственный сын или деньги растут у меня в огороде? Иметь бы мне тебя за отца, как я имею сотню. Кому не лень тащат у меня деньги, рвут, отщипывают со всех сторон, кости мне ломают, не успеваю справиться с одним несчастьем, как немедленно появляется другое. Никого я так не проклинаю, как дочку кантора. Это ты меня посадил в болото, кроме того, что она меня разорила, стоила много денег, она еще оскорбила меня в глазах Стельмаха, назвала меня обманщиком. Назвала бы меня вором, разбойником, бандитом, кем угодно, я бы не так обиделся, как на «обманщика». Я этого ей никогда не забуду, даже тогда, когда меня понесут ногами вперед, а что ты решил поехать к ней в Америку, то это мне нравится, и деньгами я помогу, но не сотней. Посылаю тебе на расходы с условием, если с ней свидишься, то передашь ей все ее

денежные расписки и получишь взамен их деньги. Она должна мне вернуть суммы, на нее потраченные. Пусть без процентов.

Я такой человек, что не вечно помню обиды, которые ты мне нанес, бог тебе в помощь, и желаю тебе успеха. Я тебе не враг, ты будешь в стране, которую называют золотой, напиши мне. До сих пор ты молчал, как побитая собака, и вдруг — на тебе — написал, черт тебя побери! Почему ты так долго молчал, написал бы раньше, я наверно мог бы послать тебе целую сотню. Теперь не могу, бог свидетель, больше, чем пятьдесят, не могу. Расходы у меня большие, каждый раз находится какой-нибудь олух, и давай ему. Надеюсь, что ты вернешь долг, один бог знает, как трудно деньги мне достаются. Увидишь ее, напомни ей бульоны, и конфеты, и шоколад, и проезд во втором классе, и каждый раз новые платья. Чудом я добрался до Одессы — это моя родина, когда-то я здесь творил крупные дела и теперь не сижу сложа руки. Конкуренция — вот беда, три театра в одном городе, но мой самый лучший. Три театра — это много. К тому же холера и чума, а голова города у нас хуже чумы. «Изюминка», и «Хинке-Пинке», и «Велвеле ест компот» — не сходят со сцены. Здесь я выкупил свои бриллианты и смог бы купить собственный дом, если бы не враги и их клевета, будто за границей я имею любовницу, которая обходится мне в копейку. Холера взяла бы всех моих врагов. Будь здоров и напиши мне, дошли ли до тебя пятьдесят рублей, которые я высылаю. И напиши мне, что с документами, Роза их в самом деле потеряла или ты их добыл из-под замка, ведь ты у нее был вроде секретарем, ты, бывало, с ней шушукался. Передай привет Брайнделе Козак, сгореть бы ей, и если увидишь Гоцмаха — кланяйся ему, пропади он пропадом.

С уважением директор

*Альберт Щупак.*

## ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Канторша Лея — дочери Розе Спивак

Моей дорогой, многоуважаемой, мудрой дочери, да пошлет ей господь долгие годы.

Во-первых, сообщаю тебе, что я, слава богу, здорова, дай бог и от тебя услышать то же самое, доброе, веселое, и благожелательное. Амины!

Во-вторых, знай, моя дорогая и любимая доченька, что я не хотела тебя огорчать плохой вестью, настигшей меня, как бомба или как гром с ясного неба. Бог свидетель, я и сейчас не стала бы тебе об этом писать, ибо раз тебе везде удача, то не следует тебе мешать. Я хорошо знаю, что такое «горько» и «грустно», ибо осталась одинокой вдовой на старости лет. Тебе горше будет в тысячу раз, когда узнаешь, что ты сиротка, потеряла такого отца, которого ты очень любила, а он тебя. До последней минуты тебя вспоминал, все говорил: Рейзеле да Рейзеле. Что поделаешь, если богу было так угодно. Если так суждено! С того дня, как ты ушла из дому, он так горевал, весь мир для него опустел, ему было все равно: есть или не есть, спать или не спать. Как я его утешала, говорила ему: бывает, не приведи господь, умирает ребенок, к жизни его не вернешь. То, что земля принимает,— никогда не возвращается. Вот, к примеру, говорила я ему, сын нашего богача Рафаловича пропал, и имя его при богаче произнести нельзя, Лейбл запретное имя, да будет он благословен. А мать его лучше поступила, она так долго и много плакала, пока не растаяла, как свеча, да простит она мне.

Вот так я говорила отцу, но все слова — на ветер, не хотел знать и слушать, да зачтется это ему на том свете. Он мне отвечал, приводя притчу об овечке из Священного писания. Рафалович, сказал он мне, имеет такое большое стадо коров и овец, что может себе позволить одну овечку потерять, но нищий, который имеет одну овцу, одну-единственную... Приходят и забирают ее, зеницу его ока, как можно такое пережить? Так он мне ответил. До гробовой доски не забуду, как вставал он ночью, забирался за занавеску, целовал твою постель, на которой ты лежала, и тихо плакал, глотая слезы. А когда я ему говорила, грешишь, Исроле, человеку нельзя так мучиться, вот вспомнишь мои слова, скоро придет хорошая весть... делал вид, будто со мной согласен и что он почти забыл все муки. А я видела: кончается человек, худеет изо дня в день. Но я, доченька, тебя не обвиняю. Я знаю, что твое сердце было с ним так же, как его с тобой. Свидетельство тому — твои первые письма, они лучше действовали, чем все лекарства, которые врач советовал ему принимать. А когда ты приехала к нам в гости, то его узнать нельзя было. Мертвец, он просто ожил. Я-то думала, что солнце взошло, что ангелы пляшут со мной, конец моим мукам. Но это был обман, горе мне горемычное.

Видимо, червь точил его внутри. Так бывает, наступает доброе время, а жизни не хватает. И то еще счастье, что перед смертью повезло ему: утешился твоим приездом. Ему говорили: реб Исроел, вам теперь жить и жить. Люди завидовали ему. Как же? Купили такой большой дом со всеми постройками, хотя эта ермолка была слишком велика для нашей головы. И теперь, задумываясь, спрашиваю себя, а что мне делать одной в таком доме? С ума можно сойти.

Старая мать Рафаловича все еще живет у меня во дворе. Не дожить мне до такой старости.

Он скончался двадцать второго дня месяца «ав»\*, ровно месяц тому назад. Уже прошли тридцать дней траура, и теперь мне положено горевать только один час в сутки. А тебе не обязательно. Ты свое сделала, твоим приездом к нам ты продлила ему жизнь. И знай, дочь моя, что за два часа до его смерти он вспомнил тебя добрым словом. Быть бы ему заступником пред престолом божьим за меня, за тебя и всех евреев.

Наняла я человека, который будет читать «Кадиш». Это служка Хаим-Шая, ты ему подарила деньги на корову, когда была у нас в гостях. Его сын Нохем пишет мне это письмо. А похороны были, ни одному богачу такие не снились, и захоронили его на почетном месте, тринадцатом от покойного раввина... Ничего, он это заслужил. Дожить бы мне до годовщины смерти, тогда поставлю ограду, какую он заслужил. И прошу тебя, родная, разрешить мне полдома продать, ибо что я буду делать одна во всех этих комнатах, и пиши мне часто и хорошие письма, как до сих пор, потому что твое милое письмо, написанное перед твоим отъездом в Америку, где ты пишешь, чтобы отец берег свое здоровье до твоего возвращения еще раз в Голонешти, ему уже прочитать не удалось, он уже лежал в гробу, мне его прочли после дней траура, деньги мне принесли домой, больше не посылай, их хватит на всю зиму, до пасхи. Как подумаю, что мне, одинокой вдове, нужно! Ничего. Я только прошу бога дожить мне до твоей свадьбы, и будь мне здорова, не плачь, береги здоровье, и пусть бог пришлет тебе хорошего жениха совсем скоро, чтобы ты обрадовала мое сердце, как я прошу бога днем и ночью.

От меня, преданной мамы, которая целует тебя тысячу раз,

*Лея Спивак.*

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ  
Мейер Стельмах своему другу

Мой дорогой любимый друг!

Ваше милое и дорогое письмо я получил. Вас интересует Америка, какая это страна. Я собирался вам написать и описать страну Колумба со всеми подробностями. Но перво-наперво, как вы пишете, хотели бы знать, как я живу, и какие дела у Гриши, и как мы все поживаем. Что мне сказать, дорогой друг. Всем нашим друзьям пожелаешь такой жизни. Почести для этих двух, Розы и Гриши, разве опишешь! Вся страна от края до края, все газеты — большие и малые, нееврейские заняты ими. Открываете газету — и вам сразу бросаются в глаза Гриша Стельмах и Розалия Спивак, Розалия Спивак и Гриша Стельмах. Чтобы их послушать, надо иметь счастье. Надо записываться за десять дней вперед, иначе можешь поцеловать медведя. Скажу честно, не знаю, кого лучше здесь принимают, рвут на части. Мы имеем приглашения из Вашингтона и Филадельфии, из Чикаго и Канады, со всех концов света. О деньгах не говорят. Берите сколько хотите, разденьте до ниточки, только приезжайте! Беда только в том, что сливки снимает менеджер, эта американская птица, будь он неладен, но я ему не завидую, он неплохо вытряс карман, возит с собой такую ватагу. Но ничего: отцовского наследства он не трогает. Заработком он обеспечен. Была одна заминка, перебой: праздничные дни. Вы думаете, что здесь соблюдают их святость? Не заботьтесь об Америке, это страна свободы, здесь свободнее, чем в Лондоне. Но что же! Наступают праздники, все бегут в синагогу молиться и все же идут на работу. К примеру, в Судный день, на молитве «Кол-нидрей», один плачет и рыдает, а другой идет на бал, бал Судного дня он у них называется. Молодые люди, один к одному, собираются вместе и вызывают самого бога на спор, и за кружкой пива сводят счеты со старым еврейским богом за его жестокости и погромы, и дают ему взбучку... чтобы запомнил до будущего Судного дня. Говорят, свободная страна, так о чем толковать!

Короче, перерыв, который мы имели в дни праздника, не ими обусловлен, а тем, что наша Роза осиротела, ее отец скончался. Он был кантором в маленьком местечке. Умер — значит умер, праведен суд господний, бывает, что отец умирает, но надо было видеть, что она вытворя-

ла. Перво-наперво, она отказалась несколько дней петь. Вы знаете, какой это был для нас убыток? Ничего, можете себе пожелать столько, сколько мы потеряли, так как, согласно контракту, мы должны платить втридорога за не состоявшиеся по нашей вине концерты. И сын и менеджер упрашивали ее, а она слышать не хотела. Если, сказала она, будете на меня давить, то я аннулирую весь договор, и знай наших! Лишь через несколько дней ее уговорили выступить. В противном случае нам пришлось бы удрать из Америки. Зато она пела, земля треснула, и стены плакали. Сам я, старый дурень, плакал, вытирал слезы, а о Грише и говорить не приходится. Это вам во-первых, а во-вторых, надумала она справлять траур целую неделю: сняла туфли, села на пол... «Именем бога, говорю я ей, Роза милая, что ты делаешь? Мы же живем у неевреев, среди аристократов и магнатов...» Стена отвечает! И слова не скажешь, капризная. Помоги бог и помилуй! Другому я бы об этом не писал, но вы же хранитель моих тайн. Скажу вам, имели от нее, что называется, «и холодное и горячее». На что девушка способна! Пришли праздники, она переоделась и собиралась пойти в синагогу. «В чем дело?» А она отвечает: «Я хочу пойти помянуть умершего». — «Ты нас режешь без ножа». А она мне в ответ: «Вы что, на праздники в синагогу не пойдете?» — «Разбойница, разве можно меня с тобой сравнивать? Я могу пойти в синагогу и, прости-прости мне, боже, в театр, но не ты, ведь об этом напишут все газеты». — «Ну и что же? Почему Мельба, Эмбрих, Карузо и другие посещают церковь, когда наступают христианские праздники?» Как вам нравятся такие разговоры? Представьте себе, ведь если хорошенько подумать, то она ведь права. Но что поделаешь? Мы же евреи... Поверьте, люблю евреев, еврейский театр, еврейские блюда, люблю идиш, дома у меня говорят на идиш, и жена моя настоящая еврейка, и дети, слава богу, евреи, но я должен признать, если Гриша хоть один раз опустится в бедный квартал Нью-Йорка — конец, пропала корова вместе с веревкой, он больше уже не Гриша. Конец Грише, конец Розе Спивак...

Одним словом, мы с трудом добились, она надела густую вуаль, чтобы никто не узнал, что она посетила синагогу... Что вам сказать, мы от нее такого натерпелись... Теперь она немного успокоилась. Но первое время мы думали, что удар нас хватит. И ей надо уступать, чего не сделаешь ради ребенка.

Теперь вы просите, чтобы я описал вам страну. Из предыдущих писем вы уже знаете, какая эта страна, дай нам бог занять такую. Боюсь сказать, что Америка — это не просто Америка, но земля обетованная, евреям не следует жаловаться на Колумба. Кто хочет и умеет работать, тот «делает жизнь». Здесь музыка в почете. Я уверен — приехали б вы сюда, не пожалели бы. Здесь много еврейских газет, для такого любителя, как я, — это рай, я с языком идиш — как рыба в воде. Наступает вечер, и я не знаю, куда, в какой театр мне пойти.

На следующей неделе здесь будет играть в еврейском театре некто Рафалеско из Бухареста. Говорят, что это что-то особенное. А что творится вокруг его имени!

Одним словом, Америкой я доволен. Дожить бы мне до настоящих радостей. Ибо у них, у детей, я имею в виду, история без конца. Скажу откровенно, с другим я бы этим не поделился, но вы же хранитель моих тайн, и я скажу вам: мне такая любовь не нравится... Одно из двух: или туда — или сюда. Теперь у нее отговорка: отец умер, она в трауре, говорит, что отправит телеграмму и пригласит сюда маму. А если она что-нибудь задумает, так камни с неба могут падать — она будет настаивать на своем. А что будет, если ее мама в самом деле сюда придет? Куда мы денем канторшу из Голонешти? Не знать бы мне зла. Единственное утешение: приезд канторши может ускорить помолвку, разобьем тарелку и поведем детей под венец.

Не обижайтесь, дорогой друг, что я вас занял семейными делами. Выскажешься перед другом — легче становится. Я поседел из-за этого романа. Не описать вам это. Мне советуют выждать, пусть все идет своим чередом, но я горячий сумасшедший отец! А что? Меня уже не переделаешь.

Будьте здоровы и счастливы, пишите, вы в самом деле намерены приехать в Америку? Для меня это было бы праздником. Было бы перед кем излить душу. Мало настоящих друзей, и не каждому можно доверить то, что я вам доверяю.

От меня, вашего лучшего друга,

*Мейера Стельмаха.*

Главное забыл: Знакомых здесь хоть пруд пруди, но остерегаюсь их. Даже в еврейском театре я прячусь, надвигаю шапку на лоб и забираюсь в уголок. А что поделаешь — заработок.

*Мейер Стельмах.*

## ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

### Подводя некоторые итоги

Наш молодой герой Рафалеско плыл по течению жизни с благословения бога и блуждал в темноте все больше и больше; он ни на секунду не задержался для подведения некоторых итогов, чтобы спросить себя, куда и зачем идет его жизнь, пока не доплыл до берегов Америки, до Нью-Йорка. Здесь он почти впервые задумался над прошлым и оглядел то огромное расстояние, которое проплыл от юности до сегодняшнего дня. И удивился.

Удивился не потому, что много им проделано, пережито и достигнуто. Каждый из нас, подводя итоги, видит, что много проделано, пережито и немало достигнуто. Его же изумило другое. Он не мог понять, откуда взялись у него силы, мужество и энергия, чтобы проделать такой путь? Кто им руководил? Как звали его учителей? Где была его школа? И какой она была, чему учила?

Он спросил себя, кто зажег в нем первый огонь искусства. Кто был тот, заставивший его выйти на сцену? И чей свет указал ему дорогу в этой длинной темной ночи артистического скитальчества?

Какие-то фигуры с трудом возникали в его воспоминаниях: мальчишки-озорники, ученики хедера, игравшие в прятки. Затем Альберт Щупак со своей труппой в Голонешти, потом Голцман, его первый близкий друг... А за Голцманом — директор Львовского театра Гецл бен-Гецл, братья Швалб и похожие на них люди. А разве можно было у них чему-нибудь научиться? Единственная сияющая звезда, показавшаяся на его темном небосклоне, был, пожалуй, Беня Горгл, «человек с образованием», который раскрыл ему глаза. И доктор Левиус-Левиафан, распахнувший было новые миры, но удравший на край света, услышав от Голцмана о деньгах. А великий Зоненталь, показавшийся как метеор и немедленно исчезнувший... А кого еще может вспомнить Рафалеско? Никого.

Сам, сам по себе, без учителя и без знания основ актерской игры, он стал таким, каков он теперь.

Сам по себе вырос Лео Рафалеско, и если правду пишут газеты, то он восходящая блистательная звезда еврейского театра.

Наш герой присматривался к крупнейшим еврейским актерам Нью-Йорка, спрашивал, как они стали «звездами». Откуда они родом? Кем когда-то были? И он узнал такие

истории, такие необычные биографии! Если описать их, получилась бы захватывающе интересная книга.

И ему стали ясны многие проблемы его собственной жизни. Оказывается, есть школы, где обучают актерскому мастерству, правда, не у евреев. У неевреев есть меценаты, которые дают деньги на искусство.

У евреев еще не родился такой человек. У нас нет ни меценатов, ни театральных школ, ни искусства. У нас есть театры, таланты, гениальные актеры — сияющие звезды, свет которых пробивается за стены еврейского театра. И часто бывает так, что, узнав о такой звезде, широкая публика интересуется ею, любит ее и приглашает ее в свой театр. И вот погасла, навечно погасла звезда еврейского театра, а взошла...

Велик соблазн. Compliments нееврейской публики увлекают еврейского актера или актрису, они становятся звездами на общем театральном небосклоне.

И наш Рафалеско стал таким счастливчиком, он получил возможность играть в самых лучших нью-йоркских театрах, но выдержал искушение и остался актером еврейской сцены. А о причине поговорим позже, в следующих главах нашего романа.

## ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

### Сам не свой

Странствующая музыкально-драматическая коммуна «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>», которая уже прославилась своей «звездой из Буэнос-Айреса» и «ломжинским соловьем», торжественно готовилась к своему последнему и наибольшему триумфу — к выступлению звезды мировой известности из Бухареста, молодого артиста Лео Рафалеско.

Наши старые друзья, Нисл Швалб — с одной стороны и мистер Никел — с другой, делали все возможное, чтобы успех дебюта был смертельным ударом для всех остальных еврейских театров Нью-Йорка. Две недели подряд они давали анонсы во все еврейские газеты. Они трубили о молодой звезде — коронованной королевой Кармен Сильва и оплаканной великим Зоненталем роли Уриэля Акосты. Прodelки великого комбинатора Нисла Швалба.

А мистер Никел ничего такого не делал. Он только расхаживал, засунув руки в карманы, по «кибецарне» и передавал всем, что пригласил к себе в театр на спектакль всех высокопоставленных лиц: Джейкопа Шифа, Нейтана

Бижера, Луиса Маршалла и многих других. И несколькими он на ухо шепнул, что есть сведения, будто мэр Нью-Йорка и еще несколько высокопоставленных неевреев будут сегодня у него на спектакле. Но он хотел бы, чтобы это не разглашали по городу, потому что уже почти все билеты в кассе проданы. Лицо у него лоснилось, щечки пылали и золотые зубы блестели — вряд ли Рокфеллер, Карнеджи или Вандербильдт чувствовали себя такими счастливыми когда-нибудь, как мистер Никел в это время.

Зато мистер Швалб не чувствовал себя счастливым. Его гениальная комбинация — замужество сестры — с Рафалеско пока не удавалась. Америка — страна бизнеса, шума и сутолоки. Все время поглощает коммуна. Говорить об этом с сестрой как со стенкой: она говорит, пусть это его не тревожит, это их бизнес, не его... Она занята туалетами, фотографиями и подобными делами. А парень (как Голцман его звал) ему просто не нравится. С тех пор, как приехали в Нью-Йорк, он что-то сам не свой... Ходит неприкаянный и десять раз на день спрашивает о письмах. От кого он так ждет писем? И какие дела у него с этой комической фигурой в красной ротонде (Брайнделе Козак), которая забегает каждый раз на минуту и сидит у него или у сестры три часа подряд? Спрашивать у Генриетты — все равно что у дверной ручки. Что она понимает, расфуфыренная Гандзя! К тому же ее успех на нью-йоркской сцене и блеф о премии, полученной в Париже на конкурсе красоты, так вскружили ей голову, что с ней скоро слова не вымолвишь, смешает тебя с грязью. Брат Иzaak говорит: «Не связывайся с этой телкой — она уже скоро станет коровой и возьмет тебя на рога!..»

Брат Иzaak прав: действительно корова... Была бы у нее хоть одна извилина в голове, она не занималась бы такими глупостями, как фотографирование с Рафалеско в восемнадцати позах, она лучше занялась бы другим, раз, два, три — и под венец. Сколько можно? Мистер Кламер тоже так говорит: «пеки бублики, пока печь горит», или, как говорят англичане: «кто виноват, если вы идиоты?..»

Но все это, как всегда, не касалось нашего юного героя. Рафалеско носился по Нью-Йорку в своих мыслях и мечтах, бродил, как в густом лесу, сам не свой... Что общего у него со всей компанией, расчетами, дрызгами и грызней? Ему нипочем его первый дебют на американской земле, который — безусловно, несомненно — пройдет с тем же триумфом, как везде до сих пор. Перед кем ему здесь показываться, если на его дебюте не будет «той», которую

он так надеялся и хотел видеть?.. Что той не будет — он знает наверняка. Пропавшее дело. Из всех его золотых снов ни один не сбылся. Все надежды на Америку рухнули... Мадам Черняк зря морочила голову. Оказалось, что с тех пор, как Роза Спивак в Америке, мадам Черняк ни разу не удалось ее повидать. Правда, мадам Черняк оправдывается перед ним своей новой службой. Если б, говорит она, ей удалось бы вырваться на день-два к ее приятельнице Розе Спивак, все было бы «ол райт». На будущей неделе, говорит она, у нее свободный день, тогда, говорит она, действительно будет «ол райт»...

Так она каждый раз приходит с новой выдумкой, откладывая со дня на день, обещает ему устроить место в оперу, где Роза Спивак поет, или на концерт, где выступают вместе Роза Спивак и Гриша Стельмах,— и ничего не получается: нельзя достать билета даже за миллион долларов!

Мадам Черняк так ему надоела, что нет сил ее видеть. Он сам пошел покупать билет на концерт Розы. Оказывается, вчера она выступала, а сегодня ее уже нет в Нью-Йорке. Уехала на гастроли в провинцию. Когда приедет — неизвестно. «Был ты тряпкой и тряпкой останешься!» — говорит сам себе Рафалеско и ест себя поедом.

Вокруг него суетится вся компания и голову ему морочит дебютом. Газетные репортеры лезут знакомиться с ним и хотят его интервьюировать, улыбаются и завлекают. И тут же, как назло, появляется Генриетта и забивает ему голову туалетами и фотографиями. Он не знает, на каком он свете. Он просто сам не свой.

## ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

### Мефистофель в юбке

«Рейзл, знай, что я, Лейбл, сын Бени Рафаловича,— ты еще помнишь его,— нахожусь теперь в Нью-Йорке, в Даунтауне, являюсь актером Никела, и мое сценическое имя — Рафалеско».

Так должно было начинаться письмо, задуманное нашим молодым героем для Розалии Спивак. Коротко и ясно. А что еще он мог ей написать?

Так решил Рафалеско и засел писать письмо. Сам не знал, откуда взялась эта смелость. Это ведь было первое серьезное письмо в его жизни. Мир мыслей открылся ему. Он рассказал ей всю историю своей жизни, начиная с вол-

шебной ночи, с пожара на Божьей улице в Голонешти, по сей день. Все-все он рассказал ей, все, что пережил на своем артистическом пути, свои сны и мечты, свои мысли и чувства, радости и муки...

Нет, это было не любовное письмо. Слово «любовь» ни разу не сорвалось с его пера, «любовь» было слишком банальным, слишком обыденным словом. Нити, их связывающие, их прошлое и настоящее были слишком святыми. А если порой прорывались задушевные слова, то были они завуалированы, окутаны дымкой таинственности.

Вспоминал ту летнюю звездную ночь в Голонешти, когда с неба дождем падали звезды, он напомнил ей ее вопрос: почему падают звезды? И свой ответ: звезды не падают, звезды блуждают. И еще напомнил он Рейзл, как она пришла к цыганке — где-то в Буковине в маленьком городке, чтобы та погадала ей. Разве не сказала ей тогда цыганка: блуждающие звезды несутся друг к другу, но не могут встретиться...

Рафалеско писал ей иносказательно, письмо было полно многоточий, аллегорий и намеков...

В конце письма он просил не удивляться, что пишет ей, а не встречается с ней. Он решил так по двум причинам. Первая. До него дошли слухи, будто к ней не подступиться, предварительно надо записаться у какого-то мистера Бормана, и ему надо доложить, по какому «бизнесу» (так и написал в кавычках, трижды подчеркнув и поставив восклицательный знак). Во-вторых, он опасался повредить кому-нибудь из ее свиты, вместе с нею выступающей с таким огромным успехом...

Здесь наш молодой дипломат специально вставил «свиту», хотя и ребенку известно, что Роза Спивак выступает только с Гришей Стельмахом...

Ах, Гриша Стельмах! Это имя стоит перед его глазами и не дает ему уснуть спокойно. Кто он такой? Как выглядит?.. Как ни сильно тянет его к Рейзл, он все же сначала хотел бы увидеть Гришу Стельмаха, хотя бы посмотреть на него издали, увидеть его в лицо. Всегда при этом имени сердце начинает учащенно биться. К тому же мадам Черняк сказала ему по секрету: она точно знает, что Гриша Стельмах и Роза Спивак жених и невеста и не сегодня завтра состоится свадьба...

Как произошло, что Брайнделе Козак взяла на себя роль Мефистофеля? Вот как это случилось. Она задумала отомстить своему кровному врагу Голцману, и потому ей

нужно было выманить у него примадонну Швалб и выдать ее замуж за «парня». И это все получилось. Так что еще ей нужно?! Что, ей думать обо всем мире? Где это написано, что она должна сокрушаться о Рафалеско и Розе Спивак? Пусть хоть бьются головой об стенку! Если она потеряет свою службу, не приведи господь, кто подумает о ней в этом кипящем котле Нью-Йорке? От мужчин нечего ждать, давно бы их холера сожрала поодиночке, так, чтобы и косточек от них не осталось! Но даже такая девушка, как Роза Спивак, хотя они были как сестры, вместе странствовали, терпели грубости Щупака, вместе ели, почти в одной кровати спали, не принимает. Попробуй явиться к ней с визитом, так не впускают же. Напишешь ей: «Розеню, душечка, мадам Черняк хочет тебе сказать пару слов», — тоже не отвечает. Пишешь второй раз — опять не отвечает.

Приезжает в Нью-Йорк Рафалеско. Кто его встречает? Мадам Черняк, обнимает его, целует, приглашает к себе как родного, балует его, душу отдает ему — а он недоволен. Почему? Ему хочется, чтобы Роза Спивак и Гриша Стельмах прискакали к нему на одном венике... Мужчины, скажу я вам, гореть бы им, если им чего-нибудь захочется, подавай немедленно. Погодите немножко, мой дорогой Рафалеско. Давайте сначала поговорим, как поживает Гоцмах, провалиться ему сквозь землю! А сестричка его? Голову бы ей снять! А мать его, старая колдунья?

Так ведет разговор Брайнделе Козак с молодым другом Рафалеско и не понимает, на что дуется парень, кого корчит из себя. Из-за чего он разыгрывает трагедию? И почему ему так уж необходима Спивак?

А вспомнив Спивак, Брайнделе Козак вспыхивает как спичка, она не может простить, что ее, мадам Черняк, не хотят принять, не допускают к себе, не отвечают на ее письма. Кто? Дочь кантора, которая недавно носила заштопаннные чулки. Счастье привалило, ну так что, надо так зазнаваться? Можно быть знаменитой и знатной, но другие тоже не собаки. Когда взлетают слишком высоко, больно падают. Вот Генриетта Швалб — тоже примадонна, тоже знаменита, о ней тоже бьют в барабаны газеты, ее тоже на руках выносят со сцены, творится невероятное — и все же, иметь бы счастье, как она проста, человечна и доступна, как сестра, как родная сестра. Потому мадам Черняк к ней и благоволит, знает все ее секреты, приходит к ней каждый день в свободный час. Сидят, разговаривают — одно удовольствие. Ведут разговоры до поздней но-

чи. Затем Черняк хватает красную ротонду и говорит: «Что на меня напало? Гром меня порази! Уже ночь!»

И Брайнделе Козак, пританцовывая, шагает по улицам Нью-Йорка, достает кар и летит на работу в театр. А в голове путаются разные мефистофельские планы о свадьбе Генриетты и Рафалеско. Нет, не будь она Брайне Черняк, если не состоится свадьба. Будет веселая, замечательная свадьба, будут бить в барабаны, кибецарня заговорит, а она, мадам Черняк, будет главной свахой. С чьей стороны? Со стороны невесты? Или со стороны жениха? С обеих сторон. И она пустится в пляс, хи-хи, вот с этим толстяком, с Нислом Швалбом. А актеры напьются, плясать будут всю ночь напролет, затем она придет домой, сядет за стол и напишет мефистофельское письмо Розе Спивак и поздравит ее с этой свадьбой...

А может быть, не так. В «жутко интересных романах», которыми мадам Черняк сейчас зачитывается, принято иначе. Надо так сделать, чтобы Роза получила приглашение и пришла в ту самую минуту, когда жених и невеста уже под балдахин, он надевает ей кольцо и произносит: «Этим ты становишься моей женой согласно Моисееву закону»... Роза падает в обморок. Начинается шум и гам, прибегает ее жених Стельмах и пускает себе пулю в самое сердце...

Почему юному Стельмаху полагается пуля в самое сердце, не спрашивайте. Оскорбленный человек ищет отмщения и не думает, кто прав и кто не прав, а кровь льется рекой.

## ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

### Сваха Брайнделе Козак

Это было за несколько дней до того, как новая звезда из Бухареста Лео Рафалеско должен был впервые выступить перед нью-йоркской публикой. Все репетиции и приготовления закончились. Каждые две минуты мистер Никел давал знать по телефону актерской братии, что все «ол райт», почти все билеты на спектакль проданы, билеты рвут из рук, у кассы дерутся, он боится, как бы театр не разнесли, а дверь уже взламывают... Компания ничуть не испугалась этих «страшных» вестей. Хорошо знали, добрая половина того, что мистер Никел говорит, интересна разве что стенке, три четверти можно бросить в море, а остальное подарить нищим...

Из всей компании дома были только братья Швалб, мистер Кламер и ломжинский кантор. Рафалеско и Генриетта пошли фотографироваться в новом ракурсе. Настроение компании в то время было невеселым. Не потому, что бизнес был не на высоте. Наоборот, ожидалось большие, блестящие перспективы. Акции театра поднимались с каждым днем. Только не хватало того, чего не хватает везде и всегда в каждом человеческом обществе: уважения, единства и спокойствия. Чтобы один сказал, а другой не говорил противоположное, чтобы каждый не превозносил себя и не унижал другого. К примеру, старший из Швалбов Нисл хвастал, что это все его комбинации. Если бы не он со своей идеей, где бы они теперь были! А мистер Кламер твердил, если бы не он со своим карманом, они все должны были бы взять торбу и ходить побираться. Ломжинский кантор подрезал ему крылья, сказав, что никому его карман уже не нужен. Можно обойтись, слава богу, без его помощи. И сам он может себя обеспечить.

Это задело всех, даже младшего из Швалбов Изака. Он обратился к нему со своей «святой речью» и спросил у кантора, помнит ли он еще лондонский Уайтчепель с сырым подвалом и большой печкой, в которой не было дров и ни одной полной кастрюли. Только по субботам и праздникам, и то это брат собирал для них у добрых, сердечных людей...

Понятно, что такие слова кантору не понравились. Он Швалбу высказал вполне недвусмысленно, что в театре его место на галерке и его работа хлопать руками, а не молоть языком...

Изак Швалб не поленился ответить кантору, тоже довольно ясно, что придет время, когда его будут бить, — и возможно, что сейчас самый подходящий час, и тогда горе его борде!..

Конечно, мог бы получиться целый спектакль, но пришли с известием, что Швалба спрашивает какая-то леди...

— Леди? К кому? Ко мне?

Все четверо мужчин поднялись.

— Леди спрашивает мистера Швалба-старшего.

Нисл Швалб поднялся, оправил свой костюм, открыл дверь и... выругался.

Поняв, что Нисл Швалб разочарован, увидев такую леди, Брайнделе Козак (это была она) поклонилась и заявила, что ей надо ему сказать нечто очень важное.

— Бизнес?

— Бизнес.

— Секрет?

— Секрет.

Раз бизнес и секрет, то надо пригласить леди в отдельную комнату и выслушать.

Понятно, что Брайнделе Козак начала с большим предисловием, издалека, примерно с того времени, когда она еще была барышней и еще не знала даже Щупака, пропади он пропадом. Тогда ей даже не снилось, что она окажется в стране Колумба и займет такую должность... То есть она не жалуется на свою судьбу. Она знает, что есть много таких, которые пожелали бы иметь ее должность, ибо, как-никак, у нее есть еще несколько долларов, когда-то сэкономленных, немного, лишь бы ей не надо было зависеть от кого-то «делать жизнь»...

Нисл Швалб почувствовал, что леди занесло слишком далеко, он извинился, что он ее перебивает... Его очень радует, сказал он, что она ни от кого не зависит и что она может «делать жизнь», иметь бы ему добро всего мира. Но что же? Он сегодня очень занят. У него сегодня, сказал он, самая ярмарка: сегодня выступает на сцене их премьер, Лео Рафалеско. «Действительно, из-за него я пришла к вам», — сказала Брайнделе Козак, и Нисл Швалб заглянул в ее маленькие японские глазки, взглянул на красное вспотевшее круглое лицо и не очень серьезно спросил:

— Я думаю, к примеру, что вы можете мне что-нибудь сказать о Лео Рафалеско?

— Что я могу вам сказать о Лео Рафалеско? Дайте мне вашу руку.

— Вот вам мои обе руки.

Сначала Брайнделе Козак вытерла вспотевшее красное лицо, потом придвинула стул к его стулу так близко, что Нисл Швалб почувствовал аромат мятных капель и туалетного мыла, смешанный с острым запахом пота и зеленого лука... Она по возможности кратко передала ему, что она не больше, чем сваха, но сваха без всякого интереса. Ее интерес состоит только в том, что она доброжелатель Генриетты. Она желает, чтобы сбылась хоть половина ее благословений Генриетте. А если он, Нисл Швалб, хочет, чтобы его сестра, Генриетта Швалб, носила фамилию Рафалеско, он должен сделать так, чтобы это произошло поскорее, а то поздно будет...

При последних словах Брайнделе Козак отодвинулась вместе со стулом, еще раз вытерла вспотевшее лунообразное лицо, взглянула на Швалба своими маленькими япон-

скими глазками и улыбнулась крепко сжатыми губами, как человек, знающий что-то очень важное, но не могущий выразить это словами...

Сколько Нисл Швалб ее ни мучил, чтобы она ему сказала, кто, и что, и когда, сколько он ей ни клялся всеми своими клятвами: «как видят его плавающим», если нет, «чтобы я этим столом подавился», — Брайнделе Козак укуталась красной ротондой — и до свидания!..

— Ша! Тихо! — она ему сказала уже на пороге, приложив палец ко рту широкого улыбающегося лица, показывая ему редкостно здоровые белые зубы, — помните же, что вам сказано: чем раньше, тем вернее. Ша, гуд бай!..

#### ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ Канторша Лея в Нью-Йорке

Более чем нормально, что такой любитель еврейского театра, как Стельмах, был среди первых, пожелавших увидеть новую звезду из Бухареста. Удивительно, как он решился захватить с собой детей Гришу и Розу, которых он держит взаперти, боится показать их миру, особенно еврейскому Нью-Йорку, Даунтауну. Именно там, по идее Стельмаха, их сглазят... Для ответа на эту загадку мы вернемся к героине нашего романа и расскажем, что с ней произошло в последнее время.

Из письма Стельмаха к его лучшему другу мы узнали, что Роза хотела вызвать в Америку маму, овдовевшую после смерти ее мужа, кантора Исроела. Сказано — сделано. Роза Спивак не из тех, кто долго думает. И пошли депеши из Нью-Йорка в Голонешти и из Голонешти в Нью-Йорк, пока наконец Лея не сообщила, что выезжает в Нью-Йорк. Разумеется, канторша Лея была потрясена, она считала, что ее дочь рехнулась или случилось несчастье, а иначе чем можно объяснить это сумасшествие с телеграммами, каждое слово которых стоит уйму денег. Канторша Лея сама потом призналась Розе, если бы не ее дурные предположения, она не торопилась бы с Америкой. Во-первых, чего она здесь не видела, а во-вторых, что станет с бомбой!

— С какой бомбой?

— С домом богача, купленным тобой в Голонешти. Скажите на милость! Наступили бы времена мессии, тогда можно было бы найти постояльца, у нас в Голонешти мало таких домов.

Так объясняет канторша Лея, тараторит и тараторит все одно и то же и «скажите на милость!».

Можно с уверенностью сказать, Роза не очень довольна была затеей с вызовом матери, ибо в тот день, когда она должна была приехать, возник конфликт между Розой и отцом Гриши Стельмаха. Как человек практический, он спросил Розу: что она собирается делать со своей матерью? Роза оставила его вопрос без ответа. Она только на него посмотрела своими цыганскими глазами, но так посмотрела, что лучше было бы, если она отругала его. Стельмах не любил молчания Розы — это молчание океана перед бурей... И он поторопился сказать ей: он ничего плохого не думал, он хотел только узнать, где она остановится и что она будет есть!

Роза поняла его.

— То, что религиозной еврейке можно.

И не долго думая, она позвонила и попросила прислать ей автомобиль. Она подскочит на секунду в Даунтаун и закажет кошерные блюда для матери.

— Господи помилуй! Только этого нам не хватало.

Мейер Стельмах поднялся со стула, словно кипятком ошпаренный или уксусом облитый. Он так долго кипятился, сына призывал на помощь и добился того, что Роза осталась дома, а он сам поехал в Даунтаун и заказал постоянное место в кошерном ресторане. Он все наладит и за всем проследит. И будет ол райт.

И было ол райт! Мейер Стельмах повозился с канторшей, ему от нее было холодно и жарко. Хорошо, что обо всем этом можно рассказать друзьям в письме. И Мейер Стельмах засел, вооружившись тремя листами бумаги. Он детально описал муки и страдания, доставленные канторшей из Голонешти. Представьте, что ей была заказана не только пища, но и два медных подсвечника, ибо, клялась она... с тех пор как она хозяйка, она молилась над свечами в медных подсвечниках. И это все? Ошибаетесь. Ей надо было заказать постоянное место в синагоге. Покончив с этим, он выяснил, что она забыла свой молитвенник, уезжая из Голонешти, она его оставила у переплетчика. Мейер Стельмах нашел для нее молитвенник, тогда началась история с едой. В ресторане, где она должна была постоянно столоваться, ей предложили «брекфиш». Канторша сказала, что фиш-рыбу она ела, но «брекфиш» никогда. Ей говорят — это не рыба, а завтрак из мяса. На это она возразила: она никогда трэфного \* не ела и есть не будет...

Одним словом, Мейер Стельмах намучился с нею, но что не делают ради детей. Во-первых, он не хочет, чтобы Роза появлялась с матерью в еврейском квартале,— этого только не хватает. Во-вторых, он рассчитывал на то, что с помощью канторши состоится, наконец, помолвка.

Правда, первое время канторша его замучила, он кровью харкал, пока не добился ее согласия на помолвку. Хорошие времена, если Стельмах должен уговаривать, стоять на коленях перед канторшей из Голонешти, чтобы выпросить ее согласие на свадьбу. Но что отец не делает ради своих детей! Канторша упрямылась: «Парень он хороший, нечего сказать, хорошо зарабатывает, слов нет. Но кто он — музыкант!» А Стельмах ей говорит: «Все евреям такое бы счастье, он такой музыкант, как я раввин». Тогда она спросила: «А чем он занимается?» Он объясняет, что его сын — артист.

«Тысячу раз артист, — возражает она, — но раз он играет на скрипке, то он музыкант, парень хороший, это верно, хорошо зарабатывает, ничего не скажешь, но все же музыкант. Скажите на милость! Да придет ему бог суженую под стать». А ее дочери суждено кое-что другое, ведь ее отец, царство ему небесное, не играл на скрипке, ни он, ни ее дедушка. Не баба, говорю я вам, а суцая холера!

Зато, когда Стельмаху удалось уломать канторшу, то он нашел в ее лице замечательную помощницу, клад. Было трудно, пока он ее уговаривал, но как только она согласилась, то надела на дочку: раз и навсегда надо положить конец, сколько можно гулять в девках, так можно засидеться до седых волос. Жил бы отец, царство ему небесное, он от души радовался бы и веселился. Да, не суждено ему было дожить до этой счастливой минуты, бог покарал его, но если дожил бы, он дал бы согласие. Так пусть она порадует, пока ноги носят ее грешное тело...

«Одним словом, что я вам скажу, дорогой друг. Мы имеем великого бога, и я его каждый день благодарю за то, что он привез эту женщину сюда, она ежеминутно точит и точит... И так долго будет точить, пока не выточит. Полагаю, совсем скоро пришлю вам приглашение, в добрый час позову на свадьбу в Лондон или в Нью-Йорк, и вы, как верный друг, не отклоните мою просьбу. Дожить бы до той минуты, господь милостивый!» Этими словами Мейер Стельмах закончил свое велеречивое письмо лучшему своему другу.

## ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Поздравляем! Мазлтов!

Давно известно: добрая весть приходит не когда ее ждут, она приходит неожиданно.

Мейер Стельмах сидел за письменным столом в своем гостиничном номере и строчил письмо домой жене. Он жаловался и на страну Америку, и на весь этот шум и тарарам, на сущий ад... А главное, он сетовал на детей, отношения которых все никак не выяснятся.

«Что тебе писать, дорогая жена моя, у них намечается кое-что, еле заметное, у них история про белого бычка, затянувшаяся лю...»

— Кам ин! — крикнул Стельмах по-английски с еврейским акцентом...

И вошли дети: Гриша и Роза, в спортивных костюмах и оба со сверкающими глазами, с сияющими лицами.

— Папа, поздравь нас...

В первую минуту Стельмах потерял дар речи и смертельно побледнел. Он никогда не видел Гришу таким счастливым, и Роза еще никогда не была такой радостной, как в это утро.

Дети расцвели, как цветы весной. Отец не смог произнести ни единого слова. Он только смотрел то на Гришу, то на Розу: «Неужели свершилось?..» Он облился холодным потом, вздохнул, оперся на стул и еле слышно сказал:

— Так? Значит, я должен вам сказать мазлтов? Почему же вы молчите? И почему я сижу как истукан? Подойдите ко мне, я вас поздравлю!

С этими словами он сорвался с места, обнял каждого в отдельности, ласкал и целовал их, не замечая, что глаза его полны слез.

Сын, взволнованный не меньше отца, заметил его слезы:

— Почему же ты плачешь?

— Я плачу? Кто тебе сказал, что я плачу,— смахнул слезу Стельмах,— глупенький!

— Нет, не приведи господь! Кто плачет? — отозвалась Роза, смеясь, — вы не плачете, но слезы льются ручьем, как у моей мамы, когда приходят дни покаяния... что же она теперь скажет, узнав о радостях... Гриша! Едем к маме.

Сердце отца чуть не лопнуло от удовольствия.

— К матери, к матери,— повторил Стельмах слова Розы, забежал, стал искать в карманах, не зная чего он ищет, и от возбуждения забыл дать телеграмму в Лондон,

жене своей, о великом счастье, постигшем его семью. Он вместе с детьми сел в автомобиль, и втроем они укатили в еврейский квартал Нью-Йорка, в Даунтаун, к канторше Лее поздравить ее с великой радостью.

Лея в это утро, впрочем как и в другие утренние часы, читала молитвы, и вдруг около ее гостиницы появился черный автомобиль, в котором сидел негр в белых сапогах. В Америке черные люди и автомобиль не вызывают удивления. Но для еврейских детей, озорников с еврейской улицы — это событие. Есть на что поглядеть и о чем поговорить, а показать черному человеку язык — это сам бог велел. Счастье, что сидит шофер с огромными очками на глазах, и он готов сильно побить... иначе бы они влезли в машину, похожую на сильного зверя на колесах, и понеслись бы по городу...

Первым выскочил из автомобиля Стельмах-отец. Ему хотелось первым сообщить радость. Он, словно вихрь, влетел в ее номер и сказал:

— Доброе утро! Мазлтов! Поздравляю! Мы породнились!

Стельмах полагал, что канторша, услышав это, отложит в сторону молитвенник и будет радоваться. Не тут-то было. Кивком головы указала ему, где присесть, а сама продолжала молиться. Стельмах присел, а когда дети вошли и увидели ее молящейся, тоже присели в уголке и ждали, пока она кончит молитву. Кончив, Лея закрыла молитвенник и обратилась к детям:

— Мазлтов! Поздравляю! Счастья вам! В добрый час! Какое счастье! Когда бог дает детей, то он должен их осчастливить. Плохо то, что, мир праху его, он не дожид...

Лея спрятала лицо в передник...

— О мертвых не говорят, — заметил Стельмах, желая ее успокоить... — Поговорим лучше о веселых вещах.

Канторша посмотрела на него глазами, полными слез:

— Веселые? Кому весело, а кому грустно. Кто смеется, а кто плачет, у кого сердце болит, а кому хочется плясать...

Канторша только что собралась выговориться, но вмешалась дочь, которая в это утро была необыкновенно весела:

— Мама, оставь мрачные мысли на Судный день, а теперь, когда ты дожила до свадьбы дочери, и ты этому способствовала, поговорим о том, как нам провести сегодня день и вечер.

— Дочка, какой разговор! — воскликнула канторша, — надо созвать людей, составить брачный договор, разбить тарелку, мы же евреи... скажите на милость!

Однако дочь ответила, что тарелку разбивать не надо, договора составлять тоже не надо, у них полная договоренность, они объявили себя женихом и невестой — и это все.

С изумлением рассматривала набожная мать счастливую пару и осталась очень довольна. В самом деле все хорошо, все, не сглазить бы, прекрасно, они молоды, богаты и знамениты. Слава богу, она к жениху никаких претензий не имеет. Правда, ей хотелось бы, чтобы дети были больше евреями, чем они есть! Разве не красиво было бы собрать десять бородатых евреев, раввина, кантора, служку и сыграть свадьбу, как полагается... Что красивого в том, что жених и невеста висят на руках друг друга? Жених ходит без шапки на голове, и даже отец жениха опростоволосился. Нет, Америка дикая страна!

Так думала канторша и набросилась на Стельмаха, почему и он без шапки. Если молодежь нарушает религиозные обычаи — это еще полбеды, они ведь артистами называются, но он, еврей с бородой... скажите на милость!

При этих словах все переглянулись: борода Стельмаха была так мала, что ее трудно было заметить, парикмахер сильно поработал над ней, — и все рассмеялись. Кроме канторши. Она внимательно посмотрела на Стельмаха и увидела, что его борода — не борода, а так, какой-то намек на бороду...

Канторша раскрыла молитвенник и тихо зашептала нараспев:

«Страж Израиля, сохрани остатки народа своего, произносящего молитву «Слушай, Израиль!».

## ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

### Счастливым день

Счастье, как и несчастье, — такие гости, что если забираются к кому-нибудь, то это надолго, и забывают дорогу обратно. Улыбнется человеку — удача прет к нему со всех сторон.

Мейер Стельмах — один из тех счастливицков, которому улыбнулась удача и приходила к нему без усталости. Деньги и почести, как дождь, лились с неба к нему в дом. Одного недоставало — счастья повести сына под венец. Но дождался он и этого дня.

Если бывают на свете счастливые отцы, то в тот день был им не кто иной, как Мейер Стельмах. Он земли не чувствовал под собою, он парил в воздухе. В восторге от счастья он с детьми отправился в самый богатый ювелирный магазин, попросил самые дорогие бриллианты и предложил Розе выбрать себе за его счет все самое дорогое и лучшее, не жалея денег. И Роза, не стесняясь, выбрала то, что было ей по душе.

Мейер Стельмах признался: впервые в жизни он так потратился от всей души и на широкую ногу. Кажется, не было такой вещи на белом свете, которой он не преподнес бы Розе в этот день. Душенька, хоть полцарства, даже звездочку с неба.

После обеда, когда «сердце царя развеселилось от вина» \*, отец Стельмах сидел, развалившись в мягком кресле, и курил гаванскую сигару, сын расхаживал взад и вперед по комнате, импровизировал на своем «страдивариусе». Мейер Стельмах подсел к Розе и шептал ей, знает ли она, какое приданое за Гришей.

Роза, облокотившись на руку, не спуская глаз с Гриши и его скрипки, не слышала и не хотела слушать тайны Мейера Стельмаха. Она теперь была в небесах, купалась в божественных мелодиях, которые Гриша извлекал из скрипки Страдивариуса.

Не великолепные светлые залы, не прекрасно одетая публика, не аристократы, магнаты, миллионеры и дамы, не королевские дворцы подхватили маэстро и увлекли его сегодня в мир дивных напевов, небесной музыки и райских мелодий, нет. Сегодня Роза сказала Грише «да», вот это единственное слово и вызвало волшебные звуки, которые он извлекал из скрипки.

А скрипка его не играла, а говорила на возвышенном языке, понятном только великому артисту. Казалось, ангелы витали в этих звуках, в море напевов, которые то вздымались, то падали, звенели на тысячи ладов, приветствуя все живое. Они пели хвалу тому, кто сотворил этот изумительный мир звуков, музыки, красоты, волшебства и любви. Нет, Гриша Стельмах давно так не играл, как в этот день, празднуя радость сердца, праздник его души, в которой пели птицы. И он, не умолкая, говорил и говорил на своем божественном языке волшебные истории... А Роза, которая понимала его язык, вслушивалась в его истории, в золотом шитье мечты. Ей казалось, что вот-вот улетит ее душа и соединится с этим миром неземных напевов.

Гриша кончил играть, а Роза, забыв, что отец Стельмах рядом, обняла Гришу... Она упала бы к его ногам, так была потрясена его игрой. Но спохватилась, побежала к роялю, открыла крышку, взяла несколько мощных аккордов и запела. Казалось, не она поет, а звуки просто льются так, как ни одно ухо, ни один концертный зал еще не слышали и не внимали.

Так поет соловей для себя, в лесу, изливая свои затаенные чувства и тоску одиночества... Это был дивный концерт, редкий концерт...

«Сколько долларов заплатил бы янки за такой концерт?» — подумал счастливый отец Гриши Стельмаха, единственный слушатель этого концерта-экспромта, и чуть не лопнул от наслаждения и счастья.

— Знаете, дети, что я вам скажу? — сказал счастливый отец, — о чем я подумал в эту минуту?

— Что вы придумали? — спросили оба, обратившись к нему ликующими лицами, влюбленными и счастьем озаренными глазами.

Счастливый отец потербил то, что когда-то у него было бородой, и заговорил синагогальным напевом:

— Если нам повезло и мы имеем великого бога, который одарил нас таким счастливым днем, а вечер у нас сегодня свободный, то, может быть, мы бы взяли и поехали в еврейский театр. Что вы на это скажете, голубчики мои?

Голубки переглянулись и весело сказали:

— Ол райт! В еврейский театр. Ол райт!

— А из театра, мои дорогие канареечки, в еврейский ресторан.

— Bravo! Bravo! — со смехом поддержали канареечки.

После этого пошел разговор, в какой еврейский театр, где что играют?

— Что играют сегодня? Сейчас скажу.

Стельмах — любитель еврейского театра, каждый день покупает еврейские газеты, его комната полна еврейскими газетами и книгами. Зачем ему столько бумаги? Выбросить — жалко. Еврейское слово для него свято. Чтобы сложить газеты, нужен большой ящик. Стельмах взялся было за кипу газет, но, вспомнив, крикнул:

— Дети, мы имеем великого бога. Сегодня большой праздник в еврейском театре, в театре Никела впервые выступает известный артист из Бухареста некто Рафалеско. Помнится, я вам о нем рассказывал. Газеты трубят уже много дней об этой звезде! Видимо, он высокого

полета. Пишут «королева Румынии Кармен Сильва», и «великий Зоненталь»... «Поссарт, Ирвинг, Росси»... Творится невероятное... Имеем великого бога.

Так завершил свою речь счастливый отец, и все трое разработали программу сегодняшнего вечера: посетят театр Никела, затем ресторан Шолома — там готовят фаршированную рыбу, которую запивают бессарабской вишневкой. Шолом знаменит, его фотографии во всех газетах. Вы открываете газету — и вас приветствует Шолом со своим рестораном.

— Итак, раньше театр Никела, а затем ресторан Шолома, что вы на это скажете, сорванцы?

Что им остается сказать: они согласны. Они еще никогда не были в таком приподнятом настроении, как сегодня. И отец был в восторге. Остается достать ложу в еврейском театре. Ложу на троих.

— Нет, так не пойдет. Ложу, и самую дорогую, я достану на двоих, а себе найду место в партере. Почему? Простой расчет. В еврейском театре — вы чужие. Меня может кто-нибудь узнать, а вас — никто. Ты, Гриша, нагнешь на глаза большую мягкую шляпу, а ты, Роза, будешь настолько любезна, что наденешь шляпу с большими полями, — тогда можете всем показать кукиш, а не глаза. Тогда никто не узнает, кто сидит в ложе. Если вас хоть один человек узнает, то завтра все газеты выйдут с такими крупными заголовками: «Величайшие звезды мира, Гриша Стельмах и Роза Спивак — в еврейском театре». Ха-ха! Те, которые не знают, подумают, что Гриша Стельмах и Роза Спивак играют в еврейском театре. Как вам это нравится? Ха-ха!

Так весело начался для счастливого Стельмаха этот счастливый день.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

### Ответный визит

Наш друг читатель должен помнить визит мадам Черняк, или Брайнделе Козак, к Нислу Швалбу, и ее намек о том, что, если он хочет, чтобы его сестра Генриетта Швалб носила фамилию Рафалеско, он должен поторопиться, если же нет, будет поздно...

Понятно, что эти слова крепко засели, как говорят, в голове нашего комбинатора. Нисл Швалб не довольствовался этим намеком. Он хотел узнать больше и глубже,

о чем идет речь. Он не поленился и однажды утром потрудился нанести ответный визит этой зверюшке в красной ротонде с обезьяньим лицом.

Узнав у сестры адрес мадам Черняк и время, когда можно ее застать дома, наш Швалб пробирався через улицы и переулки, взобрался на двенадцатый этаж где-то в Бруклине, сильно нагнувшись, еле влез туда.

— Хелло! Здесь живет мисс Черняк?

Мисс Черняк была в своем пеньюаре, в утреннем туалете с широкими рукавами и сильным вырезом у шеи, в домашних туфлях на босу ногу. Волосы ее были еще не причесаны, комнатка еще не убрана, кровать не застлана, мусор стоял еще у двери, а на столе остатки ужина. Увидев перед собой такого неожиданного гостя (необходимо отметить, что, с тех пор как Брайнделе Козак в Америке, это первый мужчина, переступивший ее порог), она сначала как бы испугалась, не знала, что раньше делать: набросить на себя другое платье, застелить ли кровать, вынести мусор, убрать ли со стола остатки вчерашнего ужина. От большой растерянности она забыла пригласить гостя сесть и сама тоже стояла, опустив руки, в ожидании, что он ей скажет. Нисл Швалб увидел, что она в замешательстве, поднес мадам Черняк стул и сам сел, успокаивая ее посторонними разговорами и приятными словами. Он ей откровенно сказал, что давно хотел с ней поближе познакомиться. Тем более после ее визита он чувствует себя должником. Кстати, он хотел с ней поговорить относительно домашних дел, о семейных делах... Он чувствует, что с ней он может говорить о таком, о чем с другими бы вообще не говорил... С ним можно обо всем говорить, откровенно и свободно, ибо он джентльмен и порядочный человек (тут Швалб расстегнулся, выставив вперед свой толстый живот в белом жилете с большой, толстой позолоченной цепью).

— Вы можете быть уверены, что все то, о чем мы здесь будем говорить, останется здесь. Вот — здесь, в этих четырех стенах.

Нисл Швалб указал обеими руками на четыре стены комнатки мадам Черняк и попутно сделал комплимент: как красиво, как чисто, как аккуратно здесь! Он давно такой чистоты не видел, ему бы так иметь все богатства мира! Неужели она здесь живет одна?

— Одна-одинешенька, одинока как перст, — ответила ему мадам Черняк с глубоким вздохом и покраснела как мак, даже вспотела.

— Мы здесь все одиноки. Я тоже один, одинокий человек,— повторил Швалб ее слова.

Мадам Черняк это иначе поняла. Она села милому гостю визави, поправила обеими руками волосы, придала своему круглому лицу с японскими глазками кокетливое выражение, на какое только была способна, и спросила:

— Вы разве холостяк?

На ее английское слово «сингелмен» Нисл Швалб тоже ответил ей английским словом: «шаур», которое означает «конечно!», и добавил по-еврейски:

— Еще какой холостяк! Среди холостяков холостяк!

Узнав таким образом от гостя, что он еще не женат, мадам Черняк стала с ним еще приветливее и оба рукава пеньюара закатала до локтей, и капли пота выступили у нее на верхней губе, чуть покрытой черными усами.

— Как это возможно? — спросила она с приятной гримасой смешанного любопытства и жалости.

— Вот так, всегда занят. Денно и ночью только шум да гам. Настает утро, бежишь сюда-туда. Некогда даже сесть поесть, попить, довольствуешься сэндвичем. О сне говорить не приходится. Не раз случается, что дремлешь на ходу, увидеть бы вам меня плавающим! Поверите мне, проходят недели; месяцы, когда я не ем, не пью и не сплю, иметь бы мне так богатства всего мира!

Выслушав с большим интересом рассказ своего гостя, мадам Черняк, кивая головой, придвинулась к нему ближе, положила свои обе полуголые руки на высокую и широкую грудь, которая выглядела под корсетом не как две газели у Суламифи из «Песни песней», но как две подложенные подушечки.

— Нехорошо так,— укоряла она, как нежная мать,— плохо. Человек не должен опускаться. Надо о себе тоже подумать...

— Как можно думать о себе, если у тебя такой горб на плечах. Я имею в виду мою сестру-примадонну. Счастье в том, что она красива, а беда — что уж слишком красива. Что слишком, то плохо... Помог бы мне бог выдать сестру замуж и брату Изаку получить хорошую должность, я тогда бы и о себе подумал... Пора, хотя я еще... сколько, по-вашему, мне лет? А ну, угадайте.

Не удивительно, что после таких разговоров мадам Черняк размякла, и ее окаменевшее сердце стало податливым как масло! Ах, какой это мужчина! Попробуйте оце-

нить человека по внешности. Она никогда бы в жизни не подумала, что у этого высокого сильного джентльмена такая нежная душа. И лицо его, и речь, и улыбка — всем бы мужчинам пропасть за его мизинчик!.. Брайнделе Козак давно не чувствовала себя в таком приподнятом настроении и так легко, как с этим гостем. Она не помнит, с кем она когда-нибудь разговаривала так откровенно, как с этим джентльменом. Она ему открыла, можно сказать, свое сердце, ничего не скрыв от него.

Нет, Нисл Швалб не жалел, что он потрудился прийти к этой зверюшке с обезьяньим лицом. Этот ответный визит открыл ему глаза. Многое прояснилось. Тихонький Рафалеско со своим тихим романом и красивая история с дочерью кантора, которая сейчас играет такую видную роль в театральном мире, — все теперь стало ясно, как на ладони.

На обратном пути, насвистывая веселую песенку, Нисл Швалб придумывал гениальную комбинацию.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

### У ломжинского кантора на чашке чаю

Нисл Швалб не пошел домой, а сначала забрел к своему компаньону и советчику — к мистеру Кламеру, вместе они направились к ломжинскому кантору по поводу важного бизнеса, новейшей комбинации.

Что за бизнес? Какая комбинация? Этого добиться мистер Кламер не смог. Ни подбру, ни угрозами. Нисл Швалб просил его: терпение. И почти силой приволок его к ломжинскому соловью, а по дороге, по обыкновению, он орал, кричал и размахивал руками.

Когда были почти у дома кантора, мистер Кламер уперся: он не пойдет, у него принцип: он не любит кота в мешке.

Но с Нислом Швалбом не сговоришься. Говори по-английски, по-татарски, не поможет, он схватил Кламера и сказал:

— Нет уж, вы у меня пойдете.

Ломжинского соловья застали без шапки и без сюртука, а вокруг него вся его капелла, они репетировали новый концерт.

Увидев вошедших, ватага бросилась к Нислу Швалбу. Старшие пожимали ему руку, а младшие полезли ему на плечи и казались муравьями на его широкой спине.

Поначалу великан спокойно их терпел, посмеивался, а затем сбросил с себя малышей и гаркнул:

— А ну-ка, байстрюки, уберитесь отсюда. Быстро, у нас дела. Эй, кантор, где ваша миссис? Позовите ее, мы должны провести конференцию.

Был бы кто-нибудь другой, ломжинский соловей дал бы ему взбучку, ибо что это за обращение «эй, кантор». Больше всего попало бы от канторши. Но дяде Нислу (так они его звали) все дозволено, его все любят от мала до велика, потому что он гуд бой. У дяди Нисла для каждого есть доброе слово. Одного он похлопает по плечу, другого ущипнет за щеку, третьего толкнет легонько в бок, а бывает, что снимет пиджак и вступит с кем-нибудь в борьбу — бокс. Дядя Нисл никогда не придет с пустыми руками. Обязательно принесет что-либо вкусное. И сегодня он принес конфеты, то, что ватага кантора любит. Дети в один миг расхватили конфеты и ушли из дому. Кантор надел сюртук, позвал из соседней комнаты канторшу, запер дверь, и конференция открылась.

Вечером того же дня к кантору собралось много народу на чашку чаю. А чашка чаю, это все знают, не только чай, но и ужин. И главное не чай и не ужин, но карты.

Многие думают, что если карт вообще не было бы, то ни одно человеческое общество не знало бы, чем заполнить время между ужином и чаем. Хозяйка зевала бы, а гости уснули бы. Люди перестали бы ходить друг к другу, знакомиться, вести разговоры, и свет перестал бы существовать. Пусть читают мораль, но карты не пустое дело. В вопросах карт весь мир — один дом. Везде и всюду, в самых дальних краях, где есть люди, там играют в карты. Только одно: у каждого своя игра, и она имеет свое название. К примеру, у нас в Старом Свете принято считать, что в карты никто не играет, а приходят друг к другу на чашку чаю. А чем же люди заняты? Там играют в преферанс, режутся в очко, закладывают банк, балуются в «девятый вал». А здесь, в Новом Свете, тоже в карты вроде не играют, это занятие для жуликов и профессиональных картежников. Солидные люди, собравшиеся на чашку чаю, выкладывают карты на стол и, сохрани боже, в карты не играют, развлекаются игрой в покер или пинокол. Это делается чаще всего для бизнеса и отчасти для времяпрепровождения. Каждый, кто садится за карточный

стол, рассчитывает на выигрыш. В итоге все зависит от судьбы, кто проигрывает, а кто выигрывает.

Теперь, когда нам стало ясно, что такое «чашка чаю», познакомимся с теми, кто собрался у ломжинского кантора на чашку чаю.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ Разнообразное общество

Общество, собравшееся в тот вечер у ломжинского кантора на чашку чаю, было смешанным, и трудно было определить, к какому классу его отнести, потому и описать его нелегко, как нелегко описать население такого странного огромного города, как Нью-Йорк.

Это была смесь разнообразных типов, больше всего ломжинских земляков, людей разных профессий.

На первый взгляд казалось, что эти люди ничего общего между собой не имеют. В самом деле, что общего между равнином в котелке с заправленными за уши пейсами и коробейником, страдающим одышкой?

Или что общего между агентом по продаже пишущих машин, парнем со слезящимися глазами, и мелемедом, маленьким человеком с изрытым оспой лицом?

Или что может быть общего у домовладельца с Бронкстрит, черного еврея с носом картошкой, с портным со вставной челюстью из мастерской? А у всех вместе взятых, что у них общего с кантором и канторшей, с актерами, актрисами, музыкантами и клакерами еврейского театра?

И все же все они чувствовали себя хорошо, словно все родные и равные. Каждый гордился тем, что он в Америке, имеет бизнес и «делает жизнь». Никто не считал себя выше другого, как это у нас бывает во время собрания или праздника. Демократический дух во всем сказывается. И наш брат, как и другие национальности, здесь быстро, быстро акклиматизируется и переплавляется в этой плавильной печи, впитывая в себя дух равенства.

Все три комнаты квартиры кантора — парадная, столовая, спальня — были заполнены гостями, кто пил чай, кто курил, кто играл в шахматы, а кто в пиколь, а кто болтал, смеялся и тараторил. Один повествовал о хозяине дома, который устанавливает правила поведения его жителей. Другой рассказал красивую, но короткую историю, как

он судился... Третий вспомнил пожар, который чуть не превратил фабрику в дым. Четвертый говорил о спекуляциях, акциях и о других махинациях Уолл-стрита. А актеры и актрисы были заняты своими интересами: ролями, звездами, пьесами, «юнионом», бенефисами.

А говорили все вместе и чувствовали себя вольно и хорошо. А шум был как в бане, дым стоял коромыслом, и трудно было запомнить, какое у кого лицо.

Из наших знакомых, кроме кантора, канторши и их капеллы, был здесь мистер Кламер, в парадном смокинге, с бородой а-ля Герцль, расчесанной на обе стороны. Он сидел напротив своего партнера Никела, который на сей раз имел при себе золотые часы с золотой цепочкой — «подарок президента Соединенных Штатов Америки». Они разговаривали на английском языке и рассказывали о чудесах в решетке.

Были здесь и Изак Швалб, и Брайнделе Козак. Они стояли у карточного столика и наблюдали, как играют в карты. Среди игроков была примадонна Генриетта Швалб, вся в бриллиантах. Она горячилась, болтала, смеялась, была оживленнее всех остальных. Сыграла очень удачно, около ее места за столиком лежала грудa денег. Все ей завидовали, мужчины перебрасывались на ее счет словечками, судя по всему, довольно фривольными. Держались они настолько фривольно, что один джентльмен, бритый, с красным лицом и острым носом, в бриллиантовых кольцах на пальцах, сидевший визави, несколько раз наступил ей на ногу под столом, хотя мы знаем, что он человек семейный.

В стороне, в кресле-качалке сидел Лео Рафалеско, курил и покачивался. Рядом с ним стояли актеры, все бритые, и рассказывали театральные анекдоты, вызывавшие смех, сотрясавший стены. Больше всех выделялся комик, кикимора с подвижным лицом и смеющимися глазами. Начиная рассказывать, он уже смеялся, смеялся жадно, хватаясь за бока и изгибаясь в три погибели.

— Леди и джентльмены, — обратился ломжинский кантор, который уже немного усвоил английский язык, — прошу к столу, плиз!

Народ недолго надо было упрашивать. Те, которые были свободны, тут же заняли места за столом, те, которые играли в карты, сосчитали наличные и разгоряченно делились друг с другом впечатлениями об игре.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Нисл Швалб произносит тост

Почти все проиграли, одна примадонна Генриетта Швалб оказалась в выигрыше — хоть распахни ворота. Она так была занята подсчетом долларов, лицо ее так пылало, что, кроме долларов, она никого и ничего не видела. Брат Изак и Брайнделе Козак, стоявшие около нее, завистливыми и жадными глазами смотревшие, как она укладывает деньги в свой ридикюль, спросили ее, что она будет делать с таким капиталом, не думает ли она купить автомобиль, бриллианты или, быть может, дом на Пятой авеню.

Генриетта на эти шуточки не реагировала. Она даже не сообразила, что о ней говорят. Она даже пропустила мимо ушей плоские комплименты ее партнерш, что она не хуже играет в карты, чем поет на сцене.

— Прекрасно! — вдохновенно вскрикнул бритый джентльмен с красным лицом и острым носом. Этот джентльмен все время вертелся вокруг примадонны, улыбался ей и облизывался как кот. Ему очень хотелось сесть рядом с примадонной, она ему сильно понравилась. Однако джентльмену не повезло, менеджером и тост-мейстером этого вечера оказался Нисл Швалб.

Наш известный комбинатор взялся за дело: усадил всех за стол и выказал при этом умение, как при всех его комбинациях. Он посадил всех таким образом, чтобы каждая леди имела кавалера справа и слева. К примеру, у ломжинской канторши с одной стороны сидел агент по продаже пишущих машин, славный малый со слезящимися глазами, а с другой — мясник, от которого несло сырым мясом... Актриса с высоким шиньоном оказалась между равнином справа и портным слева, у которого вставные челюсти, издававшие хруст при еде... И так далее.

Трудно утверждать, что леди и кавалеры хорошо себя чувствовали. Ибо что общего, к примеру, канторша имеет с агентом или мясником? Или что общего между актрисой, равнином и портным? Но зато получилось, что примадонна Швалб сидела между Рафалеско и братом Изаком. Именно в этом заключалась комбинация Нисла, чтобы Генриетта сидела рядом с Рафалеско, ибо это нужно было для дела...

Обиженным оказался джентльмен с красным лицом и длинным носом, который влюбился в примадонну. Как назло, ему пришлось ухаживать за мадам Черняк, или

Брайнделе Козак, которая потела, как локомотив, и издавала запахи мыла и другие. Сбыться бы всем проклятиям, которыми она его наградила, хотя вел он себя корректно, как настоящий джентльмен: придвинул тарелку, подал хлеб, наполнил стакан водой, поинтересовался ее любимым блюдом. Брайнделе Козак имела основание быть довольной этим вечером... Но оставим ее в покое и поговорим лучше о ее кавалере, о бритом джентльмене...

Господь, дарящий милость всем своим тварям, сжалился и над джентльменом. Столы оказались маловатыми, менеджер и распорядитель вечера, Нисл Швалб дал команду придвинуться. И так долго сдвигались, что джентльмен оказался напротив примадонны. На душе стало светло: он получил возможность работать ногами под столом сколько угодно. Правда, прошло некоторое время, пока попал, куда целился. Пару раз он столкнулся с ногами Рафалеско, с ногами Изака Швалба, лишь потом с примадонной и ее улыбкой, тогда он понял, что все ол райт.

Все же он горел огнем, ненавидя Рафалеско, сидящего рядом с примадонной, которая назло склоняла свое ухо к его рту. Она смеялась, запрокидывая голову, показывала свои прекрасные зубы. Джентльмен, выпивший до и после рыбы по рюмочке, не на шутку обозлился, неудержимо ревновал ее (забыв, что он женат) и так зло смотрел на Рафалеско, что рассмешил этим Генриетту, которая хохотала до колик в животе.

«Почему она смеется, хотел бы я знать, и кто этот парень, с которым она шушукается? Держу пари — он «зеленый» и болван среди болванов».

Так думал ревнивый джентльмен и ломал себе голову над различными предположениями. Но после первого тоста ему все стало ясно.

— Леди и джентльмены,— сказал тостмейстер Нисл Швалб,— обращаю ваше внимание, дамы и господа, что первый тост принадлежит мистеру Кламеру. Прошу нашего уважаемого хозяина и его миссис, уважаемую хозяйку, наполнить бокалы уважаемых гостей. Мистер Кламер, вам слово!

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

### Спич мистера Кламера

Получив слово, мистер Кламер поднялся со своего места, откашлялся, поправил смокинг, рубашку и галстук, разгладил бороду а-ля Герцль, оперся руками о

стол, оглядел собравшихся, закусил губу и после длинной паузы начал речь.

Наш друг мистер Кламер всегда считал себя превосходным оратором. Но с тех пор, как живет в Америке, он услышал так много лекций, проповедей и тостов, что ждал только того часа, когда он сможет показать американцам, что такое настоящий спич. От правды не уйти, потому добавим, что мистер Кламер и в самом деле хороший оратор, то есть сама речь и содержание никакой роли не играют, важны слова, и не так слова, как язык и голос... Мистер Кламер, доложу я вам, знает, когда надо повышать голос, а когда, напротив, надо говорить тихо, чуть слышно. А как он держит себя во время речи! А руки! В речи важную роль играют руки, может, более важную, чем рот. Надо знать, какой рукой и когда жестикулировать, когда руки можно скрестить на груди, а когда сделать широкий жест, когда руки заложить за жилет, а когда в карманы брюк. Иногда после словесного грома необходимо говорить еле слышно, руки держать за спиной, потом отступить на несколько шагов, наклонить голову и, сделав красивый жест рукой, выдержать длинную паузу. «Поэнтами» называют в Америке все эти приемы ораторского искусства. Все «поэнты» и умение держать руки в карманах брюк мистер Кламер быстро перенял у американских ораторов со всеми деталями.

Обидно, что мы не можем воспроизвести всю речь мистера Кламера, так как она очень длинна и пронизана высокопарной риторикой, пустословием, библейскими стихами, афоризмами мудрецов, никогда никем не сказанными, английскими пословицами, хотя и остроумными, но не имеющими никакого отношения к делу.

Мы лишь вкратце передадим содержание спича Кламера.

«Жизнь человека,— так приблизительно начал Кламер,— можно разделить, как год, на четыре периода: весну, лето, осень и зиму. Весна, леди и джентльмены, самое лучшее, самое любимое, или, как Моисей-пророк сказал, самое поэтическое время года. Весна — это время, когда все цветет, растет, живет, когда соловей, как говорил Гейне, ол райт, когда молодое сердце бьется любовью. О, любовь! Так сказал Вольтер. Кто из нас не пил это сладкое питье, имя которому любовь! Кто из нас, говорил Лев Толстой, не был молодым и свежим и после долгих поисков не находил ту, которая становилась единственной спутницей его жизни. Что может быть прекраснее,

возвышеннее и священнее этого чувства, которое наш бессмертный Шекспир назвал симпатией? Еще великие ученые древности, к примеру, Кант, Сократ, Диоген, Мэфистофель, а также наши талмудисты сказали: на трех китах держится мир: на любви, любви и любви. Без денег, говорит Ибсен, может человек быть ол райт, но без любви его жизнь пуста и мрачна, словно корабль без руля, или, как англичане говорят: как тело без души.

Леди и джентльмены! Разве вы не чувствуете здесь в этот час, за этим столом присутствие счастливой пары, молодые сердца которой связаны любовью и симпатией. Не правда ли, очень давно, еще по ту сторону Атлантического океана! Да, мои милые дамы и господа, еще по ту сторону Атлантического океана, в Старом Свете их любовь расцвела и разгорелась ярким пламенем. Их роман, мои господа и дамы, протекал, как все романы, втайне. Только небо и земля, как говорит Золя, знают, что нет ничего тайного, что бы не стало гласным.

Леди и джентльмены! Вы знаете мой принцип: я не из тех, кто заглядывает в чужие горшки, я не собираюсь открывать чужие тайны. Чужой бизнес — не мой бизнес, меня он не касается, как говорят, англичане: «когда дерутся, моя хата с краю».

Леди и джентльмены! Великий поэт Мильтон однажды выразился: «не думайте, что мы так отстали, что считаем несправедливым; когда юноша любит девушку». В согласии с ним я могу гордо заявить, мои дамы и господа, что только некоторые мои друзья, находящиеся в этом зале, имели счастье присутствовать на корабле с той счастливой парой, у которой зародилось святое чувство любви, как говорит Байрон, закрепленное клятвой свободы, верности и преданности, а их сердца, как говорит Зангвиль, слились в единый слиток, словно металл в плавильной печи.

Леди и джентльмены! Это был первый акт светлого романа, сердечной драмы. Этот роман, мои милые дамы и господа, начался в Старом Свете! Это драма, последнему акту которой суждено завершиться здесь, как говорит Теодор Герцль, в счастливой стране доллара, здесь будет сказано последнее слово. Здесь, в этой стране, опускается занавес, здесь, в этой стране, они будут ол райт, или, как говорит Шиллер: «финита ля комедия!»<sup>1</sup>.

Леди и джентльмены!

Я удостоился чести и счастья сообщить вам, что герои

---

<sup>1</sup> Комедия окончена (ит.).

этого романа ол райт — они молодые и красивые, знамениты во всем мире, от края до края, как люди искусства, актеры еврейского театра: он — своей игрой, она — своим пением.

Леди и джентльмены! Надо ли их назвать по имени? Думаю, что это излишне, так как вы их хорошо знаете. Вот сидят они рядом, рука об руку, как голубки. Ее пение вы несомненно слышали, оно вас околдовало, она известная звезда из Буэнос-Айреса, а он знаменитый артист из Бухареста, услышать которого нам посчастливится не позже чем завтра, когда он впервые выступит в прославленном театре Никела. Если у вас еще нет билетов, завтра рано утром вы еще сможете их приобрести. Не уверен, что они будут в кассе, но их можно будет купить у спекулянтов.

Леди и джентльмены! Смотрю на эту парочку и вижу, как горят у них лица, я понимаю их состояние, когда все глаза направлены в их сторону. Пожелаем им, чтобы они были ол райт не менее, чем еврейский театр и еврейское искусство. Да здравствуют наши жрецы, да здравствуют наши звезды. Поднимаю бокал и заканчиваю тост словами царя Соломона: «глас жениха и глас невесты». Ура мистериу Лео Рафалеско, ура мисс Генриетте Швалб! Ур-ра!»

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

### Разбитая тарелка

Крики «ура» и перезвон бокалов после блистательного спича мистера Кламера — это была лишь официальная часть программы, как того требует мода. Настоящее веселье началось тогда, когда ломжинская канторша, довольная и счастливая тем, что торжество происходит у нее дома, воодушевилась, вошла в азарт, схватила тарелку, подняла ее над головой и бросила на пол, разбив ее вдребезги. Затем, как родная мать, дождавшаяся, наконец, свадьбы самой младшей дочери, воскликнула:

— Мазлтов! Поздравляю!

— Поздравляем! Поздравляем! — поддержал весь народ, а близкие, то есть родные, бросились целовать жениха и невесту. Первым был главный сват — Нисл Швалб, затем брат Изак, мистер Кламер, мистер Никел, кантор и канторша, Брайнделе Козак. Целовались беспорядочно, как водится при таких торжествах, джентльмен с бритым красным лицом и острым носом тоже полез целовать жениха и невесту, собственно, не так жениха, как невесту.

Веселье после разбитой тарелки в доме ломжинского кантора неимоверно увеличилось, и дело шло к танцам.

— Ну вас всех к черту! — крикнул Нисл Швалб, открыл еще несколько бутылок вина, наполнил все бокалы и свой не забыл, — к черту! Я еще не попробовал ни одной капли, увидеть бы вам меня плавающим! Мистер Кламер и мистер Никел, выпьем за Колумба, придумавшего такую чудесную страну, как Америка. Приятная страна, золотая, дай мне бог столько счастья! Кантор, почему вы так сидите, словно вы в Ломже на обрезании. Где ваша капелла? Почему не поют? Брат Изак, возьми мадам Черняк и начни танец, покажи, на что ты способен. Леди и джентльмены, мой брат танцует как балерина, хотя у него тяжелая поступь. Иметь бы мне все добро мира!

При этих словах загорелась и мадам Черняк, а брат Изак, уже под мухой, поднялся от стола и собрался показать, как он умеет танцевать. Одним словом, у ломжинского кантора была радость и веселье, редкая и веселая помолвка. А счастливая пара? Они сидели на самом почетном месте со светлыми лицами, как настоящие жених и невеста.

У Нисла Швалба было полное основание быть веселым. Из всех комбинаций, им придуманных, эта — с чашкой чаю у ломжинского кантора и со спичем мистера Кламера — была самой удачной. Надо добавить, что везение тоже сыграло свою роль. Авантюра Швалба совпала с тем временем, когда наш юный герой был в Нью-Йорке сам не свой, не в состоянии смириться с трескотней Нового Света и новыми людьми.

Шум вокруг его имени, барабанный бой газет, их вопли и крик, миф об истории его жизни, и конкуренты, тайно вертевшиеся вокруг него и предлагавшие ему золотые горы, как только он уйдет из еврейского театра и поступит на английскую сцену, вскружили голову... Ему приводили примеры из жизни знаменитых звезд английского драматического театра и оперы, которые по сравнению с ним были когда-то совершенными ничтожествами, а теперь надо получить честь их видеть на сцене, они владельцы собственных домов и вилл, автомобилей и красивейших женщин, ха-ха! И все это свершается с головокружительной быстротой. Это ведь Америка, а не Европа. Америка — страна бешеной скачки — «Хари оп».

Разумеется, все эти рассказы и преувеличения одурманили нашего молодого героя, его охватило желание

поскорее выйти на сцену и показать мощь и силу своего таланта.

Помогло и то, что единственное его письмо, написанное той, которой он дорожил больше всего на свете, осталось без ответа. А он столько времени, как святыню, хранил ее в своем сердце...

Следя за нью-йоркскими газетами, он каждый раз встречал имя Розы Спивак рядом с именем Гриши Стельмаха. Оно больно, очень больно кололо глаза и резало сердце. «Пусть она будет счастлива,— так думал он,— с Гришей Стельмахом; пусть вместе живут до старости в счастье и богатстве, все же ответить на мое письмо она должна была. Или стала уже такой знаменитостью, что забыла свою родину? Или не хочет вспомнить о ней? Она хочет все забыть, забыть как дурной сон? Если так, то нечего мучить себя. Может быть, и мне лучше забыть прошлое, как дурной сон?»

Рафалеско готов был забыть, для чего он прибыл в эту страну. Он хотел убедить себя, что приехал сюда ради карьеры. Наш молодой герой погрузился в фантазии. То ему казалось, что первый спектакль в Америке был у него настолько удачным, что на втором спектакле он ничего уже не смог прибавить... Или ему чудилось, что его переманили из еврейского театра, дали хороший гонорар — и он уже играет по-английски в лучшем театре Нью-Йорка, а имя Рафалеско звучит по всей Америке, и тогда оно доходит до нее, до знаменитой Розы Спивак, которая стала такой гордой... О, тогда он сведет с ней счеты, скажет все, что накипело,— святую правду. Скажет, что она не стоит его, не стоит долгих бессонных ночей. Он был пьян, но теперь отрезвел, был глупцом, а теперь поумнел, был болен, а теперь выздоровел, совсем выздоровел...

В таких размышлениях жених наравне с другими пил бокал за бокалом, смеялся и радовался наравне с другими, не сознавая, что за торжество здесь происходит, не задумываясь над смыслом разбитой тарелки.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

### В театре Никела

Утром наш герой проснулся от головной боли и не успел прийти в себя и понять, на каком он свете после вчерашнего, как его уже подхватили и увели в театр Никела на репетицию, где, как сказали ему, его ждут

«звезды» других еврейских театров и рецензенты английских газет.

С той поры как Рафалеско стал актером, он не помнит, чтобы ему так хотелось нравиться, как сейчас в Нью-Йорке. Он еще никогда так не жаждал известности, успеха, почестей, как в этот вечер, когда он должен был показаться большой публике в переполненном театре. Еще никогда сердце так не билось, и он никогда так не чувствовал себя учеником, направляющимся на экзамен и давшим себе слово: экзамен должен быть сдан великолепно, с большой победой, с неперенным триумфом.

И неудивительно, что все другие интересы сегодняшнего дня отошли на задний план. Неудивительно, что все интересы уступили место одному желанию — понравиться нью-йоркским евреям, полностью завладеть публикой. В нем проснулся артист, артист, полный трепета, жаркого огня, зажигающего глаза, будоражащего и горящего кровь и будящего вдохновение и творческие силы для великой игры.

\* \* \*

И вот живущему суждено дожить до дня великого экзамена новой звезды из Бухареста, о которой газеты писали хвалебные оды, равняя его с такими знаменитостями, как Зоненталь, Шильдкраут \*, Ирвинг, Поссарт, Росси и другие.

Большой красивый театр Никела был торжественно убран, народу полным-полно, директор и билетеры празднично настроены, публика в приподнятом настроении. Спектакль был скорее похож на бенефис артиста, чем на пробное выступление дебютанта, впервые показывающегося здешней публике. А публика действительно была избранная. Обычно театр Никела заполняет публика галерки, а сегодня здесь можно было увидеть интеллигенцию из неевреев, перед которой директор Никел расшаркивался, сам указывал места и преподносил программки, хотя не его это забота...

Само собой разумеется, что мистер Никел пользовался этим вечером для рекламы, рассказывая многим, по секрету, какие исключительные люди посетили сегодня его театр, хотя многие знали, что это всего-навсего два брата, менеджеры крупного американского драматического театра.

Нью-йоркские газеты так шумели «о новой звезде из Бухареста», что эти два менеджера заинтересовались этой

молодой еврейской «стар». Даже если газеты говорят половину правды, то имеет смысл актера переманить. Зачем еврейскому зрителю свой Зоненталь, Шильдкраут, Ирвинг, Поссарт, Росси?

Само собой разумеется, что в тот вечер в театре присутствовали репортеры английских и еврейских газет. Добрые молодцы, как на подбор с бритыми лицами, живыми глазами; парни что надо, тертые калачи, пишущие на бегу, закусывающие на ходу и спящие с пером в руках.

Среди оравы репортеров были и наши знакомые из «кибецарни» — общественные деятели, политики, поэты, публицисты, редакторы газет, вооруженные материалом для ведения войны против «новой» звезды. Если кто-то считал его гением, то другой утверждал, что он тупица из тупиц. Если некоторые его сравнивали с Зоненталем, Ирвингом, Поссартом, Росси, то другие его обзывали «зеленым», «птичкой-невеличкой», «румынским пастушком», «любопытным пареньком» — и не больше.

Да, оживление в мире еврейского театра Нью-Йорка: многие рецензенты пришли уже с готовыми рецензиями для завтрашних газет, которые они представляют.

На таких необыкновенных спектаклях обычно сами редакторы газет выступают в роли рецензентов. У одного из редакторов завтрашняя рецензия должна была начинаться так:

«Уже давно стены театра Никела не знали таких громких аплодисментов, энтузиазм публики достиг высшей степени, казалось, наши заядлые враги должны...»

А у передового редактора завтрашняя рецензия начиналась такими словами:

«Вчерашний жуткий провал в театре Никела будет хорошим уроком для двуногих ослов, которые стараются изо всех сил из мухи сделать слона и которые за доллары...»

Одним словом, в театре Никела было приподнятое настроение. Нервы у всех были напряжены, все глаза устремлены к занавесу, который должен был вот-вот подняться. В зале погасили свет, занавес поднялся.

В ту же минуту трое к театру подъехали на автомобиле, тихими шагами вошли в зал и попросили указать им ложу № 3 — самую дорогую в театре Никела.

Три человека: один постарше, с животиком, второй молодой, в широкой шляпе, надвинутой на лоб, и молодая женщина под густой вуалью. Человек постарше проводил

до двери ложи № 3 молодую пару. Дама вошла в ложу, негр-лакей остался снаружи с легким пальто и пледом в руках, а человек с животиком ушел в партер на свое место.

Надо же, чтобы в эту секунду пробежал по коридору Нисл Швалб и столкнулся нос к носу с пузатеньким человеком. Нисл отступил назад, постоял один миг, посмотрел в глаза встречного, еще немного постоял и вновь посмотрел ему в глаза. Все это заняло две-три секунды. Но когда наконец двинулись и человек с животиком ушел в партер, Нисл Швалб сказал себе: «Неужели это тот самый пустомеля, он думает, что обведет меня». Нисл тотчас побежал к компаньону, хозяину театра, мистеру Никелу, и у них состоялся такой разговор:

— Что это за парочка в ложе номер три с негром у двери?

Мистер Никел не из тех, которые долго думают.

— В ложе номер три? Если не Джейкоп Шиф, то Луи Маршалл\*.

— Если вы не обманщик, то вы лгун.

Мистер Никел заложил руки в карманы и ответил компаньону таким взглядом, словно услышал приятный комплимент.

— Так кто же это может быть?

— Так и говорите, не морочьте голову. Чудище без бороды, что проводило их в ложу номер три,— Стельмах.

— Какое чудище? Чья борода? И кто такой Стельмах?

— Вот это другое дело, светлая личность. Вы прикидываетесь или вы нездешний? Никогда не слышали имя Гриши Стельмаха?

— Гриша Стельмах?

Мистер Никел запрыгал, ударил себя по лицу, сначала в правую щеку, потом в левую, и про себя прошептал нецензурное слово... Затем он трижды громко произнес:

— Я идиот, идиот, идиот!

— Я давно твержу.

Мистер Никел пропустил это мимо ушей и очень обрадовался:

— Те, те, те! Если это Гриша Стельмах, то я знаю, кто с ним. Если нет, то не дожить мне до завтрашнего дня.

— Аминь! Кто же она?

— Розалия Спейвак.

— Розалия Спейвак?

Теперь Нисл Швалб ударил себя по лбу, оставил компаньона у кассы, а сам направился в партер еще раз посмотреть на старого друга и убедиться в том, что этот пустомеля хочет его провести.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Рафалеско на сцене

Когда тяжелый занавес театра Никела с шумом поднялся, море голов полутемного зала пришло в движение и легкий ветерок пробежал по залу. Еще несколько минут стоял шумок, пока публика усаживалась и настраивалась на спектакль. Но скоро наступила полная тишина, приятная, мягкая, святая тишина, которая обволакивает актера, подымает ввысь, как на крыльях, и уносит со сцены вверх, и парит в зале над морем голов. Это та святая тишина, которая затрагивает нежнейшие струны человеческой души, извлекает из нее прекраснейшие звуки и дает художнику возможность безраздельно властвовать над зрителем.

В тот вечер Лео Рафалеско царствовал в театре Никела.

В первое выступление играли, как всегда, «Уриэля Акосту». С первым же появлением Уриэля на сцене Рафалеско стал центром, приковавшим все взоры. Этот нежный молодой человек с красивым бледным лицом, длинными волосами, большими измученными глазами, со светлой бородкой и открытой шеей напоминал Иисуса Христа.

Рафалеско вызвал симпатии всей публики. В его осанке, в голосе чувствовалась сила. Особое обаяние сквозило в каждом его движении.

Переходы от одного состояния к другому были естественны и богаты оттенками. Перед вами раскрывался молодой мыслитель, ведущий философский глубокий разговор с доктором де Сильва о высоких материях, о небесных сферах, о...

«Я не хочу сказать, что я нашел абсолютную истину и что все должны признать ее. О нет! Я знаю то, что мое незнание властно требует глубже ее исследовать. Моя слепота велит мне острее смотреть, моя глухота — лучше вслушиваться». При словах: «моя слепота» он указал на глаза; а «моя глухота» — он указал на уши. Он держался как еврейский учитель со всеми повадками синагогального

мудреца. При этом лицо его сияло неотразимой, привлекательной силой.

Но вот в разговор вмешивается жених его возлюбленной Юдифи, выражение лица Акосты мгновенно меняется. И вы видите перед собой не философа, а только влюбленного, воспевающего свою любимую, попавшую в чужие руки. Он говорит восторженно и вдохновенно:

«Она с небес на землю послана... она клад, данный мне богом...» И внезапно Уриэль порывисто бросается к жениху Юдифи, к Бен-Йохаю, и просит его, умоляет его, удерживая его руки:

«О, не дотрагивайтесь до нее рукой, оскверненной деньгами!.. Вы должны молиться, благословенно молиться на нее».

Но когда появляется суд, раввин и служки, чтобы обвинить Акосту за создание книги, проповедующей вольномыслие, происходит преобразование и перед вами стоит мученик, гонимый фанатиками, не признающими жизнь и жаждущими крови.

Надо было видеть глаза Рафалеско, видеть, как меняется его лицо, как передает оно трагедию, всю боль его сердца, все муки его души. И все это без дурной напевности и нарочитых движений, без преувеличенных переживаний, без дикой беготни по сцене.

Все вынуждены были признать, что перед ними удивительный мастер, большой художник, божьей милостью поэт, вдохновенный артист, который не играет, а живет на сцене.

Все должны были признать, что этот Акоста — не книжный образ, но характер, созданный ценой огромного труда и долгих творческих исканий.

В конце первого акта, один на сцене, Рафалеско уже не гонимый мученик, а герой, готовый идти на бой за разум:

«О, Бен-Йохай, ты глубоко ошибаешься! Тот, кто привык бороться за истину, тот не позволит топтать ногами свой золотой венец».

Рафалеско взмахнул рукой, и всем почудилось, что перед ними стоит Акоста, увенчанный, если не золотым венцом, то короной несчастий, мук и страданий. Защемило сердце, и было жаль, что занавес закрывается. Хотелось дольше видеть этого прекрасного, такого притягательного Уриэля Акосту. И зал разом воскликнул: «Рафалеско! Рафалеско!» Рафалеско выходил на вызовы.

Нет, нью-йоркский театр Никела уже давно не слышал таких восторженных криков и аплодисментов. Менеджер театра — Никел и компаньоны «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>» были на седьмом небе, а враги, конкуренты из других театров, собиравшиеся освистать «зеленого», и заядлые враги из «кибецарни» прикусили язык, но еще не потеряли надежды:

— Э, ночь еще велика, — надеялись они, — а в трагедии Гуцкова еще пять актов.

## ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

### Между актами

После первого акта, в антракте в театре Никела, как во всех театрах, было шумно и оживленно. Каждому хотелось поделиться своими впечатлениями о новой звезде. Имя Рафалеско слышно было повсюду: на балконах, в партере, в ложах, на галерке. Каждый пересказывал его биографию так, как он вычитал ее в своей газете. Очень крепко связаны нью-йоркские театры со «своей» прессой. Разумеется, биографы не были едины. К тому же были и такие, кто представления не имел ни об исполнителе Акосты, ни об авторе пьесы: кто он? Латайнер, Гордин \*, Либин \* или профессор Якоби \*? Были зрители, которые ожидали, что споют «Мойше» или подобные песенки. Таков вкус широкой публики, и так она понимает искусство...

Но мы должны сознаться, что почти все попали под обаяние большого таланта, и каждый если не умом, то сердцем понимал великую силу этого таланта и потому старался передать другому свое понимание игры Рафалеско.

Лишь один человек сидел одиноко и ни с кем не делился своим восторгом — это был любитель еврейского театра Мейер Стельмах.

Мейер Стельмах получил огромное наслаждение не только от игры актеров, но и от сознания, что не зря потратил деньги. И Стельмах надумал тихонько добратсья до ложи № 3. Во-первых, взглянуть на детей, во-вторых, услышать, что они скажут об этом чуде, о Лео Рафалеско.

Сделав несколько шагов, Стельмах остановился, так как ему навстречу шел верзила, с которым он уже встречался в коридоре. Знакомое улыбающееся лицо оказалось

прямо против Стельмаха и смотрело ему прямо в глаза.

Это был Нисл Швалб.

— Шолом-aleyхем, здравствуйте, пустобрех, не узнали? В Лондоне мы дружили, я даже был у вас в гостях, помните? Я стоял у входной двери, а вы распорядились сказать, что вас нет дома. Я вас по голосу узнал. Я собирался устроить вам скандал, но подумал «подождем», — увидеть бы вам меня плавающим. Я ходил к вам, если помните, не по своему делу, а по делу ломжинского кантора с его семейкой. Помните его ватагу? Вы бы ее теперь увидели! Э-ге-ге! Теперь она не нуждается в вашей милости, они ол райт. Ну, а вы? Как вы поживаете, пан пустомеля? Вы меня провели, изменились, сбрили бороду: если бы ваш Гриша и Роза Спивак не заняли ложу номер три, я бы вас не узнал, иметь бы мне все добро мира!

Что Мейера Стельмаха не хватил удар, это чудо. Одна встреча с этим субъектом, и душа ушла в пятки. А тут еще он произнес имена Гриши и Розы, откуда он это узнал, что они занимают ложу № 3? И вообще — что общего у Стельмаха с этим верзилой?

Стельмах его проклинал всеми проклятиями мира. Но одно другого не касается! Человек остановил тебя, говорит, что он твой знакомый, не плюнуть же ему в лицо. Вечер для Стельмаха оказался неудачным, в ложу, где сидели дети, он не зашел, отложил до второго антракта и весь второй акт сидел как на иголках. Зашел бы Стельмах к детям после первого акта — не произошло бы того, о чем мы расскажем в главе шестидесятой.

## ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

### Происшествие в ложе № 3

В ложе номер три, собственно, ничего не произошло. Там, как мы знаем, сидела знаменитая пара, Гриша Стельмах и Роза Спивак. Просидели весь первый акт до конца, не сводя глаз с Рафалеско, который им понравился не меньше, если не больше, чем остальной публике театра Никела. Для них было подарком слушать талантливого еврейского артиста, видеть перед собой восходящую звезду еврейской сцены.

Очень приятно было Розе. Для нее это была победа, триумф. Ведь и она когда-то имела отношение к еврейско-

му театру... Она давно не получала такого удовольствия, как в тот вечер, и искренне была благодарна Стельмаху-отцу за идею пойти в еврейский театр.

Чем дальше, тем больше росло ее удивление, она почти глазам своим не верила. Она никогда не думала, что тот театр, в котором она служила, мог вырасти за такое короткое время в явление подлинного искусства. Она не верила, что среди еврейских актеров, которых она знала, могло вырасти такое могучее дарование, такая колоссальная фигура, титан, артист огромной силы, как этот гастролер Рафалеско. С захватывающим интересом, с возрастающим напряжением она следила за каждым шагом великого артиста, который с необыкновенной простотой и удивительной естественностью перенес ее в далекий Амстердам с его древними историями. Сила фантазии и иллюзии была так могуча, что Роза видела себя рядом с героем трагедии, делила с ним радости и муки времен острой борьбы между свободомыслием и фанатизмом, времен Баруха Спинозы. Одно было неприятно: во второй ложе, находившейся в распоряжении дирекции театра, мешали слушать. Там сидели женщины, шептавшиеся, словно они в синагоге на молитве и шепчутся, чтобы сбить кантора.

Эти женщины, по-видимому, были из театра Никела или из компании «Кламер, Швалб и К<sup>о</sup>», потому что среди них была ломжинская канторша и еще несколько немолодых, но хорошо одетых и покрашенных дам. Если они сами не артисты, то они жены актеров. Какие интересы заставляли их присутствовать в театре, во время действия разговаривать, не в силах отложить свои беседы на более поздний час, трудно сказать. Но всегда так, когда нужно молчать, хочется говорить. Такова сила искушения.

Этих женщин можно было еще терпеть, если бы не открылась дверь директорской ложи и не влетела бы с шумом посредине первого акта дамочка в шляпе, которая перекрывала шум всех сидевших там женщин. И вот тут-то начинается история.

Смогла бы Роза, она разорвала бы на части эту даму в шляпе, которая не знала минуты покоя. Как назло, нечистая сила ее сюда привела. Рот у нее не закрывался ни на одну секунду. Она секретничала и шушукалась то с одной, то с другой женщиной, смеялась, бросалась из стороны в сторону, показывая свои бриллианты и заодно свои красивые белые руки. Роза и ее спутник перегляды-

вались, спрашивая друг у друга глазами: «Что это за зверь?»

Даже тогда, когда первый акт закончился, занавес опустился и весь театр закричал «Рафалеско»,— и тогда эта зверюшка, не переставая, тараторила с женщинами, смеялась, бросалась из стороны в сторону и вела себя так, что хотелось немедленно выгнать ее из театра.

В третий раз, когда в ответ на вызовы Рафалеско вышел поклониться, Роза заметила, что дамочка-зверь показала ему язык, а женщины в директорской ложе так засмеялись, что Роза не выдержала и спросила по-еврейски:

— Неужели вам не понравился этот артист?

— Какой артист? Рафалеско? Он же мой жених, ха-ха!

Это было сказано так просто и бесхитростно, что вдруг «зверюшка» ей понравилась, и Роза придвинулась к ней:

— Ваш жених? Вы тоже актриса?

— Я актриса? — та перестала смеяться,— я примадонна, меня зовут Генриетта Швалб.

— Меня это радует.

Роза не назвала себя, но придвинулась еще ближе, и так получилось, что они сидели лицом друг к другу и только тонкая перегородка ложи их разделяла, так что третий человек не мог услышать их интимную беседу.

— Что бы мне хотелось узнать от вас,— обратилась Роза к примадонне,— это правда, что газеты пишут о Рафалеско из Бухареста, что румынская королева Кармен Сильва его...

— Вранье! — перебила ее Генриетта, громко смеясь.— Во-первых, он не из Бухареста, а из Голонешти.

— Из Голонешти?

Слово Голонешти Роза не произнесла, оно вырвалось из ее груди, она схватила Генриетту за руки, но тут же опомнилась и стала заинтересованно разглядывать ее бриллианты.

— У вас так много драгоценностей, ваш браслет мне нравится...

— Это подарок моего жениха.

— Как, вы сказали, называется город?

Роза не переставала разглядывать бриллианты...

— Город, ха-ха. Местечко Голонешти в Бессарабии. Там едят мамалыгу, ха-ха-ха!

И беседа оборвалась, потому что в зале погас свет, пошел занавес и начался второй акт.

Где были ее глаза? Как это она не узнала его с первой минуты, после первого же произнесенного им слова?

Роза читает программку: «Уриэль Акоста — Лео Рафалеско».

— Ну да — Лео.

— Что Лео?

Это спросил Гриша Стельмах, который почувствовал, что Роза как-то изменилась. Во время первого акта она сидела рядом с ним — совсем близко, ее рука была в его руке. А теперь, во время второго акта, нет с ним больше Розы... Она почти перегнулась через барьер ложи, смотрит в бинокль и видит сад, несколько декоративных деревьев, между деревьями фигуры, но среди них нет того, кого ищут ее глаза... Ей кажется, фигуры на сцене из того же материала, что деревья, это декоративные фигуры, подвижные манекены, говорящие истуканы. Какой-то старый человек, элегантно одетый, читает бумагу. Старик читает плача, каким-то не своим голосом, а около него стоит слуга в старомодной одежде, с косичкой сзади. О чем они между собой говорят, эти деревянные фигуры, Роза не понимает. Потом появляется плохо загримированная девушка. Ее руки очень длинные и красны. Кто эта девушка? Что она здесь делает? Она старика называет по-немецки «фатер», ведут они, кажется, глупый диалог об амстердамской бирже, о Рубенсе и Ван-Дейке, о Моисее-пророке, Сократе и Иисусе Христе, об искусстве и религии. И все по-немецки: глупые, лишние разговоры... Слуга ушел, слава богу, одним меньше стало. Старика тоже не стало, девица остается одна, она вертится по сцене, словно потерянная. Она поднимает плохо подведенные глаза и смотрит вдаль, прижимает руки к накладному бюсту и говорит по-немецки: «Оковы малодушия гнетут мое сердце». Глупые, ненужные слова. Но вот он! Уриэль Акоста... Роза чувствует, что у нее дух захватывает, что лихорадочно стучит пульс и сердце вырывается из груди: тик-так, тик-так! Ей даже показалось, что целую минуту Уриэль Акоста смотрит на нее, смотрит в ложу, лицо ее пылает огнем... Нет, это ей только показалось.

Спокойно и тихо говорит со своей возлюбленной Юдифью Уриэль. Его бархатный голос чарует, его движения красивы и пластичны. Во всем мера. Ни одного лиш-

него шага... Театр внимательно вслушивается в слова, словно он один и никого, кроме него. И вдруг голос артиста усиливается, особой силой звучат его слова. Спокойно, ласково, как брат он берет Юдифь за руку и говорит: «Моя дорогая Юдифь, в последний раз — прощай!»

Ах, как прекрасны, как превосходны его глаза! Сколько чувства, страдания и любви в них! Неужели он уйдет сейчас со сцены? Нет, вновь появляется старик и еще несколько персонажей, и Уриэль, слава богу, остался. Роза направляет свой бинокль на Уриэля. Она видит, как Юдифь берет его за руку и оба медленно уходят. Издали слышна музыка.

Со вздохом Роза положила свой бинокль, а молодой маэстро Стельмах засмотрелся на нее, но не может понять, что происходит... Он хотел бы спросить, почему она вздыхает. Но Роза его не видит. Она теперь никого не видит. Она сейчас занята собою, глубинами своей души! Неужели это он? Тот самый, которого она так долго искала? Тот, кого часто видела в снах. А может, и сейчас она видит сон. Нет, нет, это не сон!

За своей спиной она слышит шушуканье во второй ложе, шушуканье той, которая назвала себя примадонной и невестой Рафалеско. Разве это возможно?.. Она его спросит, еще сегодня спросит. Но где она его увидит? Здесь в театре, за кулисами, как закончится второй акт, она попросит гастролера Лео Рафалеско. А что ему сказать, кто его просит? Леди хочет его видеть. Леди без имени... И все смотрят на нее: кто эта леди, рвущаяся к Рафалеско? А кого она должна стесняться!

Роза забыла, что она не одна в театре, а в ложе с нею рядом сидит еще кто-то, что здесь Гриша Стельмах. Ах, Гриша Стельмах. Его она совсем забыла,— забыла. Какое он к ней имеет отношение? Забыла о том, что сегодня произошло с ними, забыла, что на белом свете существует человек по имени Гриша Стельмах... Бедный, бедный Гриша Стельмах!

Неожиданно раздается звук бараньего рога. Роза очнулась. Сцена полна народу. Все говорят, как ей кажется, глупые и ненужные слова. А где Уриэль? Вот он. И совсем другой, и новой силой звучит его голос.

Роза не отрывает глаз от бинокля. Вслушивается в слова его монолога. Она их не совсем понимает, но каждое слово имеет для нее особое значение. И не так слова, как голос. Как она могла забыть его? Сколько раз она видела его с закрытыми глазами и слышала его голос?..

«Страдания я готов делить наравне со всеми. Ваша анафема будет иметь силу, поскольку я еврей»,— так мужественно свой монолог завершает Уриэль. А зал гремит от аплодисментов. Это молодежь аплодировала Уриэлю, его словам: «Страдания готов делить наравне со всеми». Люди постарше тоже сильно аплодировали, ибо все понимали, что перед ними подлинный артист необыкновенной силы, артист, на котором держится вся труппа, игра которого околдовала весь театр. Да, это «звезда», говорили все в один голос, настоящая звезда на небосклоне еврейского театра.

Как и после первого, и после второго акта аплодисменты долго не прекращались, они сливались с возгласами «Браво!», «Рафалеско!», «Браво, Рафалеско!».

Кое-кто пытался успокоить публику, но не помогло. Вместо «браво, Рафалеско!» закричали «Ура, Рафалеско!».

Из партера раздался голос: «Театр рехнулся!»

Тот, кто это сказал, был прав: публика сошла с ума.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Мистер Никел держит речь

В Америке все ораторствуют, от мала до велика, млад и стар, все произносят речи, кроме тех, кто родился немым.

В Америке произносят речи по любому случаю: на помолвках, на свадьбах, на совершеннолети, праздниках, разводах, новоселье и при несчастьях. А на собраниях, митингах, лекциях, вечерах, банкетах, концертах, спектаклях — уж это сам бог велел.

Если в театре появляется гастролер, «звезда», тогда держит спич между актами сам гастролер или актер с сильным голосом. Иногда речь произносит сам менеджер, директор театра. И говорит о том, что, согласно его представлениям, публика должна знать.

На этот раз после второго акта, когда зрители в экстазе кричали «браво, ура, Рафалеско!», а Рафалеско ежеминутно выходил поклониться перед занавесом благодарной нью-йоркской публике, поднялся занавес и на сцене стоял не Рафалеско, а всем нам известный веселый мистер Никел.

Он выглядел просто, как хозяин в своем доме: на нем был короткий пиджак, руки в карманах, улыбочка на

губах, та самая улыбочка, что окрестила мистера Никела «гуд боем».

«Леди и джентльмены! — начал свой экспромт мистер Никел, — прежде всего нахожу нужным выразить вам мою глубокую благодарность, и вам, уважаемая публика, оказавшая мне честь посетить мой театр. Меня не удивляет, что все представления моего театра проходят при переполненном зале, в то время когда в других нью-йоркских театрах хватает места для проезда на автомобиле вширь и в длину. Я этим не хочу обидеть моих конкурентов, я говорю правду, а ее ничем не прикроешь. Публика уважает больше всего мой театр, и это, по-видимому, потому, что я все делаю для удовлетворения запросов публики. Я не жалею средств и затрат, как бы велики они ни были. И теперь мне также удалось, разумеется за большие деньги, пригласить из Бухареста уважаемого гостя сегодняшнего вечера на несколько представлений. Он король среди артистов. Драматическому актеру Рафалеско из Бухареста нет равных ни у нас, ни по ту сторону Атлантики.

Меня радует, что уважаемая публика оценила его талант, и я готов вновь его пригласить, во что бы это мне ни обошлось. Я хочу удержать здесь гениального артиста и дать сотням и тысячам людей, которые сегодня с болью ушли домой, так как мест не было и яблоку негде было упасть, увидеть его.

Леди и джентльмены! Поблагодарив уважаемую публику, я не могу воздержаться, чтобы не поблагодарить высокочтимых гостей, которые украсили сегодня мой театр своим присутствием. С чувством огромной радости хочу поделиться и сообщить вам, что среди знатных гостей есть люди, никогда не бывавшие в еврейском театре. Среди них двое — они сами знаменитые артисты, их имена известны в Старом и Новом Свете. Леди и джентльмены! Они находятся здесь в ложе с левой стороны. Я уверен, что нет такого человека, который не слышал бы имени Гриши Стельмаха и Розалии Спейвак, как нет человека, который не слышал бы имени Вашингтона, Линкольна или Эдисона...»

Остальную часть речи Никела никто уже не слушал, даже он сам, потому что публика, взволнованная игрой Рафалеско, услышав, что в театре Гриша Стельмах и Роза Спивак, поднялась со своих мест и в едином порыве приветствовала их такими громовыми аплодисментами, что

им пришлось покинуть театр Никела, словно их кто-то страшно оскорбил. К такому поступку их принудил Стельмах-отец, с трудом добравшийся до ложи № 3. Он что-то прошептал им и вместе с негром-лакеем проводил их под непрекращающийся гром аплодисментов к автомобилю. Усевшись вместе с ними в машину, Стельмах-отец всю дорогу проклинал еврейский квартал Нью-Йорка, Даунтаун, эту овацию и торжественные проводы «детей».

Блистательную речь мистера Никела Рафалеско до конца не слышал. Как только мистер Никел заговорил «о высокочтимых гостях», Рафалеско ушел к себе в гримуборную готовиться к третьему акту.

— Что за шум? — спросил он у гримера, который влетел к нему в гримуборную.

— Сумасшедшие! — ответил ему гример, посетитель всех социалистических лекций в Линкольн-холле, если они происходят не в вечерние часы, так как вечером он гримирует, — сумасшедшие в полном смысле этого слова, дикие люди, без капли цивилизации! Нашему менеджеру, мистеру Никелу, захотелось произнести спич на этом вечере. Так говори же солидно, как подобает. Так нет же, между нами говоря, он — хозяин, буржуй, он подлизывается к капиталистам, высокочтимым гостям и аристократическим артистам, которые оказали ему честь, спустились с Пятой авеню к нам в Даунтаун, какая важность!

— Кто же они, эти артисты с Пятой авеню? — спросил Рафалеско, посмотрев в зеркало и попробовав позу, наиболее подходящую для третьего акта, для встречи Уриэля с родными и слепой матерью.

— Кто они? Он скрипач, играет на скрипке, а она — певица, примадонна. Его зовут Гришей Стельмахом, а ее — Розалией. Спейвак.

Если бы гример-социалист ошпарил Рафалеско кипятком или перерезал ему горло острой бритвой, он не вскочил бы так, как при последних словах. Он остолбенел и смертельно побледнел, затем сорвал с головы парик и наклейки с лица и побежал к входной двери.

Гример подумал, что молодой маэстро рехнулся... Но в ту же секунду постучали в дверь и, не дождавшись ответа «кам ин», в гримуборную Рафалеско ворвалась с шумом и смехом примадонна Генриетта Швалб.

— Ха-ха-ха! Комедия с нашими коллегами! Они удрали как от чумы... Комедия! Водевиль! Ха-ха-ха!

В то самое время, когда разгоряченная публика театра Никела бушевала, устраивала овацию сначала Рафалеско, а затем Грише Стельмаху и Розе Спивак, в вестибюле театра разыгралась такая сцена.

Наш эlegantный друг мистер Кламер стоял в вестибюле, у самой двери, и оттуда прислушивался к тому, о чем говорит мистер Никел, закрыв один глаз и прихватив клочок бороды ртом. Заметно было, что речь мистера Никела ему не нравится. Он не понимал, как может пустой человек, не знающий ни истории, ни искусства, ни Шекспира, предстать перед публикой и держать спич. Если бы его, мистера Кламера, выпустили бы на сцену, тогда было бы ол райт, речь лилась бы рекой или, как англичане говорят: «Было бы чисто и речисто».

— А! Здрате, мой любимый птенчик, как поживаете? Именно ради вас я и пришел сюда, дай мне господь счастья и удачи.

Мистер Кламер увидел низенького субъекта с хитрыми глазами, в новом, только что из магазина, костюме, в модных лакированных туфлях, длинные рукава рубашки он часто засовывал в рукав пиджака, а они вылезали снова, и потому руки его все время двигались. Говорил этот субъект хрипло и залпом, не дожидаясь ответа:

— Скажите мне, милый англичанин в клетчатых брюках, как вам живется в этой стране, как ваше здоровье? Как идут ваши дела, и почему вы меня так разглядываете, как жениха натоцак? Вы не узнали меня? А ну, вспомните! Вспомните! Меня зовут Муравчиком, Мейером Муравчиком. Я был у вас в Лондоне, был, не про нас будь сказано, на бобах, страдал и вынужден был одолжить у вас несколько шиллингов, конечно, под залог. Мир в доме и водка в рюмке. Теперь я приехал, чтобы вернуть вам свой долг и получить у вас «узелок» — пакет. Даю деньги, беру муку. Я не люблю носить на себе тяжести, вы поняли меня? Мне нужны те бумаги, из пакета.

— Какие бумаги?

Очевидно, мистер Кламер его не узнал. Субъект с хитрющими глазами глухо рассмеялся, продолжая борьбу с манжетами.

— Что вы прикидываетесь мертвым? Вы забыли маленького человека с брюхом, красноватым лицом, об-

ремененного бумагами, нужными бумагами. Для вас они, быть может, не имеют никакого значения, а для меня они целое состояние. Попробуйте предложить мне тысячу долларов за них, не возьму, дал бы мне так бог счастья и успехов.

— Серьезно? Но, кажется, вы стучитесь в чужую дверь. Субъект не переставал смеяться.

— Интересная история, только очень короткая. Я еще никогда не ошибался и попадаю туда, куда надо. И если хотите знать, я еще никогда не ставил шишек тому, кому не следует. Я знаю, вас зовут мистер Кламер, вы живете в Уайтчепеле, ваша гостиница называется «Кафе Националь». Теперь вы понимаете, что я не ошибся. И вот еще факт: мой чемодан с бумагами вы лично взяли из моих рук, унесли наверх и спрятали в платяном шкафу. Что вы сейчас скажете, пане обезьяне, то бишь мистер Кламер?

Видимо, мистер Кламер вспомнил, что этот человек был у него и приносил какие-то бумаги, но куда они делись, он забыл, хоть голову сними. И он решил прикинуться дурачком.

— Вчерашний день, не знаю я никаких чемоданчиков, никаких бумаг, и не морочьте мне голову, вот свистну — и вас выбросят из театра прямо на улицу.

— Вот как? Свистите, свистите! Почему же вы не свистите?

С этими словами наш старый знакомый Шолем-Мейер Муравчик подошел к мистеру Кламеру поближе, так близко, что борода Кламера оказалась почти в его руках, и кто знает, что из этого бы вышло, если бы на крик мистера Кламера не прибежал Нисл Швалб (разве возможен скандал без Нисла Швалба?) и с помощью билетеров не схватил бы Шолем-Мейера Муравчика вместе с его новым костюмом и котелком... И стало весело...

Если читатель думает, что Шолем-Мейер Муравчик прибыл в Нью-Йорк только для того, чтобы вцепиться в бороду (а-ля Герцль) Кламера и потому был изрядно избит, то читатель глубоко ошибается. Приехал он в Америку не только ради бумаг и встречи с Розой Спивак, а для нового важного бизнеса, который собирался предложить молодому герою нашего романа, восходящей звезде Рафалеско. Это был тот бизнес!.. Когда наш моло-

дой герой узнал... Но не будем забегать вперед. Лучше вернемся на некоторое время в Лондон и расскажем, как можно короче, что с Муравчиком там случилось.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

### Беда за бедой

Из письма Шолем-Мейера Муравчика из Лондона другу Альберту Щупаку в Одессу читатель помнит, что он собирался проведать своего бывшего коллегу, директора Голцмана.

Лондон, однако, не тот город, в котором легко найти кого ищешь. Надо хорошенько поработать. Кроме того, наш Шолем-Мейер Муравчик, по его признанию, сидел «на бобах». То немногое, что он привез из Парижа, просыпалось меж пальцев, а друг его Щупак не торопился выслать ему рублики, которые он просил... Шли дни за днями. Наконец, однажды в сырую ночь, какие часто бывают в Лондоне, Муравчик оказался в заброшенном углу, напоминающем Вильно или Бердичев. Он вошел в большой двор с воротами слева и справа, скользкими и черными, как раскрытые пасти, жаждущие проглотить каждого. Густой запах жареного лука, смешанный с запахом жареной на подсолнечном масле рыбы, ударил в нос. Слышалось пение маленьких детей, награждаемых «комплиментами и пожеланиями» такого рода: «Сгорел бы ты, морда несчастная; подавиться бы тебе, паршивая глотка; на костылях тебе ходить бы». Эти проклятия свидетельствовали, что во дворе живут евреи.

Вошел наш Муравчик в этот двор с опасениями. Как его здесь примут? Встретит ли он хоть одного живого человека? А так как он на лестнице никого не встретил, то он поднимался все выше и выше и дошел почти до последнего этажа. Он забрался бы еще выше, но столкнулся с колдуньей — с высокой, сухопарой, широкоплечей старой женщиной, с таким страшным лицом, что лучше ночью не встречаться. Колдунья таскала дрова и дышала как кузнечные мехи.

— Тетенька! — обратился к ней Муравчик, — не знаете ли вы, где проживает директор еврейского театра, святое имя которого Гоцмах, то есть Голцман.

«Тетенька» остановилась, взглядываясь в темноту, чтобы увидеть, кто к ней обращается, затем глубоко вздохнула и сказала:

— Пойдемте, я вам покажу.

Поднявшись еще на несколько ступенек, они вошли в двухкомнатную квартиру с кухней. Нельзя сказать, чтобы здесь было так комфортабельно, чтобы здесь мог жить директор театра, даже еврейского. На кухне старуха сложила дрова, выпрямилась и глазами, полными слез, посмотрела на незнакомца.

— Кого вы ищете?

— самого директора, Голцмана я имею в виду, скажите ему, пожалуйста, что добрый друг пришел его проведать и хотел бы его увидеть.

— Видеть его? — старуха воздела руки, — с ним видаться очень трудно, он уже далеко...

— Уехал?

Старуха вновь всплеснула руками и, нагнувшись к доброму другу, потому что она была намного выше его, громко сказала прямо в ухо, словно глухому:

— Вечная память.

Шолем-Мейер Муравчик вскочил, домая руки:

— Умер? Гоцмах, то бишь Голцман, умер? Что вы говорите?

— Что я говорю? Горе мне, это мой сын, единственный сын...

Старуха не смогла произнести последние слова. Она села на табуретку у двери, спрятала в фартук свое морщинистое лицо, и по вздрагиванию плеч можно было понять, как она горько плачет.

Слово смерть — слово горькое, но имеющее огромную силу. Шолем-Мейер Муравчик сник, он забыл, что умерший был его злейшим врагом, он поверил, что умер его друг, самый близкий друг, он и Голцман были лучшими друзьями. Он выждал, затем сел на соседнюю табуретку, придвинувшись к старухе.

— Так вы его мать? Мать моего друга. Мой друг мне часто рассказывал о своей матери, слово мать не сходило с его уст. «Дожить бы мне, увидеть свою мать», — это была его самая святая клятва. Знаете ли вы, какого доброго сына вы имели? Какой это был человек! Рубаха-парень. Делился со всеми последним куском хлеба. А со мной, что говорить, мы были словно душа и тело, дай мне бог счастья и удачи.

И еще о многих добрых делах умершего рассказывал Шолем-Мейер Муравчик. И сам уже верил в свои побасенки.

Для старой матери это был бальзам на ее раны. Слава богу, нашелся хоть один добрый друг ее сына, которому

суждено было чахнуть одному-одинешеньку, далеко от родного дома, в этом мрачном Лондоне, сгореть бы ему, как Содому! \* Туманы Лондона сократили его жизнь, он бы еще кашлял и кашлял много лет...

Бедная Соре-Броха рассказала другу ее сына о горестях ее сына, Герш-Бера, о его кашле, о кровохаркании и о том, как она пыталась спасти его, во сколько обошлось лечение, ведь это сын, шутка ли? Такой сын! Затем она вспомнила, как он умирал, какие были похороны. Не такие, как у нас, с участием «Похоронного братства», с чтением поминальной молитвы «Кадиш». А так, просто. Приехали несколько человек в черной одежде, на высоком фургоне, схватили и увезли, даже поплакать не дали, все быстро, им некогда, господь спаси и помилуй!

— Куа, куа,— доносился из внутренних комнат странный голос, не то маленькой собачки, не то кошки.

Муравчик повернул голову, посмотрел на старуху, которая смолкла, поднялась со своего места, не зная, куда броситься, опустила голову, совсем растерянная.

Шолем-Мейер был не так стар, как опытен, он сообразил, что это за «куа-куа», и, обратившись к старухе, спросил:

— Младенец?

Не получив ответа и увидев растерянность старухи, он перестал спрашивать, но, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Беда за бедой.

— Да, беда с бедой,— сказала старуха и вновь села рядом с гостем, другом ее сына,— вы правильно сказали «беда с бедой, новые муки».

Что в словах «беда за бедой»? Но сказаны были верным тоном и вовремя. Они стали ключом к сердцу старухи. И открыла Соре-Броха другу ее сына всю правду, рассказала все, что должны были бы знать два человека: она и ее дочь Златка,— и третий бог...

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Шолем-Мейер Муравчик в роли друга

Никогда не знаешь, кто тебе друг, а кто — враг. Встал бы директор Голцман из гроба и посмотрел бы на своего смертельного врага Шолем-Мейера Муравчика, как он заботится о его старой матери Соре-Брохе

и сестре Златке, он глазам своим не поверил бы. Он поразился бы, как это Шодем-Мейер, которого он видеть не мог спокойно, едет теперь вместе с его мамой и сестрой в Америку, ни в чем им не отказывает, часто заходит в их каюту второго класса узнать, не угодно ли им чего-нибудь.

Но старуха Соре-Броха и ее дочь Златка ни в чем не нуждаются и ничего не хотят. Они возятся с малышом, закутанным в пеленки и обложенным подушечками, с ясными, синими, как небо, глазенками, смотрящими на мир. Ротик у него как у птички, и личико его задумчиво, будто у него какие-то свои собственные мысли. Им повезло, они плывут в то время, когда, слава богу, океан спокоен, «как в субботу на вечерней трапезе». Они благодарят бога не за себя, а за это крохотное существо. Их предупреждали, что маленький ребенок страдает от морской болезни так же, как взрослый. Только малютка есть малютка — не может ничего сказать.

Странные эти две женщины. О Златке и говорить нечего: она так страдала от родовых мук, думала, что наступил конец, простилась с жизнью, видела ангела смерти перед собой, но, услышав первый писк младенца, потребовала немедленно показать его. И посмотрев на ребенка, прониклась к нему таким безмерным чувством жалости, что все муки исчезли, будто их и не было. Куда пропал стыд, когда она верила, что не переживет родовые муки, куда ушла ее отчаянная мечта о том, чтобы машина задавила ее на улицах Лондона и избавила бы от позора, который ее ожидал. Все куда-то пропало, властвовало одно-единственное чувство: она стала матерью.

Если Златку можно понять, то для старой Соре-Брохи случившееся было как гром среди ясного неба, словно десять домов обрушились на нее, сто выстрелов попали в самое сердце.

Все случилось тогда, когда она и дочка были в трауре по умершему дорогому сыну. Глаза от слез выжгло, слезы все вылились, и какая-то пустота вселилась в их сердца, и громадная печаль обволокла их души.

Был шестой день траура, старуха сказала дочери, что завтра сидеть босиком на полу уже не нужно будет. Встанут. А что будут делать? Куда пойдут? Куда пойдут и к кому обратятся?

Старуха собиралась снова причитать, как вдруг Златка обняла ее, поцеловала и взмолилась:

— Мама! Спаси меня! Я умираю, погибаю...

— Что с тобой, доченька! Гром меня порази! Что случилось?

Дочка поминутно хваталась за живот, колотилась головой об стенку, рвала волосы и криком кричала:

— Ма-ма! Я умираю!

Случилось чудо, а может быть, напомнил о себе инстинкт женщины и матери. Старуха Соре-Броха набросила на себя рваный бурнус, забыла о позоре и обо всем на белом свете, побежала к одной, к другой соседке, чтобы узнать, где живет акушерка. И после жуткой ночи, после мучительной борьбы ее дочери — зеница ее ока — со смертью, когда жизнь ее была на волоске, бог смилостивился и одарил ее к утру внучкой...

Измученная, бледная, исхудавшая Златка лежала в постели. На белой подушке были разбросаны ее черные волосы, ее и без того острый носик заострился еще больше, глаза блуждали, тянулись к ногам, где, завернутое в простыню, шевелилось живое существо. Она прислушивалась, как оно пищит и тихо вздыхает, как котенок.

Роженица — с детским личиком — была молода и красива, кровь с молоком. Маленькие ручки, маленькая и упругая грудь, — все в ней как бы недоумевало и жаловалось: «Ведь мне еще нет восемнадцати».

Совсем иначе ощущала себя Соре-Броха. Старуха-мать засучила рукава до локтей, обнажив набухшие жилы на своих сухих руках, завернула края платка за уши, надела передник, принесла большое тяжелое корыто, в котором стирают белье, и поставила греть воду, чтобы искупать ребенка, проклиная Лондон и его обитателей на чем свет стоит.

— Город! Провалиться бы ему сквозь землю! Двор! Сгореть бы ему! Соседи! Чтоб земля их не носила. Чтобы у людей не было лоханки, простой деревянной лоханки!

Короче, старуха вошла в роль бабушки, словно к этому давно готовилась, будто знала, что это здесь произойдет...

Подумайте — конечно, она страдала, позор, какой позор! Разверзлась бы земля, она бросилась бы в яму живой. Но что поделаешь. Не читать же дочери нотации, когда она только что пережила такие муки. Когда бог поможет и она поправится, тогда она с ней рассчитается, как та заслуживает, она ее с грязью смешает. Она потребует ответа: «Доченька, где, когда... от кого?» Опозорила она себя и свою мать. Что они теперь будут делать? К кому и куда им обратиться?..

Но все это будет потом, попозже, не теперь. Теперь надо ее хорошо кормить, два раза давать бульон. Роженница! Первенец! Гром ее порази! А ребенок? Невинный ребенок? Живое создание. Жалко его. Вздумал бы младенец сам уйти из этого грешного мира, было бы разумно с его стороны. Но задушить его или ошпарить кипятком — боже сохрани! Хорошо, что родилась девочка: отпала нужда в обряде обрезания. Позора меньше. А девочка родилась здоровенькая, не сглазить бы! И красивая она, только на выставке показывать. Все соседи говорят, такого ребенка они давно не видели. Так в кого же она удалась?

В кого? В отца, отвечает им Соре-Броха, он красавец, портной по профессии, теперь он в Америке...

Соре-Броха чувствует, как ее старое лицо пылает от стыда. Прожила столько лет и на старости лет стала лгуньей, горе ее седым волосам, болячки на головы ее врагов. Погибель на них и с ним в придачу...

Кого старуха имела в виду, не так трудно догадаться...

А тем временем Златка уже поднялась, бродила по комнатам, а Соре-Броха все молчала. Никакого скандала... И ни к чему он сейчас. Во-первых, младенец-кроха. Его надо купать, а что Златка в этом деле понимает? Сама еще цыпленок. Во-вторых, этот хриплый субъект, кикимора, друг ее сына, Шолем-Мейер Муравчик, стал частым гостем их дома, приходит раза два в неделю и предлагает старухе Соре-Брохе план, который освободит их от всех бед и позора. Он при этом ни о чем не заботится, кроме их счастья. Он это делает в память доброго друга, их сына, мир праху его, он же был его единственным другом, «иметь бы ему счастье и успех».

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

### Добрейший человек

Возможно, что вначале наш Муравчик и в самом деле никаких личных выгод не имел в виду. Засунуть нос в чужую тарелку, узнать, чем это пахнет, и помочь советом — это свойство людское. Только нос Шолем-Мейера Муравчика уж очень длинный и остро чувствует запахи. То, на что другим нужны недели, а может, и месяцы, Муравчик узнает в тот же день. Этот

человек обладает особым даром быть душой-человеком, и ему доверяют, как родному брату, рассказывают подноготную. Не только старуха Соре-Броха, но даже застенчивая Златка смотрела ему в рот и внимательно прислушивалась к его хриплому голосу и словам, которые, как целительный бальзам, проникали в сердца этих двух женщин.

— Что мне с вами делать? Вы, тетенька, человек старого мира, а ваша дочь — овечка. Спросите меня, и я вам расскажу, что здесь творится. Я вам, как по книге, объясню все эти дела. Я знаю свою братию. Я ведь сам актер. С парнем мы познакомились еще в Голонешти, я его хорошо помню — это такой парень, мне бы столько добра! Только он уехал в Америку, и поминай как звали. У нас говорят: «С глаз долой — из сердца вон». Но в Америке действует закон, если парень так поступает, то его по головке не погладят. — При этих словах он посмотрел на младенца на руках Златки. Она покраснела и опустила глаза... — Да, с таким парнем не церемонятся: раз, два, три — и под венец. А если он отказывается, то существует тюрьма, которая у них называется «Кункель-мункель», или «Синг-синг». Я это знаю, хотя меня там не было. Я только собираюсь туда отправиться. Там меня ждет бизнес с одной знаменитой певицей, примадонной. Если мне повезет, то я буду есть хлеб с медом и наполню вот эту шапку золотом — долларами у них оно называется. За один доллар у нас получают два рубля...

Что же я хотел вам сказать? Если ехать, то поедем вместе. Если я поговорю с парнем, то это будет разговор. Настоящий. Я не люблю «козочка-можечка». Есть слово артиста. Он уже у меня в руках. Вы, конечно, не понимаете, зачем я это делаю? Только из милосердия к вашей дочери. Я хочу, чтобы ее младенец — мне бы такое счастье! — имел отца. Больше мне ничего не надо, дал бы мне бог счастья и удачи!

Муравчик не ограничился словами. У него так: если он кому-то предан, то душой и телом. Он мучился, глядя, как старуха постоянно хлопочет, то дрова тащит, то мусор выносит. «Дайте мне, и я вам покажу, как надо дрова таскать, чтобы казалось, будто это не дрова, а перья», и «ведро с мусором не так несут»...

Он не мог успокоиться, потому что Златка ночью и днем не спускала младенца с рук. Правда, он сам детей не имел, и слава богу, но зато сестра его, большая бед-

нячка, богата детьми. Она по теории двух «киндер-систем» каждый год рождает двойню. «Вот чем и объясняются мои знания о малышах. Я даже знал средство, как их утихомирить...»

И не долго думая, он забирает из рук Златки кричащую девочку, перекидывает ее справа налево, вверх и вниз, и она замолкает. Но у Златки чуть сердце не оборвалось.

Собственному брату Златка не рассказала бы столько, сколько Муравчику. Она ему доверила то, чего не доверяла даже матери.

Было утро, Соре-Броха ушла на базар, и Златка осталась наедине с Муравчиком.

— У меня к вам просьба, — сказала она дрожащими губами и тут же пожалела. Но раз начала, то пропало.

— Что за просьба? Я готов в огонь и в воду.

Златка достала из-за пазухи желтый платочек с какой-то завернутой в него вещью.

Вещь ей досталась от брата. За час до смерти он ей приказал: «Береги как зеницу ока, ни одна птичка не должна знать, даже мама». При этих словах Голцман закашлялся и ничего больше сказать не смог...

Передавая вещь новому другу, Златка чувствовала, что с нее упал камень. Она сказала:

— Я вам вручаю этот узелок — это все наше достояние, доверяю вам свою душу. Берите и делайте с этим что хотите, но только привезите меня к нему, как вы обещали.

Больше говорить Златка была не в состоянии. Буря была в ее сердце, и ее душили слезы. Шолем-Мейер Муравчик был так тронут, что не посмотрел, что в узелке, как фокусник, быстро спрятал его в карман. Между тем вернулась старуха, и Муравчик только пожал руку Златки и сказал ей:

— Будь спокойна, милочка, пусть мое имя не будет Шолем-Мейер.

Назавтра он, выбритый и одетый с головы до ног во все новое, словно жених под балдахин, сказал:

— Послушайте, тетенька! Мои дела, слава богу, идут лучше, чем можно было ожидать. Кругом хорошо. Только вот что: меня зовут в Нью-Йорк, если вы хотите забыть все страдания и обрести покой и радость на старости лет, то не откладывайте в долгий ящик, собирайте ваш скарб, берите дочь и малютку и поезжайте со мной.

Согласитесь, и я тут же пойду покупать шифскарты, о деньгах речи не может быть, потом сочтемся...

Соре-Броха переглянулась с дочерью. Она не поняла, что это на него нашло. Кажется, недотепа, а смотри, что он берет на себя. И от радости, наверно, по ее сморщенному лицу скатились две слезинки, как горох. Она хотела благословить друга сына, пожелать ему всякого добра, как он того заслуживает, Муравчик закрыл свое лицо обеими руками и слушать не захотел.

— Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно! Я уже побегал за билетами, а вы готовьтесь в путь-дорогу. Завтра утром мы уезжаем.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

### Большой провал Рафалеско

Мы оставили нашего молодого Рафалеско во время антракта между вторым и третьим актами. Примадонна Генриетта Швалб ворвалась к нему в гримуборную как раз в ту минуту, когда он только что узнал от примера, что в театре на спектакле Роза Спивак.

— Комедия с нашими аристократическими коллегами. Комедия, водевиль, ха-ха! Ты знаешь, они сбежали, ха-ха-ха!

Рафалеско, который встретил Генриетту, собирался удрать из гримуборной куда глаза глядят, отстранил ее и автоматически спросил: «Кто сбежал?» В ответ Генриетта дала ему щелчок по носу:

— Ты, недоразвитый! Ты даже не знаешь, какие высокие гости были здесь, Гриша Стельмах и Роза Спивак... они занимали ложу номер три, вторую от директорской. Мы познакомились, ей очень понравились мои бриллианты, я сказала, что это ты мне их подарил. Она расспрашивала меня, откуда ты.

— Что ты ей ответила?

— Что я могла ответить? Сказала, что ты из Бухареста, ха-ха! Что румынская королева, ха-ха! Умереть можно от смеха. Но это все чепуха по сравнению с тем, как они удрали из театра. Кто не видел их бегство, тот ничего лучшего и не увидит, ха-ха-ха!

Рафалеско похолодел, стал вытирать пот со лба и как можно безразличнее спросил:

— Почему, собственно, они должны были удрать?

— Очевидно, им здесь все не понравилось, ха-ха! Такие аристократы, шутка ли! Я все время следила

за ними, когда ты играл, они смеялись над тобою, ха-ха-ха!

В несчастном романе нашего героя с примадонной Швалб были разные моменты. Было время, когда он ее презирал за глупость и видеть спокойно не мог. Но было время, когда он прощал ей глупости, терпел ее капризы и был с ней на товарищеской ноге...

Но теперь он готов был схватить ее за глотку, платком заткнуть ей рот, задушить, как у Шекспира Отелло Дездемону.

Вся кровь в нем бушевала, в висках стучало, перед глазами мелькали разноцветные круги. Щекотало в носу. Он скрежетал зубами. Дикий зверь проснулся в нем. И надо было быть сильнее железа и поистине героем, чтобы пережить то, что Рафалеско пережил в эти тяжелые несколько минут.

А Генриетта Швалб давно не была так довольна собой, как в этот вечер. Она села на стул Рафалеско против зеркала, закинула назад голову и, рассматривая в зеркале свои белые зубы, громко смеялась, а гример подумал: «Мало вам, так вот еще одна сумасшедшая».

— Нет,— повторяла Генриетта еще и еще раз,— надо было видеть, как они вдвоем взялись за руки и марш из ложи по всему коридору, пронеслись как молния, вышли на улицу к автомобилю, а публика бешено кричала: «Браво, Стельмах!» Чистая комедия, водевиль, ха-ха! ха-ха!

— Хари оп, скорей, третий акт уже начался,— крикнул высокий джентльмен и просунул голову в гримуборную Рафалеско. Это был человек с птичьим лицом, красными глазами, без бровей. Он являлся помощником режиссера театра Никела, который следил за своевременным выходом актеров на сцену.

Услышав «хари оп», примадонна спохватилась и освободила стул Рафалеско, а он, опустив голову, стал гримироваться, и парикмахер взялся за дело, поправил парик, расчесал бородку, кое-где прибавил, кое-где убавил грим, и Уриэль Акоста уже вновь готов был для выхода к публике, успокоившейся и внимательно следившей за игрой гастролера, молодой восходящей звездой Лео Рафалеско из Бухареста.

Но вместо восходящей звезды из Бухареста, вместо привлекательного Уриэля сидел за письменным столом на сцене нудный Менаше и сверлил всем мозги своей монотонной книжной речью, подбивая счета, перечисляя циф-

ры. «Долго он еще будет морочить голову, этот старый болван?» — думала публика и смотрела в сторону двери, в которой должен был появиться Уриэль. Наконец дверь распахнулась, но вместо Уриэля вышла Юдифь и начался долгий, утомительный диалог Юдифи и ее отца Менаше. «Придет когда-нибудь этому конец?» Слава богу, вот и слуга:

— Прибыл доктор Сильва.

— К черту его,— прошептал кто-то в публике.— Подавайте сюда Уриэля! Конечно, прежде, чем подать к столу варенье, приходится хорошенько водой нахлебаться... О, вот, вот и он, долгожданный!

Появился Уриэль Акоста, он остановился у двери, скрестив руки на груди. Трепет прошел по всему залу. Стало так тихо, что муха пролетит — услышишь. Все насторожились в ожидании. Глаза Рафалеско блуждают по залу, и публика еле слышит его слова: «Это я, де Сильва».

— Громче,— закричали на галерке, и весь театр закричал: «Громче! Громче!»

А Рафалеско продолжает чуть слышно шептать: «Может ли преданный анафеме предстать перед святым защитником чистых душ?»

— Громче, громче! — кричит вся галерка.

— Тише! Молчите! — отвечает партер галерке.

А шум не утихает, усиливается.

Рафалеско, не привыкший к такому приему, смотрит по сторонам и не понимает, что за шум. Ему кажется, что он говорит громко. Он теряется и забывает, где он. И еще до того, как Сильва заканчивает свою реплику, где объясняет ему, что он должен сделать у раввина — Бен-Акибы, Уриэль спрашивает: «Отказаться? Это слово звучит для меня противоестественно...» И замолкает, потому что актер, играющий де Сильву, с тяжелой поступью и толстыми губами, смотрит на него страшным взглядом и тихо говорит:

— Ради бога, что вы ловите рыбу без сети?

А в зал он произносит:

— Я только что из судилища, они смягчились...

На это Уриэль отвечает: «Я это знаю, давно ищу свою дорогу, но какое имеет отношение одно к другому».

— Здорово, кума, на рынке была,— раздался голос с галерки, и весь театр засмеялся, смех разносился гулко, как гром в лесу во время грозы. Смех катился по рядам, а бедный Рафалеско, всегда работавший без суфлера, бросается к его будке и видит, что тот размахивает ру-

ками, подмигивает глазами, но Рафалеско его не понимает.

Рафалеско сам чувствует, что он неудачно ведет сцену, что земля под ним качается так, что вот-вот он упадет. И он продолжает играть, полагаясь на судьбу, потому что хуже уж быть не может, и говорит де Сильве: «Я понимаю, мне не о чем с вами разговаривать».

— Вот именно,— прозвучал тот же голос с галерки.

Театр помирал со смеху, уже никто не слушал ни доктора де Сильву, ни Уриэля Акосту, который, оставшись один, гордо заявляет: «Каяться я не могу и голову склонять перед раввинами не стану».

А публика не перестает смеяться даже тогда, когда появляются слепая мать и ее два сына, не спас и первый выход Юдифи, не помогло и то, что Рафалеско с большим темпераментом сыграл конец третьего акта. Все пропало. Даже если он будет играть как бог, четвертый акт не спасет. Публика нервничала, злилась и уже ненавидела кумира, короля артистов, которому недавно поклонялась. Враги театра Никела и людишки из «кибецарни» были правы, говоря: «Ночь еще велика, а в трагедии Карла Гуцкова пять актов». Они дождались мести. Рафалеско потерпел такое крупное поражение, о котором даже подумать не мог.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

### Муравчик за кулисами

Последнюю сцену последнего акта, где Уриэль убегает, Рафалеско сыграл блестяще: вернулись к нему заразительность и творческое вдохновение великого артиста. Как бы очнувшись ото сна, он произнес голосом, прозвучавшим как царственный рык льва:

— Довольно! Не держите меня! Я иду, убегаю!

Он выбежал за кулисы и почувствовал, как почва уходит из-под ног, а декорации кружатся перед глазами, и упал на руки первого встречного человека, незнакомца небольшого роста, в помятом котелке и с хитрыми глазами. Этот человек заметил, что Рафалеско зашатался, подбежал к нему, подхватил и хрипло закричал:

— Что вы стоите, как истуканы, воды, воды!

Через мгновение Рафалеско лежал на диване в своей гримуборной, а возле него на табуретке сидел Шолем-Мейер Муравчик. Именно он.

Откуда взялся Муравчик?

Читатель помнит сцену, разыгравшуюся в вестибюле театра между Шолем-Мейером Муравчиком и мистером Кламером.

Надрав бороду мистеру Кламеру и получив хорошенькую порцию от Нисла Швалба, Муравчик все-таки выбрался из его рук и рук билетеров, пришедших на помощь по зову Кламера.

Шолем-Мейер Муравчик может считать, что родился в рубашке, раз не попал в полицию. В Америке, конечно, есть конституция, но лучше в полицию не попадать.

— Черт меня понес встретиться с этим клопом (услышал бы мистер Кламер, как его окрестили!). Как набожный еврей не может смотреть на свинину, так я не могу видеть эту бороду.

Так в сердцах подумал Муравчик, привел в порядок свое разбитое лицо и попытался пробраться через актерский вход за кулисы. Там он ловко спрятался за декорациями, и никто его не заметил, хотя он видел всех. Он смотрел на сцену, чтобы отыскать того, кто ему был нужен.

— Кто из них Рафалеско? — спросил он озабоченного человека, стоявшего у занавеса, пессимиста с голубыми глазами, выглядевшего так, словно весь мир на него обрушился.

— Вот тот, с длинными волосами и в белом воротничке.

— Мудрец ты мой, у них у всех длинные волосы и белые воротнички.

Озабоченный человек устал на Муравчика голубые глаза:

— Я не виноват, что вы дубина и все актеры у вас на одно лицо. И вам равно: что Менаше — что Уриэль Акоста.

— Мне бы вашу мудрость, светлый человек! Вы правы, тихо, я уже знаю, кто из них Уриэль Акоста.

Так Муравчик поговорил со своим новым знакомым, обретенным здесь у занавеса, и подморгнул ему хитрыми глазами:

— Не найдется ли у вас, друже, сигареты?

— Болван! Вы хотите, чтобы вас спустили со всех лестниц! Здесь у занавеса и декораций собираетесь курить?

— Тихо, не шумите. Нет — так нет. Вы так разгорячились, словно я плюнул в ваш горшок.

Шолем-Мейер Муравчик ткнул «друже» под мышку и попросил его чуть подвинуться, чтобы сесть рядом.

— Стоять целый акт на ногах,— пояснил Муравчик,— я не в состоянии. Я еще сегодня маковой росинки во рту не имел, не потому что у меня сегодня пост. Мне незачем поститься. Я просто сегодня был очень занят.

— Бизнесом? — спросил пессимист и заодно поинтересовался, какими делами занят Муравчик в Нью-Йорке, давно ли он из Европы, каким кораблем и как прошло плавание.

Муравчик назвал ему дела, высосанные из пальца, и они проговорили весь акт, и так увлеклись, что озабоченный человек чуть не потерял свою должность, так как опоздал в нужное время дать занавес. Пахло скандалом, потому что публика могла заметить, как Рафалеско упал на чьи-то руки. Вот когда и произошла его встреча с Муравчиком.

— Ваше лицо мне очень знакомо.

— Неудивительно. Сколько раз мы виделись в Голонешти?

— В Голонешти?

Этого слова было вполне достаточно, чтобы наш молодой герой забыл о своем провале и попросил всех уйти из гримуборной. Когда они остались вдвоем, он набросился на Муравчика с вопросами, кто он, откуда и зачем сюда приехал.

— Кто я? Актер еврейского театра. Откуда прибыл? Из Лондона. Зачем? Ищу вчерашний день. Мой друг и товарищ, тоже еврейский актер, за час до смерти взял с меня слово. У него есть сестра, милейшее существо, кровь с молоком, полюбил ее парень, тоже актер, а от этой любви, как это бывает, через девять месяцев родилась девочка, и поскольку отец ребенка уехал в Америку, то умирающий умолял меня, попросил поклясться богом, что я возьму на себя поиски, то есть что я возьму его сестричку и младенца и поеду с ними в Нью-Йорк и не успокоюсь, пока не найду отца девочки и не обвенчаю их по закону Моисееву. Я дал ему слово и поклялся всеми клятвами исполнить его предсмертную просьбу. Разве это похоже на те романы, которые печатаются на страницах ваших газет?

Возможно, наш герой что-то предчувствовал, а быть может, просто любопытствовал и спросил у незнакомца:

— Можно ли узнать, как звали вашего друга, поручившего вам такое сложное дело?

— Почему же нельзя? С большим удовольствием. Его звали Гоцмах, а настоящее его имя Голцман.

Рафалеско был ни жив ни мертв.

— Голцман, Бернард Голцман — говорите вы.

— Он умер, его сестру зовут Златка. Она со мной здесь в Нью-Йорке. Она хотела со мной пойти в театр послушать вас. Но на кого она оставит младенца? Молодая мать, и очень преданная. Вы, быть может, хотите знать, кто отец ребенка? — спросил Муравчик и посмотрел Рафалеско в глаза. — Он из Бухареста. Но он так из Бухареста, как я из Иерусалима. Господь с вами! Почему вы так побледнели? Вам дурно?.. Что вы так дрожите! Ничего плохого не случилось, поверьте мне на слово. Вы знаете, что я за человек. Меня зовут Шолем-Мейер Муравчик... Я хочу только вашего благополучия и исполнения просьбы друга с того света, дай мне бог счастья и удачи.

## ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

### Еще одна комбинация лопнула

Как кому, но Нислу Швалбу большой провал Рафалеско был на руку. Он мог теперь взяться за осуществление своего плана с большей надеждой на успех, потому что побитая собака становится послушнее, а с человеком, павшим духом, можно делать что угодно.

Так думал наш комбинатор и взялся за дело назавтра же после знаменитого спектакля, после которого привезли Рафалеско домой с разбитым сердцем.

Когда Нисл пришел к своему молодому другу, он с большим удивлением встретил там низенького человека с плутоватыми глазами, которого он вчера в вестибюле с трудом оторвал от бороды Кламера.

— Вы еще живы? — весело спросил его Нисл, — видимо, где вас ни сеять, вы везде вырастаете.

— А как иначе? — ответил ему Муравчик в том же веселом тоне, — вам повезло, что я был один, а вас было много, в противном случае я бы вашего джентльмена из лондонского Уайтчепеля живым из своих рук не выпустил, остался бы он без бороды и без души, а мои бумаги вернул бы мне. Можете быть уверены. Это говорит вам Шолем-Мейер Муравчик.

— Муравчик? Знакомая фамилия. Вы из каких Муравчиков?

Швалб подвинулся навстречу и протянул большую потную руку. Муравчик ответил ему хриплым голосом:

— Из каких я Муравчиков? Из настоящих, которые никому ни копейки не должны, так как им никто не одалживал, а если им одалживали, то пиши пропало, как те затрецины, которыми вы вчера меня угостили. Можете мне поверить на слово — я давно таких тумачков не получал, дай мне бог счастья и удач. Но одно не мешает другому. Вы мне нравитесь, больше лицом, чем ручищами. Отсохнуть бы им. Я даю вам честное слово, когда у меня будет свободное время, я ближе с вами познакомлюсь. А пока у меня дела, бизнес, как у вас говорят, мне пора, будьте здоровы — пишите письма.

С этими словами Шолем-Мейер пожал большую руку Швалба, который дружески ответил:

— Вы себе не представляете, как меня радует наше знакомство, иметь бы мне добро всего мира...

— Это я вчера видел, и не так видел глазами, как почувствовал костями, дал бы мне бог счастья и удачи.

Так ответил Муравчик на комплимент Нисла Швалба, находясь уже у самой двери. Рафалеско проводил его, и у порога они две минуты тихо поговорили. Когда Лео вернулся, Нисл спросил:

— Кто этот недотепа с плутовскими глазками? С виду его можно принять за карманника, конокрада или торговца живым товаром.

Не дождавшись ответа, Нисл Швалб серьезно, как старший брат, сказал Рафалеско:

— Я бы такого шута горохового, такого хриплого субъекта на порог своего дома не пустил бы. Таких прохвостов и прощелыг надо гнать в шею... Одним словом, мой дорогой Рафалеско, пропади он пропадом, а мы вернемся к нашим делам.

Так приступил Нисл Швалб к изложению своей комбинации, шагая, по обыкновению, взад и вперед по комнате.

— Я пришел к тебе, во-первых, чтоб облегчить твою душу, не надо так печалиться, бывают иногда и провалы.

— Провал провалу рознь, — ответил ему Рафалеско и тоже стал шагать по комнате взад и вперед. — Это был ужасный провал, такого еще не было в моей жизни, с тех пор как я на сцене, я еще никогда не просил помощи суфлера! Нет, это был смертельный провал.

— Ну, до такого провала еще далеко. Господь поможет, послезавтра, на втором спектакле все наладится, а за этих два свободных дня надо завершить наше домашнее дело: раз, два, три — и конец. Когда ты думаешь справлять свадьбу?

— Какую свадьбу?

— Что значит «какую»?

Оба разом перестали шагать по комнате, встали друг против друга, рассматривая, словно видятся впервые в своей жизни.

— Ты шутишь? — спросил Нисл Швалб молодого друга, хотел улыбнуться, но не получилось.

— Я шучу? — ответил Рафалеско, — это ты шутишь. Вы все в заговоре против меня, вот и вышучиваете.

— Мы все договорились подшутить над тобой?

— Да, вы все: ты, твой брат и твоя сестра, примадонна. А чем же был спич мистера Кламера в доме ломжинского кантора, не шуткой? Дурацкой шуткой. Вы что думаете, поймали провинциального мальчишку и поведете его не веревочке куда угодно? Бог вас одарил сестрой, красивой телкой, божьей коровкой, вы сами ее называете поленом. Вы не можете сбить ее с рук и вот решили выдать ее замуж за меня, похоронить меня на веки вечные. Благодарю вас, нет уж, ищите другого идиота.

Рафалеско поклонился своему другу Нислу Швалбу, поклонился так вежливо, так грациозно и произнес свою речь с таким изяществом и заразительностью, что, будь это на сцене, его наградили бы шумными аплодисментами. Но поскольку это произошло не на сцене, а в жизни, и вопрос затрагивал всю семью, то легко представить себе, какой вид имел Нисл Швалб. Он побледнел, затем побагровел, потом посинел. На его багровой шее резко выступила жилка, которая начала быстро надуваться и пульсировать, как у быка через секунду после убоя. Казалось, глаза его вот-вот выскочат из орбит, как у живой рыбы, с которой соскребают чешую. Рыба, надо полагать, думает в эту минуту: «Скребите, скребите, посмотрим, что дальше будет...»

От сильного потрясения Нисл опустил на стул и тяжело дышал. Во рту высохло, и голос сел. Он обратился к Рафалеско:

— Ответь, дорогой, на вопрос, который я тебе задам, знаешь ли ты, что означают слова «брич оф промис»? <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Нарушение обещания (англ.).

Это значит, если молодой человек при свидетелях дает девушке слово, что он женится на ней, а потом показывает ей кукиш, то его заставляют жениться.

Рафалеско подошел к Нислу Швалбу совсем близко:

— Когда я дал слово вашей сестре? Может, в тот вечер в доме ломжинского кантора, когда вы меня накачивали шампанским и лезли целоваться, и вы, и даже Брайнделе Козак, и даже канторша, схватившая тарелку и разбившая ее вдребезги, ха-ха!

Этот смех был для Нисла горше всех слов, только что сказанных Рафалеско. Неужели и эта комбинация лопнула? Такая была твердая уверенность, и вдруг — трах! Сидеть не было сил, он вскочил, положил свою тяжелую руку на плечи Рафалеско и выпалил на одном дыхании:

— Рафалеско! Мы будем судиться с тобой в Америке. Америка — это страна, которая не любит шуток. У нас, глупенький, имеются свидетели, они клятвенно покажут на суде, что видели, как этот парень держал девушку на коленях и целовал ее... Это еще было на корабле, помнишь? Или уже забыл? И еще свидетели скажут, что ты покупал браслеты и другие ценности для моей сестры, надевал их на ее руку в их присутствии. Глупенький, послушай меня, я твой друг, давай лучше похорошему, потому что по-плохому ты проиграешь, иметь бы мне все добро мира! Ты мне спасибо скажешь, деточка, иначе подавиться мне вот этим столом!

С этим Нисл и ушел.

— Всем бы вам подавиться! — сказал Рафалеско с горькой улыбкой, когда Нисл Швалб был уже за дверью.

Рафалеско еще некоторое время шагал по комнате, потом сел у окна, закурил сигару, положил ногу на ногу и надолго задумался.

## ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ

Рафалеско снова кается

Рафалеско было о чем задуматься. Тяжелые тучи обволокли его небо. Все свалилось на него разом. А главное, вчерашний провал, который он потерпел в театре Никела. Все же горе невелико, потому что, несмотря на провал, в антрактах вертелись и кружились люди, представители английского театра, и на ухо говорили ему «ол райт». Это означало, пусть он не связывается ни с

кем, ибо завтра придет к нему персона, которая будет его ангажировать, причем с такой оплатой, какую ни один еврейский театр не может ему предложить.

И персону не пришлось долго ждать. Она объявилась рано утром.

Это был свежий на вид, приглаженный и чисто выбритый англичанин с совершенно голым черепом, золотыми зубами и модными длинными ногтями. Вместе с ним пришел еще один, репортер крупной английской газеты, пройдоха с улыбающимся красноватым лицом, владеющий многими языками, включая идиш.

По имени, которое он назвал,— Арчибальд Буеруэльс, по совершенному знанию английского его можно было принять за американца. Но по носу, черному блеску волос и особенно по глазам (ох, эти еврейские глаза!) можно было не сомневаться, что он еврей...

Оба джентльмена вошли и сели, задрав брюки до колен и показывая свои удобные американские широконосые туфли, и приступили к делу.

Тот, у кого была голова без единого волоса, говорил так, будто у него только что вырвали два передних зуба, а Арчибальд Буеруэльс переводил его слова на идиш.

Суть разговора свелась к тому, что Рафалеско предлагают немедленно вступить в английскую труппу. Первое время он свои роли может играть по-еврейски, пока хорошо не освоит английский, условия же такие, что у Рафалеско голова закружилась. И все же у него хватило ума и такта, чтобы спокойно все выслушать и сказать: мне необходимы двадцать часов на раздумье.

— Ол райт! — сказал лысый джентльмен и собрался уходить, а репортер с улыбающимся лицом сказал Рафалеско по-еврейски:

— Не упускайте случая, кусок жирный, гуд бай!

Это был номер первый. Второе, о чем снова думал Рафалеско, была, как всегда, Роза Спивак.

Что привело ее в театр Никела в первый же вечер его выступления? Случайность. Или, следя за еврейскими газетами, она узнала о его бенефисе? Если так, почему же они удрали после второго акта? И правдив ли рассказ Генриетты о том, что Роза Спивак сидела в одной ложе с аристократическим кавалером, с Гришей Стельмахом, и они оба смеялись, когда Рафалеско играл свою первую трагедийную роль? Правда, он еще не очень силен в этой роли. Но разве можно было смеяться? Тем более что первые два акта он хорошо сыграл, с успехом. Ах,

сколько он дал бы, чтобы получить ответ на все эти вопросы. Было бы другое время, он не успокоился бы, пока не добился бы встречи с ней, ведь ради нее он и приехал сюда...

Но вот номер третий. Это Шолем-Мейер Муравчик с его доброй вестью и поздравлением...

Смерть бывшего друга и товарища Голцмана, с которым Лейбл когда-то удрал из дому и провел свои лучшие юные годы, произвела страшное впечатление. Он был потрясен, как при встрече с кассиром «Сосн-весимхе», сообщившим ему, что мать скончалась. Но если смерть матери вызвала слезы, жалость и раскаяние, то смерть Голцмана навела его на мысль, что он поступил, как человек без сердца и совести, если хотите, как убийца. Как он посмел равнодушно, с легким сердцем оставить больного друга, когда, это он хорошо помнит, у постели его стоял ангел смерти?..

И нехотя вспомнил Рафалеско то утро, когда пришел проститься с другом и увидел печальную картину. Она последовала за ним на корабле, но только сейчас встала перед глазами...

И еще вспоминает наш молодой герой, сидя у окна, вспоминает, и дрожь проходит по телу. Забыть бы это, да невозможно...

Самое тяжкое воспоминание — о Златке. С нею он даже не попрощался, он считал удачей, что не застал ее дома, он удрал от нее, как вор в ночи, который боится быть пойманным.

Ни один живой человек не поступал так дурно с девушкой, как он с бедной невинной Златкой... О чем она думала, узнав от больного брата, что Рафалеско, ее идеал, ее божество, удрал в Америку? Что она пережила и выстрадала за все это время? Что думала о нем тогда и теперь? Где та страшная кара, которую заслужил этот преступник? Его должны строго наказать: он должен из своего сердца вырвать все юношеские грезы, глупые фантазии; он должен забыть, что была на белом свете Роза, и он должен сейчас же, немедленно вернуть Златке утраченную веру, должен пойти к несчастной Златке, упасть к ее ногам, целовать ее руки и повторять:

— Златка, я твой, твой навеки.

И он это сделает, обязательно. Он бы это сегодня утром сделал, но его задержал Муравчик. Он объяснил ему, что нельзя так поступать. «Златка,— сказал он ему,— простая девушка (ха-ха, девушка, у нее уже ребе-

нок), романов никогда не читала, и если появится парень и упадет к ее ногам и закричит: «виноват, согрешил, виноват!», она в обморок упадет от страха. Прибежит ее мама, нельзя забывать, что у нее мама, которую зовут Соре-Броха, и устроит скандал»... Нет, лучше, если Шолем-Мейер Муравчик исподволь подготовит обеих женщин. И незачем им знать, что из-за Златки кто-то мучается раскаянием. Женщины не любят слабых мужчин, распускающих нюни по любому поводу, разводящих разные антимионии, философию с капустой, петрушку с мылом. Фи! Женщины любят, чтобы мужчина был мужчиной... Муравчик это хорошо знает. У него нет столько волос, сколько дел он имел с женщинами, да пошлет ему господь счастья и удачи.

Так закончил речь Шолем-Мейер Муравчик и отправился выполнять свое обещание.

Молодой герой выпроводил не солоно хлебавшего Нисла Швалба, сел у окна гостиницы, закурил, обдумывая свою жизнь.

Неожиданно он увидел, как у гостиницы остановился автомобиль, из него выскочил негр. «Хорошо бы ко мне», — подумал Рафалеско, ничего не подозревая, и вдруг услышал стук в дверь.

— Войдите!

Вошел негр и сказал, что у него письмо только для Рафалеско, только ему в руки.

— Я Рафалеско.

Дрожащими руками Рафалеско принял из рук негра заклеенный красивый и надушенный конверт, осторожно раскрыл его и первым делом посмотрел на подпись. Сердце так забилось, что он вынужден был сесть.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

### Письмо

«Моя дорогая блуждающая звезда!

Самая богатая человеческая фантазия не в состоянии была так запутать и связать одно событие с другим, как судьба, сама жизнь.

Я еще так взволнована всем, что пережила за последние двенадцать часов, что не могу передать и сотой доли того, о чем хочу сказать тебе лично. Я должна тебе признаться, что только дивный случай привел меня вчера на твой бенефис в театр Никела. Если мое сердце

не разорвалось на части, когда я поняла, что Уриэль Акоста — это ты, значит, оно из стали. В оцепенении я сидела до конца второго акта. А дальше произошел маленький скандал, которого никто не мог предвидеть. Нас узнали в ложе, наша тайна была раскрыта. И меня заставили уйти, хотя бог свидетель, как меня тянуло обратно, еще раз хоть посмотреть на тебя, еще раз услышать твой голос, который не переставал звучать в моих ушах все годы нашего странствия по белу свету. Но погоди — это еще не все.

Вернувшись домой, я нашла на столе целую пачку писем, которые, судя по почтовым штемпелям, присланы уже давно, но мне их не вручали из-за цензуры, которую мой менеджер — англичанин и джентльмен — без моего ведома установил. Кончилось тем, что сегодня я его пригласила к себе и после долгих споров объявила, что разрываю контракт и считаю себя свободной, а он может подать на меня в суд, это его дело. Но не это главное. А главное в том, что среди писем было и твое. Я прочла его множество раз, и пламя зажглось в моем сердце. Целую слова твоего дорогого письма, я залила их слезами. Почему слезы, спросишь ты? Это я оплакиваю наше ушедшее детство, нашу счастливую молодость, нашу раннюю любовь. Теперь наша любовь могла бы быть более сильной, страстной, пламенной, чем была тогда, но ее уже не будет, надо признаться, такой кристально чистой, такой возвышенной, такой божественно красивой и такой по-детски наивной, какой была тогда, в нашем маленьком, нищем, незабываемом Голонешти...

Ах, Голонешти! Знаешь ли, что я там была и искала своего Лейбла, расспрашивала о моем «сынке богача»? К сожалению, никто, ни один человек не мог мне ничего рассказать о тебе! Ты исчез, как сладкий сон, из моей жизни, как единственная мечта!

Дорогой мой! Ты меня спрашиваешь в своем письме, помню ли я, что сказала мне старая гадалка в галицийском городке. О, я хорошо помню. Но откуда ты об этом знаешь? Значит, ты расспрашивал обо мне, как я о тебе? Почему же ты, злой человек, отказался от меня и разрешил другой примадонне — возможно, красивее меня, но и намного глупее — перед всеми хвастаться, что ты ее избранник?.. Но, ах! О чем я говорю? Как смею тебя упрекать в то время, как сама из-за разных запутанных обстоятельств была вынуждена на себя повесить золотые цепи?.. Не будем говорить о цепях, их можно

в любую минуту разорвать и сбросить с себя, если мы этого пожелаем... Поговорим лучше о том, где мы сегодня увидимся. В конце письма найдешь адрес. Между 4-мя и 5-ю, если ты придешь туда, хорошо поищешь, то найдешь меня там. Мы будем одни и сможем вдоволь наговориться. А нам надо о многом поговорить! Будь там сегодня от 4-х до 5-ти и ищи меня. Я велю тебе! Нет, ложь. Почему мне не сказать тебе всю правду? Не велю, но прошу тебя, умоляю, падаю к твоим ногам, и целую тебя, целую! Ты слышишь? Я целую тебя!..

*Рейзл».*

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ Опять Брайнделе Козак

Шолем-Мейер Муравчик пришел к своему новому другу Рафалеско точно в условленное время. Но не застал его дома. На столе лежала записка, предназначенная ему:

«Мой любезный Муравчик, я уезжаю ненадолго из Нью-Йорка. Когда вернусь, не знаю. Нашу поездку отложим на другой раз. Прошу оправдать меня как сможете перед теми, перед кем вы знаете, и я вам этого никогда не забуду!

*Ваш Л. Рафалеско».*

— Что приснилось мне в эту ночь и в прошлую, и что мне снилось все время на море и на суше, пусть падет на головы моих врагов! Актер остается актером, он может быть десять раз из порядочной семьи! Человек договорился на определенный час; человек сгорает от стыда, а в итоге...

Муравчик уже повернул обратно и готов был плюнуть с досады, вдруг он услышал возню за дверью.

Муравчик обрадовался: «вероятно он»... входите!

Опять слышно: стук-стук. «Очевидно, не он»... На его второе «войдите» он услышал снова стук, Муравчик обозлился и громко крикнул:

— Головой об стенку!

Еле слышно открылась дверь, и вошла Брайнделе Козак.

Если бы вместо Брайнделе Козак вошел, к примеру, Гоцмах с того света, наш Муравчик не был бы так поражен, как сейчас, в эту минуту. Однако он нашел

в себе достаточно сил, чтобы очень быстро прийти в себя и стать тем же веселым, живым как обычно Муравчиком. Очень церемонно, протягивая навстречу руки и хрипло смеясь, он произнес:

— Благословен вошедший гость! Что слышно у вас хорошего, Брайнделе, тьфу, я имею в виду мадам Черняк?

Зато мадам Черняк не нашла ни единого слова в ответ. Она остановилась в дверях в своей красной ротонде, как парализованная, и не могла двинуться с места.

Если Муравчик все же знал, что Брайнделе Козак где-то в Америке, то ей даже не снилось, что она увидит в Нью-Йорке своего злейшего врага Шолем-Мейера Муравчика. И где? У Рафалеско! И когда? Когда она пришла спасти молодого человека от несчастья.

От своего приятеля Нисла Швалба она только что услышала ужасную новость: Рафалеско отказывается от его сестры, от примадонны Генриетты Швалб, и Нисл Швалб взял адвоката, чтобы подать на него жалобу в суд за отказ от данного слова. Кантор с канторшей и мистер Кламер пойдут свидетельствовать, что они видели примадонну на коленях у Рафалеско еще на корабле. Нисл Швалб имел еще свидетелей, пол-Нью-Йорка (и мадам Черняк в том числе), они были у Рафалеско и Генриетты на официальной помолвке, когда разбили тарелку, пили шампанское, целовались со всеми гостями. Одним словом, Нисл Швалб клянется всеми клятвами, что он подымет такой скандал в Нью-Йорке, какого с тех пор, как Колумб открыл Америку, еще не было. Ну, как может мадам Черняк допустить такое? Во-первых, жаль Рафалеско. Молодой артист, звезда, которая только восходит, цветок, который только распускается. Он, не дай бог, может испортить свою карьеру! Это одно. Во-вторых, у мадам Черняк был и личный интерес.

Наш читатель хорошо помнит, что с приезда в Нью-Йорк «Кламер, Швалб и К<sup>0</sup>» у мадам Черняк началась новая эра в жизни, новая глава под названием «Нисл Швалб». Это была ее последняя надежда, последняя страница ее жизненного пути, единственная звезда, которая еще светила на ее темном небосклоне. И она была готова на все, в огонь и воду, как говорят.

Бедная Брайнделе Козак! Она полюбила Нисла Швалба с таким же жаром, если не с большим, как и в первый раз в своей жизни. И это не грех, уже давно пора бы ей быть не хуже других, доплыть до своего берега, создать

свою семью, оставить бродяжничество, собирать доллар к доллару, и мучиться на белом свете.

И потому неудивительно, что мадам Черняк готова была жизнью пожертвовать ради нового бога, Нисла Швалба. Он рассказал ей содержание утреннего разговора с Рафалеско и вечернюю историю с побегом Розы Спивак и Гриши Стельмаха из театра Никела. Брайнделе Козак поняла, что происходит, и родились в ее голове умозаключения.

Первое. Ради кого Роза Спивак вчера покинула театр, если не ради Рафалеско?

Второе. Выходит, они договорились по почте, чтобы она пришла на первое представление.

Третье. Возникает вопрос. К чему тогда комедия, разыгранная в доме ломжинского кантора, зачем разбивали тарелку, поздравляли и целовались? Это, по-видимому, для того, чтобы отвлечь внимание.

Четвертое. Раз так, то она должна на минуточку заскочить к парню, посмотреть ему в глаза, уговорить его добрым словом помочь ей свидеться с Розой Спивак, к которой не допускают и которая даже не отвечает на письма. Удастся мадам Черняк поговорить с Розой, все пойдет как нужно. Парень обвенчается с Генриеттой Швалб, а тогда... О, тогда, тогда в самом деле будет «ол райт», как здесь выражаются.

Вот с такими радужными предположениями мадам Черняк, напудренная и расфуфыренная, явилась к Рафалеско и неожиданно столкнулась со своим бывшим врагом, с Шолем-Мейером Муравчиком.

А Шолем-Мейер Муравчик, увидев, что мадам Черняк стала такой же, как жена Лота, сжалился над ней и решил ей помочь.

— Вы здорово похорошели в этой стране и не изменились! Напротив, вы очень помолодели, и если бы не ваша красная ротонда, я бы вас не узнал, дай мне бог счастья и удачи.

Мадам Черняк не привыкла к таким комплиментам, растаяла как масло, и ее круглое лунообразное лицо покраснело и залоснилось. Брайнделе Козак тут же готова была все забыть, простить все оскорбления, которые ей когда-то нанес этот хриплый Кикимора, забыть страдания и даже старый долг,— все она готова была забыть в эту минуту, распахнула ротонду, придвинулась к Муравчику — и между ними завязался разговор, который мы передаем со стенографической точностью.

Вот этот диалог Брайнделе Козак и Шолем-Мейера Муравчика:

Брайнделе Козак. Кого-кого, но вас и во сне не мечталось мне увидеть здесь.

Муравчик. Значит, вам на меня наплевать, а я думал о вас днем и ночью, во сне и наяву.

Брайнделе Козак. Чтобы вы так жили.

Муравчик. Аминь! И вам и всем женщинам аминь.

Брайнделе Козак. Вы были и остались пройдохой. Скажите лучше, где сейчас ваш хозяин-аферист, сгореть бы ему!

Муравчик. Кто, Щупак? В Одессе, холера бы его там задушила в зимние месяцы.

Брайнделе Козак. Вы хотите сказать — чума.

Муравчик. Я не возражаю. Лишь бы смерть забрала его в самый ясный день, только не в мороз. Вы как здесь оказались, душечка? Вы тоже к Рафалеско?

Брайнделе Козак. А к кому же? Меня удивляет, что его нет, обычно в это время он дома.

Муравчик. Еще лучше, мне он назначил время, и мы сверяли часы. Как вам, кошечка, живется?

Брайнделе Козак. Лучше-хуже, «делаю жизнь»... А вы как?

Муравчик. По-старому, суетишься, бегаешь, на воду для каши зарабатываю. Хотелось бы знать, чего вам нужно, зачем вам этот парень? У вас к нему бизнес?

Брайнделе Козак. Ах, тоже мне бизнес... Вы давно в Нью-Йорке?

Муравчик. Судя по вчерашнему мордобою, можно подумать, что я здесь со времен Колумба. Скажите мне, сердечная, какие же делишки у вас с моим молодцом?

Брайнделе Козак. С каких пор он стал вашим?

Муравчик. С каких пор? Ха-ха! Я его знал, когда он был мал, как котенок.

Брайнделе Козак. Все возможно. Раз так, то вы можете на него повлиять.

Муравчик. Ха-ха, могу ли я?

Брайнделе Козак. Почему же вы не содействуете свадьбе?

Муравчик. До свадьбы, душечка, еще далеко.

Брайнделе Козак. В самом деле? В чем заговоздка?

Муравчик. Загвоздка в крохотной девчурке.

Брайнделе Козак. О какой девушке вы говорите?

Муравчик. О младенце говорю я.

Брайнделе Козак. О каком младенце?

Муравчик. О каком, спрашиваете? Выходит, вы ничего не знаете. Зачем же вы мне голову морочите?

Брайнделе Козак. Не сомневайтесь. Я хорошо знаю, о ком я говорю. Говорю о примадонне, а вы мне преподнесите своего младенца.

Муравчик. Во-первых, младенец не мой, а во-вторых, о какой примадонне вы говорите?

Брайнделе Козак. О какой? Я знаю двух примадонн.

Муравчик. Откуда взялись две?

Брайнделе Козак. Вот, это вы ничего не знаете, если вы спрашиваете, какие две примадонны.

Муравчик. Знаете что? Подавитесь обеими примадоннами.

Брайнделе Козак. Раньше вы, а потом я, вы старше меня.

Муравчик. Ну, кто из нас старше, это еще не известно. Но вижу, мне сегодня с вами не сладить. Вы были и останетесь злокой.

Брайнделе Козак. А вы были и остались прохвостом.

Муравчик. С вашим лицом вам стоять торговкой на виленском базаре, в переулке Гитке-Тойбы.

Брайнделе Козак. А вам бы разъезжать с мерзавцем Щупаком и торговать девками.

Муравчик. Видеть бы вам свои усы, как я что-либо знаю о женщинах Щупака.

Брайнделе Козак. А кто украл девушку, дочь кантора из Голонешти? Не вы с Щупаком?

Муравчик. Откуда вы знаете Голонешти, дочь кантора?

Брайнделе Козак. Видите, что я знаю гораздо больше, чем вы думаете.

Муравчик. Зачем нам ругаться в Америке. Америка страна мира. Будет так: я вам расскажу историю о младенце, но дайте слово, что вы расскажете мне о примадоннах.

Брайнделе Козак. Вот вам моя рука.

Муравчик. А вот вам моя рука.

Брайнделе Козак. Поклянитесь!

Муравчик. Чтобы мне...

Брайнделе Козак. Что вам?

Муравчик. Чтобы иметь мне счастье и удачу.

Брайнделе Козак. А если нет?

Муравчик. Стать мне рваным сапогом.

Брайнделе Козак. Чепуха!

Муравчик. Чтобы обрушилась на меня казарма.

Брайнделе Козак. Глупости!

Муравчик. Пусть задушит меня Колумб, вернувшись с того света...

Брайнделе Козак. Это не клятва.

Муравчик. Тьфу на вас! Я взмок весь!

Кончилось тем, что Брайнделе Козак выпытала у него все, что он знал о Рафалеско, а он у нее все о примадоннах: о Генриетте Швалб и Розе Спивак.

А когда речь зашла о младенце, Муравчик начал мямлить и выдумывать басни. Брайнделе Козак, красная, потная, злая, сорвалась со своего места, запахнулась в ротонду и так засмеялась, будто тысяча чертей хохотали. Муравчик даже испугался.

— Что с вами стряслось?

— Ха-ха-ха! — неудержимо смеялась мадам Черняк, — все, что я вам рассказала — это сплошная выдумка, ложь, клевета, невероятная чепуха, ха-ха-ха!

Шолем-Мейер Муравчик на нее так посмотрел, что, казалось, немедленно ее уничтожит за ложь и обман. А про себя он подумал: «Нет, это не бабьи сказки». И миленькая парочка разошлась, кто куда, но с разным настроением.

Он — очень довольный встречей с Брайнделе Козак и всем тем, что узнал от нее. А она — сердитая, раздраженная изворотливостью этого хитрюги и тем, что она дала перехитрить себя и водить за нос этому подлецу, холера напала бы на всех мужчин, в том числе и на Муравчика.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

### В ресторане Шолома

Истории, которые Муравчик узнал от Брайнделе Козак о молодце Рафалеско, примадонне Генриетте Швалб и, главное, о романе с красоткой Розой Спивак, были для него поразительной новостью. Они раскрыли ему глаза, и он стал понимать многое из того, что раньше ему и на ум не приходило. Он вспомнил, как Роза тре-

петала, расспрашивая о судьбе Гоцмаха, как она прикинулась добренькой, когда пыталась узнать о парнишке из Голонешти. А, Роза, а ведь дочь кантора. Э, Муравчик, расплатить бы тебя посреди Нью-Йорка и всыпать пятьдесят горяченьких. Вполне заслуженно, если ты не сумел обглодать косточку ни со стороны жениха, ни со стороны невесты. А когда к тебе в руки попал чемоданчик с бумагами Розы Спивак, ты их продал за несколько шиллингов красавчику из лондонского Уайтчепеля, стореть бы ему! Он разорил меня. Я мог стать богачом, имея эти бумаги. А теперь мне нельзя показаться ей на глаза, я, выходит, лгал и обманывал ее.

Муравчик задумался, а затем, очнувшись, стал снова беседовать с самим собой:

— Положим, столько болячек Щупаку в Одессе и мистеру Кламеру в Нью-Йорке, сколько долларов, с божьей помощью, я наживу на этих историях. Если же нет, то ты, Шолем-Мейер, должен солому жевать, дай мне бог счастья и удачи!

И в его голове созрел план, да еще какой!

— Муравчик, дурья голова!

Пришло время обедать, и Муравчик пошел искать еврейский ресторан и попал на известный ресторан Шолома, рекламирующего свои блюда на страницах еврейских газет, вместе со своей фотографией:

«Не забывайте вашего друга Шолома, обеспечивающего вас каждый день лучшими румынскими блюдами, кошерными, свежими и вкусными...»

Войдя в ресторан Шолома, Муравчик увидел, что почти все столики заняты бизнесменами, а им всегда некогда, едят спеша, на ходу... Муравчик нашел такое свободное место, где мог бы спокойно пообедать и подумать.

Не успел он оглянуться, как у его столика вырос, будто из-под земли, расторопный парень, джентльмен с белой салфеткой, рыжий и чисто выбритый, словно артист. Он ловко достал книжечку и вечное перо, посмотрел на гостя, нагнулся к нему и сказал: «Мистер, закажите, пожалуйста, ваш обед, долго не тяните, сами видите, сколько у нас посетителей, хари оп!»

Но на Муравчика джентльмен с салфеткой не произвел нужного впечатления. Он не торопясь уселся за столик, снял котелок, который верзила Нисл вчера помял, «отсохли бы у него руки!», достал из бокового кармана маленькую расческу, причесал волосы на затылке и за-

казал обед по вкусу, подсказанному разыгравшимся аппетитом.

— Наперченный гуляш из пупков и печени, это одно. Второе — крылышки в бульоне с куском курицы. Третье. Вертуты с дробленой лапшой. Четвертое. Цимес с фаршированной шейкой. И маленькую рюмку коньяка «Винь-шампань», к ней тертую редьку на гусином сале и добрую кружку пива — это пять. И айда с правой ноги, быстро, живо, и черт тебя побери!

Последние слова Муравчик произнес на едином дыхании. Рыжий джентльмен все перечисленные блюда записал с быстротой стенографиста. Затем окинул взглядом сверху донизу заказ и спросил гостя: «Виноват, что такое вертуты?»

Муравчик посмотрел хитрющими глазами на кельнера и сказал:

— Не знаешь, что такое вертуты? Так тебе не кельнером быть в ресторане, почему бы тебе не работать чистильщиком сапог или улицы подметать...

Муравчик не успел закончить свою речь, рыжий джентльмен посмотрел на него горящими глазами и заговорил, мешая американские и еврейские слова:

— Мистер, держи язык за зубами, я не лакей, а кельнер в еврейском ресторане. Я член «юниона», я...

К счастью, на крик прибежал сам Шолом, хозяин ресторана, и успокоил его.

Описанная сцена, перепалка между кельнером и Муравчиком, не помешала его аппетиту... Напротив, Шолом-Мейер Муравчик с наслаждением уплетал заказанные им блюда. А меж тем в голове у него сложился план:

«То, что наш соловушка Рафалеско влюблен в красотку Розу Спивак, это плюс для меня. Надо только постараться, чтобы дело у них, сохрани боже, не расклеилось. Собственно, я к ним ничего не имею, пусть живут себе в согласии и любви. Да, а что будет со Златкой? То, что бывает со всеми девушками, если они поскользнулись, поверили и отдались до свадьбы. Конечно, жаль ее. Очень жаль. Но что поделаешь? Она плакать будет — поплачет и перестанет, я ее поддержу, не дам упасть... Я не Щупак, у меня нет женщин, ни одной... Кажется, и мне пора иметь внука, собственный уголок, где можно было бы голову приклонить. Доколе мне быть скитальцем, служить чужим? Тем более что Златка красивая девушка, тихая, честная, святая овечка, очень она пала духом. Такую взять в жены — дело доброе. Мне младенец не

помеха... Со мной ей будет хорошо, я не буду попрекать ее старым грехом... Хлебом она будет обеспечена. Я же не Щупак, пропади он пропадом! Конечно, им придется оказывать нам помощь... Они. Это я имею в виду его и ее. Для них не велика беда. Они хорошо зарабатывают. Особенно она, лопатами загребает... Он должен войти в мое положение. Я же ее беру с ребенком. Надеюсь, торговаться он не будет, мы легко поладим. Он же в моих руках... Попробует со мной не договориться, я ему ребеночка принесу на свадьбу. Стало быть, скажу: «Мистер, плати!»

— Сколько с меня?

Последние слова относились к рыжему джентльмену с белой салфеткой. Но поскольку между ними только что разыгрался конфликт, кельнер сделал вид, будто не слышит, он пожертвовал чаевыми и попросил хозяина ресторана получить с этого посетителя полагающуюся сумму.

Расплатившись за обед, оставив несколько центов для кельнера, Муравчик поднялся из-за стола, поглаживая животик, точно сытый буржуй, закурил сигару и пошел гулять по улицам Нью-Йорка.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

### Под землей

Слишком рано наш герой пошел на свидание, назначенное Розой. Он забыл посмотреть на часы, и когда оказался на улице и в десятый раз перечитал милое, дорогое письмо, которое уже знал наизусть, увидел цифры «между четырьмя и пятью», посмотрел на часы и понял, что у него масса свободного времени. Он еще успеет зайти к парикмахеру побриться и закусить в фешенебельном кафе. Стрелки часов двигались сонно, тягуче. Никогда еще время не тянулось так медленно, как теперь. Он не торопясь шагал по улицам Нью-Йорка, оставившись у каждого столба и читал трехметровые афиши с огромными жирными буквами, кричащие рекламы с яркими изображениями искаженных лиц, их можно видеть в Нью-Йорке везде и всюду. Незаметно он спустился вниз, в так называемый «собвей», или метрополитен, связывающий под землей все улицы Нью-Йорка. «Собвей» — это новый город с новыми улицами, это новый мир, мир стали и электричества. Туда не проникает ни один сол-

нечный луч, все же там очень светло и оживленно все двадцать четыре часа суток. Там не знают, что такое ночь, все двадцать четыре часа движутся люди вверх и вниз, каждый со своим бизнесом, все спешат, торопятся, суетятся, постоянно «хари оп». «Собвей» — это та же жизнь, что происходит наверху.

Спускаясь вниз в подземное царство, вы сразу чувствуете, что вы в ином мире. Сталь и электричество как клещами хватает ваше «я», ваше существо. И вам чудится, что вы слышите тайны бездны. И против желания задумываетесь над явлениями, которые очень далеки от вас, над вечными скрытыми законами, действующими над вами и под вами. Но долго вам думать не дают. Издали доносится звериный рев, огромной мощи зверь вырывается из темноты, и вот-вот он осветит тьму своими электрическими глазами. Он на секунду замрет перед вами, как змея на блестящих рельсах, словно черти выскакивают кондукторы и громко объявляют название станции. Слышен стук дверей, и множество людей выходят из вагонов и сливаются в один поток, а другой поток заполняет вагоны. И все это делается быстро, без особого шума и длится всего полминуты. Некогда, хари — оп!

В этом потоке был и наш герой Рафалеско, одной ногой он уже стоял в вагоне, как неожиданно блеснули знакомые глаза. Это был низенький человечек в помятом котелке. Кажется, Муравчик? Рафалеско помедлил.

Муравчик увидел Рафалеско, остановился. Он не предполагал, что встретит здесь Рафалеско, о котором он только что так много узнал из рассказов Брайнделе Козак.

Сидя в ресторане Шолома, Муравчик разработал целый план, как повыгоднее воспользоваться ситуацией, в которую попал его новый друг Рафалеско с тремя невестами: примадонной Швалб, Розой Спивак и Златкой Голцман.

Что касается первых двух невест, решил Муравчик, то Генриетту Рафалеско пошлет к черту, ибо надо быть идиотом и буйволом, чтобы сменять такое золотое яблочко, как Роза Спивак, о которой гремит весь мир, на львовскую девку, примадонну еврейского театра. А помолвка? Ну и что? Насыпьте соли ему на хвост, подайте богу жалобу, артист, еврейский к тому же, не страшится таких вещей. Мало еврейских актеров имеет не то, что трех невест, но трех жен... Что же получается из всего этого? Ровным счетом ничего. Остается невеста номер три —

Златка с младенцем. Вот тут-то и собака зарыта. Именно здесь надо обглодать косточку. Шолем-Мейер, не будь идиотом и знай, что надо делать, бог тебе послал в Нью-Йорке сокровище, так воспользуйся, иначе жевать тебе солому...

Так рассуждал Муравчик сам с собой, когда неожиданно под землей встретил Рафалеско. Он скрыл свою радость и равнодушно сказал:

— Если такая птица, как вы, пользуется «собвеем», то нам, простым людям, сам бог велел.

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Ах, Америка!

Если Муравчик нашел нужным скрыть от Рафалеско свою радость, то Рафалеско со всей откровенностью выразил удовлетворение встречей со своим новым знакомым.

— Хелло! Хау-ду-ю-ду! — весело крикнул Рафалеско на американский манер и протянул ему руку, — хорошо, что мы встретились, сам бог вас сюда послал. Вы мне нужны.

— Прекрасно — я готов! — ответил ему Муравчик с прохладцей. — Куда мы, например, пойдём?

— Никуда, — сказал Рафалеско и глазами поискал место, чтобы присесть. — Вот скамейка, здесь мы поговорим.

— Прямо тут в подземелье?

— Вот здесь в подземелье.

— Если вам приятно, так мне тем более...

Оба присели на скамью и принялись разговаривать. Говорил, однако, Рафалеско, а Шолем-Мейер Муравчик смотрел ему в глаза и внимательно слушал. Странной силой обладал этот Муравчик. Ни с кем вы так не сдружитесь, как с ним, ни с кем не станете таким близким и не доверите все, что на душе. Рафалеско чувствовал себя с ним, как с братом. К тому же у него, у Муравчика, было такое качество: много с ним говорить не надо. Он смотрит на вас своими хитрыми глазами и угадывает, что у вас на сердце творится... Одно удовольствие с таким человеком общаться!

— Вы мне палец в рот не кладите, — прожужжал Муравчик своим хриплым монотонным голосом прямо в ухо Рафалеско. — Поверьте мне, я понимаю дело до кон-

ца. Я вам его расскажу, если хотите, как по молитвеннику: упаси нас от искушения, но случается иногда с нашим братом, грешным человеком, попадаетя девушка-соблазнительница, а сам ты ни при чем, ни сном, ни духом, пойдя, будь пророком, знай, что кончится дитятей, как говорят: вот тебе и бомба... Однако это не про вас, и не про нее, и не про вас обоих. Вы думаете, что она этого не понимает? Она лучше нас всех это понимает, дай мне бог счастья и удачи.

При этих словах у нашего героя свалился камень с сердца. Он понял, что все его слова и оправдания были лишними. Муравчик не протестовал, он не стал защищать бедную Златку, наоборот, по его словам можно было решить, что Златка не гонится за ним. А для большего спокойствия нашего героя Муравчик сказал ему:

— Откуда, думаете, я сейчас еду? Именно оттуда. Спешил передать ей ваши слова, что вы велели мне сказать. Она заплакала: кто я, говорит она, разве я ему ровня? Он, говорит она, сейчас в славе, зачем мне навязываться непрошеной? Вы слышите слова?

Рафалеско был тронут.

— Это правда?

— Что же, я стану придумывать ярмарку на небесах?

— Нет, я не об этом думаю. Я думаю, сказала ли она именно эти слова?

— Иметь бы мне столько счастья и удачи. Разве вы не знаете, какая это чистая душа? Пропади восемнадцать примадонн вместо нее!

На глазах Рафалеско показались слезы. Но он пытался скрыть их от друга. А новый друг, Муравчик, продолжал:

— Туда-сюда, я вижу, девушка говорит умно, и я подумал: возможно, она права. И я ей говорю: послушай же, душенька, говорю я, вот в чем дело, парень, говорю я, думал только о добре для тебя и твоего маленького ребенка, но поскольку это для тебя не ай-ай-ай, так тоже не страшно. Принуждать тебя не будут и силой тащить тоже. Но что? Дитя! Тебе не надо, говорю я, огорчаться, ты должна помнить, говорю я, он не кто-нибудь, парень не с улицы, зарабатывает, не сглазить бы, очень хорошо, он, наверно, обеспечит тебя как следует, тебя и ребенка, говорю я, даже маме, говорю я, не придется быть зависимой от кого-то. Тем более что останешься ты не одна, и я, говорю я, еще не умер. Я был, говорю я, с тобой, с тобой и останусь. Кто, говорю я, тебя сюда привез,

если не Муравчик? Кто тебя приписал при сходе с корабля в свой паспорт, если не я, Муравчик? Пусть тебе покажется, что ты уже моя, и я твой, и что из этого следует? А если случится, что в Америке тоже найдется жених, тогда Шолем-Мейер Муравчик произнесет: «По законам Моисеевым», — и до свидания. И я сам, как вы меня видите, не далек от этого. Во-первых, от жалости — сиротка, во-вторых, — честное дитя, тихая голубка. Ай, вопрос, как жить будем! Так господь бог — отец, и, думаю, вы тоже не забудете нас...

— Забуду? — Рафалеско схватил Муравчика за руку. Если б не стыд перед самим собой, он обнял бы его и поцеловал. — Я могу даже расписку вам дать, если хотите.

— Зачем расписка? Вы подпишите пару векселей, и конец, на мое имя, сегодня вечером я буду у вас, все принесу. Теперь вы, вероятно, куда-то спешите?

Рафалеско был так увлечен разговором, что не заметил, сколько раз железная змея с электрическими глазами пробежала мимо него, выпуская и впуская потоки людей. Стрелки часов еле подвигались к трем. Через час он должен быть там. Слово «там» обжигало ему сердце. Он очень любезно попрощался с Муравчиком, вбежал в один из длинных вагонов, а через полминуты его проглотила подземная темнота.

— Шолем-Мейер, ты ол райт! — сказанул Муравчик себе и стал ожидать следующий поезд. — Мне бы такое счастье. Что за страна Америка! Ай, Америчка!

## ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

### Среди зверей

Место, которое Роза Спивак назначила для свидания, был зоопарк. Роза учла, что зимой его посещают реже, чем летом, а потому здесь можно будет погулять и почти никого не встретить, кроме зверей в клетках.

Наш герой был у назначенного места, несмотря на все задержки, загодя. И за время ожидания, разгуливая между клетками, он пережил столько, сколько не приходилось за долгие годы скитальчества. Важность события, о котором он мечтал долгие годы, была такова, что сердце стучало, как молот, и весь он дрожал, как ива на ветру.

А в голове возникали разные мысли, дикие и страшные, печальные и грустные. Кто знает, думал он, придет ли она? А если придет, то с чем? Кто знает, что это у

нее за «золотые цепи», о которых она намекнула в письме? Кому известно, что у них с Гришей Стельмахом?..

Все, что только окрашено грустью и мраком,лезло ему в голову. И как он ни гнал от себя эти мрачные мысли, стремясь их одолеть и успокоиться,— ему не удавалось. И неожиданно он подумал над тем, как он только что обманул Муравчика и продал ему Златку, передал ее из рук в руки, словно она вещь, рабыня. И кому? В руки человека, которого он не знает. И когда? Он еще сегодня утром был готов пасть к ногам Златки, поклясться ей, что принадлежит ей, только ей. И чудится ему, как кто-то нашептывает ему на ухо:

— Каин, Каин, Каин!

Рафалеско уходил все дальше в парк, ему хотелось сбежать от самого себя, но не получалось. Он хотел бы перечеркнуть прежнюю жизнь, но не может. И перед его глазами четко и ясно возникает открытая книга с большими и малыми его проступками, с творческими стремлениями и идеалами, он ее читает и подводит итог, заслуженный приговор таким преступникам, как он, такой же, как приговор Каину!

Как артист он мелкий и ничтожный, окружен мелкими людишками, опутан лживой рекламой. Блеф, с начала и до конца...

Много воды утечет, много жертв будет принесено, много алтарей будет разбито, а он будет стоять, как теперь, вне того святого храма, к которому он стремился с детства... душа его истерзана... Но, тихо, кто там бродит? Сердце остановилось, глаза расширились, неужели, неужели она? Он внимательно вглядывается: ему навстречу идет небольшого роста удивительно красивая женщина. Она не ходит, она парит... Неужели она?

Да, она.

Случая не было, чтобы мы встретили человека таким, каким мы себе рисовали, и нашли в нем то, что искали. Это была не та женщина, которую Рафалеско видел в грезах. Это была не та Рейзл, которую он знал в Голонешти, и не та Роза, которую он рисовал в своем воображении. Она показалась ему старше, намного старше, чем он ее видел в снах. Она показалась ему слишком строгой и холодной, только прекрасными остались ее черные, пламенные цыганские глаза...

И ей Рафалеско показался не таким, какого она видела в мечтах. Нет, это не Лейбл, не сын богача Бени

Рафаловича, сохранившийся в ее памяти таким, каким он был в хедере ее отца. Другой — другой, только глаза те же, синие, добрые глаза.

С минуту они постояли друг против друга, без слов, без движений, читали в лицах друг друга свое прошлое, читали историю своей молодости, проведенной ими совсем не весело, на чужбине, в странствованиях по свету. Но это продолжалось недолго, всего одну минуту. На ее лице появилась улыбка, первая улыбка, он почувствовал трепетание своей души, и его неудержимо потянуло к ней.

\* \* \*

День давно угас. Солнце скрылось. На небе появились звезды, луна показалась, а наши молодые герои, Роза Спивак и Лео Рафалеско, все еще сидели в парке и говорили, говорили. Они вспоминали Голонешти, еврейский театр, Божью улицу, пожар и блуждающие звезды.

## ЭПИЛОГ

### Письма

1

От Мейера Стельмаха его другу

«...Вот так, брат, не задавайте никаких вопросов, почему и как? Люди сходятся, расходятся. Так устроен мир. Ничего не поделаешь. Разошлись бы, и делу конец. Так нет же. Брак расстроился, а добрая дружба осталась. И еще какие друзья! Друзья друзьям рознь. Пишут письма друг другу каждую неделю. И не только с Розой он переписывается, но и с ним, с земляком Розы, с этим Рафалеско. С той минуты, как они познакомились, я имею в виду Гришу и Рафалеско, их водой не разлить, прилипли друг к другу, высокого мнения друг о друге, едины во всем, обожают друг друга. Раз любовь, то о чем толковать. Ну, что вы на это скажете? Было бы только это, ничего, было бы терпимо. Как говорят, «если тебе любо, то мне мило». Но перед людьми стыдно. А кто виноват? Я сам. Не привел бы я их тогда в еврейский театр на бенефис Рафалеско, все было бы хорошо... Ко всему я еще должен набрать воды в рот и молчать, ша, тихо. Знали бы вы, какие сплетни распространяются. Разно-

сится слух, будто у Розы с этим молодым Рафалеско давнишний роман, еще с юных лет, и не сегодня завтра они пойдут под венец... Говорю Грише, а он смеется. «Глупости,— говорит он,— Роза не выйдет замуж за Рафалеско, никогда». Вы слышите? Никогда. Вот и разберись. А здесь рассказывают такие небылицы, лопнуть можно. И без того горько на душе, так приходят и посыпают соль на раны. Знаете, что я вам скажу, дорогой друг, люди любят посплетничать...

Если вы будете мне писать, то, пожалуйста, в Лондон, как вы и писали мне до сих пор. И не обижайтесь, что я вам морочу голову. Выскажешься, и на душе легче становится.

От вашего растерянного и ошеломленного друга, обиженного на весь мир,

*Мейера Стельмаха».*

2

От Шолем-Мейера Муравчика — Альберту Щупаку

«Вот тебе твои пятьдесят целковых, и пропади пропадом. Я, слава богу, теперь в состоянии тебе одолжить пятьдесят, если они тебе нужны. И сообщаю тебе, что дочь кантора рехнулась из-за своей роскошной жизни, и обеспечила себя двумя женихами, и не знает, за кого ей раньше выйти замуж. Послушалась бы она моего совета, ей следовало бы пойти под венец с двумя женихами сразу, ибо Гриша Стельмах набит деньгами, а второй жених, я уже писал тебе о нем, это парень Рафалович из Голонешти, которого теперь зовут Рафалеско, ему крепко повезло, так как англичане его переманили и насыпали ему долларов полную торбу. Пишу тебе, что пока что я без дела, но подыскиваю помещение для водевилей. Имел бы я деньги, я его тут же арендовал бы и делал бизнес. Хотя еврейский театр, скажу тебе откровенно, здесь в Америке в плачевном виде. Уже приглашают из Берлина лучших немецких актеров и платят им хорошо, Америка на это способна, горе Колумбу. Но пока что твои песни могут принести немалый доход. Потому, Альберт, пишу тебе, плюнь на Россию и приезжай сюда, станем компаньонами, а если не желаешь, то провались сквозь землю и пеки там бублики.

С уважением

*Шолем-Мейер Муравчик.*

Главное забыл. Только что узнал (услышишь мой рассказ, лопнешь от неожиданности). Голцман, писал я тебе из Лондона, умер и оставил сестричку Златку, девушку что надо, красотку, я имел на нее виды, чуть не женился, но она выходит замуж, имел бы ты десять голов, не угадал бы, за кого. За молодца Рафалеско, лопнуть бы ему. И кто, ты думаешь, так старается? Дочь кантора, сумасшедшая, дай мне господь счастья и удачи. Пойди знай, что такое может быть и я получу такой удар.

Желаю тебе захоронить себя живьем в землю, как библейский Корей, на глубине в девять локтей, сего желаю тебе от всего сердца.

С уважением

*Шолем-Мейер Муравчик».*

3

Брайнделе Козак Генриетте Швалб

«Пишу тебе, душечка, обо всем. Как вам живется на новом месте в Йоганнесбурге? Полагаю, что у вас ол райт, не сглазить. Все говорят, что он миллионер и купил вам много бриллиантов и жемчуга, только Рокфеллер может себе позволить столько купить. Я не в силах вам рассказать, как это меня обрадовало, ибо кто еще, кроме меня, знает, как над вами ваши братья издевались всю жизнь. И даже последнее время, когда вы стали зарабатывать и «делать жизнь», они вас замучили. Плохого о них сказать не хочу, они ведь ваши братья. Но, право, они не стоят вашего мизинца. Я не хочу льстить вам и не хочу их ругать, но, право, они вашего ноготка не стоят. Особенно ваш Нисл, с его сладкими речами и клятвами. Бог накажет его за то, как он обошелся со мной. Такого счастья всем мужчинам желаю, ему в том числе, боже милостивый! Вообразите, он таки получил по заслугам. Говорят, он бедствует, я имею в виду вашего брата Нисла. С тех пор как компания распалась, он успел попробовать служить всем божествам, но из этого ничего не вышло, все его комбинации лопнули, как мыльный пузырь. Теперь у него новая комбинация. Откопал человечка, у которого есть картонная модель Храма Соломона. И Нисл уже расклеивает афиши по всему Нью-Йорку. Прогорит на этом деле так же, как на всех других своих комбинациях. Господь накажет его и

за вас, и за меня, и за всех евреев. Ваш брат Изак по сравнению с ним. — золотце, но и его чтоб нелегкая унесла. Тоже добренькая душа. Он на вас наговаривает такое, прямо-таки уши вянут. Он говорит, вы себя продали за деньги и что ваш торгует живым... Не желаю повторять его слова. И все из-за несчастного доллара. Я бы рекомендовала заткнуть ему глотку несколькими долларами. Упади он на улице, никто ему не поможет. Кому он нужен? Ломжинскому соловью? Черта с два! Рыжей канторше в рыжем парике? Она сняла рыжий парик и стала настоящей миссис. Шутка ли, ее дети, говорят, «загребают золото лопатами». Ну и страна, как лихорадка. Кто мог подумать, что ломжинский кантор приедет сюда с ватагой едоков и их всех озолотят. И совести у него, у ломжинского кантора, на грош. Ваши братья на коленях могут просить, а он и цента им не даст. Больше скажу: мистер Кламер, который поистратился на семейку, привез ее, собрал компанию, так он с великим трудом достал деньги на обратную дорогу в Лондон. А знаете, кто ему одолжил? Будь на ваших плечах восемнадцать голов — не угадаете. Кикимора Муравчик, который свел вашего бывшего жениха с певичкой, которая зазналась — прямо-таки страх. С первым женихом, с Гришей Стельмахом, она, слава богу, разошлась. И с большим скандалом. Старик Стельмах хотел с ней судиться, но сын не разрешил. Все мои болячки на их головы! Правда ли это, не знаю, я слышала, потому и рассказываю, что купила, то продаю, у изголовья я не стояла... А с тем, с вашим, они разошлись навсегда. Говорят, они крепко поссорились. А из-за кого? Угадайте? Из-за Златки, сестры Голцмана. Правду говоря, я этому помогла. Я написала Розе и рассказала все, что узнала от Муравчика о романе Рафалеско с сестрой Голцмана. И хотя я не имела чести свидеться с нею, все же я все знала, что творится... Я, к примеру, знаю, что Роза лично посетила сестру Голцмана, Златку, и не могла нарадоваться на ребеночка, отец которого Рафалеско. Знаю и то, что Рафалеско поступил в самый крупный английский театр, но мистер Никел, заключивший с ним договор на целый год, требует огромную сумму неустойки. Даже Рафалеско, понимающий в деньгах столько, сколько я в бриллиантах, чуть не отдал концы. Но тут опять появилась Роза и взяла на себя все расходы. Как это вам нравится? Правда ли все это, не знаю. У их изголовья не стояла... Завидовать им, любочка, не надо. Пошлите их всех к черту! Вы богаче их, и драгоценностей у

вас больше, чем у этой певички, и одеты вы элегантнее. А тосковать по сцене вам не следует, ибо, не обижайтесь, сцена — это глупости. Живите в богатстве и роскоши, и доставляйте себе удовольствия; и забудьте, душенька, свою семейку, имею в виду ваших братьев, они не заслужили вашего внимания. Будь они прокляты! Все же, чем обращаться им к чужим, лучше будет, если вы этого не допустите. И не забывайте вашего друга, преданного вам душою и телом, пишите мне иногда, я чем могу — помогу. И если у вас там найдется хорошая служба, то напишите мне, и я к вам приеду в Иоганнесбург, хотя это очень далеко, чуть не в загробном царстве. Потому как страна Колумба мне очень надоела, люди здешние мне надоели, главным образом, актеры. Напал бы мор на них, чтобы от них ровно ничего не осталось. Аминь! Аминь!

Шлю вам тысячу поцелуев.

Ваш преданный друг

*Брайна Черняк».*

4

Канторша Лея дочери

«И знай, мое дитя, что я глаза высматриваю в ожидании твоего приезда в гости в Голонешти. В противном случае я бы продала дом. Зачем одному человеку в Голонешти дом с таким количеством комнат? Если думаешь, что имеются покупатели, то ты ошибаешься. Город наш — город нищих и обездоленных. Ни у кого гроша за душой. А у кого были деньги, те уехали в Америку. Есть одна небольшая надежда: зять вино торговца Генеха. Новоявленный богач в Голонешти. Дом ему очень нравится. Но он и виду не подает, что ему хочется его купить. Не слишком ли много, не дай бог, я запрошу. Итак, я пока торчу в Голонешти в большом доме и все жду твоего приезда. Обрадовала бы ты меня хорошим женихом, таким, который был бы тебе ровня, а не тот, музыкантишка, не накажи меня господь! Я к нему ничего не имею, но для дочери Исролика он не жених. Пошли ему бог другую невесту, а тебе он простит отказ от своего слова, хотя у нас это и считается большим грехом. А то, что ты пишешь мне о нашем Лейбеле, сынке Рафаловича, что он счастлив и знаменит, то меня это радует. Ибо сестры и братья его несчастны, семья распалась, они разбрелись по всему свету, даже неизвестно, где они. Один Аншл еще жив, иногда приезжает сюда. Я ему

помогаю чем могу. Но разве дырявый мешок можно наполнить? Деньги у него не держатся в руках. Лицо у него опухшее, всем моим врагам такое. Бейлка, мир праху ее, вышла бы из гроба и посмотрела, что стряслось с ее домом, детьми и мужем, она с ума сошла бы.

Муж ее, спаси господи, сошел с ума, находится в богадельне или в больнице и ждет не дождется приезда своего зятя «Сосн-весимхе» с фунтом чая и головкой сахара. Горе годам, которые продлевают жизнь Бени Рафаловича, ждущего приезда своего кассира. Иногда он приходит ко мне. Сидит день и ночь и говорит, и говорит. Зануда он. Не накажи меня, господь, за эти слова.

А старая, слепая бабка еще жива. Владыко небесный, очевидно, забыл ее. Удивительно, но что же это за жизнь. Как в молитвах читаем: «Кто живет, а кто в сырой земле лежит». Не лучше было бы, если бы твой отец, мир праху его, жил бы и был бы со мной и я не вертелась бы одна по большому дому. Но пойди договорись с богом. Музыканта Иехиела помнишь? Так он, не долго думая, умер на прошлой неделе. Был еще совсем молодым. И Генех-виноторговец тоже скончался, но его не так жалко, старик был. Похороны были торжественные. А почему? Если твой отец имел внушительные похороны, то это понятно. Но Генех? Потому что был богачом и его надо восхвалять после смерти? Но ничего, не завидую и не клеветую. Он оставил, горе им, вдову и четырех детей, хотя с хорошим делом и большими деньгами, но дети остались сиротами, отца больше не имеют. Что зарыто в земле, спрятано навечно. Ударили лопатами, и прости-прощай!

Музыкантше хуже, она осталась на мели. Ей нечем день прожить, собирают для нее по городу. Я тоже дала сколько могла, благодетели города поморщились, говорят — маловато, вы, слава богу, у нас теперь богачка, имеете такую дочь и такой дом с большим количеством комнат. Пойди объясни им, что дом этот не по моей натуре.

Помог бы господь и ускорил бы твой приезд, дожить бы мне до того дня, мы бы посоветовались по поводу дома. Зачем мне, одному человеку, такой дом со столькими комнатами? Думаешь, это только я так рассуждаю? Нет, об этом все говорят в Голонешти, даже вдова Неха и ее сестрички (так они и не вышли замуж) иногда спрашивают у меня: «Здоровья вам, Лееле, когда же придет ваша Рейзл?» Лживые глаза, забыли позор, пережитый

мною, не про нас теперь сказано, когда ты пропала, а их вызывали к приставу, сгореть бы ему! Он уже давно на том свете.

И будь здорова, дитя мое родное, пиши мне, правда ли, что ты вновь собираешься в Америку? Мне это не нравится. Страна — ничего себе, и люди там не плохие, но их язык мне совсем не нравится. Если «чикн» — это у них курица, а «кичн» — кухня и «реверент» — равнин, то какая же у них там жизнь? Но, с божьей помощью, раньше приезжай в Голонешти, и мы обо всем поговорим. А пока шлют тебе приветы все обитатели Голонешти, а сынок Хаим-Шайи Нохем, тот, кто пишет это письмо, шлет тебе особый привет.

Твоя мама, которая днем и ночью просит бога уберечь тебя от зла.

*Канторша Лея».*

5

От Розы Спивак Марчелле Эмбрих

«Мамочка! Как видите, я снова в Европе. Блуждающие звезды, которые, как вы знаете, долгое время стремились друг к другу, но никак не могли сойтись, все же встретились. Произошло это в Америке. Встретились, и не более. Сойтись, чтобы быть вместе, не получилось. И уже никогда не случится. Кто в этом повинен? Я или он? Не знаю. Возможно, оба. Мы оба слишком часто ошибались, хотя жили еще очень мало...

Поздно, слишком поздно встретились блуждающие звезды. Нет, мамочка, видимо, счастья на земле. Существует только стремление к счастью. А само счастье — сон, мечта. И любви нет, только одно сновидение, идеал, созданный нашей фантазией.

Поздно, слишком поздно встретились блуждающие звезды. О мамочка, и я опять одна, вновь мечусь по белу свету в дымке славы и удач. Я опять веду цыганский образ жизни. И долго-долго суждено мне вести скитальческую жизнь.

Пишите мне, мамочка, но не утешайте меня, не печальтесь о моей доле, не уговаривайте меня стать иной. Так было до сих пор, так будет и впредь.

Ваша вечно взбалмошная странница — цыганка

*Роза».*

# ЛЕТНИЕ РОМАНЫ

---

ПОВЕСТЬ



1  
«Эрец Исроэл» и «Палестина»

С тех пор как помню Касриловку, она у нас считалась городом и ничем не отличалась от прочих городов: зимой сидели дома при закрытых окнах, летом — при спущенных занавесках и закрытых ставнях. А когда было очень жарко и солнце очень палило, прятались в подвалы. Ночью спали во дворе. Изнывали от жары и терпели. Не умирали. То есть умирать умирали, но не от жары. Посмотрели бы теперь на касриловских евреев. Как только становится жарко в городе, жарко и душно, сразу говорят уже о «воздухе», о переезде на «дачу». Ездить надо не бог весть куда. Касриловцы имеют дачи, слава богу, у себя под боком, тут же в Касриловке. То есть не в самом городе, но недалеко от города, на «слободке». Слободка — это старая Касриловка, куда мы, мальчишки из хедера, когда-то выходили воевать в лаг-боймер \*, вооруженные деревянными шпагами и крашеными винтовками. Сейчас слободка не узнаваема. Раньше она принадлежала неевреям, а теперь она принадлежит уже евреям. То есть теперь она тоже принадлежит неевреям, так как это считается пресловутой чертой и находится по ту сторону города, а там евреям проживать нельзя. Но летом жить у неевреев на даче — это можно, разрешается. Разрешения такого нет, но если вы уплатите пристава и получите от доктора бумагу, что вы больны, нуждаетесь в «воздухе», вас впускают в этот запретный рай. Я остался на все лето в Касриловке и увидел, как народ собирается в дорогу. Тянутся подводы и повозки, целые караваны, снизу доверху они забиты добром: столами и стульями, кроватями и кроватками, горшками и крышками, самоварами и трубами, подушками и пери-

нами. Здесь и старые женщины, и крохотные дети — все касриловское население со своим скарбом. И меня забрало, я тоже решил выехать на дачу. Нанял подводу и поехал на слободку.

По дороге спрашивает меня возчик Эфраим, внук Янкеля Булгача, парень в белой манишке и штиблетах, куда я хочу поехать — в «Эрец Исроэл» или в «Палестину»?

— Раньше в «Эрец Исроэл», а потом в «Палестину»...

Здесь надо прервать рассказ и объяснить читателю, что такое «Эрец Исроэл» и «Палестина». Все просто. Объяснят, и вы поймете, что иначе это и не могло называться. История гласит: начали выезжать на лето в слободку богачи, «знать», так называемые касриловские аристократы, затем — «средняки», а потом уже бедняки, голь. Исчезла нееврейская слободка, образовалось еврейское поселение, и потому его называли «Эрец Исроэл». С годами все больше касриловских евреев выезжало на лето, «Эрец Исроэл» разросся, там стало тесно. Тогда богачи решили снимать дачи все дальше и дальше от Касриловки, в деревне, выше, по ту сторону горы, и со временем из слободки образовались две слободки: старая слободка, где живут бедняки, «Эрец Исроэл», и новая, где аристократы и богачи проживают, и называется она «Палестиной». Более модно, более аристократично.

Разумеется, в «Палестине» намного красивее, чем в «Эрец Исроэле». В «Палестине» вы видите уже новые домики, дворы с крашеными заборами, богатые сады, зелёные огороды, цветы. В «Эрец Исроэле» этого нет. Здесь ветхие избы, покрытые соломой, внутри и снаружи они помазаны серой глиной, здесь пахнет мусором, коровой и кислым тестом. Здесь дворики величиной с ладонь, в них хлев для свиней. Здесь петух прогуливается среди кур. Здесь растёт крапива и бурьян. Сие «рай» касриловского дачника в «Эрец Исроэле». Но все довольны. С божьей помощью, можно уплатить хозяину за дачу и оставить себе деньги на еду. Все наслаждаются; женщины варят холодный борщ, щавелевым называется он, и ставят самовар, разжигая его палками и сухими шишками, экономят уголь. А мужчины снимают капоты, садятся очень красиво на голую землю, смотрят на раскаленное небо и вдыхают воздух, какого никогда в городе не вдыхали. Ну а дети? О детях и говорить нечего. Для еврейских детей летом на даче открывается новый мир. И не

один мир, а целых триста десять миров. Пустяк ли трава! Шутка ли крапива! Игрушка ли метелки, бузина! А зеленый крыжовник, красная смородина, желтые подсолнухи! А что стоит посмотреть на маленьких цыплят, только что вылупившихся из скорлупок, и на молодых уток, которые при ходьбе переваливаются с боку на бок, как, к примеру, касриловская богачка в субботу днем на прогулке? Вы думаете, что это чепуха, раз вы можете посередине улицы набрать полную горсть песку и сделать «тьму египетскую»? А удовольствие бегать за подводой с только что собранным урожаем и вытащить несколько колосьев сзади назло хозяину воза? Ну а озеро, где можно одновременно и рыбу ловить, и купаться, и плавать, и еще что-то делать?.. Главное — это купание. Здесь можно было бы купаться и купаться, плескаться целые дни, если бы не украинские ребята, которые собираются как раз тогда, когда еврейские дети снимают с себя арбеканфес-лех и оказываются без штанишек. Украинские мальчишки смеются и бросают в них камешки, гикают и кричат: «Гей, жидочки! Лапсердаки! Цицел! Гей!» Еврейские дети спешат одеваться, дрожат, как перепуганные овечки. Материнское молоко стынет у них в животиках.

\* \* \*

Жить летом на даче — это не только удовольствие, но и гордость.

— Куда вы думаете этим летом, если бог даст здоровья, выехать на дачу, дорогая Соре-Броха?

— Рассчитываю нынешним летом, если бог даст здоровья, поселиться у Миколы в «Эрец Исроэле». А вы, Хане-Мирл-сердце, дай вам бог здоровья, где думаете устроиться на лето?

— Я думаю, дорогая Соре-Броха, нынешним летом, с божьей помощью, поселиться тоже в «Эрец Исроэле», у Гаврилихи, у нее очень милая дача...

Вот так переговариваются две касриловские хозяйки, глядят при этом свои подбородки и смотрят друг на друга с большой гордостью, точно две егупецкие дамы, которые живут в полном достатке, и единственное, чего им не хватает, — это дачи.

В пятницу произошла эта история, в разгар дачного сезона. Стояла страшная жара. Касриловские евреи спешили в «Эрец Исроэл» на субботу. Споря и толкая друг друга, пробирались в фургон Авремла Колейчика. Лезли через головы, почти дрались за место.

«Колейка» Авремла — это продукт касриловского прогресса, касриловского модернизма. По существу — это простая телега, бывшая кибитка, с которой сорвали верх, поставили во всю длину телеги одну против другой две длинные скамейки и назвали «колейкой». Это было изобретением Авремла. Он это придумал и эксплуатирует свое изобретение по сей день.

Авремл — кондуктор и хозяин колейки — стоял в стороне с папирсой во рту, спокойно и с большим удовольствием наблюдая, как евреи дерутся за место в его колейке. Сдвинутая назад шапка открывала его морщинистый, красный, вспотевший лоб, одна рука у него была заложена за спину, один глаз закрыт, а второй полуулыбался, словно хотел сказать на своем извозничьем жаргоне: «Толкайтесь, деритесь, евреи, терзайте друг друга, я только выкурю вот эту папирску, и холера возьмет вашего батьку».

И точно. Выплюнув окурок, он закатал рукава и взялся за пассажиров, наводя «порядок» в колейке. Безмолвно и бесцеремонно он начал хватать кого за руку, кого за ногу и вытаскивать из фургона, выбрасывать из колейки, будто это не живые люди, а мешки с картошкой, хреном или морковью. Вы можете его ругать, вы можете его проклинать, он вас не слышит. Здесь он хозяин. Не хозяин, а царь. И не только царь, а самодержец. Он — один. Колейка — это его идея. Он ее придумал и построил, конкуренции не боится. Пусть кто-либо попробует с ним тягаться! Во-первых, никто не посмеет задеть такого наглеца, как Авремл, а во-вторых, что делать двум колейкам, если одна целую неделю бездействует, кроме кануна субботы? Потому Авремл так уверен в своем доходе, никого не боится, кроме бога, разумеется.

После того как Авремл навел порядок, он сел на козлы, потянул вожжи, ударил кнутом, свистнул, и переполненная колейка тронулась.

Пищи пропало: оставшиеся пассажиры должны ждать до той поры, пока колейка вернется из «Эрец Исроэла»

в Касриловку. А у кого терпения не хватает, пусть возьмет ноги на плечи — и марш пешком в «Эрец Исроэл» на субботу.

В ту самую минуту, когда переполненная колейка тронулась с места, словно из-под земли появились два пассажира: женщина и девушка. Женщина была нагружена кошелками и свертками. Девушка была в шляпке, в ажурных перчатках и с зонтиком. Женщина, замызганная, вся в поту, с загорелым красным лицом, не знала, на каком она свете. Девушка, разодетая как барыня, из-за узенькой юбки передвигалась с трудом, мелкими шажками. На ногах у нее были лакированные ботинки на непомерно высоких каблуках, и невозможно было понять, как она на них ходит.

Несмотря на то что колейка двинулась с места, замороженная и замызганная женщина крепко схватилась одной рукой за движущуюся кибитку. Мало было ей рисковать своей жизнью, она еще стала звать разодетую барышню:

— Эстерл, быстрее, быстрее! Хватайся за колейку, не то мы опоздаем!

А вознице она сказала:

— Реб Авремл, что с вами? Куда вы несетесь? До субботы еще далеко, успеется.

Но у Авремла никакой охоты не было останавливать колейку. Наоборот, он вошел в амбицию (амбиция извозчиков очень опасна!), сильно натянул вожжи и стал ругаться последними словами:

— Как только наступает пятница, так их сам черт берет. Целую неделю ни одного пассажира не видать! Город! Сгореть бы ему! Вью, воробейчики, вью, холера вашему батьке и прабадьке!

Авремл кнутом стеганул своих лошадей, а затем кнутовищем стукнул въедливую женщину по руке, намекая на то, что ей пора оторваться от «фургона».

Возможно, этим инцидент был бы исчерпан. Но в колейке оказался кавалер: молодой человек в белых брюках с широким коричневым ремнем, на котором болталась кожаная цепочка со стальной подковкой. На ногах молодого человека были белые туфли, на голове — соломенная шляпа. Лицо его было потным и чисто выбритым, как у артиста. Он ловко выскочил из колейки и с трудом втолкнул в нее сначала женщину, а затем и барышню. Авремла задело, проделки кавалера в белых брюках и со стальной подковкой вызвали гнев возницы, он быстро остановил коней, соскочил с козел и подошел к молодому человеку.

Глаза Авремла горели злобой, лицо его пылало, лоб сильно вспотел.

Молодой человек, герой, очевидно поняв, что так просто дело не кончится, ошетинился, готовый принять вызов. Разыгрывалась интересная история, и пассажиры были готовы ко всему, но пока что разглядывали возницу с кнутом и кавалера с подковкой, стоящих друг против друга, как разгневанные петухи, и объясняющихся краткими, но острыми словцами.

Диалог оказался в высшей степени интересным и очень подходил для романа, потому мы решили передать его слово в слово, стенографически.

Авремл-возница. Скажи мне, пожалуйста, молодой человек, кто ты такой, что-то я тебя не знаю.

Кавалер с подковкой. А вам какое дело, кто я?

Авремл-возница. Что значит «какое мое дело»? Ты знаешь, с кем имеешь дело?

Кавалер с подковкой. А почему мне не знать?

Авремл-возница. Раз ты знаешь, кто я, то скажи, какой ты распорядитель, чтоб сажать пассажиров в колеечку без моего ведома? И какой ты брат-сват этим женщинам?

Кавалер с подковкой. А это уже вас не касается, лучше бы сели на свое место и поехали бы в «Эрец Исроэл».

Авремл-возница. Распорядитель нашелся! А я тебе вот что скажу: с места не тронусь, пока эта женщина с барышней не слезут с колеечки.

Кавалер с подковкой. Что вы сказали?

Авремл-возница. То, что ты слышишь? Пусть гром меня поразит и холера твоему батьке!

Кавалер с подковкой. Значит, не поедете?

Авремл-возница. Ни за какие коврижки.

Кавалер с подковкой. Ни за какие деньги?

Авремл-возница. Даже за миллион.

Кавалер с подковкой. А за два миллиона?

Авремл-возница. Даже за десять.

Кавалер с подковкой. И десять миллионов не помогут? Так будьте здоровы и пишите письма!

Не успел Авремл оглянуться, как молодой человек с подковкой уже сидел на козлах колеечки и, натянув вожжи, с гиком и свистом погнал лошадей: «Вью, воробейчики, пошли, пошли!»

Колеечку так сильно понесло из Касриловки в «Эрец Исроэл», что пассажиры вынуждены были хватиться за

поручни повозки, а женщины начали визжать и смеяться.

Визжали они, потому что испугались, а смеялись над тем, как Авремл бежит за колейкой, помахивая кнутом, кричит, чтобы остановили лошадей, ругается, всех посылает ко всем чертям, но никто его не слушает. Чистая комедия!

Весь «Эрец Исроэл» высыпал на веранды и с удовлетворением приглядывался к комедии: к тому, как колейка с грохотом несется, как какой-то незнакомый молодой человек сидит на козлах и погоняет лошадей, как люди крепко держатся за округлую жердь фургона, как Авремл бежит за колейкой и размахивает руками, словно сумасшедший...

\* \* \*

Настало время рассказать о женщине, барышне и молодом человеке с подковкой. Кто они, что у них общего? Почему он с риском для жизни впихнул их в колейку?

К сожалению, нельзя обо всем рассказать в одной главе. Читателю придется набраться терпения и познакомиться со следующими главами, из которых все станет ясно.

3

«Пурим» и «Тишебов»

Кто мог подумать, что из-за того, что евреев выгоняют из деревень, Касриловка станет большим городом и касриловские дачи «Эрец Исроэл» и «Палестина» будут заселены евреями и обретут мировую славу? Так уж заведено: на чьих-то развалинах кто-то строит, на чьем-то падении кто-то возвышается, несчастье одного дает счастье другому. Это от бога, никто в этом не повинен, меньше всего Касриловка. Касриловка не хотела, чтобы евреев выгнали из Егупца. Но раз их прогнали, то Касриловка подняла плату за квартиры и сараи. И дачи поднялись в цене, стали равны золоту. Особенно вздорожали дачи в «Эрец Исроэле». Туда стали съезжаться на лето и из Егупца и из Бойберика, со всех концов света. Касриловцы, воспользовавшись обстоятельствами, открыли лавчонки по продаже бакалеи и пищевых продуктов, соорудили киоски, чтобы торговать содовой водой и другими напитками, открыли гостиницы, отели и пансионаты. Главным образом пансионаты.

Касриловцы набросились на пансион, как саранча, распахнув двери для лютой конкуренции. Пока в «Эрец Исроэле» два пансион, но поговаривают, что вскоре там откроется третий, четвертый и даже пятый. Старая болезнь касриловцев: если кому-то, рассуждает касриловец, выгодно отрезать себе нос, то мне тем более.

Сколько пансионеров скоро будет в «Эрец Исроэле» — трудно предвидеть. Но о тех двух, которые пока имеются, нельзя не сказать несколько слов и тем самым, если суждено, сохранить их в памяти на вечные времена.

Один из них находится на самом краю города, неподалеку от еврейского кладбища, по ту сторону мостика, где начинаются нееврейские дома, и называется он красивым романтическим именем «Наслаждение». Имя содержательницы этого пансиона Алта, но все зовут ее «Наслаждательницей». Когда одна касриличиха, к примеру, спрашивает другую: «Где вы живете, моя радость Перл?» — она на это отвечает: «Что значит, где я живу? Я проживаю у Наслаждательницы».

Имя немножко длинноватое и не очень благозвучное, и не всякий его выговорит. Попробуйте быстро, на одном дыхании, произнести «в «Наслаждении» у Наслаждательницы». Язык обязательно заплетется. Но зато «Наслаждение» имеет большое преимущество: при нем веранда. Широкая веранда. Не веранда, а поле. А когда на веранде появляется самовар с чаем Высоцкого, то это, видите ли, дар божий! Три десятка евреев могут там чай пить. Не одновременно, разумеется, а в очередь.

Пансион, который находится напротив «Наслаждения» и важно называется «Раем», имеет не веранду, прошу извинить, а кукиш. Зато при «Рае» имеется огород, он заменяет десять веранд. На этом огороде растет всякое добро: лук, редиска, хрен, чеснок, крапива, бурьян, подсолнухи. С божьей помощью, в урожайные годы бурьян и крапива достигают человеческого роста, а подсолнухи — еще выше.

Само собой понятно, что оба пансионера ведут между собой острую конкурентную борьбу. Как они наговаривают друг на друга, лучше не рассказывать. К примеру, «Наслаждение» утверждает, будто в «Раю» кормят гостей только воздухом, а «Рай» рассказывает, что в «Наслаждении» кусают, поэтому постояльцы этого пансиона вынуждены спать во дворе... Но все это ложь, так как ни в «Наслаждении», ни в «Раю» нет воздуха, а кусают и в том и в другом пансионе, кусают так зло, что гости проклинаят все на свете. Но в этом никто не повинен, сие от бо-

га. Как кому повезет... Бывает, остановишься в большом номере лучшего отеля мира, спишь там всю ночь до самого утра, и никто тебя не потревожит. А иногда случается, что снимешь маленькую комнатку размером в зевок в пустой и заброшенной гостинице, и нападут там на тебя со всех сторон, только диву даешься! откуда их столько?

Номера в наших пансионах были не слишком большими и не слишком светлыми. Зато жизнь там не очень дорогая, можно сказать, даже дешевая, очень дешевая. За три рубля в неделю вы имеете все: дачу, веранду, воздух и питание. Что значит питание? Лучше там не питаться, так как от этой еды вам придется иметь дело с касриловскими врачами, которые тоже кусаются... Врачи будут кормить вас порошками, пилюлями, всякими снадобьями, а в итоге они вам порекомендуют Карлсбад или Эмс или пошлют вас куда-нибудь подальше, то есть туда, где не надо переезжать границу и не требуется губернаторского паспорта...

Довольно о пансионах, поговорим лучше о героях нашего «летнего» романа.

\* \* \*

Замороженная и замотанная женщина, которую молодой человек с подковкой героически впихнул в колею, была хозяйкой «Рая», а красивая девушка, Эстерл,— ее дочь. Сам герой, молодой человек с подковкой,— их гость, постоялец их пансиона. Хозяйка «Рая» — касриличиха, из настоящих касриловских обитателей, зовут ее Саррой, но все ее именуют Сора Мойше-Пурима. Почему? Потому что мужа ее зовут Мойше-Пурим. Их дочь за глаза зовут Эстерл Соры Мойше-Пурима. Конечно, имя не очень поэтическое, но что поделаешь. В Касриловке имеются имена и похуже. Вот вам, к примеру, имена касриловских горожан, которые числятся по реестру сионистов: Янкл Церисенер<sup>1</sup>, Довид-Лейб Вайнперлех<sup>2</sup>, Хаим Нехтигертог<sup>3</sup>, Мендл Асоредebraй<sup>4</sup>, Берл Пачимойс<sup>5</sup>, Залмен Баргароп<sup>6</sup>, Нафтоле Хапатенцл<sup>7</sup> и многие другие — все такие странные, уму непостижимо, откуда они взялись?

<sup>1</sup> Церисенер — разорванный.

<sup>2</sup> Вайнперлех — красная смородина.

<sup>3</sup> Нехтигертог — вчерашний день.

<sup>4</sup> Асоредebraй — десять заповедей.

<sup>5</sup> Пачимойс — дай ему пощечину.

<sup>6</sup> Баргароп — вниз с горы.

<sup>7</sup> Хапатенцл — потанцуй.

Муж Соры Мойше-Пурима, то есть сам Мойше-Пурим, — портной, но портновство в Касриловке не дает никакого заработка, а жена его Сора большая кулинарка: хорошо готовит фаршированную рыбу, прекрасно печет медовый пряник и замечательно варит варенье, и поскольку Мойше-Пурим и жена его Сора одно лето жили в «Эрец Исроэле» на даче, то они сняли у знакомого мужика дом с огородом как раз напротив «Наслаждения», побелили дом изнутри и снаружи, а на фасаде его повесили дощечку, на которой большими еврейскими буквами значилось: «Рай Соры Мойше-Пурима. Кошер».

Это очень задело хозяев пансиона «Наслаждение». Они потащили Сорю Мойше-Пурима к раввину, утверждая, что у них и так заработок мал, а сейчас, с появлением «Рая» Соры Мойше-Пурима напротив «Наслаждения», дохода и вовсе не будет. Тогда Мойше, муж Соры Мойше-Пурима, заявил, что он тоже еврей, тоже ищет кусок хлеба, и кто ему может указать, где и как добыть заработок.

Конечно, если бы старый раввин, реб Йойзефл, царство ему небесное, жил, он нашел бы средство, как примирить стороны. Недаром у нас сказано: «Достоин сожаления безвозвратно ушедший от нас!» Больше нет такого раввина, каким был реб Йойзефл! Теперь два раввина в Касриловке. Два кота в одном мешке живут спокойнее и дружнее, чем эти два раввина. И народ их в грош не ставит...

Мы ведь говорили о героях романа, а застряли на раввинах. Читатель будет, вероятно, так добр, что простит нас.

Короче говоря, обе женщины, Сора Мойше-Пурима и Алта Наслаждательница, вскоре после пасхи, до начала летнего сезона, встретились в одном из переулков Касриловки и, говорят, учинили друг другу дикий скандал. Но это не помогло...

В одно погожее утро, в самый разгар сезона появился в «Раю» господин урядник с двумя солдатами. Они сорвали дощечку с еврейской надписью и вдобавок оштрафовали на трешку хозяйку «Рая» за то, что та позволила себе повесить еврейскую вывеску. Сора Мойше-Пурима верно сообразила, что это работа Наслаждательницы. Уплатив уряднику трешницу, Сора добавила еще пятерку и добилась своего: дощечку вновь повесили, и висит она по сей день.

Если суждено человеку иметь заработок, то враги могут лопнуть, ничего им не поможет. Наслаждательница с

огорчением присматривалась к тому, как «Рай» Соры Мойше-Пурима постоянно переполнен гостями и пассажирами, да еще какими! Среди них знакомый молодой человек в белых брюках с подковкой, для которого деньги трын-трава, у которого можно хорошенько пососать косточку, то есть заработать целое состояние. Хвороба на ее голову! Так Наслаждательница благословила свою конкурентку и была права, потому что молодой человек с подковкой прежде был ее гостем, то есть он поначалу остановился в «Наслаждении». Но черт занес его в «Рай». Как вы думаете, ради кого? Ради дочери Соры Мойше-Пурима, этой злючки, сгори она на огне!

Мы выражаемся словами Наслаждательницы, из которой прет конкуренция. На самом деле это не так. Наша героиня, доченька Соры Мойше-Пурима, мадемуазель, окончила четыре класса гимназии, читает Арцыбашева, бездельничает, разговаривает только по-русски, ни слова по-еврейски. «Рай» всецело на плечах Соры Мойше-Пурима: она готовит, печет, убирает, а Мойше, муж Соры Мойше-Пурима, обслуживает гостей, пассажиров, исполняет все их капризы. Доченьку же оберегают от всякой работы. Эстерке необходимо одеваться по последней моде, наряжаться, как невесте, читать Арцыбашева, танцевать тустеп и танго и все другие модные танцы. Что касается ее русской речи, то ею она вскружила голову всем касриловским парням, а постояльца, молодого человека с подковкой, она просто водила за нос.

Этот молодой человек — агент швейных машин. Он не женат, и зовут его странным именем Тишебов: Арон Соломонович Тишебов.

Узнав, что он агент по швейным машинам, что зовут его Тишебов, что он холост, «Эрец Исроэл» единогласно постановил: для дочери хозяина «Рая» он может составить отличную партию. Настоящая пара, нареченная самим богом, Пурим с Тишебовым \* — ха-ха. С тех пор как существует мир, еще не было более подходящей пары! А с той пятницы, когда он пригнал колейку Авремла в «Эрец Исроэл», Пурим и Тишебов не сходили с уст. Спас бы молодой человек с подковкой доченьку Соры Майше-Пурима от несчастья, скажем, вытащил бы ее из воды, снял бы с виселицы, освободил бы ее из рук бандитов, просто избавил от верной гибели — все это бледнело бы по сравнению с историей о том, как он втолкнул Эстерл и ее мамашу в кибитку Авремла. Появление молодого человека в ту пятницу в «Эрец Исроэле» на козлах колейки, крик Авремла,

который как безумный несся за колейкой — все это вызывало такой шум и такой смех у дачников «Эрец Исроэла», что молодой человек стал у них героем, а Эстерл — героиней.

И пошли людские пересуды, толкования и советы от «Эрец Исроэла» до самой Касриловки. История чуть ли не докатилась до касриловской прессы. «Котелок» и «Ермолка» имели бы материал и писали бы толкования к нему... Но пока что в обеих газетах на первой странице тиснули объявление:

ЭФИРЬ МОИСЕЕВНА ПУРИМ АРОН СОЛОМОНОВИЧ ТИШЕБОВ ПОМОЛВЛЕНЬ!
--

И только здесь начинается и заканчивается настоящий роман.

4  
Свадьба в «Раю»

С тех пор как Касриловка стала городом, а «Эрец Исроэл» — курортом, еще не бывало там так радостно и весело, как в тот день, когда Сора Мойше-Пурима выдавала замуж свою доченьку Эсфирь Моисеевну Пурим за постояльца пансиона Арона Соломоновича Тишебова.

День был на редкость погожий. Один из тех удивительных летних дней, когда все находится в покое и всех клонит ко сну. Солнце пылало жаром. Неизвестно откуда появился легкий ветерок, дуновение которого охлаждало горячие лучи. Как солдаты в разукрашенных касках, стояли высокие подсолнухи, еле-еле колыхаясь от слабого ветерка, который ласково дотрагивался до их бархатных листиков. Все отдыхало, все дремало. Лишь изредка показывался воз, доверху нагруженный снопами хлеба, колеса его скрипели, а мужик, с черным загорелым лицом, с раскрытой грудью, босиком, шел впереди воза, помахивал кнутом и объяснялся с волами на понятном им языке: «Гей! цоб, цоб, соловей!» Волы сосредоточенно и послушно шагали за мужиком. За возом бежали два еврейских босоногих мальчика, стараясь стащить несколько колосьев. Вдруг они, как зачарованные, остановились. Что случилось? Оказывается,

им навстречу неслась коляска Авремла, переполненная необычными фигурами, которые держали в руках странные инструменты. Это — музыканты, прибывшие в «Эрец Исроэл» на свадьбу дочери Соры Мойше-Пурима.

— Музыканты едут! Музыканты едут!

Босоногие мальчишки повернули назад, понеслись впереди коляски, оповещая народ, что прибыли музыканты.

У Соры Мойше-Пурима для свадьбы уже все было приготовлено. Пансион был превращен в своеобразный шалаш, готовый принять гостей из «Эрец Исроэла». В знаменитом огороде «Рая» стояли длинные столы, они ломились от яств и вин.

Стали собираться гости — родня и добрые друзья невесты, дачники и дачницы «Эрец Исроэла». Все были разодеты в праздничные одежды: дачники в субботних сюртуках и кепках, дачницы в шелковых платьях с жемчугом и другими украшениями. Молодухи и девушки были одеты по последней моде; красные и потные, они ожидали начала танцев. Пусть только музыканты заиграют.

Нареченная расфуфыренная пара выглядела, как принц и принцесса: он в высоком цилиндре, она — в белой фате. А родители невесты, Мойше-Пурим и его жена Сора Мойше-Пурима, носились, как отравленные крысы, обремененные заботой и тревогой; так обычно бывает с родителями, которые дожили до такой радости, до свадьбы дочери.

Больше всего удивлялись гости присутствию здесь хозяев пансиона «Наслаждение». Как они сюда попали? Такие заклятые конкуренты и такие злейшие враги!

История гласит: за несколько дней до свадьбы Сора Мойше-Пурима подумала: зачем ей иметь врагов? Недаром говорят: лучше иметь десять друзей, чем одного врага. И Сора Мойше-Пурима направилась к Наслаждательнице и, предав забвению все ссоры и перепалки, обратилась к ней со следующей речью:

— Доброе утро вам, дорогая Алта, у меня к вам имеется просьба.

— Какая, например, милая Сора?

— Вы, дорогая Алта, вероятно, знаете, что я выдаю замуж свою Эстерл.

— В добрый час, в счастливый час! Вы же знаете, милая Сора, что я ваш лучший друг. Дай бог мне того, чего я вам желаю.

— Аминь! Так вот я пришла просить вас, дорогая Алта, вашего мужа и детей ваших оказать нам честь и присутствовать у нас на свадьбе.

— О, с превеликим удовольствием, милая Сора. Мы разве когда-либо ссорились, упаси бог? Мы обязательно придем к вам и вместе с вами будем веселиться. Пусть бог пришлет вам счастье и радость. Мне бы такая удача, какая выпала на долю вашей дочери, жених одно утешение, и только!

— Аминь! Чтобы и ваши дети имели таких женихов, не хуже, а лучшее не знает границ.

На радостях женщины расцеловались и уже стали выжидать ту минуту, когда они сумеют после венца взяться за руки и сплясать фрейлехс...

А пока велик шум в «Раю», кто-то кричит, что солнце уже садится, пора к венцу! Правда, жених и невеста не пойдутся. Ни он, ни она не придерживаются традиции «еврейских забабон», — какого-то поста!

Но уже вечереет. Двор полон гостей, все дачники «Эрец Исроэла» пришли в «Рай». Местные жители, которые хотели посмотреть еврейскую свадьбу, заполонили прилегающую к «Раю» улицу. Парни острили, девушки прыскали со смеху. Великая радость охватила «Эрец Исроэл».

Начался обряд бракосочетания: установили свадебный балдахин, музыканты заиграли печально-сладкий мотив, шаферы с зажженными свечами в руках подхватили жениха и невесту. Одним словом, церемония началась. Древняя красивая церемония венчания. Раввин уже хотел взять бокал с вином, кантор уже прочистил глотку, чтобы спеть «Возрадуйся, ликуй!». Шамес уже держал наготове обручальное кольцо, как вдруг с улицы донесся крик и к «Раю» с грохотом приблизилась коляска Авремла. Из нее выскочили две женщины и с протянутыми руками бросились прямо к балдахину, выкрикивая:

— Подождите!

— Не венчайте его!

— Будь он проклят!

— Порази его гром!

— Шарлатан, выродок, наглец!

— Смотрите, в цилиндре! Он же мой муж!

— А у меня от него ребенок!

— На мне он женился в прошлую пасху, забрав восемьсот рублей, восемьсот болячек ему, боже милостивый, чтобы они появились у него на теле, языке и на лице, чтобы ему больше никогда не захотелось губить еврейских девушек!

— Дайте мне его, я разорву его на части, выцарапаю ему глаза.

— В кандалы его! Мои восемьсот рублей, восемьсот болячек на его голову, бог наш милостивый!

### Эпилог

Для касриловских газет, для «Котелка» и «Ермолки», эта трагическая история, разыгравшаяся на даче в «Раю», была настоящим праздником. Несколько дней подряд они только о ней и писали. Строгие публицисты, нравоведы не переставали обучать уму-разуму читающую публику, писали о том, что в современных условиях надо быть очень осторожными в выборе жениха, особенно если у человека русская фамилия — Тишебов... А кончилось тем, что прогрессивный «Котелок» и ортодоксальная «Ермолка» крупными буквами уведомили своих читателей, что вскоре они преподнесут им новый, занимательный и поучительный роман с моралью о современной еврейской жизни.

«Котелок» объявил, что роман будет называться: «Муж трех жен», захватывающий роман в четырех частях с эпилогом.

«Ермолка» объявила, что роман будет называться: «Троеженец», необычайный роман в четырех частях с прологом и эпилогом.

Жаль! Взять такой красивый материал и размазывать его на целых триста страниц, и совсем уже обидно за героиню, за доченьку Соры Мойше-Пурима, то есть за Эстерл. После того как касриловские газеты разрисуют ее, она о замужестве только мечтать может. Никогда в жизни не найти ей жениха. Разве только если покинет «Эрец Исроэл» и Касриловку и переберется в Америку.

Дай бог! Мы желаем ей счастья и всего наилучшего. Аминь!

### 5

#### «Наши» Бродские и «наши» Ротшильды

В жаркий летний день, в разгар дачного сезона, из Касриловки в «Палестину» через «Эрец Исроэл» шла знакомая нам колейка. Она была почти пустая, потому что было это не в пятницу, а в обычный день, то есть тогда, когда касриловские дачники, проживающие в «Эрец Исроэле», не хворы ходить пешком.

В коляске сидели две женщины: мать с дочкой. Им было душно, они часто зевали. Авремл дремал. Коняги с трудом передвигали ноги, и коляска медленно тащилась.

Вдруг появился франтоватый молодой человек из аристократов лет двадцати двух, с черными усиками и в белой шляпе. Махнув своей тросточкой кондуктору, он изящно, ловко и аристократично вскочил в коляску и уселся на скамейку напротив дамы и ее дочери. Левую руку он засунул в карман, а правой стал гладить свои усы. Одновременно он бросил такой «аристократический» взгляд на красивую мадемуазель, что будь красавица из железа, она бы его не выдержала и должна была бы влюбиться в бравого молодого человека.

Для мадам эта неожиданная встреча была указующим перстом божьим, и ее материнское сердце почувало, что эта встреча не случайна, что она по велению самого бога...

И хотя ее доченька уже почти невеста, она была просватана за двоюродного брата, все же мадам была очень довольна, что этот аристократический молодой человек не отрывая глаз от ее доченьки и внимательно ее разглядывает... Но как же их познакомить, когда она сама с ним еще не знакома? Мадам нашла выход (материнское сердце!): она начала обмахиваться веером, сказав при этом: «Ах, какой горячий день сегодня!»

Доченька посмотрела на аристократического молодого человека и поправила ошибку матери:

— Да, очень жаркий день!

Тогда у молодого человека появилась возможность вмешаться в разговор, и он тоже по-русски обратился к мадемуазель:

— А у вас на даче хороший воздух?

Мадам не позволила дочери ответить (все-таки мать!) и обратилась к молодому человеку снова по-русски:

— На что нам воздух, когда у нас есть деньги?

Этим, очевидно, она хотела предупредить его, чтобы он не задавался.

Молодой человек и мадемуазель так приснули со смеху, что кондуктор коляски, Авремл-возница, повернулся к ним лицом, чтобы взглянуть: почему смеются аристократы, язва на их голову!

Когда подъехали к одной из самых красивых дач «Палестины», молодые люди тепло попрощались и крепко-крепко пожали друг другу руки, а мадам полуофициально пригласила аристократического молодого человека к себе:

— Пожалуйста, без церемоний!

Красивая мадемуазель мило улыбнулась и овееяла кавалера таким теплом, что если он имел бы каменное сердце, то и оно должно было бы растаять, как воск.

Теперь нам надо рассказать, кто был этот молодой аристократ и почему так обрадовалась мадам его знакомству с ее доченькой.

Большой город Егупец ошибается. Он думает, что только у него живут аристократы-миллионеры. Большой город Париж думает, что только он обладает аристократами-миллионерами. Оказывается, что и в Касриловке имеются свои аристократы, свои миллионеры, свои Бродские и Ротшильды. Разница в том, что Касриловка имеет все это в меньших масштабах. Наши Бродские — маленькие Бродские, наши Ротшильды — маленькие Ротшильды, но и они достойны быть описаны с их биографиями, точно так, как описаны все миллионеры во всем мире.

Широко известно (об этом знает даже младенец), что все большие люди мира когда-то были маленькими, затем они вырастали и возвышались. Американские миллионеры, к примеру, любят хвастать десять раз на день, какими они были когда-то маленькими. Американским аристократам приятно с гордостью рассказывать интервьюерам, будто в молодости они таскали мешки на плечах, продавали газеты или торговали спичками.

Наши касриловские аристократы не придерживаются этого правила. Наоборот, спросите касриловского миллионера о его родословной, и он вам начнет рассказывать небылицы, будто дед его был раввином, а прадед — великим талмудистом, и вся его семья состоит из одних раввинов, талмудистов и богачей. Одним словом, он вам так заморочит голову досужими вымыслами, так напугает вас своим аристократизмом, что вы со страху подумаете: «А кто его знает, может быть, он действительно происходит черт знает от кого?..»

Наши аристократы-миллионеры, то есть наши касриловские Бродские и Ротшильды, были, вероятно, думаю я, когда-то маленькими людишками... В похвалу им надо сказать, что они сами, своими собственными силами выбились «в люди» и со временем взобрались на высокую лестницу, стали друг друга перегонять в богатстве, стремясь перещеголять в подачках на благотворительные дела и в выборе себе женихов и невест... И кто знает, кого они еще выделяют из своей среды!

Весь мир, например, знает родословную настоящих Рот-

шильдов: они происходят из Франкфурта, их прадед когда-то был менялой, потом ростовщиком, а впоследствии банкиром. Наши касриловские Ротшильды не происходят из Франкфурта. Они настоящие касриловцы. Но поскольку их прадед всю жизнь был менялой, стоял на касриловском рынке у столика и менял рубли на копейки, а копейки на гроши, его детей и внуков прозвали Ротшильдами. Дети прадеда касриловского Ротшильда уже менялами не были, на базаре у столиков не стояли. Они занимались ростовщицеством. Внуки и правнуки касриловского Ротшильда будут этим заниматься до тех пор, пока на свете существует пакость, называемая деньгами, и люди, готовые все продать, извините, даже последнюю пару штанов, лишь бы получить займы под залог...

Если вам придется побывать в обновленной Касриловке, то обязательно увидите на Мощеной улице двухэтажный дом, на нем большую вывеску во всю стену с большими буквами: «Ефим и Борис Гинголд. Банкирская контора». Знайте, это и есть дом касриловских Ротшильдов. Вы спросите, откуда же взялось прозвище Ротшильд? На это вам ответят: а что вы скажете на то, что как раз напротив конторы Ротшильдов стоит еще более красивый дом, с еще более красивой вывеской, а на ней еще большими буквами написано: «Лесная торговля братьев Дембо». Любой ребенок знает, что это — дом Бродского.

Если вы хотите знать биографию этих Бродских, которые есть Дембо, то могу рассказать в двух словах. В Сухолесье, в местечке вблизи Касриловки, которое когда-то принадлежало графу Штрембо-Рудницкому, жил еврей, сторож графских лесов, звали его Ароном, по прозвищу «Дуб», ибо был он, не про нас будь сказано, невеждой, деревенским простаком, к тому же высок и здоров, как дуб. Носил деревенский тулуп, подвязанный бечевкой, и высокие сапожищи, знал на память все деревья в Сухолесье, охранял графское добро, как преданный пес, и был у графа в таком почете, что в своем завещании граф наказал своим детям, чтобы Арона и его потомство оставили сторожами до той поры, пока существуют сухолесские леса и род Штрембо-Рудницких.

Но, как водится, дети графа проиграли наследство в карты, продали лес, и сыновья Арона вынуждены были выехать из местечка в город. Осели они в Касриловке. Кроме леса и дров, они ничего не знали, потому стали они промышлять только дровами и лесом. Им очень повезло, дела их шли в гору, все выше и выше, вместе с этим росло и их имя. Вна-

чале их называли «люди леса», затем «деревянные евреи», потом — «новые богачи, миллионщики». И только впоследствии, когда они начали дарить большие суммы на благотворительные цели, перегоняя Ротшильдов, город их окрестил «наши Бродские». Трудно сказать, кто из них богаче: «Ротшильды» или «Бродские». Их капиталы еще никто не подсчитывал. Но мне кажется, что мы можем себе пожелать иметь столько, сколько им не хватает, чтобы быть настоящими Ротшильдами или Бродскими.

Так как каждый из них хочет перещегоолять другого в «аристократизме», то конкурируют наши касриловские миллионеры и миллиардеры, в чем только могут. Ротшильды утверждают, например, что им трудно разговаривать по-еврейски, а Бродские хвастают, что они ни единого слова не понимают по-еврейски (в Касриловке это лучший признак аристократизма). Или приключилась такая история у Ротшильдов. Играя в карты, их сынок проиграл целую сотню, тогда Бродские тут же распространили слух, будто их дитя проиграло двести рублей. Или невестка Ротшильдов открыто флиртвала за границей на курорте с незнакомцем. Бродские же, чтобы не отстать от Ротшильдов, стали рассказывать, будто их невестка за границей на курорте тоже флиртвала на виду у всех, но зато с двумя незнакомцами.

Когда аристократы стремятся переплюнуть друг друга, городу от этого только польза.

Касриловка никогда не забудет ту зиму, когда стояли большие морозы и бедняки умирали как мухи. Касриловцы подняли хай: «Где же наши богачи, почему они молчат?» Ротшильды смилостивились и прислали несколько подвод соломы, для того чтобы согреть замерзших. Что же, вы думаете, сделали Бродские? Они бесплатно прислали несколько подвод дров для бедняков: кому — фунт, кому — и два. На пасху Ротшильды раскошались и, кроме моэс-хитым, выделили пятьдесят мешков картошки. Тогда Бродские решили: раз Ротшильды дают картошку, то они дадут сало к картошке. Они открыли большие горшки с салом и делили его. «Всякому нуждающемуся», то есть каждому бедняку, ложку сала, а семье — большую ложку, если глава семьи успел получить бумагу от раввина, которая подтверждала, что его семейство состоит не меньше чем из пяти душ.

Щегольство друг перед другом в превосходстве перекочевало из города в деревню, на дачи. «Палестина» открыла свои ворота перед «Эрец Исроэлом», и полумерт-

вые его дачники ожили. Как это случилось? Вот как. Однажды летом «наши» Ротшильды построили в «Палестине» дачу. Но какую? Шикарную! С верандами, с зеленым крашеным забором, с садом, в котором были яблони, черешня и вишня, крыжовник и смородина. Ротшильды объявили, что вход в сад открыт для всех касриловских дачников: обитателям «Эрец Исроэла» разрешается здесь гулять по субботам сколько им заблагорассудится. Но только по субботам. В будние дни не смей!

В ответ на это «наши» Бродские в следующее лето построили в «Палестине» еще более шикарную дачу, с еще более шикарной верандой и садом, в котором росли вишня, черешня, смородина и крыжовник, и во всех синагогах Касриловки они объявили, что вход в сад открыт для всех не только по субботам, но во все дни недели с условием, что никто к деревьям не прикоснется, плодов не станет рвать и траву не будет топтать...

Но раз дачники из «Эрец Исроэла» появились в саду и увидели траву, то им уже не устоять. Сняв с себя кафтаны, они валялись в траве и топтали ее, как только могли. И мальчишки, увидев зеленый крыжовник и красную смородину, вишню и черешню, неотвратимо потянулись к ним...

В ответ на это Бродские обнесли свой сад высоким забором, на ворота повесили замок и издали приказ: отныне вход в сад категорически запрещен, если же кто-либо осмелится войти в сад, ему руки и ноги переломают, морду расквасят и натравят на него собак...

Собаки — это фантазия, досужий вымысел для острастки, но он больше всего помогает: касриловские евреи не любят иметь дело с собаками.

## 6

Никто не знает, чье будет завтра

Всем известно, что у настоящих, франкфуртских Ротшильдов издревле установлен обычай: сватать детей, не выходя из своего круга, чтобы семья, упаси бог, не растворилась в чужой среде. Исключение может составить какой-нибудь граф, маркиз или принц. Если такой вельможа полюбит дочь Ротшильдов, то, разумеется, велик соблазн, против него устоять невозможно...

Касриловские Ротшильды придерживаются установленной традиции. И не потому, что воспитаны в ней пра-

дедами. Они, видите ли, считают себя превыше всех и уговорили себя, что их родословная не имеет себе равных на белом свете. Недаром касриловцы острят по поводу «своих» аристократов: мал носок, да погибает кусок...

Было время, когда новоиспеченные касриловские аристократы, «наши» Бродские, и во сне не мечтали породниться с древними касриловскими аристократами, с «нашими» Ротшильдами. Когда же «наши» Бродские стали «делать деньги» и догонять «наших» Ротшильдов, то взлелеяли они одну-единственную мечту: породниться с Ротшильдами. Но вслух об этом не говорили. Один раз, только один раз приключилась такая история...

«Наши» Бродские послали свата к Ротшильдам, знаменитого шадхена Соловейчика.

Соловейчик, доложу я вам, современный сват модернизированной Касриловки, и зовут его не шадхеном, а посредником. Соловейчик не столько знаменит количеством заключенных браков, сколько умением сватать, уговаривать и хлопотать. Своими уговорами он способен перевернуть мир. Нет такого человека, который мог бы устоять против речей Соловейчика. Огонь и пламень! Посредник Соловейчик — сын старого Шолома-шадхена, все же он уже человек из нынешних, носит котелок и белую манишку с галстуком. Правда, котелок очень поношен, манишка грязная, а галстук, прошу извинить, просто лоснящаяся тряпка. И все же Соловейчик при шляпе, манишке и галстук! К этому прибавьте короткий, сильно изношенный пиджак, который сидит на нем, как на вешалке, да еще короткие, но широкие в клетку брюки, и вы сразу поймете, чем сын-«посредник» отличается от «шадхена»-отца. А о бороде и пейсах и говорить не приходится. Какая там борода, какие там пейсы! Не борода, а бороденка. Человек же не обязан носить бороду, словно веник, разросшийся во все лицо! От пейсов совсем ничего не осталось. Острижены, выбриты под самый корень. А как Соловейчик разговаривает! Еврейского «мир вам» вы не услышите, только русское «здрасьте» и «до свидание». И никогда по-еврейски не скажет «я хочу вам сосватать», а обязательно по-французски и по-русски «имею для вас партию что-нибудь особенное». Отец Соловейчика, мир праху его, всегда носил с собой большой красивый зонтик. Соловейчику это не пристало. Он аристократ, ходит с тросточкой. Он ведь не шадхен, а посредник...

Получив такое высокое поручение, как устроить «партию» для двух аристократических домов, какими являются «наши» Бродские и «наши» Ротшильды, посредник Соловейчик надел чистую манишку, причесал бороденку и отправился к Ротшильдам. Не успел он сказать на своем смешанном языке «здрасьте, у меня есть для вас партия что-нибудь особенное», как Ротшильды спросили Соловейчика, кого он имеет в виду. Узнав, что посредник предлагает им «партию» с Бродскими, Ротшильды так набросились на него, что он, кажется, детям и внукам прикажет никогда больше не соваться со своими «партиями». Его предупредили: если он появится в другой раз с таким «что-нибудь особенным», ему придется головой дверь открывать. Короче, Соловейчика выгнали. Зато, стоя на пороге, он им показал, на что «посредник» способен. Он громко произнес: «Запомните, это говорит вам Соловейчик, никто не знает, чье будет завтра».

Надо же. Слова Соловейчика оказались пророческими. И пробил час. Те же Ротшильды, которые его прогнали, послали за ним и просили заняться устройством «партии» с новыми касриловскими аристократами, с «нашими» Бродскими, как сказано: «Если нужен вор, то вынь его из петли».

Соловейчик немедленно прибыл к Ротшильдам. Его просили присесть, угостили папиросой и спичкой. Таков обычай у касриловских аристократов: дуются, как индюки, не допускают к себе за версту, но если вы им нужны, то склонят голову ниже травы, станут мягче масла, хоть возьми и приложи их к нарыву. Высказав свой восторг по поводу великого дара посредника Соловейчика, они дали ему понять, что ни за какие деньги с мире не искали бы жениха у Бродских, разве Бродские ровня Ротшильдам! Но как в Талмуде сказано: приходится. А посему пусть Соловейчик отправится к Бродским и скажет им: так, мол, и так... Язык у Соловейчика хорошо подвешен, не учить же его, он ведь еврей, который может...

Посредник растаял от приема и от комплиментов. Что за разговор? Он все умеет и все сделает.

— Нет, господин Соловейчик, вы должны, понимаете ли, намеками...

— Конечно, намеками!

— Нет, господин Соловейчик, вы не говорите, что мы вас к ним послали. Вы должны сказать, что это ваш план, что вы сами надумали... Вы понимаете?

— Разумеется, понимаю. Если я не пойму, то кто же поймет?

И Соловейчик, нагруженный важным делом и обремененный большим доверием, в тот же день пришел к Бродским. Ему казалось, что сколько бы он ни говорил — будет мало, и что бы он ни сказал — будет не то. Уж так заведено: заходишь к сильным мира сего, и мысли твои начинают путаться, вместо того чтобы сказать нужное, ты начинаешь плести бог весть что...

До того как Соловейчик вошел к Бродским, то есть когда еще находился на улице, он имел про запас несметное количество притч и сказаний. Но как только он переступил порог Бродских и те спросили его «что вам угодно?», все смешалось в голове посредника. Начал он совсем неплохо, привел слова Раши о том, что обращаются даже к лисе, если в ней есть нужда... Но Соловейчика перебили и спросили: «К чему вы это?»

— Видите ли,— ответил посредник,— никто не знает, чье будет завтра... Совсем недавно вы хотели, а они не хотели... Сейчас им захотелось, но как? Горят, подышают, они бы дали черт знает что, если...

— О ком вы?

— Как о ком? О них, о родовитых, великих, прекрасных, о «наших» Ротшильдах веду я разговор...

Бродским было бы милее, если бы посредник облил их уксусом или керосином. Они, очевидно, не забыли постыдный отказ, который получили от Ротшильдов, и излили на голову Соловейчика всю свою злобу.

— С кем вы хотите нас породнить? С этими ростовщиками, процентщиками, лихоимщиками, которые и нашего помета не стоят. Как посмели вы, еврей-посредник, прийти к нам с таким предложением? Кто они, ваши Ротшильды?.. Ведь еще недавно сидел их дед с мешочком мелких монет на базаре и замерзал, как собака! Теперь они якобы банкиры, берут векселя и кожу сдирают. Нет, нет! Не смейте и слова вымолвить, вы понимаете, что вам говорят? Если вы тотчас не уйдете по-хорошему, вас спустят со всех лестниц!

Уже на улице Соловейчик еще раз повторил: «Никто не знает, чье будет завтра...» И слова его опять оказались пророческими. На сей раз заступником посредника стал бог любви. Вмешался крохотный ангел, имя которому Амур, направляющий свои отравленные стрелы прямо в сердца юношей и девушек. Случилось это в тот жаркий

день, когда в коляжке Авремла, направлявшейся в «Палестину», если читатель помнит, находились аристократическая дама с дочкой и франтоватый парень в белой шляпе на голове и с тросточкой в руках, который их очаровал.

Пришло время раскрыть тайну. Аристократическая дама, которая красиво изъяснялась по-русски, была мадам Ротшильд, а молодой человек — сыном Бродских из Касриловки.

Остается только выяснить, насколько бог любви оказывал свое влияние, удалось ли Соловейчику устроить «партию», а если устроил, то сколько он при этом заработал, где состоялась великолепная свадьба: в Касриловке или в «Палестине» на даче? На все эти важные вопросы читатель получит ясный ответ в следующей главе этого «летнего» романа.

## 7

Посредник Соловейчик работает в поте лица

Полагаем, что читатель, доволен тем, что «он» и «она» не обычные люди, а аристократы, благородные, из касриловских миллионеров и миллиардеров. Он — из Бродских, она — из Ротшильдов. А ведь это же факт, что мы, обыкновенные люди, хотим знать, что творится там наверху, как живут богачи, что они едят и пьют. Потому свадьба у миллионеров вызывает особый интерес, хотя, по правде говоря, что нам от этого? Ничего, совсем-таки ничего! Но так мы уже устроены, ничего не поделаешь. Итак, с чистой совестью продолжаем наш рассказ.

Вспомним «его» первую встречу с «ней», как он пробрался в коляжку Авремла, как он пленил не только мадемуазель, но и ее мамашу, мадам Ротшильд. Недаром она самым дружелюбным образом пригласила его: «Пожалуйста, без церемоний». Но такая любезность редкое явление, ибо нам же известно, что с той минуты, как был создан мир и между людьми начались романы, все происходило как раз наоборот: в то время когда «он» и «она» влюблялись друг в друга, отец или мать невесты, а то и вместе начинали чинить им всяческие препятствия. Примечательнее всего то, что родители, да простят они мне, в молодости сами были влюблены и отчаянно боролись со своими отцами и матерями, втихомолку уди-

рали из дому и втихомолку венчались. Кажется, им бы это и помнить? Так нет же. Сейчас, когда, с божьей помощью, сами стали родителями, они затевают войну с детьми. Так всегда: дети подрастают и становятся предками, забывают они свои страдания в молодости и начинают борьбу со своими детьми. Это божье проклятье. Один только Адам был счастливецом, так как Ева не имела предков. Для всех остальных людей предначертаны горести, несчастья, драмы и трагедии. Сердце разрывается и волосы становятся дыбом, когда вспоминаешь, сколько пролито слез и сколько погублено молодых жизней! А так как теперь лето, жарко, дачный сезон, все в зелени и в цвету, все растет, так как мы не меланхолики и далеки от трагических описаний и мрачных мыслей, то проходим мимо всего этого. Мы вправе об этом умолчать еще и потому, что в «летнем» романе, о котором мы ведем здесь разговор, все, к счастью, так хорошо и красиво получилось, что можно прямо перейти к описанию помолвки, к тому, как били тарелки и выкрикивали мазлтов — к счастью! Однако, когда все уже было налажено, вдруг застопорилось. В чем дело? А дело в «червячке». Для писателей «червячок» — это прямо-таки находка. Если бы все шло гладко, чем бы мы занимались на белом свете?

Червячок, о котором мы говорим, — это, видите ли, то, что наша мадемуазель уже была почти невестой. Сосватали ее за родственника, за отпрыска из Ротшильдов, пара была прямо-таки божественная: она и он из одного рода, именитые, важные, и жили они на дачах в «Палестине» дверь в дверь, можно сказать. У каждого из них было большое приданое (десять тысяч), они хорошо знали друг друга. С нею читатель уже знаком, он имел удовольствие видеть ее в коляске Авремла, красавицу из красавиц, девушку что надо. А с ним, то есть с ее нареченным, надо вас познакомить, изобразить двумя штрихами — парень что надо: окончил коммерческий, любит картишки, завсегда с шантажом, знает на память много оперетт, днем спит, ночью бодрствует, носит шляпу и хорошо сшитый костюм, ходит с тросточкой, появляясь в театре, цирке или в кино, он там чувствует себя как в своей тарелке.

С невестой такой жених держится надменно, холодно, скрывая свои чувства. Парень из «Эрец Исроэла» показывает свою любовь, аристократу из «Палестины» это не к лицу.

Только тогда молодой Ротшильд открылся и предъявил претензии невесте, когда встретил молодого человека из Бродских в доме Ротшильдов и увидел, как тот влюблен в его невесту, как любезна с ним мадам Ротшильд, как она подлизывается к нему и тараторит с ним по-русски — хоть лопни со смеху.

Это задело молодого Ротшильда, и возгорелась в нем любовь. И не так любовь, как ненависть к молодому Бродскому. Зачем новоявленный аристократ посещает дом Ротшильдов, где он сам бывает на правах жениха?..

Чтобы покончить с этой неприятной историей, молодой Ротшильд добился от своих родителей согласия ускорить свадьбу. Но как они были ошарашены, узнав, что о свадьбе не может быть и речи. По трем мотивам: во-первых, теперь лето, а летом свадеб не бывает, во-вторых, невеста слишком молода, в-третьих, весьма возможно, что вскоре она действительно станет невестой одного из местных аристократов...

Имя аристократа умолчали. Оно и так было известно. Для Ротшильдов это было двойным ударом: во-первых, их сынок лишился невесты, и, во-вторых, в благородный род Ротшильдов влезает новоиспеченный аристократ, какой-то Бродский.

Полужениха из Ротшильдов эта история страшно огорчила, он был готов на все, что вычитал из французских романов, даже на дуэль! Но секундантов он пока что к Бродским не послал. Только матери невесты молодой Ротшильд дал знать, что, как он понимает, все исходит от нее, и никогда этого ей не простит — он опубликует в обеих касриловских газетах все любовные письма, все до единого, какие были им получены от ее доченьки, и пусть новый жених узнает, кто его невеста...

Возможно, в этих письмах содержалось такое, что дало бы основание «Котелку» и «Ермолке» сварить настоящий цимес, разложив все по полочкам. А уважаемая касриловская публика такие истории любит больше, чем, к примеру, рубленую печенку с гусиным салом, или кугл с фаршированными куриными шейками, или холодный яблочный квас в жаркий летний день.

Так нет же. Не повезло ни газетам, ни публике, как это вскоре выяснится.

Тем временем наш второй герой, счастливый Бродский, знал свое: он зачастил на дачу Ротшильдов, ежедневно приносил свежие цветы и полфунта шоколада, часто прогуливался с мадемуазель Ротшильд далеко в лесу, пешком или верхом на лошади, а то и вовсе на автомобиле. Когда в «Эрец Исроэле» узнали, что творится в «Палестине», то о парочке пошли такие разговоры...

Короче, слух дошел до Бродских, и они подняли хай: «партия» их не устраивает. Ротшильдов это крепко задело: ах, так! Так мы тем более против этой «партии». Но молодые заупрямились: хотим, желаем, и только!

Разыгралась аристократическая трагикомедия. Конечно, все стороны хотели, только каждая из них прикидывалась, важничала. Пришлось обратиться за помощью к Соловейчику. И Соловейчик показал, на что он способен, работал в поте лица, три дня трудился до потери сознания и наконец все уладил. Прежде всего он договорился с бывшим женихом, дав ему понять, что письмами своей бывшей невесты он может заработать деньги, продав их не газетам, упаси бог, а родителям невесты. Ротшильды могут за них дать гораздо больше, чем десять нищенствующих касриловских газет. И именно сейчас, в канун свадьбы, самое подходящее время для того, чтобы их продать. Если отсрочить продажу такого товара, то он может пропахнуть, а тогда пиши пропало...

Слова Соловейчика возымели действие, и бывший жених стал торговаться. Все письма у него выкупили. За сколько? Это секрет. Посредник Соловейчик говорит: «Дай бог мне столько ежегодно заработать, во сколько они обошлись, согласен в три года столько заработать, а если хорошо попросите, соглашусь и в пять лет...»

Затем Соловейчик добился от Бродских, хотя они такие же, как Ротшильды, богачи и аристократы, чтобы они первые нанесли визит Ротшильдам. И именно там состоялся обряд помолвки и был оговорен день свадьбы.

Но произошла такая история, которая бывает один раз в сто лет и которая чуть было не расстроила весь план Соловейчика. История эта пришла со стороны, ни Соловейчик, ни Ротшильды, ни Бродские ни сном ни духом не виноваты.

Представьте себе, что в самый последний момент, когда все касриловские аристократы во фраках и белых

перчатках прибыли в «Палестину» к Ротшильдам на свадьбу, которая обошлась им в целое состояние; когда оркестранты сыграли положенную музыку и молодые направились к балдахину, неизвестно откуда появилась высокая, стройная особа под вуалью, из-за густоты которой трудно было определить, красивая она или нет. Однако с уверенностью можно было сказать, что она — женщина.

Поднялась форменная суматоха: молодой аристократ побледнел, невесте стало дурно, она чуть в обморок не упала, мать невесты очень расстроилась и перестала разговаривать по-русски, родители жениха начали шушукаться, среди гостей поднялась паника. Потому мы вынуждены отложить наш рассказ о даме в вуали до следующей главы, которая вместе с «эпилогом» и «нотабене» завершит наше повествование, как это и подобает аристократическому роману.

## 8

### Дама в вуали

Хорошо быть богачом (мы это неоднократно утверждали), одно удовольствие быть аристократом! Если с ними что-нибудь и приключится, то прикусят язык — и концы в воду. Случись такая история, как у Ротшильдов и Бродских в «Палестине», у простого еврея из «Эрец Исроэла», перевернулся бы мир. А у аристократов все шито-крыто.

Когда дама в вуали появилась у Ротшильдов за одну секунду до обряда венчания, то действительно поднялась паника, но не надолго. Родители жениха отвели даму в отдельную комнату и спросили ее: что ей угодно? Кто она и откуда, не спросили. Они и так поняли, что она любовница (у них это называется «флирт») сына. А кто не флиртует среди аристократов? Вот потому они и спросили, что ей надо. А когда дама в вуали сказала, чего она хочет, то затеяли с нею торг: слишком она зарвалась. Потребовала она одно из двух: или расстроить свадьбу и обязать молодого Бродского жениться на ней, или обеспечить ее, и, кроме того, положить в банк кругленькую сумму на имя ребенка... Кто это дитя и откуда — никто не спрашивал. У аристократов часто бывает, что жених до свадьбы имеет любовницу и что она приживает от него одного или двух детей. «Наши» Бродские рады бы-

ли, что оказался только один ребенок, все же лучше, чем два или три. Но они были огорчены, потому что сын вовремя не поделился с ними о наличии у него наследника.

Однако сейчас не время для огорчений. Свадебный балдахин наготове. Гости могут разойтись, и свадьба может расстроиться. Скандал! Поэтому Бродские быстро сторговались с дамой, вручили ей определенную сумму наличными и выдали бумагу за подписью «первой гильдии купца Исаака Ароновича Дембо». В бумаге было сказано, что до восемнадцати лет дама воспитывает сына, за что ей ежегодно выплачивается столько-то и столько-то, а мальчик, достигнув положенного возраста, получит от купеческого сына, от Арона Исааковича Дембо, то есть от жениха, такую-то и такую-то сумму, и что все это должно храниться в глубокой тайне, что обе стороны удовлетворены и никаких больше претензий друг к другу не имеют.

Дама отправилась восвояси, и церемония аристократической свадьбы началась: казенный раввин читал проповедь, разумеется, по-русски, особо подчеркнув невинность и чистоту обрученных, собирающихся построить свою семью по законам божьим. Библейские слова из проповеди «разве Ефрем не дорогой у меня сын, разве он не любимое чадо», — вызвали у аристократов, как и подобает, печальное настроение. Аристократки даже приложили свои белоснежные платочки к сухим глазам, подчеркивая этим, что и они понимают, как надо себя вести в подобных случаях... Затем новобрачные попрощались с гостями, сразу же сели в автомобиль и укатили на станцию, чтобы отправиться в свадебное путешествие, как это принято у аристократов всего мира, коим наши касриловские богачи подражают.

#### Эпилог к главе «Дама в вуали»

Назавтра после вечерней свадебной трапезы в касриловских газетах появилась заметка, как протекала свадьба в «Палестине».

Было описано все до мельчайших подробностей. Но об истории с дамой в вуали — ни слова. «Котелок» и «Ермолка» старались изо всех сил, чтобы наиболее ярко изобразить «царскую» свадьбу. Были перечислены имена всех присутствовавших и подчеркнуты их добродетели:

одни отличались отзывчивостью, другие умом, третьи широтой натуры и т. п. Не были забыты яства и напитки. «Котелок», например, вошел в такой раж, что сообщил, будто резники три дня подряд резали разную птицу. «Ермолка» уделила внимание напиткам; заговорив о винах, она пришла в дикий восторг и сообщила, будто от выручки одних пустых бутылок можно было бы бедному еврею выдать замуж трех дочерей, после чего у него еще остались бы деньги на целый год жизни...

Касриловский читатель привык к гиперболам своих газет и не обратил бы никакого внимания на резников и бутылки, если бы не лютая конкуренция... На следующий день радикальный «Котелок» подверг острой критике «Ермолку». В статье под названием «Евреи — самые отъявленные пьяницы на земном шаре» радикальный «Котелок» писал: «Давайте не спеша, не торопясь, спокойно подсчитаем, во сколько должно обойтись выданье замуж трех дочерей. В наше время каждая свадьба в отдельности потянет по меньшей мере пятьсот — шестьсот рублей, значит, три свадьбы потребуют восемнадцать сотен. А теперь вспомним: сколько стоит пустая бутылка из-под вина? Три копейки. Выходит, что на свадьбе распили равно шестьдесят тысяч бутылок. Далее, сколько могло быть человек в «Палестине» на даче? Допустим, тридцать. Поделим шестьдесят тысяч на тридцать, получится две тысячи бутылок на одного человека, следовательно, самые большие пьяницы на свете — евреи, что и утверждает темная личность, то бишь редактор черной «Ермолки». Вот вам удивительная новость, потрясающая новость!»

«Ермолку» не очень смутила критика, и на следующий день она выступила с критикой на «критику». Она задала «Котелку» каверзный вопрос, обращаясь на «вы». Скажите, умные головы из светлого «Котелка», поборники правды, — раз уж вы такие мудрые обличители лжи, выводите всякий грех наружу, разоблачаете любое бахвальство, делаете подсчеты и удачные статистические выводы, почему бы вам с карандашом в руках заодно не проверить вашу собственную статистику с курами? Вы говорите в вашей светлой газете, что для свадьбы было зарезано уйма разной птицы, будто все три касриловских резника три дня подряд резали да резали. Давайте подсчитаем. Сколько времени нужно резнику, чтобы зарезать одну курицу? Не больше минуты, следовательно, в час он может зарезать шестьдесят кур, а в

день (если ночью он спит)  $60 \times 12$ , то есть 720 кур, выходит, в три дня — 2160. Все три резника вместе должны были, таким образом, зарезать 6480 кур! А теперь будем к вам снисходительны и скажем, что из такого количества птицы 480 трэфных, то есть негодных к употреблению, значит, осталось ни много ни мало 6000 кур! Если поделим это количество на тридцать аристократов, которые, как вы говорите, присутствовали на свадьбе, то на одного человека получится двести кур. Если это так, восемьдесят чертей на вашу голову, спрашивается: какой человек, будь он трижды аристократом и обжорой, способен в день съесть 200 кур?

Но ведь это Касриловка! Тут же нашлись насмешники, которые хотели уравнять обе стороны. Они так шутили: «Убавьте вина, убавим в птице!»

*Нотабене:* когда молодожены вернулись после свадебного путешествия, они сказали, что были за границей, в Италии. Но касриловские балагуры говорили, что это ложь, ибо новобрачные были только в Егупце. Когда после медового месяца молодой Бродский, то есть Арон Исаакович Дембо, вернулся в Касриловку и узнал (до этого от него скрывали, ибо родители не хотели омрачить ему праздник), что его отец, старый Бродский, то есть первой гильдии купец Исаак Аронович Дембо, выдал даме в вуали бумагу, он схватился за голову. Он так клялся, что можно было бы даже выкресту поверить, будто не помнит, хоть сними с него голову, чтобы эта дама была когда-нибудь его возлюбленной. И насколько он помнит, его возлюбленная никогда ребенка не имела, или, другими словами,— у него никогда не было такой любовницы, которая имела бы ребенка... Но если это все же та дама, которую он имеет в виду, то это проделка его конкурента, бывшего жениха из Ротшильдов... Но раз подписана бумага, то пропало. Бродский верен своему слову. Вот когда старик закроет глаза навеки и молодой войдет в права — тогда посмотрим...

О судьбе конкурента, обиженного молодого Ротшильда, не беспокойтесь, пожалуйста. Соловейчик ему тоже подыскал невесту, да еще какую! Конечно, из новоиспеченных, из «наших» Бродских. Положим, менее красивую, чем та, которая из Ротшильдов. И не только менее красивую, но просто некрасивую, можно даже сказать — дурнушку. Но зато ему положили приданое... что вам сказать? Обеспечили!..

Остается добавить, чтобы друг читатель был полностью удовлетворен, какой же куш отхватил Соловейчик. Не спрашивайте! Соловейчик выразился, будто получил такую жирненькую, что нет у него друга, которому он мог бы пожелать этаким удаче. С тех пор как Касриловка город, говорил он, а Соловейчик — посредник, еще ни один еврей такую крупненькую и во сне не видывал!

— К чему вам,— закончил свои объяснения Соловейчик,— люди добрые, залезать в чужой карман? Может быть, вы настолько богаты, что в состоянии дать мне ссуду на короткий срок? Скоро, с божьей помощью, завершу несколько партий, тогда верну вам с глубокой благодарностью!

## ПРИМЕЧАНИЯ

Несмотря на литературные успехи Шолом-Алейхема и его единомышленников (Менделе Мойхер-Сфорима, И.-Л. Переца, М. Спектора) в начале XX века под влиянием декаданса ожили в искусстве на языке идиш, особенно на подмостках европейского театра в Америке, произведения, отмечавшиеся «сверхзанимательной» пошлостью. В связи с этим Шолом-Алейхем в письме к сотрудникам европейской прогрессивной газеты «Ди найе велт» («Новый мир») 10 сентября 1909 г. пишет: «Пора, право, произвести дезинфекцию в литературе, чтобы лицо не пылало от стыда из-за того, что мы дожили до пресловутого американского вкуса, из-за бульварщины, которую мы с таким трудом выкурили во время оно, двадцать лет назад». В противовес «желтой прессе» и в целях приобщения народных масс к настоящей культуре Шолом-Алейхем, по его словам, ощутил потребность написать, после романов «Стемпеню» и «Иоселе-соловей», еще один роман и завершить трилогию о людях искусства. По замыслу автора, его третий «герой» должен быть уже не музыкантом и не певцом, «а чем-то больше, человеком тонкой души — артистом или художником». И писатель создает образ мастера сцены европейского масштаба — Лео Рафалеско, судьба которого стала центром романа «Блуждающие звезды».

Первая часть романа «Актеры» была опубликована в упомянутой газете в 1909—1910 гг., вторая часть «Скитальцы» — в варшавской еврейской газете «Дер момент» в 1910—1911 гг.

Главный герой «Блуждающих звезд», перенеся духовное потрясение, понял, что в мире наживы нет места подлинному искусству. Шолом-Алейхем беспощаден к дельцам и торгашам, для которых превыше всего нажива. Гнев Шолом-Алейхема обрушивается на толстосумов, эксплуатирующих актеров.

Рисую атмосферу жизни героев «Блуждающих звезд», Шолом-Алейхем широко пользуется своей излюбленной формой эпистолярного монолога. В письмах, органично вплетенных в ткань романа, действующие лица откровенно выражают свое отношение к действительности и свою житейскую философию. Шолом-Алейхем показал, что там, где господствует капитал,

существует лишь «погоня за счастьем». Однако он выразил глубокую веру, что счастье возможно с победой сил добра и разума. Литература и искусство призваны содействовать этой победе.

Стр. 8. *«Кто в огне, а кто в воде»* — слова из новогодней молитвы.

*Рош-хашана* — иудейский Новый год.

Стр. 10. *Сосн-весимхе* — веселье, радость. Настоящее имя кассира — Сосн, человек он мрачный, лишенный чувства юмора. Шолом-Алейхем в насмешку назвал его Сосн-весимхе.

Стр. 15. *«Мойше»*.— Так на «жаргоне» еврейских бродячих трупп называли массового зрителя.

Стр. 16. *Со всем хедером* — здесь в смысле: со всей труппой.

*Марки*.— Имеется в виду контракт между антрепренером и актерами о пропорциональном получении доли от сбора, выраженной в «марках».

Стр. 23. *Тьма египетская*.— Одна из десяти казней, которыми, согласно библейской легенде, бог Яхве (Иегова, Адонай) наказал египетского фараона за нежелание освободить древних евреев от рабства.

*Еврейско-немецкий театр*.— Царским указом 1883 г. запрещено было играть на идиш, на еврейском языке. В обход указа театр стали именовать еврейско-немецким.

Стр. 26. *Божья улица*.— Так называлась улица, на которой находился еврейский клир.

Стр. 27. *«Суламифь»* — пьеса, созданная по мотивам библейской «Песни песней», автором которой является А. Гольдфаден (1840—1908) — основатель еврейского театра, поэт, выдающийся драматург, актер и режиссер.

Стр. 30. *Кол-мекадеш* — молитва о святости субботы; в интерпретации Щупака — скабрезная песня.

Стр. 32. *«Куни-Лемл»* — одна из пьес А. Гольдфадена.

Стр. 33. *«Владыко вселенной»* — иудейский молитвенный напев.

Стр. 43. *Шмендрик, Цингитанг* — персонажи пьес А. Гольдфадена.

*«Скрипка Давида»* — пьеса И. Латайнера (1853—?), автора бульварных водевилей, мелодрам, оперетт.

*«Бар-Кохба»* — историческая пьеса А. Гольдфадена.

*«Хосидл»*.— От *хасид* — приверженец хасидизма, религиозно-мистического движения, возникшего в 30-х гг. среди евреев Польши и Украины.

Стр. 54. Согласно библейской легенде, патриарх Иаков

любил своего одиннадцатого сына Иосифа Прекрасного более всех остальных. Старшие братья возненавидели Иосифа и продали в рабство. Они закололи козла и кровью вымарали одежду Иосифа, а отцу сообщили, будто его растерзал хищный зверь.

...как царь Давид, когда ему сообщили, что любимейший сын его Авессалом умер.— Согласно библейскому рассказу, старший сын Давида (X в. до н. э.) Авессалом поднял мятеж против отца, но когда Давид узнал, что сын его погиб, он горько плакал.

Стр. 62. «Горячие бублики» — куплеты из комедии А. Гольдфадена «Колдунья».

Стр. 64. «Капцзон и Хунгерман» — пьеса А. Гольдфадена.

Стр. 72. *Справили Гавдолу*.— Обряд, связанный с проводами субботы и наступлением будней.

Стр. 73. *Ханука* — иудейский праздник; справляется ежегодно в течение восьми дней месяца кислев (соответствует ноябрю — декабрю) в память освящения Иерусалимского храма и освобождения Иудеи от греческого владычества (II в. до н. э.). *Играть в юлу* — в праздник Хануки распространена игра, состоящая в верчении волчка, на четырех сторонах которого изображены буквы g, h, n, s. Они соответственно означают: ganc — все, halb — половина, nichts — ничего и stell — прекрати или добавь.

*Кто в пасху украдет афикоймен* — то есть ломтик мацы; он кладется под подушку, на которую опирается главенствующий на пасхальной вечерней трапезе.

Стр. 77. «Блажен вошедший» — традиционное приветствие при встрече гостей.

Стр. 82. *Исаак, вероятно, не так дрожал, когда Авраам вел его на заклание*.— Имеется в виду библейская легенда о приношении в жертву патриархом Авраамом своего сына Исаака.

Стр. 93. *Исгадал веискадаш* — дословно: возвеличится и освятится (древнеевр.) — начальные слова заупокойной молитвы Кадиш.

Стр. 106. *Зоненталь Адольф* (1834—1909) — известный австрийский актер.

*Поссарт Эрнест* (1841—1921) — немецкий актер и режиссер. Гастролировал во многих городах Европы и Америки.

*Ирвинг Генри* (1838—1905) — английский режиссер и актер. Ставил пьесы Шекспира.

*Росси Эрнесто* (1827—1896) — знаменитый итальянский актер, крупнейший представитель итальянской реалистической школы.

Стр. 111. *Пуримшпилеры* — участники народных шуточных представлений, разыгрываемых в праздник Пурим.

Стр. 115. *История Петиферы и Иосифа*.— Согласно библейской легенде, Иосиф Прекрасный был продан в рабство египетскому вельможе Потифару. Красота Иосифа пленила его жену. Однажды, оставшись дома наедине с Иосифом, женщина схватила его за одежду... и сказала: «Ложись со мною». Иосиф отверг предложение, бежал от нее, оставив свою одежду в ее руках.

Стр. 119. *Левиафан* — легендарная рыба, от которой, по представлению верующих, лишь набожные евреи удостоятся чести вкусить «на грядущем пиршестве праведников». Актеры прозвали доктора Левиуса Левиафаном по созвучию.

Стр. 128. *Певица Марчелла Эмбрих*.— Очевидно, имеется в виду польская певица Марчелла Зембрих (1858—1935).

Стр. 137. *Корах* (Корей) — библейский персонаж, согласно легенде, восставший против пророка Моисея. Был жестоко наказан богом: земля разверзлась и поглотила Корея и его сторонников.

Стр. 149. *«Хава», «В пятницу вечером»* — пошлые песенки.

Стр. 193. *Территориализм* — от слова территориалист — термин, принятый для обозначения сионистов, сторонников создания еврейского государства не обязательно в Палестине, а на любой территории земного шара.

*Герцль Теодор* (1860—1904) — идеолог так называемого политического сионизма — националистического движения еврейской буржуазии; автор книги «Еврейское государство», в которой призывает к созданию «правоохраняемого убежища» для евреев в Палестине.

*Зангвиль Израиль* (1864—1926) — писатель и публицист, один из идеологов территориализма.

*«Всякий, кто голоден, пусть придет и поест»* — фраза из книги «Сказание об исходе» (Хагада), которую читают в первые два вечера праздника пасхи.

Стр. 212. *Франц-Иосиф* — австрийский император с 1848 по 1916 год.

Стр. 215. *Жена Лота*.— Согласно библейской легенде, за непослушание была превращена богами в соляной столб.

Стр. 220. *Адлер Яков* (1855—1926) — популярный актер еврейского театра в Америке.

*Бернар Сарра* (1844—1923) — знаменитая французская актриса.

Стр. 267. *При звуках труб и рога*.— Новогодние иудейские молитвы, сопровождаются звуками труб и рога. Шолом-Алей-

хем пользуется этими словами, обозначающими шум, грохот и т. п.

Стр. 272. *Зудерман Герман* (1857—1928) — немецкий писатель и драматург; *Гауптман Герхард* (1862—1946) — немецкий драматург; *Ибсен Генрик* (1828—1906) — норвежский драматург.

Стр. 274. *Шиф Джейкоп* — американский банкир.

Стр. 277. *Кол-нидрей* — дословно — все обеты (древнее в р.) — название иудейской вечерней молитвы, которую читают с наступлением Судного дня. Шолом-Алейхем имел в виду «Кол-нидрей», пьесу малоизвестного еврейского поэта А. Н. Шарканского, пользовавшуюся шумным успехом.

Стр. 281. *Лернер Иосиф* (1847—1907) — литературный критик, драматург; перевел на идиш несколько пьес, в том числе трагедию К. Гуцкова «Уриэль Акоста».

Стр. 303. *Хаславичи и Любавичи* — дореволюционные еврейские местечки в Могилевской губернии; местопребывание хасидских цадиков.

Стр. 309. «*Ав*» — название одиннадцатого месяца иудейского лунного календаря, соответствует июлю — августу.

Стр. 323. *Трефное* — пища, запрещенная иудейской религией.

Стр. 328. «*Сердце царя развеселилось от вина*» — библейское выражение из книги «Эсфирь».

Стр. 344. *Шильдкраут Рудольф* (1862—1930) — немецкий актер, неоднократно выезжал на гастроли в Нью-Йорк и играл на сцене еврейского Бродвей-театра на языке идиш.

Стр. 346. *Маршалл Луи* — известный американский адвокат.

Стр. 349. *Гордин Яков* (1853—1909) — еврейский писатель и драматург; *Либин З.* (псевдоним И. Гурвица, 1872—1955) — еврейский писатель и драматург; *профессор Якоби* — псевдоним Якова Гордина.

## ЛЕТНИЕ РОМАНЫ

### Повесть

Впервые напечатана в газете «Дер тог» («День»), Нью-Йорк, 1915.

Повесть «Летние романы» относится к последнему периоду творчества Шолом-Алейхема. В остросатирической манере писатель подвергает критике аморальность, бездуховность и пошлость дельцов-толстосумов, для которых свадьба

главных героев Арона и Эсфири — не более чем выгодная сделка.

Стр. 405. *Лаг-бэймер* — тридцать третий день со второго дня пасхи, считающийся праздником у учащихся: дети и молодые люди освобождаются от занятий, им разрешается развлекаться разными играми.

Стр. 415. *Пурим и Тишебов*. — Здесь Шолом-Алейхем обыгрывает сочетание фамилий: первая символизирует весенний праздник пурим, вторая — унылый день поста.

## СОДЕРЖАНИЕ

### БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Роман. Перевод М. Беленького

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Актеры

Глава первая. Птичка улетела . . . . .	7
Глава вторая. В обмороке . . . . .	10
Глава третья. Голонешти ходуном ходит . . . . .	12
Глава четвертая. Кикимора . . . . .	14
Глава пятая. Письма . . . . .	15
Глава шестая. Голонештинская публика . . . . .	17
Глава седьмая. Глаза . . . . .	19
Глава восьмая. Занавес подымается . . . . .	21
Глава девятая. В раю . . . . .	23
Глава десятая. Домой . . . . .	25
Глава одиннадцатая. Важные гости . . . . .	27
Глава двенадцатая. Кантор Исроел соловьем заливається . . . . .	30
Глава тринадцатая. Дочь кантора поет «Владыко вселенной» . . . . .	33
Глава четырнадцатая. Альберт Щупак вне себя . . . . .	34
Глава пятнадцатая. Новый тип — Гоцмах . . . . .	37
Глава шестнадцатая. Гоцмах пишет письмо . . . . .	39
Глава семнадцатая. Чудо, или Как становятся комиком . . . . .	42
Глава восемнадцатая. Лейбл показывает свои способности . . . . .	44
Глава девятнадцатая. Глаз, который следит . . . . .	47
Глава двадцатая. Червь сомнения . . . . .	48
Глава двадцать первая. Поймали вора . . . . .	49
Глава двадцать вторая. Обесчещен . . . . .	51
Глава двадцать третья. После экзекуции . . . . .	52
Глава двадцать четвертая. На собственных похоронах . . . . .	54
Глава двадцать пятая. Слезы . . . . .	55
Глава двадцать шестая. Пожар на Божьей улице . . . . .	57
Глава двадцать седьмая. Шолем-Мейер говорит иносказательно . . . . .	60
Глава двадцать восьмая. Пятнадцатиминутный антракт . . . . .	63
Глава двадцать девятая. Месть, месьть, месьть! . . . . .	65
Глава тридцатая. Волшебная ночь . . . . .	67

Глава тридцать первая. Звезды не падают, звезды блуждают	69
Глава тридцать вторая. Доброй ночи!	71
Глава тридцать третья. Соблазн денег	74
Глава тридцать четвертая. Благословен вошедший возница Шимен-Довид	76
Глава тридцать пятая. Возница Шимен-Довид командует	78
Глава тридцать шестая. Шодем-Мейер Муравчик произносит речь	80
Глава тридцать седьмая. Напрасные страхи	82
Глава тридцать восьмая. Загадки	84
Глава тридцать девятая. Голонешти не дремлет	86
Глава сороковая. Свидетели	88
Глава сорок первая. Как масло на воде	90
Глава сорок вторая. Вдогонку за беглецами	92
Глава сорок третья. Не покладая рук	94
Глава сорок четвертая. Они напали на след	97
Глава сорок пятая. Птицы меняют оперение	99
Глава сорок шестая. Голцман — Рафалеско	101
Глава сорок седьмая. Перемена места — перемена счастья	103
Глава сорок восьмая. В Галиции	105
Глава сорок девятая. Генриетта Швалб	108
Глава пятидесятая. Хаим-Ицик Швалб	110
Глава пятьдесят первая. Охотники за примадонной	112
Глава пятьдесят вторая. Закулисная политика	114
Глава пятьдесят третья. Брайнделе Козак	116
Глава пятьдесят четвертая. Доктор Левиус — Левиафан	119
Глава пятьдесят пятая. Кто верхом, а кто пешком	121
Глава пятьдесят шестая. Тост в честь блуждающих звезд	123
Глава пятьдесят седьмая. За картами	126
Глава пятьдесят восьмая. Кто красив, а она умна	128
Глава пятьдесят девятая. Хочется петь	131
Глава шестидесятая. Дипломаты	134
Глава шестьдесят первая. Голцман делает ход за ходом	135
Глава шестьдесят вторая. Любовные приключения Брайнделе Козак	138
Глава шестьдесят третья. Визит	140
Глава шестьдесят четвертая. Львовский меценат	142
Глава шестьдесят пятая. Последний спектакль во Львове	145
Глава шестьдесят шестая. Родословная Швалбов	147
Глава шестьдесят седьмая. Первый визит к великому Зонен- талю	149
Глава шестьдесят восьмая. Тщетные надежды	151
Глава шестьдесят девятая. Человек рехнулся	153
Глава семидесятая. Мечтатель	155
Глава семьдесят первая. Оба смеялись	157

Глава семьдесят вторая. «Человек с образованием» . . . . .	159
Глава семьдесят третья. Чья кошка масло съела . . . . .	162
Глава семьдесят четвертая. Гости Голцмана . . . . .	164
Глава семьдесят пятая. Бедная Брайнделе Козак . . . . .	166
Глава семьдесят шестая. Правила приличия . . . . .	169
Глава семьдесят седьмая. Девятый вал . . . . .	170
Глава семьдесят восьмая. Телеграмма из Лондона . . . . .	173
Глава семьдесят девятая. В погребке . . . . .	176
Глава восьмидесятая. Кто он? . . . . .	177
Глава восемьдесят первая. Мать умерла . . . . .	179
Глава восемьдесят вторая. Новости из Голонешти . . . . .	183
Глава восемьдесят третья. Распад семьи Рафаловича . . . . .	186
Глава восемьдесят четвертая. Они готовятся в путь . . . . .	188

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Скитальцы

Глава первая. Мистер Кламер . . . . .	192
Глава вторая. Связка писем . . . . .	195
Глава третья. В роковой час . . . . .	215
Глава четвертая. Душа-человек . . . . .	217
Глава пятая. Комбинатор . . . . .	219
Глава шестая. На все надо иметь счастье . . . . .	221
Глава седьмая. Музыкальная семья . . . . .	222
Глава восьмая. Сыграй жениху грустное . . . . .	225
Глава девятая. Они едут в Америку . . . . .	228
Глава десятая. И кошка может навредить . . . . .	230
Глава одиннадцатая. Двойной выстрел . . . . .	232
Глава двенадцатая. Что происходит с парнем . . . . .	234
Глава тринадцатая. Новая компания . . . . .	236
Глава четырнадцатая. Капиталист . . . . .	238
Глава пятнадцатая. Собака достойна палки . . . . .	240
Глава шестнадцатая. Близкая катастрофа . . . . .	243
Глава семнадцатая. Счастливые пассажиры . . . . .	245
Глава восемнадцатая. Между небом и водой . . . . .	246
Глава девятнадцатая. Женская рука . . . . .	248
Глава двадцатая. Будь здоров, Бернард! . . . . .	251
Глава двадцать первая. Роковой поцелуй . . . . .	253
Глава двадцать вторая. Америка! Америка! . . . . .	256
Глава двадцать третья. Спокойный океан . . . . .	258
Глава двадцать четвертая. Ломжинский кантор в беде . . . . .	262
Глава двадцать пятая. Благословенная страна . . . . .	265
Глава двадцать шестая. При звуках труб и рога . . . . .	267
Глава двадцать седьмая. «Мойше» . . . . .	270
Глава двадцать восьмая. Коммуна распадается . . . . .	272

<i>Глава двадцать девятая.</i> Звезда из Буэнос-Айреса	274
<i>Глава тридцатая.</i> Ломжинский соловей . . . . .	276
<i>Глава тридцать первая.</i> Странная биография	280
<i>Глава тридцать вторая.</i> В «кибецарне» . . . . .	282
<i>Глава тридцать третья.</i> Блеф и вздор . . . . .	285
<i>Глава тридцать четвертая.</i> Несколько слов о героине романа	286
<i>Глава тридцать пятая.</i> Марчелле Эмбрих от Розы Спивак . .	288
<i>Глава тридцать шестая.</i> Мейер Стельмах своему другу . . .	291
<i>Глава тридцать седьмая.</i> Шолем-Мейер Муравчик — Розе Спивак . . . . .	297
<i>Глава тридцать восьмая.</i> Роза Спивак Марчелле Эмбрих . .	298
<i>Глава тридцать девятая.</i> Мейер Стельмах своему другу . . .	300
<i>Глава сороковая.</i> Шолем-Мейер Муравчик своему другу Шу- паку . . . . .	305
<i>Глава сорок первая.</i> Альберт Щупак Шолем-Мейеру Мурав- чику . . . . .	306
<i>Глава сорок вторая.</i> Канторша Лея — дочери Розе Спивак	307
<i>Глава сорок третья.</i> Мейер Стельмах своему другу	310
<i>Глава сорок четвертая.</i> Подводя некоторые итоги	313
<i>Глава сорок пятая.</i> Сам не свой . . . . .	314
<i>Глава сорок шестая.</i> Мефистофель в юбке . . . . .	316
<i>Глава сорок седьмая.</i> Сваха Брайнделе Козак . . . . .	319
<i>Глава сорок восьмая.</i> Канторша Лея в Нью-Йорке	322
<i>Глава сорок девятая.</i> Поздравляем! Мазлтов! . . . . .	325
<i>Глава пятидесятая.</i> Счастливый день . . . . .	327
<i>Глава пятьдесят первая.</i> Ответный визит . . . . .	330
<i>Глава пятьдесят вторая.</i> У ломжинского кантора на чашке чаю . . . . .	333
<i>Глава пятьдесят третья.</i> Разнообразное общество . . . . .	335
<i>Глава пятьдесят четвертая.</i> Нисл Швалб произносит тост . .	337
<i>Глава пятьдесят пятая.</i> Спич мистера Кламера	338
<i>Глава пятьдесят шестая.</i> Разбитая тарелка . . . . .	341
<i>Глава пятьдесят седьмая.</i> В театре Никела . . . . .	343
<i>Глава пятьдесят восьмая.</i> Рафалеско на сцене . . . . .	347
<i>Глава пятьдесят девятая.</i> Между актами . . . . .	349
<i>Глава шестидесятая.</i> Происшествие в ложе № 3 . . . . .	350
<i>Глава шестьдесят первая.</i> Театр сошел с ума . . . . .	353
<i>Глава шестьдесят вторая.</i> Мистер Никел держит речь . . .	355
<i>Глава шестьдесят третья.</i> Еще одна встреча . . . . .	358
<i>Глава шестьдесят четвертая.</i> Беда за бедой . . . . .	360
<i>Глава шестьдесят пятая.</i> Шолем-Мейер Муравчик в роли друга . .	362
<i>Глава шестьдесят шестая.</i> Добрейший человек . . . . .	365
<i>Глава шестьдесят седьмая.</i> Большой провал Рафалеско . . .	368
<i>Глава шестьдесят восьмая.</i> Муравчик за кулисами . . . . .	371
<i>Глава шестьдесят девятая.</i> Еще одна комбинация лопнула	374

<i>Глава семидесятая. Рафалеско снова кается . . . . .</i>	377
<i>Глава семьдесят первая. Письмо . . . . .</i>	380
<i>Глава семьдесят вторая. Опять Брайнделе Козак</i>	382
<i>Глава семьдесят третья. Диалог . . . . .</i>	385
<i>Глава семьдесят четвертая. В ресторане Шолома</i>	387
<i>Глава семьдесят пятая. Под землей . . . . .</i>	390
<i>Глава семьдесят шестая. Ах, Америка! . . . . .</i>	392
<i>Глава семьдесят седьмая. Среди зверей . . . . .</i>	394
ЭПИЛОГ . . . . .	396
ЛЕТНИЕ РОМАНЫ	
Повесть. <i>Перевод М. Беленького</i>	405
Примечания	437

## Шолом-Алейхем

Ш 78 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 3: Блуждающие звезды: Роман; Летние романы: Повесть: Пер. с евр./; Редкол.: Г. Бакланов, М. Беленький, В. Лакшин и др.; Сост., примеч. М. Беленького.— М.: Худож. лит., 1989.— 447 с.

ISBN 5—280—00799—4 (т. 3)

ISBN 5—280—00212—7

В третий том шеститомного Собрания сочинений выдающегося еврейского писателя Шолом-Алейхема (1859—1916) вошли: роман «Блуждающие звезды» и повесть «Летние романы».

Ш  $\frac{4702210201-173}{028(01)-89}$  подписное

ББК 84Е

## ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Собрание сочинений

ТОМ ТРЕТИЙ

Роман, повесть

Редактор Л. ОСИПОВА

Художественный редактор А. МАКСИМОВ

Технический редактор Г. МОИСЕЕВА

Корректор Г. ГАНАПОЛЬСКАЯ

ИБ № 5380

Сдано в набор 26.07.88. Подписано к печати 06.02.89. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отг. 23,52. Уч.-изд. л. 26,01. Тираж 150 000 экз. Изд. № IV-2503. Заказ 3661. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28



